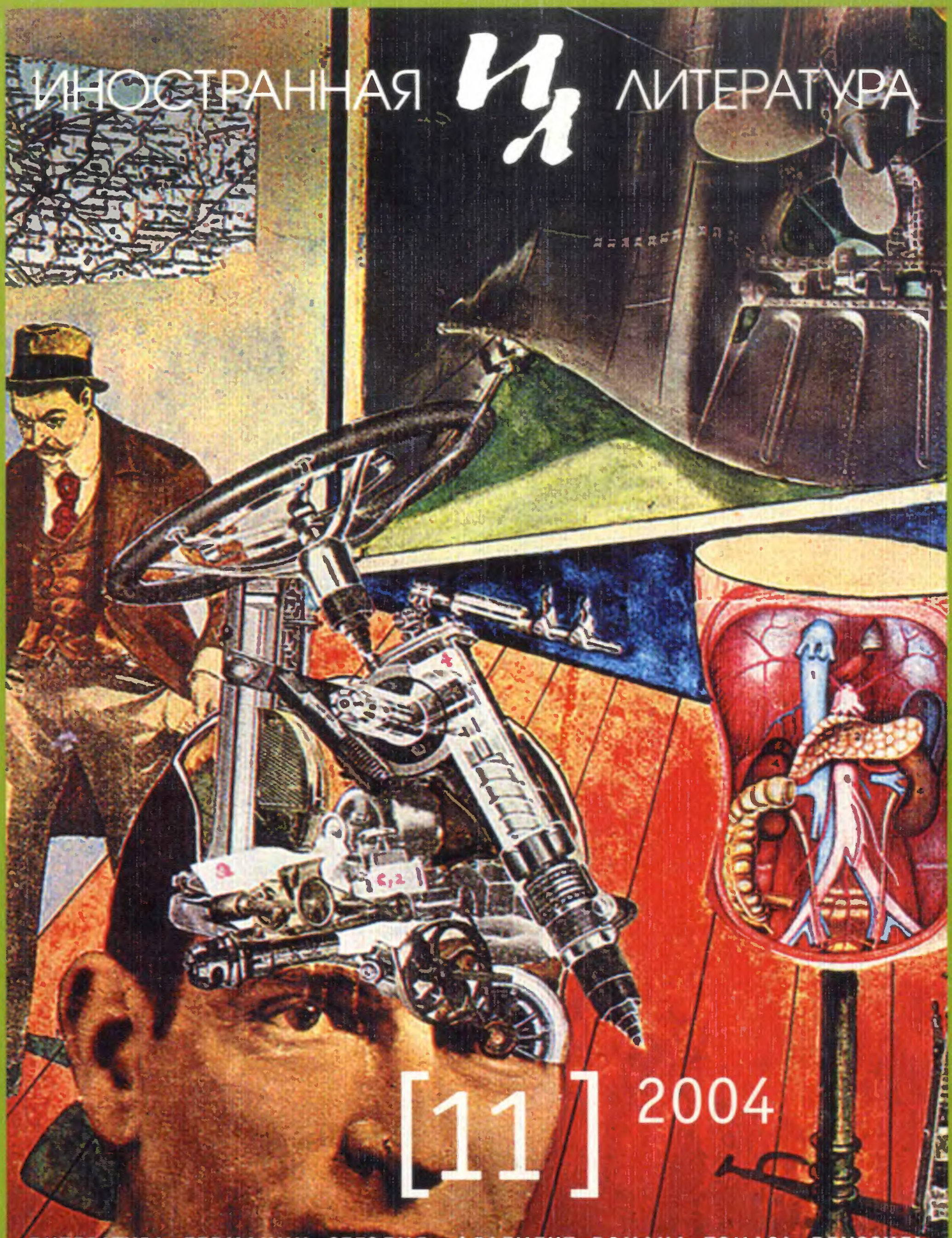
ISSN 0130-6545

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА



[11] 2004

ЛИТЕРАТУРА ГЕРМАНИИ СЕГОДНЯ: ФРАГМЕНТ РОМАНА ТОМАСА БРУССИГА "ГЕРОИ ВРОДЕ НАС" / АНТОЛОГИЯ РАССКАЗА – МОЛОДЫЕ НЕМЕЦКИЕ ПИСАТЕЛИ / КНИГА УВЕ ТИММА "НА ПРИМЕРЕ БРАТА" / "ЧЕРТУ ПОД ПРОШЛЫМ ПОДВЕСТИ..." – СОВРЕМЕННАЯ НЕМЕЦКАЯ ПОЭЗИЯ / ВИНФРИД ГЕОРГ ЗЕБАЛЬД В РУБРИКЕ "ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ" / ОТРЫВОК ИЗ КНИГИ ПЕТЕРА ХЭРТЛИНГА "УЧИТЬСЯ ЖИТЬ" / ЭССЕ КРИСТОФА ХАЙНА, ДУРСА ГРЮНБАЙНА, ЭМИНЕ ЭЗДАМАР

Основан в 1891 году

Специальный номер журнала выходит в рамках проекта ШАГИ/SCHRITTE, представляющего современную литературу Швейцарии, Австрии, Гѐрмании. Проект разработан по инициативе фонда С. Фишера и при поддержке уполномоченного Федеративного правительства по делам культуры и средств массовой информации Гѐсударственного министра Федеративной Республики Гѐрмании на средства фонда культуры Федеративной Республики Гѐрмании и Федерального фонда С. Фишера.

Россию и Гѐрманию связывают века геополитического соседства, отмеченного – при всех перипетиях политических отношений, знавших периоды плодотворного сотрудничества и лихолетья жесточайших войн, – неизменной содержательностью и глубоким взаимным интересом межкультурного диалога. Определенное сходство исторических судеб, столь внятно – и с такими серьезными для обеих стран последствиями – обнаружившее себя в XX столетии, постоянно давало этому диалогу новые поводы и обильную пищу. Одним из главных "медиумов" диалога, разумеется, всегда оставалась литература.

Не ставя перед собой задачу на пространстве одной журнальной книжки дать сколько–нибудь полную панораму современной немецкой словесности, составители данного номера (редакция журнала "Иностранная литература" и автор этих строк) прежде всего держали в уме именно контекст этого диалога в свете недавних исторических сдвигов, столь памятных нам под именем "перестройки" и отозвавшихся в Гѐрмании крушением Берлинской стены, а затем – стремительным и отнюдь не безболезненным сращиванием разных экономик, социальных систем и ментальностей. Вполне сознавая, что искусство вообще и литература в частности отражают явления общественного бытия лишь опосредованно и условно, мы тем не менее стремились как в отборе имен, так и в тематике произведений предоставить отечественному читателю возможность ощутить атмосферу жизни Гѐрмании последних полутора десятилетий во всей бурной динамике ее перемен, во всей ее – далеко не идиллической – новизне.

М. Рудницкий

[11]

2004

Ежемесячный литературно-художественный журнал

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

шаги
schritte
швейцария
австрия
германия
современная литература

Литература Германии сегодня

3 Томас Бруссиг. *Герои вроде нас.* Фрагмент романа. Перевод И. Ланина

34 Уве Тимм. *На примере брата.* Перевод М. Рудницкого

"Черту под прошлым подвести..." Новые стихи немецких поэтов — 110 Фолькер Браун, Дурс Грюнбайн, Харальд Гриль, Михаэль Крюгер, Гунтрам Веспер, Харальд Хартунг, Марсель Байер, Томас Клинг, Невфель Кумарт, Лутц Зайлер, Роберт Гернхардт, Катрин Шмидт, Ханс Магнус Энценсбергер в переводах В. Агафоновой, Е. Соколовой, В. Куприянова, М. П.

Литературное наследие 128 Винфрид Георг Зебальд. *Пауль Берейтер.* Из книги "Изгнанники. Четыре долгих рассказа". Перевод и вступление М. Кореневой

Антология рассказа 153 Маттиас Альтенбург. *Легкий кайф: Дневник.* Перевод Т. Баскаковой. Клаус Бёлдль. *"Свет очей".* Перевод Т. Баскаковой. Лиана Диркс. *И нету Вилли.* Перевод И. Городинского. Дорис Дёрри. *Конец сезона.* Перевод Б. Хлебникова. Катарина Хакер. *Карл.* Перевод М. Зоркой. Вольфганг Хильбиг. *Книжный дух.* Перевод Ю. Шварцман. Фелицитас Хоппе. *Левая туфелька.* Перевод Т. Баскаковой. Штеффен Копецкий. *Подпись грека.* Перевод И. Щербаковой. Михаэль Крюгер. *Шестеро моих детей.* Перевод Б. Хлебникова. Штефани Менцингер. *Здравствуй, Запад.* Перевод И. Городинского. Моника Марон. *В сущности, мы хорошие.* Перевод Л. Есаковой. Терезия Мора. *Португалия, или Любовь у следопытов.* Перевод И. Щербаковой. Александр Озанг. *Кукла.* Перевод Г. Окуловой. Буркхард Шпиннен. *Выбрав даму сердца.* Перевод Е. Соколовой. Ханс-Ульрих Трайхель. *О половой жизни туземцев.* Перевод С. Ромашко. Майке Ветцель. *Свидетели.* Перевод Е. Ботовой. Юли Цее. *Подаренный час.* Перевод Р. Эйвадиса

Документальная проза 268 Петер Хэртлинг. *Учиться жить.* Отрывок из книги. Перевод Н. Федоровой

Статьи, эссе 297 Кристоф Хайн. *Два размышления о странствиях и изгнании.* Перевод Б. Хлебникова

302 Дурс Грюнбайн. *Цитата.* Перевод С. Ромашко

304 Эмине Эздамар. *О чем плачет Ули.* Перевод Л. Есаковой

Курьер "ИЛ" 306

Авторы номера 310

© "Иностранная литература", 2004

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

Журнал основан в 1891 г.
До 1943 г. выходил
под названиями "Вестник
иностранной литературы",
"Литература мировой
революции",
"Интернациональная
литература". С 1955 года –
"Иностранная литература".

Главный
редактор

А. Н. Словесный

Редакционная коллегия:

Н. А. Богомолова
заведующая отделом критики и публицистики

Л. Н. Васильева
заведующая отделом художественной литературы

Т. А. Ильинская
ответственный секретарь

А. Я. Ливергант
заместитель главного редактора

Общественный
редакционный совет:

В. П. Аксенов
С. К. Апт
Л. Г. Беспалова
А. Г. Битов
Е. А. Бунимович
П. Л. Вайль
М. Л. Гаспаров
А. М. Гелескул
Е. Ю. Гениева
А. А. Генис
В. П. Голышев
Т. П. Григорьева
Б. В. Дубин
А. Н. Ермонский
Д. В. Затонский
С. Н. Зенкин
Вяч. Вс. Иванов
В. Б. Иорданский
М. Л. Салганик
И. С. Смирнов
Е. М. Солонович
П. М. Топер
Н. Л. Трауберг
М. А. Федотов
Б. Н. Хлебников
Г. Ш. Чхартишвили
А. И. Эппель

Международный
совет:

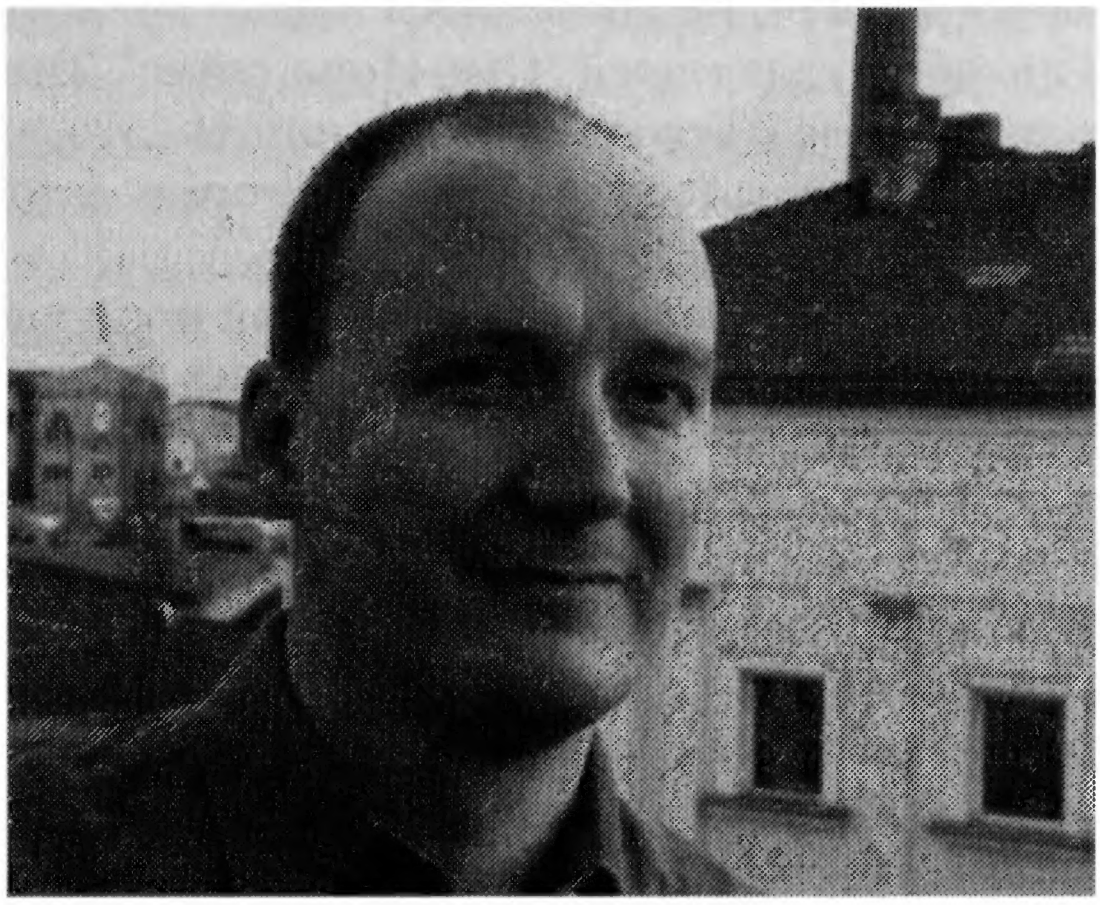
Чингиз Айтматов
Криста Вольф
Януш Гловацкий
Гюнтер Грасс
Тонино Гуэрра
Морис Дрюон
Милан Кундера
Зигфрид Ленц
Артур Миллер
Ананта Мурти
Милорад Павич
Кэндзабуро Оэ
Умберто Эко

Редакция :

О. Г. Басинская
Т. А. Баскакова
С. М. Гандлевский
Т. Я. Казавчинская
И. И. Кузнецова
А. В. Нестеров
А. Е. Соколинская
К. Я. Старосельская
Е. В. Тарасова
Л. Г. Харлап

Журнал выходит при финансовой поддержке
Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации

Томас Бруссиг



Герои вроде нас

Фрагмент романа

Перевод И. Ланина

Кассета первая: Китцельштайн

СМЕЛО могу утверждать: я появился на свет благодаря родовспомогательным усилиям целого танкового полка, который вечером 20 августа 1968 года, выдвигаясь к чехословацкой границе, проходил деревушкой Брунн аккурат мимо тамошней маленькой гостиницы, где пребывала на отдыхе моя матушка, беременная мною и уже на сносях. Одурев от лязга гусениц и рева моторов, я в панике разорвал плодный пузырь, промчался по родовому каналу и вмиг очутился на столе в гостиничном номере. Ночь, кромешная тьма, адский грохот – и я тут как тут, здрасьте. Вокруг все сотрясалось, соляркой воняло нещадно, в общем, мир, в который я пришел, оказался полон политики.

Сами видите, дорогой мистер *Китцельштайн*: в полном осознании своей исторической ответственности я уже начал летопись своей жизни, хоть и вынужден признать, что за два года дальше первого абзаца дело у меня не сдвинулось. Мне грезилась такая автобиография, где я сам взирал бы на себя с глубоким благоговением, нечто вроде *"Европа и эпоха: свидетельство очевидца"*, этакий грандиозный мемуар, который сразу привлечет внимание общественности к моей персоне, в том числе и на предмет присуждения мне Нобелевской премии по литературе, а уж заодно и ми-

© Verlag Volk und Welt GmbH, Berlin, 1995
© И. Ланин. Перевод, 2004

ра (это чтобы сразу познакомить вас с одним из наиболее выдающихся моих качеств — манией величия). Кто знает, сколько бы еще просидел я вот этак над своей автобиографией, не позвони вы в один прекрасный день и не попроси дать интервью для вашей "Нью-Йорк таймс". Типа: ну как это у меня все так ловко вышло с Берлинской стеной? Ну, это долгая история. Поэтому для начала позвольте устранить некоторые недоразумения.

Я-то надеялся, моя роль в исторических событиях той ночи еще какое-то время останется безвестной, — но явно недооценил упорство и предприимчивость ушлой, куплепродажной американской журналистики. Когда в одно прекрасное утро Стены вдруг не стало, народ, продрав глаза, долго таращился, покуда в конце концов не уверовал, будто это он сам — а кто ж еще? — Стену и порушил. Мне-то, конечно, с самого начала было ясно, что у этой красивой байки — *народ сокрушает Стену* — короткие ноги и долго она не протянет. Ведь где-то он все-таки должен был обретаться, этот народ, способный сокрушить Стену, вот только где, спрашивается? Не подверженные иллюзиям наблюдатели все больше склоняются к выводу, что никакого сокрушающего Стену народа и не было. Но тогда — кто же это сделал? Вот тут и принимаются вспоминать Шабовского и его пресловутую пресс-конференцию[1]; мне, надо сказать, эта байка про Шабовского, провозглашающего открытие пограничных кордонов, пришлась как нельзя кстати — она отвела любопытство вездесущих газетчиков от моей особы, предоставив возможность без помех работать над автобиографией, ни на миг не упуская из виду обе причитающиеся мне Нобелевки. Кроме того, я всегда знал, что сто́ит, так сказать, открыть глаза общественности на мою истинную роль — и с мифом о пресс-конференции разделаться будет легче легкого. Достаточно просто внимательно прослушать, *что* Шабовский тогда на этой пресс-конференции вещал. Выйдя к журналистам и выслушав вопрос о массовом бегстве из республики, он, не сходя с места, гарантировал всем желающим покинуть социалистическое отечество возможность прямого, незамедлительного и беспрепятственного выезда на Запад; видно, его вконец допекло, что весь мир уже который день оттягивается у телеэкранов, потешаясь при виде многокилометровых автомобильных пробок на чехословацко-западногерманской границе. Иными словами, его волновало только одно: чтобы массовое бегство из страны перестало быть еще и массовым зрелищем. Да, согласен, час спустя депутаты германского бундестага, прервав обсуждение законопроекта о государственной поддержке союзов и объединений граждан, и вправду повскакали с мест и грянули национальный гимн. Однако у само́й Стены до тех пор было тихо, да и после долго еще ничего не происходило, если не считать толп охотников свалить на Запад, да собравшихся поглазеть, что из всего этого выйдет. Вот тут-то и появился я. По телефону вы сказали, что обнаружили меня, анализируя имеющийся видеоматериал. Что ж, коли так, какой мне резон отпираться?

1 Гюнтер Шабовский — член Политбюро СЕПГ, главный редактор центрального печатного органа СЕПГ "Нойес Дойчланд". Вечером 9 ноября 1989 г. после прозвучавшего на его пресс-конференции заявления — "с настоящего момента всем гражданам ГДР в кратчайшие сроки будут выдаваться разрешения для поездок на Запад" — у пограничных КПП Восточного Берлина начали собираться многотысячные толпы. Так и не дождавшись дальнейших указаний, пограничники ГДР открыли шлагбаумы и ворота. (*Здесь и далее – прим. перев.*)

Да, все правда. Это был я. Это я похерил Берлинскую стену. Но если б только это... Куда там — отзывы историков и публицистов пестрят словечками похлеще: "Конец разделу Германии", "Конец послевоенной политической карты Европы", "Конец стремительного XX столетия", "Конец современной эпохи", "Конец 'холодной войны'", "Конец идеологий" и даже "Конец истории". Ни дать ни взять как тот храбрый портняжка: одним махом семерых побивахом! Что ж, я расскажу вам, как оно все вышло. Мир вправе узнать мою историю, тем паче, что она исполнена глубокого смысла.

Так вот: история падения Берлинской стены — это и вправду история о конце, только о моем личном конце, о моей, так сказать, сугубо интимной конечности, и каким образом построить на этой мысли повествование, задуманное в виде небывалой и, конечно же, достойной Нобелевки помеси "Дэвида Копперфильда" с "Обзором века"[1] — это большой вопрос. Два года я тщетно без толку корпел над его решением — и вдруг, нате вам, вы меня вычислили. Надеюсь, вы понимаете, что ваша находчивость мне только на руку? Если я не могу написать о своем органоне, то уж поговорить-то о нем я как-нибудь сумею. И, само собой, это будет не хвастливый стёб прыщавого юнца, а камушки грандиозной исторической мозаики, однако если вы и вправду хотите, чтобы в книге моей действительно были расставлены все точки над "ё", вам придется смириться с тем, что повествование мое будет, уж извините, сильно уклоняться на передок.

Что историю своего причиндала я рассказываю именно *вам*, объясняется не столько вашим незаурядным журналистским нюхом, сколько — прежде всего — вашей визиткой. Часто ли, в самом деле, предоставляется возможность излить душу не кому-нибудь, а корреспонденту "Нью-Йорк таймс"?! И уж совсем не вопрос, где именно вы поместите материал о человеке с моим послужным списком — "Конец современности", "Конец истории" и т. п.? Ясное дело, только на первой странице! Только там и нигде больше! Ах, какой вид и какие отсюда открываются виды: я, завершитель истории, на первой полосе "Нью-Йорк таймс", совести и рупора всемирной либеральной мысли. (За подобными формулировочками, учтите, у меня не заржавеет.) Таким образом мне гарантировано уже второе появление на титульной странице, ибо впервые я сподобился подобной чести девяти лет от роду, попав на обложку "НБИ", то бишь *Нойе берлинер иллюстрирте* — самого тиражного в ГДР иллюстрированного еженедельника. Это случилось, когда я был в третьем классе и к нам в школу назначили нового директора. Рациональная организация досуга учащихся была в его понимании возможна только в секциях и кружках, а поскольку участие школьников в секциях и кружках сильно украшало статистические показатели, наш новый директор повел всемерную борьбу за стопроцентный охват учеников секционной и кружковой работой. По душевной склонности меня скорее влекла секция парусного спорта, однако моя заботливая мамочка ни за что не хотела отпускать меня куда-то, где можно прищемить или, чего доброго, — "Уж я-то знаю, что творится на этих яхтах!" — даже занозить палец. Что *древесная заноза* почти неминуемо влечет за собой *заражение крови*, *ампутацию* и *летальный исход*, это я знал, можно сказать, чуть ли не с пеленок, ибо неизменно ожидать самого худшего, с глубокой озабоченностью посвящая в свои ожидания друг

1. Мемуарно-публицистическая книга Генриха Манна (1946).

друга, — в нашей семье это было в порядке вещей. Так что мамочка моя, желая мне исключительно добра, всегда и неизменно бывала глубоко озабочена уже заранее. Что до моего папочки, человека строгого и сугубо правильного, то он в такие мелочи, как воспитание сына, вообще не вдавался. Он со мной почти не разговаривал, а если разговаривал, то только по необходимости. "Рубашку заправь!", "Тихо!", "Пошли!" — вот и весь его сказ. В остальном же это был малознакомый человек, который вечерами сидел у нас в гостиной перед телевизором в тренировочных штанах, остужая ноги в тазике с холодной водой.

— Что хочешь делай, но ни на какие яхты я тебя не отпущу, — изрекла мать.

Что ж, коли так, паруса побоку, вместо них кружок *Юный натуралист.* Руководство кружковой работой принято было сбагривать на молодых учителей-предметников, по этой причине и наш кружок юннатов достался физику Кюферу, обладавшему в свои двадцать семь лет более чем внушительной лысиной — "оттого, что думаю много", как сам он пояснял. Третьеклашка, я понятия не имел, что такое физика и с чем ее едят. Думал, юннаты — это черепах кормить или что-нибудь еще в том же духе. Господин Кюфер, судя по всему, тоже не очень знал, чем с нами заняться, а посему крутил нам учебные фильмы про всемирный экономический кризис или там про Гражданскую войну в Испании, зарядив их в проектор задом наперед, от конца к началу. Впечатления, скажу я вам, незабываемые: к примеру, груда развалин, окутавшись дымом, словно по мановению волшебной палочки превращается в дом, или бомбардировщики будто магнитом притягивают к себе бомбы, вспархивающие к ним с земли... (Несколько лет спустя, когда Кюфера турнули с работы, ему среди прочего припомнили и это: дескать, показывая фильмы о войне задом наперед, он "насаждал среди учащихся ложные пацифистские иллюзии".) Но это будет после, а пока, все еще в третьем классе, я увидел по телевизору передачу про бетонные заграждения, которые специально для подавления шума сооружаются вдоль перегруженных транспортных магистралей и называются звукоулавливателями. Поскольку в телепередаче дважды прозвучало слово "физический", я спросил господина Кюфера, как такой звукоулавливатель устроен. Господин Кюфер обрадовался вопросу, аки дитя малое, и углубился в теорию акустики. А еще через пару недель наш кружок "Юный натуралист" разработал конструктор "Юный акустик" — набор материалов для проведения акустических экспериментов, каковой мы и представили на открытии школьного смотра "Мастера завтрашнего дня". Дальше — больше: после школьного нас направили на районный смотр, а оттуда прямиком на окружной. А меня назначили ответственным по стенду! Третьеклашка — и вдруг главный эксперт по акустическим опытам! Что-то теперь мой предок скажет? Тот самый предок, который настолько в меня не верил, что даже уничижительную фразу "А-а, все равно из парня ничего не выйдет!" не утруждался договаривать до конца, ограничиваясь первой частью — "А-а, все равно из парня...", после чего только безнадежно махал рукой. Он даже не считал нужным называть меня по имени! Свое имя из его уст я вообще ни разу не слышал! Хотя имя у меня и вправду, как говорится, дальше ехать некуда — меня зовут *Клаус* (оригинальное имечко, правда? Главное, редкое! И рифма на "страус" сама просится), — но чтобы собственный предок имя своего же чада, можно сказать, в упор игнорировал, меня это до сих пор как-то напрягает. Вот тогда я и решил пойти

к нему прямо на работу, чтобы он, сияя от гордости, представил меня своим сотрудникам, произнеся что-то вроде: "А это мой сын, вот, пришел сообщить мне, что его назначили ответственным по стенду на окружной ярмарке юных дарований, что-то по научной части, только я в этом, к сожалению, ни бум-бум..."

На работе у отца я до того ни разу не был — он трудился в министерстве внешней торговли, — но на карте города оное министерство даже оказалось обозначено: всех дел — двадцать минут на метро прокатиться. Дошел я, правда, только до вахтера, который, перебирая множество списков, принялся искать номер отцовского кабинета. А тут самое время заметить, что если имя у меня, действительно, не подарок, то с фамилией вообще полный облом; такую фамилию лучше всего сразу диктовать по буквам — просто так, без тренировки, ее не произнести, я сколько раз на спор выигрывал. Фамилия моя *Ультцшт.* Никогда не забуду, как брызгал слюной вахтер, силясь ее выговорить — при всякой новой попытке стекло его окошка покрывалось новой влажной туманностью.

— Никакого Ультцшта у нас здесь нету, — с этого он начал, этим же, после изучения всех списков, и закончил. Отродясь он такой фамилии не слыхивал, и в министерских списках она не значится. В полной растерянности ехал я обратно домой, а когда вечером спросил у отца, *где же* он все-таки работает, тот в ответ буркнул что-то насчет *внешнего филиала.* Потрясенный, можно сказать, до оторопи, я удалился к себе в комнату. Ну конечно! Внешний филиал! Где-то за городом, у черта на рогах! Наконец-то я понял, отчего у отца вечно такое скверное настроение, наконец-то удалось найти правдоподобную причину! Его *задвинули*, загнали в этот жалкий внешний филиал, навсегда лишив надежд на успешную, блистательную карьеру. Вот оно что! Мой отец, последний часовой на последнем посту, в самом внешнем из всех внешних филиалов внешней торговли, тогда как в глубине своей души он одинок и покинут, словно смотритель маяка, ибо сердце его снедает горькая обида на нехороших людей, с ледяной жестокостью сославших его на это безнадежное, про́клятое внешнее место. Конечно, мой предок — самый отвратный тип из всех, кого мне приходилось видеть на свете, но ведь это еще не повод думать о нем дурно!

— Так, а кто у нас опять шторку не задернул?

Этот самый "кто" — конечно же, только я, кто ж еще, но вот о какой шторке речь? Я вышел из своей комнаты. Он стоял в коридоре, лицо неумолимое, как ультиматум, патетически указуя перстом на полку для обуви, шторка на которой и вправду оказалась не задернута. Ну да чего от него, бедолаги, ждать — притащился домой из своего внешнего филиала, теперь, все зная, я смотрел на него совсем другими глазами. Я задернул шторку, он стянул с себя ботинки, отодвинул шторку, аккуратно поставил ботинки на полку, аккуратно задвинул занавеску и победно на меня глянул: *казалось бы, чего проще!* А когда я — наконец-то — выпалил, что мы, экспериментаторы кружка юных натуралистов, делегированы на окружной слет, когда наконец-то — *с гордостью* – выложил ему, что меня, девятилетнего третьеклашку, назначили ответственным за стенд, знаете, что он ответил? Щелкнул пальцем по воротничку моей рубашки и буркнул:

— Надеюсь, к этому времени ты научишься аккуратно застегиваться, чтобы выглядеть как человек...

Ладно, замнем. Смотр "Мастеров завтрашнего дня" должен был открываться визитом "высоких гостей" — "руководителей партии и правительства". По протоколу они должны были завернуть и на наш стенд. Ди-

ректор школы и еще несколько человек, которых я впервые видел, тарахтели, как заведенные, про высокую честь и знаменательное событие, готовя меня к торжественной церемонии. Можете не сомневаться, рубашка на мне была застегнута пуговичка к пуговичке. От самого события запомнилось лишь, что к стенду приперлись какие-то толстые, все как на подбор низенькие, обливающиеся по́том дядьки — это совершенно сбило меня с толку: ведь все вокруг твердили о "высоких гостях", а тут заявились какие-то низенькие толстопузы. Так что я и вызубренную наизусть приветственную речь наверняка произнес бы с видом более чем недоверчивым, но один из этих карликов — может, он был из них самый высокий? — не дал мне и рта раскрыть, он с ходу отпустил какую-то шуточку, какую, я не понял, просто догадался, потому что все в свите угодливо загоготали, один другого громче. Двое фотографов с двух сторон защелкали камерами, высокопоставленный хохмач потрепал меня по плечу и ободрил напутственным:

— Молодец, так держать.

Вся катавасия продолжалась минуты две, а когда "высокие гости" удалились, я еще долго ломал голову, с какой стати их так называют.

На следующий день про меня напечатала "Берлинер цайтунг". Мамочка на радостях сама притащила тридцать экземпляров, а потом и меня послала еще десяток докупить. А через несколько дней я уже красовался на обложке "НБИ": я, девятилетний шкет, на обложке крупнейшего еженедельного журнала рядом с одним из лидеров страны! Телефон трезвонил без умолку:

— Неужели Клаус? — Ну да, Клаус. — Вот так номер, ай да Клаус! — Нет, но каков наш Клаус?! — Разумеется, Клаус, кто же еще?

Директор, не помня себя от радости, согнал всю школу на торжественную линейку и объявил мне благодарность. На меня оглядывались. Шептали вслед: "Это он. Тот самый". Все время, пока я ходил в ту школу, обложка "НБИ" в рамочке висела в вестибюле у входа. Когда, спохватившись, газета юных пионеров "Барабан" вслед за всеми напечатала обо мне статью на целую полосу, тщеславие моей матушки уже настолько притупилось, что она купила всего восемь штук.

Хотите верьте, хотите нет, но так оно и есть: мое самое заветное желание исполнилось! Я не слабак, не бездарь, вот полюбуйтесь — фотография в рамочке, какие еще нужны доказательства? На всю страну, самым многомиллионным тиражом пропечатано — *Юный естествоиспытатель* и *Мастер завтрашнего дня!* Уж там-то, наверху, наверно знают, почему чести красоваться на обложке такого журнала удостоили именно меня. Не иначе я — самый многообещающий и перспективный *Мастер завтрашнего дня.* Может, я вообще уже на листе ожидания за Нобелевкой? Забыв о презренных буднях, я витал в облаках. Будущий нобелевский лауреат ведет себя как хороший мальчик; будущий нобелевский лауреат и глазом не моргнув задергивает шторку на обувной полке, потому что будущий нобелевский лауреат всегда слушается взрослых. А куда они теперь денутся, эти взрослые? Рано или поздно им все равно придется называть улицы моим именем. Я начал вести дневник. Обращаясь в нем скорее к грядущим поколениям, я не забывал на бытовом уровне найти несколько слов и для своих близких, что по сей день ставлю себе в заслугу.

А уж мама моя! Наконец-то я мог смело смотреть ей в глаза! О нет, совсем не напрасно целых восемь лет своего профессионального роста принесла она в жертву моему воспитанию. Ведь она вырастила не прос-

то обыкновенного, послушного, прилежного, опрятного, смышленого мальчика, которого не стыдно и людям показать, — она взлелеяла будущего нобелевского лауреата! Не пропали втуне педагогические усилия восьми долгих лет, в течение которых меня упорно приучали на все вопросы отзываться только "полным ответом" — в противном случае сказанное мною попросту пропускали мимо ушей; восемь лет, на протяжении которых я играл сугубо и только в игры, высокоэффективные в дидактическом отношении, такие, как: "*запоминай-ка!*", "*мельница*" и "*мастер майнд*"; лишь изредка, в порядке исключения, со мной играли в "*микадо*", а уж в "*братец, не сердись*", "*пятьсот одно*" или "пьяницу" (это же верх тупости!) — вообще никогда.

После истории с обложкой я приохотился выдумывать газетные заголовки про самого себя, про мое нынешнее житье-бытье. Недурственно проведя время после школы со своим приятелем Бертрамом, я уже представлял себе вторую полосу завтрашнего номера "Нойес Дойчланд": "Клаус и Бертрам: Дружеским узам крепнуть!" Тянул на уроке изо всех сил руку, чтобы вызвали к доске, — грезилось: "Новое в науке — слово берет молодежь!"

Так шли годы, покуда я — разумеется, случайно, и уж разумеется, с чувством гнева и омерзения — не наткнулся на оригинальный экземпляр *газетенки* БИЛЬД — той самой, "из-за бугра". Не сказать, чтобы я был вовсе не подготовлен к подобной идеологической конфронтации, — факсимильные копии первых полос БИЛЬД иногда воспроизводились в нашей прессе, да и одна из наших учительниц нередко употребляла это выражение: *западные газетенки*. Проанализировав контексты, я пришел к выводу, что *газетенки* — это, очевидно, газеты совершенно особого рода. При слове "газетенка" следует ожидать чего-то, что выглядит точь-в-точь как настоящая газета, но на поверку оказывается *западной газетенкой*, коварной и злопыхательской. К чему я оказался не готов, так это к заголовку. Однако прежде чем сделать достоянием гласности незабвенный тот заголовок, воздам должное его оформлению: *вот та-а-акие* жирные литеры! Буквищи, словно вырубленные из каменных глыб! При одном их виде словосочетание "аршинные буквы" обретало поразительную наглядность! Ну добро бы еще этими аршинными буквами возвещался, допустим, какой-нибудь КОНЕЦ СВЕТА!, так нет же, содержание заголовка было куда ужаснее: СЕКС-СКАНДАЛ В ПОЛИЦИИ! *Кошмар!* Мыслимое ли дело, чтобы полицию — оплот законности, защитницу честных граждан, первейшую опору и неусыпную поруку общественного спокойствия и порядка — вот эдак пригвождать к позорному столбу! Для этих западных газетенок, что же, вообще нет ничего святого?! Да как они осмеливаются выступить против самой полиции? Ведь полиция, как известно, борется с преступностью! Кто бесчестит полицию — тот заодно с преступниками! Или вам это видится иначе? А тут еще полицию обвиняют не в чем-нибудь, а в секс-скандале — этим западным газетенкам, что, вообще все нипочем? Сильнее же всего меня в мои тогдашние тринадцать лет потрясла вот какая мысль: а вдруг, как раз когда мне будут вручать Нобелевку, у меня вскочит? Что будет? Так и останусь в веках, а вернее, в заголовках: СЕКС-СКАНДАЛ НА ВРУЧЕНИИ НОБЕЛЕВСКОЙ ПРЕМИИ!?

И тем не менее, невзирая на все подобные страхи, просто жуть как хотелось видеть свою фамилию, при всей ее плачевной неказистости, напечатанной, и чтоб как можно чаще. Я решительно высказывал свое

мнение в читательских дискуссиях. Принимал участие в конкурсах. На моем рабочем столе – а собственный письменный стол имелся у меня уже с первого класса – всегда лежала наготове стопка открыток. Все газеты, какие только находились в пределах моей досягаемости, я прочесывал на предмет викторин – с тех пор дурацкими вопросиками типа "Сколько бороздок на поверхности долгоиграющей пластинки?" меня не проведешь. Еще одна стратегия, обеспечивавшая моей фамилии регулярные упоминания на страницах печати, – это выступления на читательских конференциях "Барабана" и "Фрёзи"[1]; да я, собственно, практически в каждую газету писал, где публиковали письма читателей. По любому вопросу я имел свое мнение, каковое всегда был готов изложить в пригодной для публикации форме. Вел строжайший учет своих выступлений в прессе, и если вдруг месяца полтора-два – а однажды целых три с половиной – у меня не публиковалось ни строчки, мне мерещились козни против меня лично. Хренов умник не с того конца, я ведь и вправду был необычайно высокого мнения о своих читательских посланиях, которые, все до единого, непременно прочитывал матушке – разумеется, только в опубликованном виде. Я и вправду всерьез считал: вот *это* и есть самое то, это и есть главное! Да и как было усомниться? Детство – это пора, не ведающая сомнений. Ну вот, тьфу ты ну ты, опять афоризм ляпнул! Ненавижу афоризмы! Особенно – собственные. Но и все остальные тоже: есть в них какое-то заискивание перед сытой, толстозадой публикой – *ишь как завернул, забавно, а мне и в голову не приходило так на это посмотреть*... С отроческой поры своих читательских писем я настолько поднаторел в сочинении подобных крылатых слов, что они и по сей день из меня так и прут, просто афористический понос какой-то. На чем бишь я остановился? Ах да, детство, сомнения... *Когда ребенок не понимает, он просто верит, начав же сомневаться, он перестает быть ребенком.* Что, скажете, не афоризм? Как пить дать, вполне сгодилось бы для заключительной публикации при подведении итогов читательской дискуссии на тему "В мире мудрого детства". *Юность – пора сомнений; вместе с сомнениями она и проходит.* Я же говорю, мыслительный понос, и консистенция примерно та же, жиденькая и легковесная, но что делать, если голова у меня полна такой вот афористической суспензии? Этак я и рассказать ничего толком не успею, клятые афоризмы просто слова не дают молвить, галдят наперебой: "Эй! Меня изреки! Меня придумай! Меня отмочи, да позаковыристей! Ты ж хочешь прослыть остряком! Хочешь прославиться! А все знаменитости – остроумцы хоть куда! Назвался груздем – полезай в кузов, изволь быть остряком, изрекай меня, да поскорее!" До чего же охота хоть раз в жизни раскрыть рот без ощущения, что говоришь в подставленный микрофон. Но куда там, вот и сейчас передо мной, завершителем истории, сидите вы с вашим магнитофоном, и у меня есть шанс угодить на первую полосу "Нью-Йорк таймс". Вы хорошо знаете, чем меня взять. Ясное дело, я мог бы говорить, как мне всегда хотелось, не говорить, а вещать, этаким пресс-секретарем, или, наоборот, чеканно формулировать не официальную, а личную точку зрения. Изрекать, обобщать, официально доводить до сведения – все это я мог бы запросто, если бы не блудливый, легковесный трёп, сам собой из меня рвущийся. Вот сейчас, к примеру, пока вы настраивали уро-

1. "Фрёзи" ("Веселись и пой") – детский иллюстрированный журнал в ГДР, подобие "Мурзилки".

вень записи, а я кокетничал своей манией первых полос, — какая нелегкая, спрашивается, тянула меня за язык? Всему виной обида и неуверенность. Неудивительно, что за два года раздумий я едва управился с одним-единственным абзацем своего жизнеописания. А значит, у нас не остается иного выхода, кроме как продолжать в том же духе. Вы по-прежнему будете делать вид, будто это всего лишь пробная запись, — только прошу вас, не забывайте иногда, проформы ради, подкручивать ручки, будто вы что-то там регулируете, — а я продолжу распинаться до победного конца. Вот увидите, это будет самая знаменитая пробная запись в истории человечества. А это, поверьте, тоже не пустяк, при мысли об эпохальных пробных записях мне приходит на ум не кто-нибудь, а сам Рональд Рейган, когда он от чистого сердца ляпнул: "Рад сообщить вам, что я только что подписал указ о ядерном ударе против России". Вот и мы будем действовать точно так же: я по-прежнему буду нести все, что только в голову взбредет, не неся за свои слова никакой ответственности, — это же всего лишь пробная запись! (Боюсь только, как бы после всех опусов в жанре "прошу слова", "реплика с места", "протокол" да "глас народа" нас не захлестнула теперь по моим стопам лавина текстов под рубрикой "Пробная запись". Да уже и сейчас небось, если по сусекам поскрести, наберется пяток автобиографических романов с таким названием.) Но поверьте, прошу вас: ни за что в жизни я не стал бы так подробно рассусоливать каждую мелочь, — но иначе нельзя, сами увидите. О нет, я вовсе не чешу языком почем зря — я с предельной сосредоточенностью отвечаю на поставленный вами вопрос. Ни на миг не упуская из виду конечной цели; и то, что поначалу покажется вам полной ерундой, в дальнейшем, вот увидите, еще обретет свой глубокий смысл. Ибо той ночью как-то вдруг все сошлось воедино. Да, конечно, это был я — только кто такой был этот я? Короче, ясности ради, чтобы уж сразу ввести вас в самую суть моего повествования: я как раз спасался бегством от собственного причиндала, когда на пути у меня ни с того ни с сего вдруг встала та самая Стена...

Что такое? Ах, вы уже меняете кассету?

Кассета вторая:
Последний пловец на мелководье

Я и в самом деле появился на свет в результате экстренных родов, их еще называют уличными, на столе гостиничного номера в Брунне, в предместье фогтландского городишки Ауэрбах, "при отсутствии медицинского персонала" (по выражению моего зануды папаши, что означает, попростому говоря, "без акушерки"). Но проживали мои родители в то время в Берлине, в старой развалюхе на Пфарштрассе (район Лихтенберг), откуда переехали, когда мне исполнилось четыре, в восемнадцатиэтажную новостройку рядом со станцией подземки "Магдаленештрассе", аккурат напротив министерства государственной безопасности. Район называется "Франкфуртер аллее — Юг". Нет-нет, не подумайте, будто сразу после переезда у меня возникло сколько-нибудь осознанное мнение по поводу нашего нового места жительства; вот лифт в доме увлекал меня необычайно, это я хорошо помню. В детский сад меня не водили; счастливец, я сидел дома, возился с цветными карандашами, неизменно приводя своими рисунками в восхищение мамочку — от радости она

смеялась, она буквально сияла, она *хвалила меня* и, когда вечером с работы возвращался отец, не скупясь на восторги, показывала ему мои "изобразительные работы". Его, правда, мои "изобразительные работы" ничуть не интересовали, и меня не покидало чувство, что он ждет от меня чего-то совсем другого. Всегдашняя отцовская угрюмость объяснялась, по-видимому, все-таки его работой — ведь он был *во внешней торговле*, то есть, как я себе это более чем конкретно представлял, торговал чем-то, причем не внутри, а снаружи, — значит, работал кем-то вроде уличного торговца. Ясное дело, подобная работа казалась мне самой изуверской из всех на свете работ, — однажды на рождественском базаре я увидал, как вконец продрогший продавец сахарной ваты тщетно пытается согреть коченеющие руки бумажным стаканчиком с чаем. Жуткое зрелище. Оно навсегда убедило меня в том, что от внешних торговцев бесполезно ждать хорошего настроения — ибо тернист их путь и полон лишений. Пока я в холе и в тепле занят своими "изобразительными работами", родному отцу приходится, клацая зубами, топтаться на улице, мокнуть под дождем — а я, идиот бесчувственный, еще удивляюсь, отчего это он вечером никогда не придет домой милым, как в кино, отцом семейства, не спросит ласково: "Привет-привет, и что же наш маленький индеец сегодня нарисовал?" У меня, прилежного слушателя грампластинок с записями самых разных сказок, наоборот, всегда стояла перед глазами судьба малюток Хензеля и Гретель: несмотря на все усилия их родителя, который, как и мой отец, тоже тяжким трудом добывал семье на пропитание, их, бедняжек, отправили в дремучий лес. Поэтому, услышав однажды, как матушка кому-то говорит по телефону: *Вообще-то мне не хочется отправлять Клауса в детский сад*, я пришел в неимоверный ужас, заподозрив, что в наше время малышей тоже изгоняют, только не в лес, а в *детский сад*.

Не могу сказать с уверенностью, было ли в моем детстве событие, *оставившее отпечаток на всю жизнь*, а вот самое яркое воспоминание детства назову сразу: это когда мой отец подрался. А если уж говорить всю правду начистоту: он подрался *из-за меня*. Нет, вы только попытайтесь себе такое вообразить: мой папенька, во всем такой чинный и правильный, *дерется как последний хулиган*, хотя любому ребенку известно — драться нехорошо. А дело было так. Однажды после обеда отец повел меня на открытие новой детской площадки, где я тотчас же взгромоздился на качели, а какая-то девочка возьми и побеги прямо под них; ну как остановишься, если качели вниз несутся, — я вместе с качелями ее и сшиб. И тут чужой дядя, наверное отец этой девчонки, ка-ак подскочит ко мне, ка-ак ухватит за шиворот и ка-ак давай трясти, но мой отец сразу же подбежал и вырвал меня из рук того дяди. Ну и пошло-поехало. Прямо-таки настоящая потасовка. Оба, схватившись за грудки и тяжело сопя, испепеляли друг друга взглядами. Я сразу почувствовал: тут не до шуток, тут в ход пошла грубая мужская сила, тут дело очень *серьезное*. Они топтались в песочнице, пихая друг друга с искаженными яростью физиономиями, — таким я отца никогда еще не видел. Мне даже стало за него страшно. А потом тот, другой отец подставил моему папе подножку. И папа шлепнулся. А чужой отец вдобавок обсыпал его песком, поддев песок носком ботинка. И тогда мой папа как встанет, как отряхнется — ну и говорит мне: "Пошли". И мы пошли домой. И всю дорогу молчали. Я не хотел, чтобы так получилось! Ему и так тяжко приходится — попробуй-ка поторгуй весь день на улице! — а сейчас из-за меня его еще и в пе-

сок повалили! И вдобавок песком обсыпали! Теперь-то, наверно, меня уж точно в детский сад отправят...

К сожалению, я и мамочку свою, было дело, тоже поставил в крайне неловкое положение, когда ей пришлось меня выручать, пренебрегая всеми правилами приличий. Историю эту я слышал так часто, что сегодня уже не возьмусь сказать, что запомнил сам, а что знаю по родительским рассказам. Мне пять лет, и я обтрескался клубники — исключительно и только потому, что мамочка во время воскресной прогулки за город совсем по дешевке прикупила на обочине у шоссе три корзиночки клубники, каковые и запихала в багажник нашего "вартбурга". Там нежные ягоды — дорога туда, дорога обратно плюс летняя жара и тряская булыжная мостовая — превратились в форменную кашу, которую мне в жизни не забыть (это и по сей день единственная моя ассоциация со словом "биомасса"). Сахару, чтобы приготовить из этого месива конфитюр, в доме не нашлось, — точно, никакая это не воскресная поездка, дело было в субботу, а значит, и на следующий день сахару тоже достать было негде, магазины-то с субботы после обеда до понедельника закрыты, в итоге нам ничего не оставалось, как — "по первому побуждению" — всю эту клубнику вмиг слопать. (Ну разве не прелесть? Вот до чего мы непосредственные! Путаем субботы с воскресеньем, выезжаем когда вздумается на воскресные прогулки, а когда другого выхода нет, лопаем клубнику, пока из ушей не полезет.) К ночи у меня зудело и чесалось все, что можно и нельзя, и ни о каком сне не могло быть и речи. Мама, поначалу осмотрев и меня, и мою кроватку на предмет паразитов, поставила диагноз: крапивная лихорадка, то бишь аллергия на растения семейства пасленовых, к коим принадлежит и клубника. После чего позвонила в "Скорую помощь", дабы осведомиться, располагают ли там достаточным количеством соответствующей сыворотки. Отец мой под вечер с устатку принял на грудь винца, что — я ведь упоминал, какой он у нас правильный? — юридически лишило его возможности отвезти нас на машине в больницу. Мама погрузила меня в такси и, как всегда, принялась *предостерегать:*

– Нет, Клаус, я запрещаю тебе чесаться, терпи, будь хорошим мальчиком, если будешь расчесывать, легче не станет, только хуже сделаешь, в расчесанные места попадут микроорганизмы, это вызовет воспаление, так что стисни зубы и думай о чем-нибудь приятном, скоро все пройдет...

Я так истошно завывал, что даже таксист не выдержал:

— Да позвольте вы парню почесаться.

О-о, как она его осадила: ей, мол, лучше знать, что надо делать, в конце концов она здесь врач, в отличие от некоторых. В ответ таксист дал по тормозам, вырулил на обочину и, остановив машину, отрезал:

— А шофер здесь – я.

И тут вдруг моя мама как заорет:

— Немедленно везите моего мальчика в больницу! Его надо спасать!

Вот оно — ключевое событие моего детства по материнской линии: да́, мама закричала, но лишь когда ее мальчика — то бишь меня! — потребовалось *спасать!* Именно так! Я свидетель! Когда речь шла о спасении ее мальчика, она готова была утратить хорошие манеры, самообладание, благопристойность — словом, *всё!* О, этот пронзительный крик, от которого у меня и сейчас мурашки бегут по коже: *Немедленно везите моего мальчика в больницу! Его надо спасать!* Вопль отчаявшейся матери — в наши дни где еще такое услышишь? В Сицилии? В кино, в душераздирающей мелодраме? Да и на ее материнскую самоотверженность (чтобы не сказать —

жертвенность), оказалось, можно было положиться: когда в девятнадцать лет мне на полтора месяца загипсовали обе руки, она взяла на себя ответственную гигиеническую процедуру подтирания мне задницы. Именно так, черт подери! Да, я себя чувствовал аки беспомощный младенец, — но что бы, скажите на милость, я делал *без нее?* Что, прикажете всякий раз лезть под душ и подтираться пяткой, аккуратно укладывая на нее тряпочку? Специальный станок соорудить? Нет, правда, как обходиться, когда обе руки у тебя по самые плечи в гипсе? Положение глупее некуда, но моя мамочка и тут проявляла неизменное чувство такта.

— Подумаешь, что тут такого? — приговаривала она. — Без этого ведь нельзя. — Или: — Но ведь я же твоя мать!

Видели бы вы, *как* она это исполняла! Мне надлежало всякий раз со спущенными штанами выходить в коридор, где хватало места нам обоим. Там, в коридоре, опустившись на пол, сперва на спину, потом перевернувшись на живот, я выпячивал к ней пятую точку, и она подтирала мне задницу — с той же тщательностью, с какой, должно быть, подтирала свою.

О, мистер Китцельштайн, неужели я так никогда и не смогу говорить о своей мамочке без чувства всепоглощающей и покаянной благодарности? Да и как сбросить со счетов тот факт, что *ради меня* ей пришлось прервать высшее медицинское образование, поставив крест на своей карьере врача. Хотя сама она о том никогда ни словом, ни намеком не упомянет, ни-ни — такие жертвы она приносит молча. (Если не считать оговорок, которые у нее и по сей день нет-нет да и проскакивают: "Клаус такой обуза... то есть, такой обязательный".) Лишь на десятом году жизни я сподобился осознать, что именно *я* и никто другой стал помехой на ее пути к ученой степени доктора. А ведь работа была ее единственной *радостью,* ее страстью: инспектор санитарно-гигиенического контроля района Лихтенберг — у нее была и специальность, и подконтрольный район, и белый халат, и свой кабинет, и телефон, и полдюжины ассистенток, и великое множество важных дел... Да что там *инспектор*... Она была *богиней* санитарии и гигиены. Что только она ни проверяла — вокзальные туалеты и кафе-закусочные, хладокомбинаты и бассейны, продовольственные магазины и заводские душевые. Ее знал весь Лихтенберг — пожалуй, даже больше, чем главу районного муниципалитета, а уж каким букетом достоинств наделяла ее подобострастная молва подконтрольных товарищей — такого набора удостаиваются разве что героини многосерийных телефильмов: компетентность! трудовой энтузиазм! неподкупность! принципиальность! А какого шороху она навела, добившись закрытия Дома Альфреда Брема, тропической оранжереи берлинского зоопарка — на целых четырнадцать месяцев! — и обязав дирекцию принять меры по защите посетителей от летящего на их головы птичьего помета. Кстати, однажды мне посчастливилось наблюдать родную мамочку при исполнении ею служебных обязанностей. Ну что сказать — она была само совершенство! Поколения и поколения инспекторов санитарно-гигиенического контроля еще долго будут брать с нее пример!

Нет, мистер Китцельштайн! Так у нас дело не пойдет! Неужто я так никогда и не научусь говорить о собственной матери, не ударяясь тотчас же в дифирамбы? Воздавать ей должное, не впадая в панегирик? Что? Ирония из меня так и прет? Ну хорошо, вы меня успокоили.

Так вот, если папаша мой полная вонючка, а мамулечка — полная ему противоположность, то логика, равно как и сыновние чувства, подсказывает мне, что мамочка у меня, значит, наверное, все-таки *хорошая.* Вы

слышите: ХОРОШАЯ! Впрочем, боюсь, сейчас придется взглянуть фактам в глаза и рассказать историю о том, как я обожествил вот это вот самое — меньшее из двух зол. А что еще оставалось, как не сотворить из матери своей полную противоположность отца своего? Эх, только без толку все это... *Нельзя же так огульно все очернять, было у нас и хорошее* — избитая эта присказка у героев вроде нас всегда наготове: стóит нашему брату очередной раз облажаться, как она уже тут как тут. И здесь то же самое: ведь можно, наверняка можно и про мою мамочку сказать хоть что-то неповторимо хорошее. Если уж я совсем ни единого шанса ей не оставляю, надо хотя бы для приличия сделать вид, что это не так.

Ладно, сейчас посмотрим, удастся ли мне, имея в виду мамочку, без всяких "но" и "если" назвать три безусловно хороших качества или припомнить три безусловно положительных эпизода. Договорились? *Итак, три.* Погодите, дайте сперва сосредоточиться и настроиться на самое восторженное обожание, чтобы уж потом со спокойной нечистой совестью за нее и приняться. Да-да, мне скрывать нечего, пусть все знают: неблагодарный сын поливает грязью собственных предков да еще и гордится этим до невозможности! Ладно, как уже сказано, мне посчастливилось наблюдать, как моя мамочка, живьем и во плоти, исполняла свой служебный долг, я тогда во второй класс ходил, и вот прямо посреди урока открывается дверь, и на пороге возникают две женщины — все в белом, ну прямо как ангелы. И одна из них — моя мама! Словно добрая сказочная фея, она впорхнула и, встав у доски, принялась рассказывать нам, что есть существа, мелкие, но очень вредные, называются они *вши,* от их укусов все тело зудит и чешется, они прячутся у некоторых детей в волосах и откладывают там яйца, совсем-совсем крошечные. Но нашему классу повезло: сегодня она специально к нам пришла, чтобы у всех головки осмотреть и проверить, нет ли у кого этих самых вшей. Бояться не надо, больно не будет — она хоть и доктор, но уколов никому не делает. Сладким голосом сказочницы — а какой же ребенок не любит, когда ему сказки рассказывают? — приговаривая, что если у кого и завелись вши, то он тут совершенно не виноват, такое с каждым может случиться, поэтому и смеяться ни над кем не будем, а если кто вдруг вздумает смеяться и дразниться, он этим лишь покажет, какой он еще маленький и несмышленый. Если у кого-то вшей обнаружат, не надо от него отсаживаться и играть с ним можно будет точно так же, как и раньше. Мы его сегодня же и вылечим — это совершенно не больно, "просто вымоем головку нашим особым секретным снадобьем". Само собой, после таких слов каждому просто до смерти захотелось, чтобы вшей обнаружили именно у него. Потому как восьмилетнего человечка если что и способно взволновать сильнее, чем секретное снадобье, то только сундук с сокровищами или карта зарытых кладов. Дело за малым — лишь бы вши нашлись! У кого обнаружатся таинственные вредители, тот, пройдя испытание секретным рецептом, на следующий день станет героем, познавшим неведомые тайны. Мы повскакали с парт и гурьбой бросились к моей маме и ее помощнице, с нетерпением подставляя им головы: "У меня есть?" — "А у меня?" — "Может, у меня?" Моя мама с мягкой улыбкой остановила всю нашу ораву, попросила всех рассесться по местам и начала осмотр, подвергнув оному, кстати, также и учительницу. Увы, достойных секретного рецепта среди нас не обнаружилось, зато *лично* для каждого во время проверки у моей мамы нашлось *доброе слово*: "Какая у тебя заколка красивая", или: "Где это ты такую огромную шишку набил?",

или, заглянув в тетрадь, шепотом на ухо: "Ты и правда считаешь, что пятнадцать минус шесть будет восемь?"

Все завидовали, что у меня такая добрая и умная мама, вон, ее все слушаются, хотя она совсем нестрогая; таинственная обладательница секретных рецептов, лечит без боли и без уколов; да такого доктора во всей округе днем с огнем не сыскать! У меня такая мама, что я уже сам себе завидовал! Нет, после того ее коронного выхода я, честно признаюсь, до сих пор далек от мысли, что вшивость — штука постыдная.

Тут надобно заметить, что еще одно бесподобное качество моей мамочки, действительно заслуживающее признания, — это ее *искусство входить в помещения.* Нет, кроме смеха: тут ей и вправду не было равных. Всякий раз это был поистине королевский выход. Вначале она мягко надавливала дверную ручку, грациозно всем туловищем слегка подаваясь к открываемой двери. Только после этого дверь чуть приоткрывалась, и в проеме возникало ее лицо, исполненное радостного, но не суетного любопытства, будто перед ней стол, полный рождественских подарков. Дальше она позволяла себе паузу секунды на две, чтобы обвести взглядом комнату, и лишь потом, *озарившись улыбкой,* отворяла дверь пошире, чтобы войти. *Бесподобно!* Именно таким манером она каждое утро входила в мою комнату. Именно так она вошла в наш класс, чтобы проверить всех на вшивость. Именно так она входила в любое помещение. Нет, честно: она могла бы сделать это своей профессией, до того здорово у нее получалось. Могла бы давать в газетах объявления: *Войду в ваши помещения. Опл. по договоренн.* Отец же, наоборот, любую дверь распахивал, словно рвался заложников освобождать. Трах, бах! — вот он я! Всякий раз, когда он вечером возвращался с работы, невозможно было понять, отпер он дверь ключом или просто вышиб ногой. Зато мамочка... Да как вообще язык поворачивается охаивать человека, который так *изумительно* входит в помещения! Да я не сто́ю слюны тех плевков, которыми — вне всякого сомнения — должен быть заплеван!

Наконец, в-третьих, она умела — кстати, вы что, и вправду считали, что мне слабо́ *троекратно* превознести ее до небес? Ну так вот, в-третьих, она обладала даром — иногда, не часто, лишь изредка, но все-таки — изложить самую суть дела в чеканной формулировке, с простотой и ясностью, каких едва ли ждешь от человека, внешне настолько задерганного и измочаленного, как моя мамочка. Вот как она отразила дух современной эпохи всего лишь пару недель назад: по телевизору крутили очередное ток-шоу, и она вдруг со вздохом припечатала: "Ни одного человека не осталось хоть с одной мыслью в голове..." После чего решительно выключила телевизор. У нее, кстати, хватило идейной смелости обозвать телезрителей *тупо глазеющим сбродом.* А в другой раз изречь, что эгоизм — самый коварный враг свободы; мне понадобились годы, чтобы постичь всю глубину этого вскользь брошенного замечания, — в конце концов я даже согласился включить его в свой личный архив "Тысяча Мудрых Мыслей". О, мистер Китцельштайн! *Все,* что бы моя мать ни изрекла, было продиктовано ее принципами. Понимаете: *принципами!* Если уж стоит произносить вслух какие-то вещи, то только принципиальные. И уж тут она не знала пощады — слова забивала, словно гвозди. Три слова-гвоздя, которые она взяла бы с собой и на необитаемый остров, звучат вот как: БУДЕТ! ТОЛЬКО! ТАК! Хорошо помню, как она начинала свой крестовый поход против джинсов.

— Не понимаю, какой такой шик ты в них находишь? Рано или поздно разовьется варикозное расширение вен, вот тебе и весь шик. Брюки должны сидеть свободно, ничего не обтягивать и не облегать. И никакой хлопок тут не поможет, ибо происходит потоотделение. Если кожа не будет проветриваться, на ней появятся пятна. Не говоря уж о запахе. Не понимаю, как можно втискивать себя в брюки, в которых ни охнуть, ни вздохнуть! Как прикажете в таком панцире функционировать кишечнику? А уж мужчинам тем более. Они же просто себя увечат. Проводились исследования.

Кстати, вы знаете, почему США проиграли войну во Вьетнаме? Да как же выигрывать войну армией, состоящей сплошь из *джинсовых инвалидов*? А уж как доставалось от нее ребятам, что щеголяли наколками! Или футболистам.

— Взрослые люди. Им что, больше нечем заняться, кроме как мяч ногами лупить? Не понимаю...

И уж вовсе безмерное омерзение вызывали у нее люди нечистоплотные. Слова: "Он-не-мыл-ся..." — она отчеканивала с таким неподдельным возмущением, с таким пронзительным накалом в голосе, что всех просто захлестывала волна сострадания — и все только потому, что ей повстречался прохожий, который, страшно подумать, *не-мыл-ся!*

— По-моему, в наши дни окружающие вправе ожидать, чтобы человек купил себе кусок мыла и содержал в чистоте если не все, то хотя бы самое необходимое!

Ну что на это возразишь?!

Схожим боевым кличем предварялись и все ее боевые действия за неукоснительное соблюдение гигиены в нашей семье: "Кажется, любой вправе ожидать, чтобы..." или: "Я ведь не требую ничего невозможного, но..." Исключительно благодаря ее упорству мы исхитрялись уберечь нашу квартиру от мерзости полного запустения, вооружаясь *запасным пылесосом*, когда *основной пылесос*, тысячесотваттный монстр, вдруг выходил из строя. А с каким воинственным пылом она везде и всюду преследовала микробов! Любая щелка в ванной или на кухне немедленно заделывалась ("купировалась"), дабы в ней не "угнездились микробы" и не "завелись бактерии". Пообедать в ресторане было немыслимо, ибо при ее неизбежном комментарии — "А уж что там у них на кухне творится, даже думать не хочу" — аппетит пропадал мгновенно. Достаточно рано и досконально усвоив, что такое "асептический тампон", "пути инфицирования", "сепсис", "бациллы", "обеззараживающий раствор", я уже вскоре хорошо осознавал, сколь рискованным предприятием было мое рождение на столе гостиничного номера, да ночью, в летнее время, в деревне, среди полчищ мух: "Страшно вообразить, на чем они только что сидели!" При мысли об этих роди́нах мне всякий раз становится не по себе: выходит, я, кто и так-то "никогда потерпеть не может, приспичило ему, видите ли!", своей торопливостью поставил мамочку на самую грань того, о чем — "нет-нет, лучше даже не думать". Не успел еще толком на свет появиться, а родную мать, можно сказать, уже чуть не угробил. А она, невзирая на такое мое к ней отношение, даже после этого не пошла работать, прервала свое высшее медицинское образование, спасла меня от детского сада, дабы утирать мне носик, когда бы из него́ ни потекло. Да разве я всего этого стою?

Что бы я был без нее? Вспомнить хотя бы мой "первый раз в первый класс": всех детей привели в актовый зал и усадили на первые ряды; благостные родители расположились сзади. Ну, тут я впервые осознал, какая редкостная у меня фамилия. Учительница, что распределяла нас по клас-

сам и запросто зачитывала все фамилии по списку – а чтение было тогда в моих глазах способностью почти сверхчеловеческой, – вдруг запнулась. "Клаус У-у... У-уль... Ульчль..." – мучилась она, а мне и невдомек, что это меня выкликают, откуда мне знать, что именно мою фамилию произнести труднее, чем все остальные, вместе взятые, – ну я и сижу себе пень пнем. Учительница подошла к директору, вдвоем они склонились над списком и с трудом изобразили нечто *весьма отдаленно смахивающее* на "Клаус Ультцшт!" – а я все сидел, пока не услышал голос матери, негромко окликнувшей с заднего ряда: "Клаус, это тебя вызывают". Только тут я встал и вышел вперед; ясное дело, без мамочки я так и остался бы сидеть невостребованным, ни в какую школу меня бы не приняли и я бы промыкался всю жизнь неучем. Только вот почему учительница всех других детей знала по фамилии, а меня нет? Не иначе они – это одно, а я – совсем другое. Остальные наверняка всё детсадовские дети, сплошь беспризорники, их без разбора вызывать можно, такие на любую фамилию откликаются. Нет-нет, в самом деле: спроси меня в ту пору, уж не считаю ли я всех, кто обитает за стенами нашей квартиры, распоследним сбродом, шпаной из подворотни, а себя чем-то особенным, я, само собой, ответил бы утвердительно. (В глубине души я и по сей день непоколебим в этой мысли.) Укрепляло меня в таком убеждении вот что: те дети разговаривали на каком-то другом, совершенно непонятном мне языке. Прежде пуще глаза оберегаемый от тлетворного влияния улицы, я разом очутился в самом горниле забористого берлинского наречия. Там, откуда я приходил в школу, изъяснялись исключительно на литературном немецком. А здесь? Я только смущенно мялся, ровным счетом ничего не понимая. Я заранее впадал в оторопь, когда на переменке ко мне подходил кто-нибудь из одноклассников и, пробубнив: "*Ты-мине-там-лубаху-отляхни-с-заду-а-то-маманька-опять-залугается!*", вдруг поворачивался ко мне задом.

Что? Как? Бормочет не поймешь что, но вроде бы вовсе не враждебно, – и тут же отворачивается. Не иначе это какой-то совершенно незнакомый мне ритуал. И лишь когда собеседник, постояв ко мне задом, завершил загадочную сцену раздраженным *Засланец!*, меня осенило. Наконец-то я понял, что к чему! Хотя меня никто вроде бы никуда не засылал. И родителей моих... А вдруг это как-то связано с отцовским внешним филиалом? Неужто даже в нашей школе это всем известно?

И о таких вот происшествиях я обязан был давать отчет за ужином, на семейном форуме, посвященном *событиям минувшего дня*, раз уж мы, как это водится в приличных семьях, каждый вечер непременно ужинали вместе. У отца была привычка не говоря ни слова бросать мне на тарелку ломоть хлеба, так что мне, выслушав еще и присказку матери "*Ты ведь хочешь стать большим и сильным, не так ли?*", только и оставалось, что намазать его маслом и съесть. В конце концов я вообще перестал брать хлеб сам – не поможет, все равно еще один, отцовский кусок обязательно впихнут. А после того как я однажды по неосторожности забыл скроить протестующую мину, он мне еще и второй кусок стал подбрасывать. Одно время я всерьез побаивался за нашими ужинами отдать концы. Вы что, не слыхали о *симптомах булемии*? Как, у вас не было мамочки, которая время от времени читала вам вслух *Медицинский энциклопедический словарь*? Так вот, у нас в гортани есть нервный узел, способный при чрезмерном расширении пищевода вызвать рефлекторную остановку сердца, так что в строгом понимании – а понимание моей матушки всегда было самым что ни на есть строгим – каждый проглатываемый челове-

ком кусок, в сущности, опасен для жизни. Выходит, родимый папаша желал мне погибели, заставляя меня съедать больше, чем мне хотелось? Нет-нет, вы, пожалуйста, не смейтесь! Мне же было всего семь или восемь, как раз такой возраст, когда вполне позволительно бояться даже привидений и грозы, а уж летальный исход от симптомов булемии я воспринимал как дело верное и самое что ни на есть будничное, вроде обыкновенного убийства или, к примеру, смерти от заражения крови по причине занозы. Страх смерти, надо сказать, заметно усиливался оттого, что у меня буквально кусок не лез в горло, во рту было сухо и мне постоянно приходилось, давясь, заглатывать едва пережеванные *комки*, а уж они-то наверняка расширяли пищевод, усугубляя опасность летального исхода. А во рту у меня пересыхало, поскольку за ужином меня каждый вечер вынуждали держать ответ и бесконечно оправдываться, любую секунду норовя при этом еще и поймать на слове, что с неизбежностью влекло за собой заглатывание пищи комками. Комками! Когда всякое расширение пищевода могло привести к скоропостижной смерти! Однажды, когда я до ужина посмотрел по телику детектив, этакую судебную драму, а потом мы всем семейством сели за стол, я даже перехода не заметил! За нашим семейным столом разыгрывались точь-в-точь те же сцены, что и в американском суде присяжных! Я, подсудимый, сидел напротив предков, которые были и прокурорами, и судьями, и свидетелями, и двенадцатью присяжными, вместе взятыми. Иногда, впрочем, мамочка давала показания в мою пользу; случалось, отец или мать отказывались от предъявленного обвинения; изредка дело заканчивалось даже оправдательным приговором — но я-то неизменно пребывал на скамье подсудимых и надо мною всегда витала угроза смерти. Со мной напрямую папаша почти никогда не разговаривал, все больше через мамочку, поэтому в каждом судебном разбирательстве я фигурировал исключительно в третьем лице, как *он*, — про то, что он по имени меня не называл, я уже говорил или нет еще?

— Значит, так, — возвещал он, выставив столовый нож острием вверх и обводя взглядом собравшихся, чем обыкновенно открывалось судебное заседание. — Кто сегодня опять забыл запереть входную дверь на ключ?

Ну я, кто же еще. В конце концов дошло до того, что все свои прегрешения я воображал себе в виде объявлений о розыске преступника: *За злостное незапирание входных дверей родительского жилища! Живым или мертвым!*

На это мамочка, взывая к состраданию:

— Но, Эберхард...

Он, непреклонно:

— Сколько раз ты ему повторяла...

Она:

— Но он же не нарочно...

Он:

— Как будто это снимает с него...

Она:

— Он больше не будет...

Он:

— Сколько раз он уже обещал...

О нет, мистер Китцельштайн, возмездие никогда не настигало меня *просто так* — сперва оно становилось предметом дискуссии. Совершенно открытой и даже в моем собственном присутствии! Да еще какой принци-

пиальной! Развернутой! Какой там произвол?! При такой-то непредвзятости мне ничего иного и не оставалось, кроме как проникнуться их обвинениями до глубины души! Тем более в таком серьезном деле, как запирание квартиры на ключ. Ведь домушники не дремлют! Эти небритые мужики в масках, с фонариками и огромными связками ключей в руках только и думают, где бы стырить золотые подсвечники! Они и сами-то по себе страшные, но еще страшнее то, что они *вламываются* в чужие квартиры, хотя кражи со взломом запрещены законом! Что же это за нелюди такие — их даже законы не останавливают?! Я вон — стоит только *увидеть* табличку с каким-нибудь запретом, и то уже трясусь. Экзамены на водительские права трижды проваливал: мелькнет вдалеке знак "Въезд воспрещен" — у меня паника, я в полном отрубе. А когда мамочка, вдохновленная предостерегающим плакатом "Родители несут ответственность за своих детей!" (ну, это в смысле презервативов), принялась живописать мне опасности "случайных связей" (это в смысле с кем-нибудь наскоро перепихнуться), я настолько ее объяснениями проникся, что у меня года четыре все на полшестого висело. Если случается вдруг пойти через дорогу на красный, я прямо спиной чувствую: вот сейчас, сию секунду, меня снимет снайпер! Нет, никто не посмеет сказать, что я не трепещу перед законом! А вот эти взломщики-домушники мало того, что ведут преступную жизнь, попирают закон, так у них, наверное, — надо быть готовым к самому худшему — еще и все тело *в наколках*! И человек, забывающий, как я, запереть на ключ дверь своей собственной квартиры, считай что сам зазывает к себе в дом всех этих подонков! Единственная надежда — мрачное каре напротив, здание министерства государственной безопасности. Где ж еще во всем государстве жить безопаснее, как не напротив министерства государственной безопасности? Кроха-несмышленыш, я боялся всякого "злого дяди", одно было утешение: живу я не в дремучем лесу, а — счастье-то какое! — рукой подать от министерства, которое только о том и печется, чтобы в государстве была безопасность. В крайнем случае крикну "Помогите!" — и государственная безопасность меня услышит и обязательно поможет. Прошли годы, прежде чем я стал думать иначе, но поначалу-то я действительно обожествлял нашу ГБ, нашу штази, великого защитника без имени и лица. В страхе перед квартирными ворами я и сам считал непростительным грехом не запирать дверь на ключ. А поскольку я и сам считал свой грех непростительным, то и наказаниям я подвергался исключительно заслуженным и справедливым. Впрочем, наказание всегда было только одно: мне надлежало целый час просидеть на стуле посреди комнаты, размышляя о том, в чем провинился. Исключение было сделано лишь однажды: когда вернулся домой позже положенного часа, мне вдруг не открыли дверь, и я двадцать минут проторчал на лестничной площадке (конечно же, размышляя о своей провинности). О чем вы говорите, разумеется, меня никогда не били, на меня даже голоса ни разу не повысили, и даже когда наказание ожидало меня неминуемо, родители — как на взаправдашнем суде присяжных — сперва должны были вынести единогласный приговор, что отнюдь не всегда такое уж простое дело.

Она:

— Ну, нельзя же всегда так строго...

Он:

— Ты хочешь, чтобы мы вечно закрывали глаза...

Она:

— Но если он твердо обещает...

Он:

— Значит, пусть отделается мягким наказанием...

Не будь меня, они вообще жили бы душа в душу́, совет да любовь. Наверное, я и вырямь был "неисправимым упрямцем", который "даже не осознает, какие прекрасные условия ему созданы", а, напротив, "доставляет родителям одни огорчения", "не желает слушать, что ему говорят", "считает себя умнее всех" и "никогда не может потерпеть, если ему, видите ли, присличит".

Ну разве можно назвать моего отца склочником? Разве он не в своем праве, когда настаивает, чтобы квартира запиралась на ключ? Разве не желает он мне только добра? В конце концов — я же сам видел! — он даже подрался из-за меня! Разве может такой отец быть плохим? Наверное, я просто его недооцениваю? Или это он не умеет по-настоящему проявить себя и свою ко мне любовь? В его-то душе, какая, должно быть, трагедия разыгрывается: его, кормильца и заступника, отвергает единственный сын! Нет, сколь бы он ни был мне отвратителен — все равно в глубине души он хороший. Такой вот тягостный конфликт. Любить-то я его любил, а вот терпеть не мог.

О, будь он мне хотя бы безразличен — но нет, он не был мне безразличен. Мистер Китцельштайн, если в своей жизни я на кого-то и смотрел почтительно, снизу вверх, — то лишь на него одного. Отец мой свершал чудеса и знаменья, отчего я проникался к нему все большим благоговением. Вечером, например, из прихожей раздавалось ХРЯСЬ! — и в один миг он уже был тут, дома, словно материализовавшись из глубин четвертого измерения; не то что мамочка — та, отпирая замок, всегда столько с ним возилась, что я успевал вприпрыжку выбежать из своей комнаты ей навстречу. Или когда он сидел перед телевизором, закатав до колен тренировочные штаны и погрузив ступни в тазик с водой. Это чтобы от ног не пахло, узнал я с трепетом. Какое могущество! Он в силах заставить обычную водопроводную воду изгонять запах от ног! В моих глазах он рос день ото дня. Когда я вырасту и стану большим, как он, я тоже смогу вот так же, одним махом, дверь открывать? И колдовать над устранением запаха от ног? А еще — как только ему это удается? — он каждое утро сбривает щетину, а у него все время отрастает новая! А еще — *он машину водит*: мало того что он запросто дотягивается ногами до педалей, так он еще, похоже, даже знает, когда на какую нажимать! Всякий раз, когда требовалось затормозить, машина и вправду останавливалась, и, сколько я мог судить, именно он был тому причиной! Машина повиновалась его воле! И вообще — как восхитительно он умел делать несколько вещей сразу! К примеру, *спать* и в то же самое время — *храпеть!* В то время как мне, чтобы высморкаться, приходилось совать носик в бумажную салфетку, которую мне тыкала в лицо матушка со словами: "Давай-ка, прочисти нос!", он совершенно самостоятельно пускал в ход матерчатый носовой платок размерами со среднюю наволочку. Нет-нет, не могу дольше об этом молчать! Итак: как мой отец прочищал нос! Он разворачивал платок, тщательно расправлял его на обеих ладонях, потом погружал в него свой нос, после чего начинал издавать некие звуки — вообще-то эти сопутствующие процессу акустические явления следовало бы назвать *рычанием* в платок — только вот можно ли рычать носом? Ну да все равно. Он трепал себя за нос, дергал его, будто вот-вот оторвет напрочь, а когда раскатистые рулады наконец стихали, он еще долго платок изучал, рассматривая следы своих усилий и словно читая по ним будущее...

Но даже годы спустя, когда я уже в силах был себе представить, что и мои ноги тоже покроются волосами, этот человек оставался для меня загадкой. Вот вы, к примеру, в состоянии мне объяснить, что творится в душе человека, который, мчась к стоящему на остановке автобусу, все свое внимание сосредоточивает лишь на его дверях? Мамочка — та всегда старалась глазами встретиться со взглядом водителя и, если тот не торопился закрывать двери, войдя, громко говорила: "Большое спасибо!" Отец не благодарил никогда; видимо, полагал, что в очередной раз переломил судьбу исключительно собственными силами. Нет, правда, мне вот только что в голову пришло: я не припомню, чтобы с его уст сорвалась фраза: "Водитель немного подождал", равно как и мамочка никогда не говорила: "Еле-еле на автобус успела". Или он всю жизнь, везде и всюду, чувствовал себя бойцом, в одиночку пробивающимся сквозь дикие джунгли?

Об отце своем я мог бы говорить бесконечно, с одной лишь целью — не сказать самого главного. А именно: что меня он считал полнейшим ничтожеством. Я мог что угодно говорить, чувствовать, желать, думать, писать, требовать, дарить, что угодно *делать*, хоть из шкуры вон вылезти — меня вечно преследовало его безмолвное "*Э-э, куда тебе!*". Какая бы незадача со мной ни приключилась, хоть самая пустячная, всякий раз вспоминаю своего папашу, который мысленно или вслух тянул свое "Э-э, ну, я так и знал...". Он мерил меня таким взглядом, от которого цветы в горшках и те завянут. В любой вшивой гостиничке из-за развешанных не по инструкции огнетушителей он мог бы столько разных слов наговорить, сколько мне, своему сыну, за все 70-е годы не сказал! Ну чего, чего он от меня хотел? Может, вы объясните, мистер Китцельштайн! Вообще, найдется наконец хоть кто-нибудь, кто открыл бы мне эту тайну: каким я должен был стать, что свершить, дабы возникло хоть какое-то подобие отношений между мной и этим папашей, деморализующим собственного отпрыска?! Я перебрал бы все каменья на дне морском, знай я, смей я надеяться, что отыщу там ответ! Чего он ждал от меня? Какие такие тайные надежды на меня возлагал? Почему так напрочь мной не интересовался? *Чем я провинился, что сделал не так?* Безответные эти вопросы давят хуже свинца. И только мысль, что он из-за чего-то мне *завидует*, никогда в голову не приходила.

Во втором и третьем классах мы ходили на занятия по плаванию — о грибковых поражениях кожи я тогда услышал от мамочки больше, чем за всю последующую жизнь, — и суровый тренер разделил нас всех на четыре разряда: непловцы, пловцы на мелководье, полупловцы и просто пловцы. Мне эта классификация вовсе не казалась такой уж остроумной, ибо лично я как был *пловцом на мелководье*, так и остался таковым. Остальные пловцы на мелководье продвигались, делали успехи, постепенно выходили из лягушатника, становясь сперва полупловцами, потом пловцами, — и только у меня никаким продвижением и не пахло. Так что когда отец как-то за ужином, бросив педагогический взгляд на маму, поинтересовался: "Как там у него с плаванием?", мне пришлось честно признаться: "Я — последний пловец в лягушатнике". Оставалось, правда, еще трое непловцов, так что самым худшим я все-таки не был, — но найдется ли хоть что-нибудь постыднее признания, что ты — последний пловец в лягушатнике? Что может сравниться с таким позором? Вы только вслушайтесь. *Я – последний, я – единственный пловец в лягушатнике...* Представим себе судьбу такого горе-пловца из лягушатника, когда идет ко дну посудина вроде "Титаника": с полминутки безнадежно побарахта-

ется в волнах Атлантики, чтобы потом бесславно захлебнуться. Неловцы — те совсем другое дело: зная, какая их ожидает участь, они надевают смокинги, шествуют прямиком в кают-компанию, там, попыхивая сигарами, опустошают бар и, оставив напоследок баснословные чаевые, с бесшабашной улыбкой на устах скрываются в пучине. Тут есть размах! Полуловцы — те, надо думать, продержатся на поверхности, пока не подоспеет помощь. А просто ловцы — те вообще непотопляемые, будут себе плыть, пока не увидят на горизонте землю и не выберутся на сушу. Я что хочу сказать? Есть сибариты, есть бойцы и есть умельцы. А еще — есть ловцы на мелководье. Это такие, которые тужатся-пыжатся — и все зря. И я как раз из таких. Так что неудивительно, что отец меня в грош не ставил. Каково ему будет, когда в обеденный перерыв сослуживцы (к тому времени я уже уразумел, что внешняя торговля и уличная торговля не одно и то же, только вот *международный рынок* все как-то не удавалось себе представить) — каково ему придется, когда сослуживцы между делом поинтересуются успехами его сына в плавательном бассейне? Честный ответ должен гласить: "Он последний ловец в лягушатнике" — только хватит ли у него на это духу? И если не хватит, если из-за меня папочка попадет в такое неловкое положение, что же удивительного, что ему не хочется со мной разговаривать! Вот если бы у меня все получалось в лучшем виде, тогда совсем другое дело. Если бы я дал ему повод гордиться тем, что он мой отец! А так — ну в самом деле, какая радость быть отцом последнего ловца в лягушатнике? Поэтому само собой понятно: как только меня назначили ответственным по стенду на окружную ярмарку "Мастеров завтрашнего дня", я незамедлительно отправился прямиком в министерство внешней торговли, дабы разыскать отца и порадовать его своим столь почетным достижением. Я жаждал признания: я теперь не последний ловец на мелководье, я теперь "Мастер завтрашнего дня", вот я кто! Пусть отец порадуется, пусть положит руку на плечо сына и смело смотрит в глаза сослуживцам — гордый отец достойного "Мастера завтрашнего дня".

Так, мистер Китцельштайн, а теперь, пожалуй, самое время посвятить вас в метафизику моей души, и тут уж никак не обойтись без напоминания: зовут меня Клаус Ультцшт. И этим все сказано. Более подходящей для меня фамилии вообще быть не может. Не фамилия, а сплошное извращение, — такая откровенно ублюдочная, такая недвусмысленно дефективная, что дальше просто ехать некуда. Хотя начинается все уже с имечка, оно одно чего стоит. До сих пор в толк не возьму — как можно *вот этим вот* живого человека называть? Так ладно-складно! И так занудно! С такой дивной рифмой на "страус"! Однажды имел неосторожность высказать матушке претензию — так она потом еще лет пять тыкала меня носом в любую одноименную знаменитость. Не сказать, впрочем, чтобы среди выдающихся людей мои тезки кишмя кишели: Клаус Фельдман, Клаус Манн да Клаус Кински. Впрочем, раз уж сам Томас Манн наградил подобным имечком своего отпрыска, значит, в этом что-то есть.

— *Ну что ты, у тебя очень красивое имя!* — твердила мне мамочка.

Хорошо ей говорить! У самой-то имя — просто класс! У нее — заявляю это безо всякой иронии — самое расчудесное имя, какое только может пожелать себе женщина: *Люси*. Нежное, звучное, на каждом шагу не встречается, но и экзотичностью глаза на колет. Люси. На ее месте я бы целый шкаф набил футболками с надписью: "Ура! Меня зовут Люси!" Это тебе не Клаус... Вот вас Оскаром звать — давайте махнемся? Да лад-

но, я же от чистого сердца... Ну а фамилия вся в папашу: Ультцшт – два звука, без которых его невозможно себе представить: во-первых, стон, когда он узнаёт об очередном моем дебильном проступке – *У-у-у!*, а во-вторых – как вода из его ежевечернего тазика выплескивается на уличный асфальт – *льтцшт*... Впрочем, это еще вполне безобидная ассоциация, сейчас куда хлеще попрет. Ведь *Ультцшт* – это даже не фамилия, это зловещее предзнаменование, *голос рока*, как любит выражаться моя мамочка, когда хочет произвести впечатление. Вы только взгляните на сиротливую гласную, жалобно стонущую под тяжестью всей этой своры согласных. Несчастное *У-у-у* уже изнемогает, а на него наваливаются еще и еще. Ну точь-в-точь как воспитывала меня моя мамочка, неуемная в своих наставлениях и педагогических принципах. А результат сидит теперь перед вами и хнычет. Тут ведь в чем беда: воспитание я принимал за теплоту и заботу, вслед за моей мамочкой. Отец – тот давно поставил на мне крест; матушка – *пока еще нет*. Отец давно махнул на меня рукой, она нет. Пока. А вдруг она изменит свое мнение? Вдруг я чем-нибудь провинюсь и она тоже хочешь не хочешь махнет на меня рукой? Этого я боялся пуще огня, потому-то и стал именно тем, что заложено в моем имени и предполагается им: ведь *Клаус* – это символ моего страстного желания быть хорошим, послушным мальчиком (хоть волком вой, но именно так и было, все мое детство – сплошной синдром послушания!), а *Ультцшт* – всплеск отчаяния, знак того, что я как рыба об лед бился, ну просто из кожи вон лез, лишь бы не разочаровать мамочку.

– Клаус, – сказала она однажды, возникнув на пороге нашей ванной комнаты (точнее, совмещенного санузла), где я только что справил немалую нужду, – ты ничего не замечаешь?

Что она имеет в виду? Что я должен заметить? Неужели опять упустил что-то? Ведь лицо ее, когда она вошла, против обыкновения не сияло улыбкой! Хуже того, это лицо хмурилось. В чем дело? Чем я провинился?

– Ничего не замечаешь? – повторила она и демонстративно потянула носом воздух. – *У нас припахивает!*

Ни-ког-да больше матушке не пришлось предъявлять претензии к запахам моего дерьма, – но чего мне это стоило! Как, скажите на милость, тут стать мужчиной, если даже собственного дерьма всякий раз приходится стыдиться? С того злосчастного дня я смываю за собой немедленно, лишь только булькнет, и всегда при этом с очка вскакиваю – терпеть не могу, когда на меня снизу брызгает. И унитазное сиденье, разумеется, приподнимаю, потому как противно на забрызганное плюхаться. А теперь вообразите себе эту картину: человек (то есть я) в полуприседе, со спущенными штанами, откинувшись назад, манипулирует одновременно крышкой унитаза и рычагом слива у себя за спиной. Вздумай кто меня шантажировать подобными кадрами, я бы любые бабки вымогателям отстегнул. Но это еще цветочки, сейчас пойдут ягодки: дело в том, что я, сам не врубаюсь почему, в каждом сортире, ежели только основной его пользователь не близкий мой приятель, тщательнейшим образом обматываю унитазное сиденье туалетной бумагой. Обматываю всегда. Везде. Никогда не пользуясь одноразовыми подстилочками-кружочками, что предлагаются в самолетах и сортирах поприличней, – ведь они съезжают. Когда естественное отправление завершено, вся бумага тут же обрывается и спускается вслед за остальными выделениями – если унитазный слив с этой задачей вообще справится. О, эти сотни засоренных туалетов на моей жизненной стезе! Но я не могу иначе! Серийный

засоритель! Born to be a[1]... засорителем унитазов! В любую поездку по странам Восточной Европы – даже самую краткосрочную – я непременно везу сколько-то рулонов туалетной бумаги в злостном намерении засорять и тамошние клозеты тоже. Рано или поздно, я знаю, меня повяжут на границе:

– Выйдите из машины. Ваш въезд в страну три дня назад. При себе имелось четыре рулона. Сейчас на выезд ни одного. Где есть бумага?

Ну где ж ей еще быть – в пятнадцати засоренных клозетах, естественно. Да-да, именно *в пятнадцати.* Поскольку малую нужду я тоже справляю сидя, что требует точно таких же предварительных манипуляций. Не справлять же, в самом деле, ее стоя, над очком, *ведь может, боже упаси, мимо пролиться!* Даже в самом зачуханном привокзальном нужнике самого глухого румынского захолустья я веду себя как примерный сын своей матери. К *писсуарам и желобам* близко не подхожу. Стесняюсь. Нет, укрывшись за дверью кабинки, я стоически обматываю сиденье, потом чинно усаживаюсь – и в каждом третьем случае оставляю после себя напрочь забитый унитаз. Нет-нет, меня в чем угодно можно упрекнуть, но только не в том, что я без должной серьезности отнесся к замечанию моей мамочки: *"Припахивает!"*. К величайшему моему облегчению, подобных замечаний мне больше ни разу от нее не доводилось слышать. Потому как, если бы ей пришлось это сделать, прозвучало бы это, вне всякого сомнения, вот как:

– *Клаус, я ведь и правда не требую ничего невозможного, но...*

Ну почему меня всегда разрывало между крайностями?! Почему я был свято убежден, что если не стану гением, то значит, грош мне цена и вековать свой век неудачником? Теперь-то, надеюсь, вы понимаете, с каким воодушевлением воспринял я свое – *Мастера завтрашнего дня!* – появление на обложке самого читаемого в стране журнала? Когда из пловца в лягушатнике, из ничтожества без толку и проку я вдруг стал *лицом с обложки,* Мастером завтрашнего дня и будущим нобелевским лауреатом! Что, однако, отнюдь не уберегло меня от новых бед и обид... Лежа однажды вечером на верхотуре своей двухъярусной койки в палате пионерлагеря, я, затаив дыхание, прислушивался к ночной беседе своих ровесников, двенадцатилетних мальчишек из моего отряда, в коей со всей логической неумолимостью производились выводы из того факта, что за девять месяцев до рождения ребенка должно иметь место его зачатие. Мои товарищи предлагали самые романтические сценарии этого события: *Дивной летней ночью... – В пору цветенья, когда пробуждалась природа, и весенние чувства... – В занесенной снегами хижине, высоко в горах...* – ну и так далее и тому подобное.

Пока остальные ребята предавались самым невероятным фантазиям, я лежал и для начала вообще не мог смириться с мыслью, что мои родители, страшно подумать, – *трахались,* да еще и – *друг с другом*! И хотя подобное просто в голове не укладывалось, я все же пустился в расчеты: август минус девять месяцев – равняется ноябрю. Что у нас в ноябре, двадцатого числа? Ответ мне буквально гаркнули, чтобы не сказать каркнули, да так громко, что даже тринадцатилетние в соседнем корпусе услышали:

– Так это же День поминовения! Да ты – мертвецкое семя!

На следующее утро все ребята из соседнего отряда толпились возле нашего стола, любопытствуя, кто из нас мертвецкое семя? И, разумеется, все опять гаркнули, да еще и пальцем ткнули:

1. Рожденный быть... (*англ.*)

— Да вон он! Вон наше мертвецкое семя!

И вся столовая с большим интересом уставилась на меня! Позор, который по унижабельности (даже если нет такого слова, я его изобрету, мне без него сейчас никак не обойтись), согласитесь, вполне может конкурировать с необходимостью признаться, что ты остался последним пловцом в лягушатнике. Лишь несколько месяцев спустя я вычислил, что номинальное воскресенье действительно выпадает на двадцатое ноября — но только не в год моего зачатия, потому что в шестьдесят седьмом номинальное воскресенье пришлось на двадцать первое число! Только какой прок от самых неопровержимых доказательств, когда удар судьбы тебя уже настиг? Я был уязвлен до глубины души: а вдруг я и вправду мертвецкое семя?

Да что там: сказать "уязвлен до глубины души" — значит вообще ничего не сказать. Мистер Китцельштайн, я бы не стал тем, кто я есть, не отправляй меня родители каждое лето на каникулы в этот пионерлагерь. Ибо что ни год, меня постигало там новое потрясение: всякое столкновение с действительной жизнью оказывалось куда жестче, чем я подозревал. Причем всегда.

Перед первым выездом мне строго-настрого наказывали: чемодан открывать лишь в случае крайней необходимости и только так, чтобы *никто* не увидел, что там лежит. (Этим *"никто!"* мне до такой степени мозги закомпостировали, что я поначалу думал, что и *мне самому* туда заглядывать нельзя.) Вечером накануне отъезда папенька даже не поленился специально меня потренировать: как надо, одной рукой придерживая крышку, другой "нащупывать нужное", причем щель не следует делать и слишком маленькой, дабы "не вызывать излишнего любопытства у других детей". Кроме того, разумеется, я должен был всякий раз запирать чемодан на ключ. Впервые отец уделял мне столько времени и внимания; судя по всему, пионерский лагерь — дело нешуточное. Меня, хочу заметить, нисколько не удивляло, что меня натаскивают, будто три недели мне предстоит провести в компании отпетых воров и мошенников: а как же иначе, жизнь за стенами квартиры полна опасностей, и всякие татуированные воры-домушники, равно как диверсанты, угощающие детей отравленными шоколадками, — это лишь цветочки. С одной стороны, я уже не считал себя малышом, чтобы вечно бегать в обнимку с любимым плюшевым мишкой, с другой — мне жутко было одному выходить в мир, где взломщики, судя по всему, просто кишмя кишат. Брать у незнакомых дядей шоколадку мне запрещалось категорически — "она наверняка отравлена". На улице я каждую секунду боялся попасть под машину. Не говоря уж о гибели от занозы или "вследствие внезапного расширения пищевода".

Впрочем, даже если половину взятых с собой вещей у меня, как предполагалось, могли украсть, то вторую я должен был потерять совершенно самостоятельно. Дело в том, что у меня была репутация редкостного растеряхи. Сколько раз посеянное мною шмотье становилось предметом разбирательства за ужином! Я и вправду терял все, что можно и что нельзя. Включая вещи, до меня считавшиеся абсолютно "нетерябельными". Терял сандалии, которые были у меня на ногах. Терял содержимое ранца, хотя нес его на спине. Один раз потерял изо рта зуб и даже не заметил потери. Так что когда такой вот растяпа уезжает на целых три недели — можно себе представить, каково будет возвращение! Не иначе как наглядной иллюстрацией поговорки "Не было ни шиша, а стало и того меньше". Короче, как уже было сказано, натаскивали меня так, будто готовили не только выжить в схватке с преступным миром, но еще и

свое добро отстоять. Поэтому когда на следующий день меня определили в отряд и я узрел наконец этих так называемых "других детей", моим первейшим чувством была угрюмая подозрительность. От кого тут ждать подвоха? Кто самый отпетый уголовник? Или все хороши?

А потом произошло самое ужасное событие в моей жизни — разлука с матерью.

Она привела меня на место сбора, к автобусам, на которых нас увозили в лагерь. В жизни не задумывался о всяких там слезах расставания, но когда она представила меня вожатой и начала давать той ценные указания, чтобы меня — из-за крапивницы — ни под каким видом не кормили ни помидорами, ни клубникой, когда вручила ей запасной ключ от моего чемодана, когда наклонилась ко мне, чтобы обнять на прощанье, и лицо ее оказалось *так близко* от моего, меня обуял неимоверный ужас: *да что же это творится?!?* Как я буду жить без мамы, без той, которая всегда подскажет и похвалит, защитит и утешит? Что я без нее? Кто не остановится ни перед чем, когда понадобится срочно меня спасать, доставляя в больницу? Ее, ту, что все про меня знает, всю себя мне посвятила, ту, которая все-все-все делала, делает и будет делать для меня и ради меня, — променять на какую-то чужую тетю? Которую я прежде и в глаза не видал? Которой еще только предстоит запомнить — не говорю уж произнести — мою фамилию? О нет, тут парочкой скупых прощальных слезинок никак не отделаться! Я заливался в три ручья, ревел всю дорогу как оглашенный в несбыточной надежде, что шофер не выдержит, смягчится, повернет назад и привезет меня куда положено, то есть к моей маме! Мама! Мамочка! Мы уже приехали в лагерь, а меня все сотрясали рыдания и всхлипы; и лишь когда из виду скрылся последний автобус, я обреченно стих. Боже, где я, с кем я? Совсем один, вокруг — семеро "других детей", из которых каждый наверняка вор и мошенник. И уж конечно *все они — отбившиеся от рук хулиганы*, иначе они любили бы своих матерей и не восприняли бы расставание с ними с таким равнодушием. Я — другой, я совсем не такой, как они! Оглядываясь назад, могу сравнить свои тогдашние чувства с ощущениями утонченного белокожего кутюрье, к тому же еще и гомика до мозга костей, брошенного на ночь в камеру к целой шайке цветных уголовников! Да, при виде всех этих мальчиков мне становилось не по себе. Их разлучили с матерями — а им хоть бы что. Не иначе они еще в детском саду так озверели.

Когда стали разбираться, кому где спать, — а кровати в нашем корпусе были двухэтажные, — разумеется, каждый старался заполучить верхнюю койку. Сперва и мне удалось занять местечко наверху, но едва я на минутку отлучился, как его уже захватил другой мальчишка. Я сказал, что постель моя, а он как ни в чем не бывало: "Нет, моя". Гладенький такой проныра, из тех, кто всегда первым решает, кому в какой команде играть. Так что до "давай стыкнемся" дело не дошло, он сразу предложил решить все "на́ спор": кто дальше пописает, тому и достанется место. Спокойно так предложил, как самую обыкновенную вещь на свете. Я остолбенел: неужто в пионерлагере все спорные вопросы решаются таким же вот образом? Кто дальше пописает, тот садится в автобусе рядом с водителем; кто дальше пописает, тому самый большой кусок дыни... Что ж, коли так, придется принять вызов. Остальные ребята тут же загудели: "Гляди-ка, у этих на́ спор пошло, кто дальше проссыт!" Видимо, я ввязался не в такое уж повседневное соревнование. Слегка беспокоило только то, что я, похоже, единственный, кто не знает правил. Нет ли здесь какого подвоха и так ли все безобидно, как кажется? А вдруг придется тро-

гать *его* руками? Я уже один раз потрогал, в универмаге "Центрум", там матушка отвела меня в детскую комнату, чтобы за мной приглядели, а сама пошла подарки к Рождеству закупать. Меня тут же, непонятно с какой стати, взяла под свою опеку девчонка, ну, может, на год постарше. Мы с ней забрались за огромный ящик с кубиками, где она сказала, что покажет мне *свое*, если и я за это покажу ей *свое*. Невинное дитя, я согласился; тот рекорд не побит до сих пор: меньше двух минут разговора — и мой мужской признак оказался востребованным, больше такого со мной никогда не случалось. Когда мамочка пришла меня забирать и я еще в магазине, конечно, поведал ей обо всем происшедшем, она немедленно повернула обратно и со строгим лицом принялась что-то выговаривать тетеньке воспитательнице. Потом дождалась маму моей новой подружки — и той тоже разнос устроила. А дома за ужином уже мне стала нотацию читать: дескать, я и сам бы мог догадаться, что ничем хорошим мы там не занимались, раз уж для такого дела понадобилось прятаться. И чтобы впредь я не смел позволять втягивать себя в *такие вещи*.

А теперь, что мне делать теперь? *Писать на спор, кто дальше,* — это тоже *такие вещи*? На понятный, ясное дело, уже не пойдешь, но вот как оценить морально-гигиенический аспект данного предприятия? Во что я впутываюсь? Неужто мне так никто и не поможет? За что меня сюда бросили, на кого покинули?

Мой противник по-приятельски сказал "Пошли!" и повел меня на пустырь за нашим корпусом. Остальные ребята ватагой двинулись за нами. Кто-то провел черту носком ботинка. Мой противник спустил штаны. Я — тоже. Плечом к плечу мы встали у линии.

— Готов? — спросил он.

Я ответил:

— Угу.

Он:

— Руками направлять можно или нет?

Я:

— Мне по барабану.

Он:

— Тогда можно.

И взялся *за него* рукой. Я за свой — тоже.

Он:

— На дальнобойность натягиваем или нет?

Я:

— Мне по барабану.

Он:

— Тогда — нет.

Выглянуло солнце. Мы щурились под его лучами.

Он расставил ноги пошире и спросил:

— Ну что, поехали?

Я в ответ:

— Ну давай.

Откинув плечи назад, он весь изогнулся, выпятив таз над линией, и начал. Господи, как далеко! "Куда мне до него, — подумал я, — это же надо, как из пожарного шланга". Сам я даже начать смог не сразу и с трудом уберег от жалкой струйки собственные сандалии.

— Проиграл, — миролюбиво произнес мой противник, когда все кончилось.

"Странная какая-то игра", — только и подумал я.

Мистер Китцельштайн, одна из достопримечательных особенностей моей жизни состоит вот в чем: что бы со мной ни стряслось, я во всем усматриваю некий сокровенный смысл. Хотя бы сегодня, задним числом. Жизнь моя настолько бедна неосмысленными и неразгаданными событиями, что даже неловко, ей-ей. Так что давайте-ка сейчас вместе прочувствуем то неизгладимое впечатление, которое произвело на меня тогда вышеописанное писанье на дальность. Потому что в тот роковой день прошло еще несколько часов, прежде чем я в полной мере осознал случившееся – и меня обуял ужас! Это ж в какую пучину порока я позволил себя вовлечь?! Мой отец приложил столько усилий, пытаясь уберечь меня от влияния преступных личностей в пионерлагере, и вот, несмотря на все его старания, произошло непоправимое. Я пал жертвой этих жуликов! Для начала у меня просто украли мое законное спальное место. Затем под предлогом его возвращения вовлекли в игру, правил которой я не знал – в отличие от этих "других детей", давно отбившихся от родительских рук, которые глазом не моргнув расставались со своими матерями! Да неужели не понятно, в *какую* игру могут играть *такие* дети?! Вот именно – в плохую! Да к тому же еще и затрагивающую *это место*! Будь вы эскулапом-психоаналитиком, латающим пробоины моей души, мы могли бы сейчас с чувством глубокого удовлетворения похлопать друг друга по плечу: да-да, стоило мне в виде исключения, один-единственный раз воспользоваться своим причиндалом не для того, чтобы *ходить по-маленькому*, – и вот результат: это оказалось *дурно*, это оказалось *постыдно*, я стал сообщником уголовного сброда! Участвовал в порочных ритуалах преступников! Что теперь подумает обо мне мама?! Ведь меня предупреждали! Со мной говорили за ужином! В общем, дома про писанье в длину я ни словом не обмолвился, не то мне бы такое устроили... *А если бы он сказал тебе: прыгай в окно?* И она опять оказалась бы права. *О чем ты думал?* Да ни о чем. *Так не бывает. О чем-то ты должен был думать. Нет, правда, Клаус, я всего лишь хочу знать, о чем ты при этом думал. Тебя ведь никто не принуждал участвовать в подобных вещах.*

В этом она вся. Просто эталон предсказуемости! Даже ее сыну, даже в семилетнем возрасте наперед известно, что она изречет. Ну а уж коли у нас зашел разговор про мамочку и про мой причиндал, нельзя не вспомнить, *как* она его называла, – хотя нет, минутку: попробуйте-ка сами *угадать*! Как называла его моя мать, непогрешимая ревнительница культуры речи, благодаря чьим педагогическим стараниям я стал изъясняться таким образцово-показательным языком, что меня вечно считали фикстулой, зазнайкой и выпендрежником... Она называла его – *писик*. Спросишь ее, бывало, о чем на родительском собрании говорили, она в ответ как отрежет: "Это только для *родителей*. Оно ведь и называется так – *родительское собрание*". Это я к тому, чтобы вы понимали: эта женщина отдавала себе отчет в каждом произнесенном слове. Подобно воительнице в джунглях, она пробивала себе дорогу сквозь языковые дебри, не щадя себя и не страшась даже чащоб этимологии. Что наносило непоправимый ущерб моей соображалке.

– Клаус, прося из-винить себя, то есть освободить себя от вины, – осознаешь ли ты в полной мере, в чем твоя вина состоит?

Моя мамочка скрупулезно разжевывала каждое словечко, поэтому брошенным впопыхах "*пластипажалста*" умилостивить ее было невозможно, – о нет, я вынужден был всегда просить из-винить меня – в глубочайшем рас-каянии. Какое все это имеет отношение к *писику*? Да очень простое: охранника называют охранником, потому что он охра-

няет; летчик потому и летчик, что летает; а писик потому и называется писиком, что он... писает. О нем не принято особенно много рассуждать, им просто пользуются в туалете, когда по-маленькому нужно, и только распоследние поросята учиняют с ним всякие безобразия; общеизвестно, что писик в гигиеническом отношении вещь весьма деликатная — воспользовавшись им, следует каждый раз тщательно вымыть руки. У нас дома даже имелся для этого особый кусок мыла, *красное мыло.* (Другое мыло называлось или *голубое мыло,* или *мыло для рук.* Увидев однажды в универсаме брикет с надписью "Туалетное мыло", я решил, что это просто иносказание, эвфемизм такой для *красного мыла,* и укрепился в мысли, что различать мыло на красное и голубое принято повсеместно, только называют их немного иначе.) Ну да ладно, писик и писик, по крайней мере все логично, все ясно, но едва минул год нового летоисчисления, в смысле, год после знаменательного писанья на спор, — и я вновь оказываюсь в пионерлагере, на сей раз в компании девяти экспертов, которые про писик в один голос говорят, что это вовсе никакой не писик, а *паяльник,* и в первый же вечер ведут оживленную дискуссию о размерах паяльников у своих отцов. В самый-самый первый вечер! На сей раз я твердо решил, что никогда больше не дам себя втянуть ни в какие состязания по писанью в длину, но вот *к такому* я готов не был. Они *говорят об этом*! Господи, мне опять стало не по себе. Да с кем же это я тут якшаюсь? Это что же такое творится у них дома? Мой отец при мне никогда не раздевался! А если б даже и разделся, разве я стал бы *на это* смотреть? (Да уж конечно, не преминул бы.) И какие еще неприличности у них дома в порядке вещей? Даже подумать страшно.

Короче, лежим мы уже вечером в двухэтажных кроватях (во избежание всяких там писаний на спор я добровольно занял нижнюю койку), и я ни малейшего понятия не имею об отцовском причиндале, однако когда меня наконец спросили: "А у твоего отца какой?", я сначала попробовал выкрутиться — принялся рассказывать о фильме, который как-то по телевизору показывали, "про негров в Африке, они все голые ходят, и там у мужиков были — вот такой длины".

— КАКОЙ ДЛИНЫ?

— Вот такой, — я показал какой.

— Ну-у, у моего отца и то больше, — протянул кто-то разочарованно.

— И у моего.

— И у моего тоже.

Чего-чего? Эти ребятки вздумали мне заливать, будто у их отцов хозяйство такое же, как у тех африканцев?

— А толстенные были! — вспомнилось мне. — Вот такие!

Я показал какие.

— Ну точь-в-точь как у моего отца.

— И у моего.

— И у моего тоже.

Призадумаешься тут.

Если все их отцы... Значит, и у моего отца там, внизу, между ног — как у тех африканцев? А когда я вырасту и стану мужчиной — у меня там тоже все будет как у африканца? Разве мой маленький писик не будет так же понемножку — вместе со всем остальным — подрастать, покуда не станет писиком побольше? Неужто я там, внизу, стану похож на тех дикарей, что пляшут вокруг костра и копьями размахивают? Вот те на! Не зная, что и думать, я спросил соседа с верхней койки — неужели и мой когда-нибудь так же вырастет? "Ясный перец!" — последовал уверенный ответ.

Да где же они всего понахватались? Откуда знают про все это?.. Несколько недель спустя я впервые оказался в душевой бассейна среди *взрослых мужчин*. Со всех сторон валил пар, как в прачечной, я делал вид, будто ищу свободную кабинку, а сам глазел по сторонам, стараясь, правда, чтобы не заметили, — и не переставал диву даваться. Здоровые мужики красовались передо мной как напоказ, подставляя грудь струям душа, фыркая и отплевываясь; пена стекала по их телам. Как будто невзначай я встал рядом с мужиком, который с видимым удовольствием намыливал свои весьма внушительных размеров причиндалы, обеими руками поочередно — два раза левой, два раза правой. И правда: вполне обыкновенные мужчины, ничего особенного, на каждом шагу их полным-полно — а вот висяки у них и впрямь как у тех дикарей из Африки! Из *Африки*! Ведь для каждого мальчишки Африка — это такое место, где все самое-пресамое! И солнце самое жаркое, и звери самые дикие, и бабочки самые пестрые, и змеи самые ядовитые... Я был уверен — в Африке и *писики* самые длинные! А теперь что? Африканские дела болтаются в обычном берлинском бассейне! Чего только не бывает на свете.

За ужином, то есть в ситуации, когда и папочка мог поделиться с домашними своими знаниями, я затронул эту тему.

— А когда я стану взрослым, писик у меня тоже будет большой?

Дзынькнула отставленная отцом чашка, а сам он с нескрываемым злорадством молча уставился на матушку: "*Так, ваша честь, какие вам еще нужны доказательства полнейшей безнадежности подсудимого?!*" Я ведь, кажется, уже упоминал, что за ужином всегда чувствовал себя маленьким, глупым, бестолковым, придурковатым, недостойным, тупым, неуклюжим, слабаком и т. п. И всегда как будто перед американским судом присяжных. Перед отцом, обвинителем, представляющим всех беспорочных граждан, что уповают на поддержание порядка и спокойствия, и матушкой, умудренной снисходительностью судией, которая прибегала к наказанию неохотно, скрепя сердце, однако всегда и неустанно стремилась к тому, чтобы я *осознал*. Даже если я посмел спросить, каких размеров достигнет в будущем мой писик.

— Откуда у тебя такие мысли?!

Вот именно, откуда у меня такие мысли?

— Ну, ребята в лагере, они все про это знают. И в бассейне тоже видел, в душевой.

— Вот как, в лагере, значит. — И на лице ее появилась снисходительная улыбка типа *Ах, какой же ты у меня еще несмышленыш!* — И что же, такие вот вещи считаются у них интересными?

— Они про такие вещи знают, а я нет! Я тоже хочу знать!

— Но мы с тобой уже *столько раз* были в музее!

Она имела в виду — да нет, вы просто не поверите! — она действительно имела в виду античные статуи! Именно те самые — безмерно, карикатурно преуменьшенные — изображения, как будто все эти боги только что из ледяной воды выскочили!

— Так ведь у них *там* все гораздо меньше, чем на самом деле! — упорствовал я.

— Ах вот как? И вот на это ты обращаешь внимание? — в голосе ее звучала нескрываемая насмешка.

И это называется мать! Сын, не такой уж и маленький, задает вопрос, у всех ли мужчин писик большой — и вместо того чтобы просветить, в том смысле, что, дескать, с *писиком* — это еще полдела, потому что, ну вот, скажем, к примеру, пчелки там или муравьишки, понимаешь ли, то есть

муравей и муравьиха — и так далее и тому подобное... Ведь очень же благодарный вопрос, благоприятный случай, отправная, так сказать, точка, чтобы с нее-то и перейти к наиболее затруднительному разделу в половом воспитании ребенка — разве нет? Уж в любом случае ситуация гораздо проще, чем при хрестоматийном детском вопросике: "А как детки попадают в животик?" Ведь гораздо легче, правда? И что в этом благоприятном случае делает моя матушка? Она не отвечает на вопрос — она его парирует! Нравоучениями. Насмешкой. *Она вообще парирует – и точка!* Но она не была бы моей матерью, если бы не прибавила еще кое-что... Вот эти ее слова и привели меня в глубочайшее замешательство.

— У статуй в музее он такой маленький потому, что художники стремились — насколько возможно — изобразить человеческое тело прекрасным. Это называется *идеалом красоты.*

Ни фига себе фортель-мортель! Ну разве можно вот этак? Я спрашиваю про анатомию, а она мне про историю искусств! И ни слова о том, что в объявлениях о знакомствах находятся порою дамочки, которые зашифровывают свои вожделения под кодовым названием "голландский огурец"; ни звука про фундаментальное открытие Вуди Аллена — *пенисную зависть у мужчин*... Нет! Какое там! Ведь уже древние греки знали: *small is beautiful*[1], и с тех пор и до сего дня люди валом валят в музеи, лишь бы этим идеалом красоты полюбоваться.

Из книжного шкафа она достала *Энциклопедический словарь* и открыла его на статье *Греция.*

– Вот же, — сказала она, указывая на череду фотографий со статуями богов и героев. И в самом деле: сплошь и рядом красавцы-богатыри, у которых в этом месте чуть выдается крохотный чирышек.

Все донельзя убедительно: те огромные штуковины в душевой, страшные и обвислые, как бульдожьи морды, которые я по неосведомленности считал писиками, и в самом деле были безобразны, почти уродливы — полная противоположность грациозному декоративному элементу у древних греков.

Вот скажите мне, ну почему, ну какого хрена она все время дурочку из себя строит? Она ведь и до сих пор с самой простодушной миной его *писиком* называет! Ей ничего не стоит назвать кошку *лохматкой,* а однажды, когда играли в "скрэббл" и складывали слова, она дошла до того, что выложила ВУЛЬВА. Мистер Китцельштайн, моя матушка — и секс: о, какая это тема! Хо-хо! Впрочем, что это я говорю, какой там секс — для нее не существовало даже самого этого слова с его дивным с-с-с-с, пронзительным, как свист плети! Никогда, вообще ни-ког-да не произносила она этого слова! В чем угодно другом, коль скоро касалось языка, непогрешимый эталон — *культурные люди так не говорят, так что будь любезен – произноси как следует!* — но выговорить "с-с-секс" с глухим свистящим — такое было выше ее сил. Впрочем, насчет этого слова меня и не пришлось никому просвещать. Впервые услышав его сказанным *правильно,* я *нутром почуял,* что оно означает. А вот матушка произносила его исключительно со звонким "з"[2]! То бишь как шестерку — "зекс", и всё тут. Зекс! Зекс! Зекс! Зексуальная революция, Зекс-идол, гомо-Зекс-уалист, Зекс-фильм! Нет, ей-богу! А самым сногсшибательным ее творением было — вы что, правда хотите услышать? — извольте, самым кошмарным ее творением было:

1. Прекрасное — значит маленькое (*англ.*).
2. Со звонким "з" произносится немецкое числительное sechs (зэкс) — "шесть".

Зекс-апильная! Да от такого даже у самых отъявленных маньяков и насильников ни на что больше по гроб жизни не встанет! Я уж молчу о ситуациях, когда матушка этим словечком щеголяла. Вот пример: Олимпийские игры 1988 года в Калгари, большая произвольная программа Катарины Витт; четыре часа утра; мы торчим перед телевизором как приклеенные. Катарина с улыбкой сказочной принцессы, будто забыв о земном притяжении, парит надо льдом; все, ну просто все удавалось ей в этом выходе, даже лед в покорном восхищении таял и млел под ее коньками, и даже софиты под куполом стадиона сияли от восторга и гордости, что им выпала честь сверкать и переливаться в гранях Катарининых стразов... — как тут моей матушке померещилось, что настал самый подходящий момент коснуться глубин мужской души.

— Как она тебе? Зекс-апильная? — поинтересовалась она по-приятельски, почти по-свойски. Ну вот что, за-ради всего святого, что́ прикажете тут делать? Как говорится, моя мамуля хотела кое-что узнать о "Зексе", но постеснялась спросить прямо: слабо мне расстелить Катарину Витт или не слабо? Ну, тут давайте проясним сразу, во избежание дальнейших недоразумений: уж поверьте, я бы не спасовал! Впрочем, воображаемый мой гарем был необозрим, так что, почему именно и только Катарину?! Можно подумать, будто секс воплощают исключительно юные, прекрасно сложенные и все время мелькающие на глянцевых фотографиях звезды отечественного спорта; как будто лишь батманы, "ласточки" да мини-юбочки с блестками и способны напомнить, что существует секс-секс-секс!.. В ту пору я считал себя самым испорченным и развратным человеком на всем белом свете — и знаете почему? Потому что тогда, в свои девятнадцать, я ни о чем, кроме секса, думать не мог, потому что у меня уже не получалось гнать от себя эти мысли, и не то чтобы перед глазами все время была Катарина Витт или девица из пункта приема стеклотары с потрясной джинсовой задницей, нет — я сосредоточенно размышлял исключительно о феномене секса, о сексе как таковом. Матушка уличила бы меня в Зекс-уальной одержимости, узнай она, что у меня на уме. Целая лавина сладострастных фантазий захлестывала меня, стоило где-нибудь мелькнуть маечке, в которой волновалась пара упругих титек... О-о! Я представлял себе все позиции, в которых бы их тискал сколько душа пожелает (да какая там душа — сколько он самый, да-да, именно он пожелает — только тс-с-с!), и вовсе не был уверен, что́ для меня важнее — сами ли эти буфера или женщина, которая их на себе таскает, и уж подавно не имел никакого понятия, *что же* тут вообще *должно быть* важным...

А уж тем более — *лохматки*! С тех пор как мой торчок побывал в одной из них, он ничего больше не желал — только нырнуть туда снова! Наконец-то он обрел свое истинное предназначение — залезать в эти дырочки и ерзать там что есть силы, всем участвующим на радость... Но это *не дозволялось* (или все-таки дозволялось? или как?), или, как учит нас сексуальная теология: "Что хорошо для твоего причиндала, не обязательно хорошо для *тебя*".

Уве Тимм

На примере брата

Перевод М. Рудницкого

above the battle's fury –
clouds and trees and grass.
WILLIAM CARLOS WILLIAMS[1]

МЕНЯ поднимают на руки – смех, ликование, безудержная радость, напрочно сросшаяся с переживанием и зрительным образом, первым, который во мне запечатлелся, именно с него я начинаю осознанно помнить себя, именно с него начинается во мне память. Я вхожу из сада на кухню, где стоят все взрослые, мать, отец, сестра. Стоят и смотрят на меня. Должно быть, мне что-то сказали, я не помню что, вероятно – "посмотри-ка" или: "ничего не замечаешь?". И, должно быть, все смотрели на белый узкий шкаф, о котором мне позже рассказывали, что это вовсе не шкаф, а чуланчик для веников и метел. И там, над шкафом, я вижу чьи-то волосы, белокурую макушку. За шкафом прячется кто-то, а он уже не прячется, уже выходит, уже поднимает меня на руки – мой брат. Лица его я вспомнить не могу, и что на нем было, не помню, должно быть, мундир, зато все остальное стоит перед глазами отчетливо: как все на меня смотрят, как я обнаруживаю шевелюру за шкафом, и потом это чувство – меня поднимают в воздух, я парю.

Это единственное воспоминание, сохранившееся во мне о старшем, на шестнадцать лет старше меня, брате, который несколько месяцев спустя, в конце сентября, будет тяжело ранен на Украине.

© 2003 Verlag Kiepenheuer & Witsch
© М. Рудницкий. Перевод, 2004

1. а по-над бешенством битвы –
облака, дерева, трава.
Уильям Карлос Уильямс

30.9.1943
Дорогой папочка!
К сожалению 19-го меня тяжело ранило прямым попаданием из противотанкового ружья раздроблены обе ноги которые мне теперь отрезали. Правую ногу ампутировали ниже колена левую по бедро очен сильных болей уже нет маму подготовь скоро все кончится через несколько недель я уже буду в Германии тогда сможешь мне навестить на рожон я не лез
Ну пора заканчивать
Привет Тебе и Маме, Уве и всем
Твой Кудряш

16.10.1943 в 20 часов в полевом лазарете № 623 он скончался.

Своим отсутствием, а вернее, своим незримым присутствием он сопровождал все мое детство — скорбью матери, сомнениями и разочарованиями отца, неясными намеками в разговорах между ними. О нем постоянно рассказывали, и это неизменно были примеры, свидетельствовавшие, каким он был смелым и честным мальчиком. И даже когда о нем не говорили, он все равно был тут, рядом, гораздо ближе всех остальных мертвых, — в фотографиях, в рассуждениях взрослых, в том, как отец постоянно с ним всех сравнивал, в том числе и меня, *последыша.*

Много раз пытался я написать о брате. Но всякий раз дальше попытки дело не шло. Я читал его письма, доставленные полевой почтой, и дневник, который он начал вести, когда его перебросили в Россию. Маленький блокнот в светло-коричневой обложке с надписью “Заметки”.

Я хотел сопоставить дневник брата с журналом боевых действий его части, дивизии СС “Мертвая голова”, чтобы дополнить его короткие записи более подробными и точными сведениями, совместить одно с другим. Но всякий раз, начиная вчитываться в дневник или в письма, я вскоре прекращал чтение.

Это был особый, отпрядывающий страх, какой в детстве наводила на меня одна сказка, “Рыцарь Синяя Борода”. Мать вечерами читала мне сказки братьев Гримм, иные по многу раз, и про Синюю Бороду тоже, но именно эту, одну-единственную сказку я никогда не хотел и не мог дослушать до конца. Такая меня одолевала жуть, когда жена Синей Бороды после его отъезда, невзирая на запрет, собирается проникнуть в запертую комнату. В этом месте я всегда просил маму дальше не читать. Лишь годы спустя, уже взрослым, я дочитал сказку до конца.

Но едва она повернула ключ в замке, двери распахнулись, и на нее хлынула кровь, а по стенам комнаты, увидела она, женщины мертвые висят, от иных уже одни кости остались. Бедняжка перепугалась, дверь захлопнула, но ключ из замка возьми да и выскочи и в кровь канул. Она скорей его поднимать, хотела кровь отереть, но ничего у нее не вышло: только с одной стороны ключ оботрет, а кровь уже с другой стороны алой росой проступает.

Вторым препятствием была мать. Покуда она была жива, я не мог написать о брате. Заранее знал, что́ она ответила бы на мои вопросы. Не надо тревожить мертвых. Лишь когда и сестра умерла, последняя, помнившая его живым, я ощутил в себе свободу написать о нем, а свобода в

данном случае означает возможность задавать любые вопросы без оглядки на кого бы то ни было.

Иногда брат мне снится. Обычно это только обрывки сновидений, несколько картин, ситуаций, слов. Но один сон запомнился довольно подробно.

Кто-то рвется в квартиру. Там, за дверью, на улице, человек — темный, весь в грязи, в болотном иле. Я пытаюсь удержать дверь. Человек, страшный, без лица, норовит протиснуться. Изо всех сил я налегаю на дверь, выталкиваю безлицего обратно, хотя точно знаю, что это он, мой брат. Наконец мне удается закрыть дверь полностью, замок защелкивается, я набрасываю щеколду. Но к ужасу своему обнаруживаю у себя в руках грубошерстную драную куртку.

Брат и я.

В других снах лицо у него такое же, как на фотографиях. Лишь на одной он заснят в мундире. От отца много фотографий сохранилось, запечатлевших его в каске и без, в пилотке, в парадном мундире и в полевой форме, с пистолетом и кинжалом офицера люфтваффе. А от брата в военной форме только одна эта фотография осталась: с карабином в руке он заснят во время смотра оружия во дворе казармы. Да и то в общем строю он стоит так далеко, так неразличимо, что лишь одна мать утверждала, будто с первого взгляда его нашла.

Другое фото, где он в штатском, снятое, должно быть, примерно в то время, когда он добровольцем записался в войска СС, я с тех пор, как взялся о нем писать, держу за стеклом у себя в книжном шкафу. Пойманное в объектив чуть снизу, его лицо, узкое, чистое, благодаря двум напряженным складкам между бровей приобретает выражение задумчивое и строгое. Белокурые волосы, слева пробор.

Одна из историй, которую мать рассказывала снова и снова, — о том, как он пошел записываться добровольцем в войска СС, но по дороге заблудился. Она рассказывала ее, словно давая понять, что все последующее можно было предотвратить. Я так давно и так часто эту историю слышал, что вижу все как будто наяву, как если бы все это случилось со мной.

В 1942-м, в декабре, в необычайно морозный день, ближе к вечеру, он выехал в Оксенцолль[1], где располагались казармы СС. Улицы замело снегом. Указателей не было, и в наступающих сумерках он, похоже, заблудился, но, дойдя до последних домов, двинулся дальше по направлению к казармам, расположение которых помнил по карте. Вокруг ни души. Он один в чистом поле. На небе ни облачка, только над ложбинами по руслам ручьев и речушек легкой дымкой стелется туман. Над рощей вдали только что взошла луна. Брат уже решил поворачивать, но тут замечает какого-то человека. Темная фигура, стоит в конце улицы и смотрит вдаль, через заснеженное поле, на луну.

Секунду-другую брат колеблется, уж больно неподвижно стоит человек, будто прирос, и даже когда он к нему приблизился и тот по идее уже шаги должен слышать, он все равно не оборачивается. Брат спрашивает,

1. Северный окраинный район Гамбурга. (*Здесь и далее – прим. перев.*)

не знает ли он дорогу к казармам СС. Какое-то время, довольно долго, человек вообще не реагирует, потом медленно оборачивается и говорит:

— Вон. Луна смеется.

Тогда брат во второй раз спрашивает, как пройти к казармам, а человек в ответ велит ему следовать за ним и сразу же направляется вперед, быстро, уверенно, размашистым шагом, идет куда-то сквозь ночь, не оборачиваясь и не помышляя о передышке. Брат понимает, что на освидетельствование он давно опоздал. Он спрашивает, как пройти к вокзалу, но человек, не отвечая, все шагает и шагает дальше, мимо темных крестьянских изб, мимо хлевов, откуда доносится сиплый мык тоскующей скотины. И только лед в дорожной колее под тяжелыми шагами похрустывает. Некоторое время спустя брат все же решается спросить, туда ли они идут. Человек останавливается, оборачивается к нему и говорит:

— Туда-туда. На луну идем, видишь, ей смешно, уж больно мертвяки закоченелые.

Ночью, уже дома, брат рассказывал, что в эту секунду ему сильно не по себе стало, а потом, на вокзале, он двух полицейских повстречал, те сумасшедшего разыскивали, сбежавшего из Альстердорфской больницы.

А потом?

На следующее утро он выехал пораньше, нашел и казармы, и призывную комиссию, прошел освидетельствование и был в тот же день зачислен: белокурый, рост 185, глаза голубые. Так он стал сапером танкового соединения *дивизии СС "Мертвая голова"*. Восемнадцати лет от роду.

Среди дивизий СС эта считалась отборной, как и две других — *"Рейх"* и *"Лейбштандарт Адольф Гитлер"*. Дивизию *"Мертвая голова"* сформировали в 1939 году из охранных частей концлагеря Дахау. В качестве особого отличия солдаты дивизии носили эмблему "мертвая голова" не только на головном уборе, но и в петлице.

Одна была у мальчика странность: время от времени, прямо в квартире, он исчезал. И не потому, что боялся наказания, он исчезал *просто так*, без видимой причины. Только что был тут — и нет его. И не найдешь, ищи не ищи. А потом столь же внезапно объявлялся. Мать спросит: где ты пропадал? Он не говорит.

Физически он был тогда довольно слабым мальчиком. Врач, доктор Мортхорст, установил малокровие и мерцательную аритмию. В то время брата никакими силами нельзя было выпихнуть на улицу — погулять, поиграть. Он не выходил из квартиры, даже в магазин, до которого только один марш по лестнице спуститься, даже в мастерскую, которую отец предпочитал называть "ателье". Он оставался в квартире, на вполне обозримом пространстве — четыре комнаты, кухня, туалет и кладовка. Мать, бывало, только выйдет из комнаты, через минуту вернется — а его нет. Она и кричать, и под стол заглядывать, и в шкаф. Нет как нет. Как в воздухе растворился. Это была его тайна. Единственная странность у мальчика.

Позже, много лет спустя, рассказывала мать, когда в квартире перекрашивали окна, под одним из них обнаружили деревянный цоколь, своеобразную фальш-панель под подоконником. Когда цоколь отодрали, за ним кое-что нашлось: самодельные рогатки и пращи, карманный фонарик, а также книги и дешевые книжонки, все больше про диких зверей в дикой природе — львы, тигры, антилопы. Названий других книг мать

не запомнила. Вот там, внутри, он, видимо, и отсиживался. Сидел тихо, слушал шаги, голоса матери, отца, а сам оставался незримым.

Когда мать этот тайник раскрыла, брат уже в армии был. И в тот единственный раз, когда он на побывку приезжал, она забыла его об этом спросить.

По рассказам, он был очень бледным ребенком, *прямо прозрачный весь*. Вот ему и удавалось становиться невидимкой, исчез — и снова появился, сидит за столом как ни в чем не бывало. На вопрос, где пропадал, отвечал только: под полом. То есть даже не совсем неправду. Конечно, совсем нормальным такое поведение не назовешь, но мать с расспросами не лезла, и не подглядывала за ним, и отцу ничего не рассказывала.

— Он был скорее боязливый мальчик, — говорила мать.

— Он не врал. Честный был. А главное, смелый, с малолетства, — это отец утверждал.

Храбрый мальчик. Так все потом о нем отзывались, в том числе даже и дальние родственники. Не слова, а скорее почти заклинание, и для него, наверно, тоже.

Первые записи в его дневнике сделаны в начале года, с 14 февраля, и заканчиваются 6.8.1943, за полтора месяца до ранения, за два с половиной месяца до его смерти. Ни дня не пропущено. Потом внезапно записи обрываются. Почему? Что такое случилось 7 августа? После этого дня только одна запись, без даты, но о ней позже.

Февр. 14
С часу на час ждем приказа в бой. С 9.30 по тревоге полная боеготовность.
Февр. 15
Опасность миновала, ждем.

И так дальше, день за днем. То снова и снова *ждем*, то *все по-старому*, то *построения без конца.*

Февр. 25
Идем в атаку на высотку. Русские отступили. Ночью обстрел дороги.
Февр. 26
Боевое крещение. Атака русских силами целого батальона отбита. Всю ночь на позиции у своего пулемета без зимней экипировки.
Февр. 27
Прочесываем местность. Много трофеев! Потом снова вперед.
Февр. 28
Сутки отдыха, большая облава на вшей, и снова вперед на Онельду.

В этом месте я раньше всегда внутренне вздрагивал, опасаясь читать дальше. А вдруг под *облавой на вшей* подразумевается нечто совсем иное, отнюдь не дезинфекция обмундирования? С другой стороны, тогда вряд ли бы это называлось *сутки отдыха?* Однако откуда накануне *много трофеев?* Что за трофеи? Оружие? И как понять этот восклицательный знак, обычно в его записях почти не встречающийся?

Март 14
Воздушный налет. Иваны идут в атаку. Мой тяжеленный трофейный ручной пулемет строчит как бешеный, еле держу, пара попаданий есть.

Март 15
Движемся на Харьков, гоним остатки русских.
Март 16
В Харькове.
Март 17
День прошел спокойно.
Март 18
Весь день под русской бомбежкой. В дом где мы расквартированы попадание бомбы трое ранен. Мой ручн. пулемет отказывает хватаю свой МГ 42[1] *и луплю из него на в.40 беглым огнем.*

И так дальше и дальше, короткие записи, карандашом, неровным почерком, вероятно, на трясучем грузовике или в укрытии, перед новым боем, изо дня в день: *смотр оружия, дождь и грязища, боевая подготовка, пулемет, боевые стрельбы, строевая подготовка, огнемет 42.*

Март 21
Донец
Заняли плацдарм над Донцом. 75 м от меня Иван курит сигареты, отличная мишень, пожива для моего МГ.

В этом месте, когда я на него натыкался, — слева, вверху странички, откуда оно прямо-таки выстреливало мне в глаза, — я раньше обычно прекращал чтение и откладывал блокнот в сторону. И только приняв решение написать о брате, а значит, и о себе, допустив себя к воспоминаниям, я обрел свободу пройти по следам того, что *закреплено в записанном слове.*

Отличная мишень, пожива для моего МГ: это русский солдат, быть может, его ровесник. Молодой парень, только что закуривший сигарету, — первая затяжка, потом выдох, блаженный вкус дыма, который сейчас тоненькой струйкой тянется вверх от сигареты, предвкушение следующей затяжки. О чем он думал, этот парень? О том, что скоро ему сменяться? О чае, краюшке хлеба, о своей девушке, о матери с отцом? Облачко дыма, предательски расползающееся в пропитанном влагой воздухе, клочья талого снега, талая вода в окопах, первый нежный пушок зелени на лугах. О чем он думал, этот русский, этот Иван, в ту секунду? *Пожива для моего МГ.*

Он был, что называется, болезненным ребенком. Ни с того ни с сего жар. Скарлатина. Фотография запечатлела его в постели, белокурые волосы торчком. Мать рассказывает, как он, невзирая на боли, на удивление стойко держался, терпеливый мальчик. Мальчик, который любил подолгу бывать с отцом. Фотографии запечатлели отца с сыном, на коленях, на мотоцикле, в машине. Сестра, на два года старше брата, стоит рядом как неприкаянная.

Ласкательные прозвища, которые он, еще ребенком, сам себе придумал: Голованчик и Кудряш.

Относительно меня, последыша, отец считал, что я слишком много кручусь возле женщин. В письме, которое отец, служивший тогда в люфтваффе, на базе во Франкфурте-на-Одере, написал моему брату в Россию,

1. Немецкий ручной пулемет производства 1942 г.

встречается такая фраза: *Уве очень славный карапуз, только малость избалованный, ну ничего, когда мы оба снова будем дома, глядишь, все наладится...*

Я был, что называется, *маменькиным сынком.* Мне нравилось, как пахнет от женщин, меня манил этот смешанный аромат душистого мыла и духов и я — одно из первых детских ощущений — искал соприкосновения с мягкостью женской груди, женских бедер. Тогда как он, старший брат, был привязан к отцу. А ведь была еще и сестра, на два года старше брата, на восемнадцать старше меня, которая от отца почти не видела ни ласки, ни внимания, из-за чего выросла немного букой, что отец опять-таки считал "порчей", отдаляясь от дочери пуще прежнего.

— Ну почему Карл-Хайнц, старший сынок, почему именно он? — Отец умолкал, и по нему было видно, что он не только скорбит, но и прикидывает, кого бы он предпочел лишиться.

Брат — это был мальчик, который не врал, всегда был честен и стоек, не плакал, был смел, но и послушен. Образцовый брат.

Брат и я.

Писать о брате — значит писать и о нем, об отце. Сходство с ним, мое сходство, легко распознать через сходство, опять же мое, с братом. Приблизиться к обоим, написав о них, — для меня это попытка по-новому, по-настоящему вспомнить то, что удерживалось в памяти бездумно, просто так.

Оба сопровождают меня в поездках. Когда при пересечении государственных границ приходится заполнять въездные анкеты, я и их, отца и брата, в эти анкеты вношу, частью своего имени — печатными буквами в соответствующие квадратики вписываю: Уве Ханс Хайнц.

Почему-то брат настоятельно хотел стать моим крестным, подарить мне свое имя в довесок к моему, и отец пожелал, чтобы вторым именем я звался по отцу — Ханс. По крайней мере имя пусть останется, пусть живет, хотя бы другой, второй жизнью, ибо в 1940-м уже было очевидно, что такая война кончится не скоро, а значит, и с возможностью собственной смерти приходилось считаться все больше.

В ответ на вопрос, почему брат записался в войска СС, у матери всегда было наготове несколько самоочевидных объяснений. *Из юношеского идеализма. Он не хотел быть хуже других. Не хотел прятаться за чужие спины.* Она, как и отец, с неизменной дотошностью подчеркивала различия между СС и *войсками* СС. Ибо к тому времени, после того как по окончании войны весь мир обошли жуткие кадры, заснятые на кино- и фотопленку при освобождении концлагерей, все уже знали, как оно было на самом деле. *Эта шайка,* — так стало принято говорить, — *эти преступники.* Но мальчик-то был в войсках СС. *Это были обычные боевые воинские части. Преступниками были другие, те, что из СД. Так называемые части специального назначения. А первым делом те, что наверху, – руководство. Воспользовались мальчиком, злоупотребили его юношеским идеализмом.*

Сперва карапуз, малыш, потом гитлерюгенд. Маршировка строем под фанфары, военные игры, песни, аксельбанты... Были чада, доносившие на собственных родителей. И это при том, что он, твой брат, в отличие от тебя, никогда не любил играть в солдатики.

Я была против, говорила она, против того, чтобы он записывался в СС.

А отец?

Отец родился в ноябре 1899-го, еще на Первую мировую записался добровольцем, его определили в полевую артиллерию. Что странно: я, можно считать, почти ничего об этой поре его жизни не знаю; вроде бы он был прапорщиком, хотел стать офицером, но после поражения в войне это стало невозможно, и он, как и тысячи других бывших фронтовиков, подался в "Добровольческий корпус"[1], чтобы сражаться на Балтике против *большевиков*. Но где именно он воевал, сколько в точности и почему, я не знаю. А поскольку почти все семейные документы и письма после того, как дом наш в 1943 году был разбомблен, пропали, теперь этого уже и не установить.

Сохранилось несколько фотографий в альбоме, запечатлевших отца в то время. На одной, с карандашной пометкой "1919" на обороте, заснята группа молодых людей в военной форме. Одни в сапогах, другие в гамашах. Все сидят на широкой каменной лестнице, которая, не исключено, является подножием какого-то памятника. Отец на пару с другим молодым человеком лежит перед сидящими, как принято было в те времена на групповых фотоснимках. Подпирая голову левой рукой, он смеется: белокурый молодой человек симпатичной наружности. Эти молодые, безбородые, аккуратно на пробор причесанные солдаты вполне могли быть студентами, некоторые наверняка и были. У одного можно разглядеть кольца сразу на двух пальцах, на мизинце и безымянном, у второго перстень с печаткой. Все сидят непринужденно, явно довольные, и смеются. Может, лежащий впереди всех отец только что всех развеселил какой-нибудь шуткой. Другие фотографии запечатлели его с боевыми товарищами, случайные эпизоды, моментальные снимки солдатской жизни. На одном под ним только что развалились нары. Он стоит в ночной рубашке, солдатская пилотка лихо заломлена на левое ухо. "Весела ты, жизнь солдатская, гоп-ля-ля, гоп-ля-ля!" Хаты под соломенными крышами, крестьяне в русских косоворотках, солдаты за приемом пищи, упряжка лошадей, обвешанная немецкими солдатскими касками, еще старыми, массивными, времен Первой мировой войны, с двумя похожими на сóски рожками для притока воздуха. Словом, житуха, о какой в ту пору мечталось многим восемнадцатилетним, девятнадцатилетним парням: приключения, боевое товарищество, свежий воздух, шнапс, женщины, а главное — никакой тебе нудной повседневной работы, — всей этой лафой фотоснимки так и дышат.

Когда меня спрашивают о профессии отца, я затрудняюсь с однозначным ответом: препаратор-чучельник, военный, скорняк...

1. Полувоенные формирования, созданные после поражения Германии в Первой мировой войне. По условиям Версальского договора 1919 г. Германии разрешалось иметь сухопутную армию численностью не более 100 тыс. человек. "Добровольческий корпус" пополнялся за счет националистически настроенных офицеров, демобилизованных солдат, авантюристов, безработной молодежи. Первые отряды были сформированы капитаном кайзеровской армии Куртом фон Шляйхером. Целью их создания были борьба с "изменниками отечества" — социал-демократами, евреями и марксистами, а также возрождение "германского духа". Многие высокопоставленные политики в Германии с одобрением относились к формированию "Добровольческого корпуса". Члены корпуса сражались в 1919 г. с большевиками в Латвии и Литве. Подразделения корпуса позднее образовали ядро рейхсвера, из них создавались отряды штурмовиков СА.

Мне, своему сыну, он любил рассказывать о жизни: никуда не торопясь, норовя объяснить и растолковать все на свете. Очень часто делал это на примере исторических полотен на сигаретных пачках, была тогда в ходу такая серия: старый Фриц, то бишь Фридрих Великий, зажав морду своей левретке, прячется под мостом, по которому скачут неприятельские гусары; полководец Зейдлиц в битве под Росбахом бросает в воздух свою глиняную трубку, подавая сигнал к атаке; верные офицеры выносят с поля боя тело шведского короля Карла XII. По слухам, он был застрелен своими же солдатами. Истории и исторические анекдоты. У отца были хорошие познания в истории, а главное — он умел увлекательно рассказывать. Но потом, когда начинались мои расспросы, мы быстро ссорились. Когда мне исполнилось шестнадцать, между нами стала разгораться настоящая борьба, ожесточенная, все более исполненная ненависти. Узколобое своенравное занудство с его стороны, упрямое, угрюмое молчание с моей, и все это из-за ненавистных, мелочных строгостей повседневного распорядка: никаких джинсов, никакого джаза, не позже десяти вечера домой. Каких только не было требований, установлений, запретов! Свод правил, обязательность которых была мне неясна, а противоречивость очевидна. И не потому, что я, повзрослев, уже замечал в отце не только достоинства, но и потому, что сами времена изменились. Ушли в прошлое его замашки и манеры, манеры начала пятидесятых, когда ему действительно жилось хорошо, когда он *достиг своего*, с пятьдесят первого по пятьдесят четвертый. Три-четыре года жизни, когда не было зазора между тем, каким он был и каким хотел казаться. Экономическое чудо в нашей семье. Достигли, наконец-то достигли! Квартиру обставили, представительскую машину купили, "адлер" цвета морской волны, четырехдверный, модель 1939 года, первая с переключателем скоростей на штанге руля. В то время в Гамбурге таких машин было еще так мало, что дорожные полицейские в самом центре, на Даммтор, козыряли, когда он проезжал. На Рождество он одаривал их сигаретами, каждая пачка аккуратно обернута в золотую подарочную бумагу с серебряной лентой, под бантик просунута маленькая еловая веточка. Ехал по городу и на каждом перекрестке, где на специальном возвышении стоял регулировщик, притормаживал и протягивал ему пакетик. *Счастливого Рождества.* В благодарность они целый год давали ему зеленую улицу и уважительно брали под козырек.

Отец вообще любил, когда ему по-военному отдавали честь. В Кобург, куда нас с матерью эвакуировали, он приехал к нам *в отпуск с фронта* и взял меня с собой в казармы. Мать нашила мне на пальтишко серебряные погоны. На подходе к казарме он пропустил меня вперед. Часовые осклабились и отсалютовали винтовками. А я уже умел щелкать каблуками и коротко, по-военному, отдавать поклон. Как рассказывали мне, уже взрослому, годы спустя родные и знакомые, получалось у меня уморительно, как у заправского служаки.

Да, когда-то это был я: пятилетний мальчуган, щелкающий каблуками и отдающий поклон по-военному. Запах пропотевших кожаных ремней — это был отец. В один из дней, откуда ни возьмись, чужой дядя в военной форме лежит на маминой постели. Это мое первое воспоминание об отце. На полу хромовые сапоги, высокие голенища надломились. На ночном столике, это я отчетливо запомнил, пистолет в кобуре с портупеей. Чужой дядя спит с открытым ртом и похрапывает, а я во все глаза на него смотрю. Он приехал в отпуск. Стоит мне понюхать кожаный ремень моих часов — и вот он, тут как тут, запах пропотевшей кожи, и отец воскресает в этом запахе живее и явственней, чем в любых зрительных воспоминаниях.

А потом, ни с того ни с сего, взрослые, все как один, принялись на меня цыкать, запрещая мне то, чему я с таким успехом совсем недавно научился: по-военному щелкать каблуками. И говорить "Хайль Гитлер!". Ни в коем случае! Ты понял?! И все это тихо, с оглядкой, полушепотом.

Это было 23 апреля 1945 года: в город вошли американские солдаты.

Кому же я обязан этим умением — *щелкать каблуками?* Уж конечно не матери, с которой мы тогда жили в Кобурге. Ко всему, что связано с армией, — муштра, игры в войну, тем более сама война, — мать питала глубокую неприязнь, причем еще до гибели сына; хотя внешняя сторона, сам вид военной формы, пожалуй, имели для нее известную притягательность. Но щелкать каблуками она вряд ли стала бы меня учить. Очевидно, это все-таки был отец, когда приехал в отпуск, или кто-то из многочисленных вояк, местных нацистских функционеров, что постоянно захаживали к госпоже Шмидт, вдове крайсляйтера, местного партийного начальника, к которой нас подселили.

— Русский пусть ко мне на порог только сунется, — заявляла госпожа Шмидт, — я сразу в петлю!

Письмо брата отцу 11.8.1943

С Россией бы поскорее разделаться. Но для этого вдесятеро больше дивизий СС нужно, чем у нас сейчас есть. Тогда, думаю, мы бы справились, а так в этом году наверняка еще не сможем.

У меня как всегда все по-старому, здоров, еды хватает, только о доме тревожусь постоянно, каждый день здесь у нас сообщения о налетах англичан. Хоть бы треклятый сакс перестал так бомбить. Какая же это война, когда это просто убийство детей и женщин, и потом – это же негуманно. Надеюсь вскорости получить почту от тебя и от мамы, только напиши маме, пусть посылки больше не шлет, жалко будет, если потеряется, а у меня тут всего достаточно. Пусть лучше Уве, наш славный малыш, вдоволь лопает. Ну все, дорогой папа, шлю тебе горячий привет и желаю всего хорошего.

Твой боевой товарищ Карл-Хайнц

На его фотографиях нет ни повешенных русских, ни расстрелянных мужчин в штатском, это самые обычные, будничные снимки, какие и от отца остались, — на них засняты разрушенные дома, улицы, города. Может, это Харьков? Брат участвовал во втором взятии Харькова, в 1943-м. Даже если допустить, что он, хоть и состоял в СС, тем не менее не замешан в массовых убийствах стариков, женщин, детей, ибо служил в танковом соединении, все равно — не мог он не знать о жертвах среди мирного населения, о голодающих, разбомбленных, бездомных, замерзших, просто убитых, наконец. Однако о них в его записях ни слова, очевидно, эти страдания, эти разрушения и убийства представлялись ему в порядке вещей, то бишь *гуманными.*

В одном из писем генерал Хайнрици[1], в 1941-м командовавший корпусом в группе армий "Центр", сообщает жене: *Всю разрушительную мощь войны начинаешь ощущать, только подмечая частности или вникая в отдельные людские судьбы. Об этом, наверно, когда-нибудь будут написаны книги. Из*

1. Готгарт Хайнрици (1886—1971) — военачальник, генерал-полковник (с 1 января 1943-го). С июня 1941 г. воевал на советско-германском фронте, с конца января 1942-го по июнь 1944 г. был командующим 4-й армией, отличился в боях под Москвой.

городов население исчезло практически полностью. В деревнях одни женщины, дети и старики. Всех прочих, оторвавшихся от родных мест, если верить показаниям пленных, носит по бескрайним просторам России, они несметными толпами ночуют на вокзалах, выклянчивая корки хлеба у своих же солдат. Полагаю, смертность среди этих беженцев, обусловленная болезнями, истощением и проч., примерно столь же велика, как потери неприятеля на фронтах.

Дневниковые записи генерала Хайнрици.

Приказал Бойтельсбахеру не вешать партизан ближе 100 м от моего окна. А то утром вид неприглядный.

Грязново, 23 ноября 1941

По завершении совещания траурное торжество и поминки по нашим павшим, ведь сегодня День поминовения. <...> Затем пешая прогулка до "мертвого русского". Достопримечательность, какую не каждый день встретишь. Там, в снегу, уже несколько недель валяется замерзший труп русского. Надо приказать, чтобы местные жители похоронили.

Она была уже старушкой, моя мама, 74 года как-никак, когда тяжело поднялась по ступенькам в автобус и с туристической группой отправилась в поездку в Россию, долгим маршрутом через ГДР, Польшу, Белоруссию до Ленинграда, а оттуда через Финляндию и Швецию обратно. Питая совершенно вздорную, ничем не обоснованную надежду по пути каким-то образом отделиться от группы и навестить могилу моего брата или, на худой конец, побывать неподалеку от тех мест. Военное кладбище Знаменка, на Украине. Захоронение Л-302.

Мальчик, который страстно мечтал о сапогах, но не обычных, а на шнуровке, пониже колена. Хотя вообще-то в гитлерюгенд ему все было не по душе. В наказание его много раз *гоняли дополнительно.* Командир взвода заставлял его ползать по-пластунски прямо на улице, на глазах у прохожих. Дома брат ни словом об этом не обмолвился, покуда один из наших знакомых, увидев, как его по улице ползать заставляют, не сказал отцу. Тот пожаловался окружному руководителю гитлерюгенд. Больше брата в наказание не *гоняли.*

– Он был мечтательным ребенком, да и юношей тоже, не от мира сего, вот и исчезал иногда, – рассказывала мать, – словно туда, в другой мир уходил. И все тишком-молчком, а что там у него в голове, пойди пойми. Но хороший. Хороший мальчик, – говорила она. – Тихий мальчик. Мечтательный.

Но "мечтательный" – так она и обо мне говорила, и возможно, в чем-то даже была права, по-своему. Моя молчаливость делала меня в ее глазах тоже хорошим мальчиком. Родители, ничего не подозревая, отпускали меня в гамбургский клуб филателистов, а я вместо этого болтался по улицам Санкт-Паули, самого неблагочестивого городского района, с его игорными домами, борделями и барами. Это была прямая противоположность домашней жизни в нашей тихой, такой "порядочной" квартире, где при мне ни слова не говорилось о сексе, да и без меня вряд ли. Я ходил по Тальштрассе и видел женщин, стоящих в подъездах, подвыпивших матросов, стриптиз-клубы, бары, кабачки, "Серебряный мешок", заведение, в котором, по словам отца, собираются *отбросы общества* – контрабандисты, спекулянты, наркоманы, картежники, а еще

продажные. Мой интерес к отбросам был очень силен. Шум, хохот, заливистый смех женщин, доносившиеся из "Серебряного мешка", — это был соблазн, такой близкий и все же недоступный. Однажды, когда я дольше обычного вертелся у дверей, появился вышибала и буркнул:

— Давай, малыш, проваливай!

Запретные, украдкой подсмотренные картины: женщины, на которых под пальто ничего, кроме нижнего белья, шелковых чулок и подвязок, и как они пальто распахивают, когда мимо проходит мужчина.

Ни слова в его дневнике о мечтах, желаниях, тайнах. Была ли у него подружка? Был ли он хоть раз в жизни близок с женщиной? Испытал ли это потрясение — чувствовать тело другого, эту близость, всепроникающую близость, ощущать свое тело в другом, себя в нем, а значит, себя через него чувствовать и познавать растворение себя в теле другого?

В его дневнике речь исключительно о войне, о подготовке к смертоубийству и о разных способах усовершенствования оного посредством огнемета, мин, учебных стрельб. Однажды упоминается варьете, однажды театр, однажды фильм, который он посмотрел, должно быть, в одном из фронтовых кинотеатров.

Апрель 24. Строим мост – наши танки проходят. Апрель 30. Кино. Грозная тень[1].

И ни слова больше. Понравился ему фильм, не понравился?

Когда у тебя обманом отняли твою собственную жизнь, познаваемость твоих чувств — что остается? Только предъявляемая внешнему миру поза: отвага.

В небольшой картонной коробке, которую матери прислали после его смерти, обнаружилось фото киноактрисы Ханнелоры Шрот[2]. Миловидное округлое личико, карие глаза, темно-каштановые волосы, полные губы, окаймленные ямочками на щеках.

Грозная тень.

9.10.1943

Моя дорогая мамочка

Папе я уже написал что меня тяжело ранило

Теперь и тебе пишу что мне отняли обе ноги

Ты наверно удивишся почерку но я пишу в таком положении что лучше не получается

Только не думай что мне ноги оттяпали по самую задницу Правую отрезали 15 см ниже колена левую 8 см выше

Сильных болей нет иначе писать бы не смог

Дорогая мамочка только (не) *плачь держись я на протезах буду бегать как раньше кроме того я уже отвоевался твой сынок снова будет с тобой хоть и калека*

Какое-то время еще пройдет прежде чем меня в Германию доставят я пока не транспортабельный

Еще раз говорю мамочка не горюй не тревожся и не плач мне от этого только тижелей будет

Привет тебе Ханне и Уве

1. Фильм 1942 г. немецкого режиссера Пауля Верхувена (1901—1975).
2. Немецкая киноактриса (1922—1987).

Уве ничего не говори когда я через 1 – 2 (неразборчиво) *на протезах вернусь пусть думает что я всегда такой был*
Еще раз привет тебе

Твой Кудряш-бумбум

Написано карандашом, прыгающим, местами неестественно крупным почерком, вероятно, под воздействием морфия. Он был ранен 19 сентября 1943 года на Днепре. Целую ночь пролежал с раздробленными ногами, кое-как, наспех перевязанный товарищами.

Той ночью матери приснилось, что ей пришла по почте бандероль, раскрыла – а там бинты, стала вытаскивать, а они тянутся, тянутся без конца, а под конец выпал букетик фиалок.

Сон этот ей действительно приснился в ночь его ранения. Она со страхом рассказывала о нем родным и близким. Телеграмма с сообщением о ранении пришла лишь много дней спустя, чуть ли не в одно время с похоронкой.

Если не считать мелких, несерьезных – хотя кто знает? – ритуалов повседневной домашней магии (поплевать на найденную монету, три раза постучать по дереву, чтоб не сглазить), мать скорее питала неприязнь ко всякого рода суевериям и ясновидению. Однако, упоминая об этом сне, она всегда говорила: есть вещи между небом и землей, о которых нам ничего не известно. Для себя она, видно, решила, что лучше об этих вещах не думать и других людей попусту ими не беспокоить. Но была твердо уверена: есть способы сообщения без слов, по ту сторону времени и пространства.

Многоуважаемая госпожа Тимм!
В наше распоряжение поступили следующие личные вещи Вашего сына, штурммана[1] *СС Карла-Хайнца Тимма, погибшего 16.10.1943:*
фотографии – 10
расческа – 1
зубная паста в тюбике – 1
табак в упаковке – 1
блокнот – 1
значок о ранении черн.[2] *– 1*
орденское удостоверение ЖК II[3] *– 1*
удостоверение на право ношения значка о ранении черн. – 1
телеграмма – 1
различные письма и почтовая бумага
Настоящим пересылаем Вам вышеперечисленное
Хайль Гитлер!

Исполнитель (подпись неразборчива)
Оберштурмфюрер СС (Ф)

В документах, отчетах, статьях и книгах той поры встречаются все новые и новые сокращения, порой совершенно непонятные, почти мистичес-

1. Воинское звание в частях СС, соответствовало званию ефрейтора.
2. С 1939 г. в гитлеровской армии по образцу кайзеровской вновь были введены значки о ранении: черный полагался за 1-2 ранения, серебряный за 3-4, золотой – за 5 и более.
3. "Железный крест" II класса.

кие сочетания букв, по большей части заглавных, за которыми прячутся — и одновременно, в порядке угрозы, приоткрываются — всевозможные иерархические ступени и этажи.

Звание оберiштурмфюрер соответствовало старшему лейтенанту, но что означает еще и это (Ф)?

Письма моего брата, награды, его дневник мать так и продолжала хранить в этой небольшой картонной коробке. Пятьдесят лет коробка пролежала в ящичке ее туалетного столика. Мыло, которым она пользовалась и которое, сразу по многу кусков, хранилось в том же ящичке, называлось "Ноншаланс". Тут же стояли ее духи и туалетная вода. Неповторимый запах, дольше всего напоминавший мне о ее теле, о ее физическом отсутствии, — он и по сей день, уже едва ощутимый, исходит и от коробки, и от дневника.

Письма, которые мой брат писал матери и отцу, я разобрал, разложил по конвертам, а теперь еще и надписал. *Письмо с засушенной гвоздикой. Письмо о пулемете.*

Вот еще что мне без конца рассказывали о брате: мальчик, который в один прекрасный день подарил свою коллекцию марок. Даже не обменял ни на что, как с неизменной гордостью подчеркивал отец. Мальчик, который ухаживал за своим аксолотлем![1] Мальчик, который только из-за своей мечтательности неважно учился. Как он однажды, еще совсем малышом, спрыгнул в купальне с пятиметровой вышки! Взобрался по лестнице и просто спрыгнул! "Браво! — закричал отец, который до этого, должно быть, сказал ему: — Давай-ка, влезь, живо!" Просто взял и спрыгнул! Мальчик, который так замечательно играл в немецкий бейсбол. Мальчик, у которого установили мерцательную аритмию и направили в Бад-Наухайм на лечение. Там он запечатлен на фотографии с другим мальчиком, такого же возраста и роста. Обоим, должно быть, лет двенадцать-тринадцать. Они стоят, обнявшись, повернувшись друг к другу лицом — у обоих светлые, почти нежные улыбки. Того мальчика звали Генрих, мать утверждала, что это был его лучший друг.

Он сам и вся его жизнь остались лишь в немногих сохранившихся письмах и в дневнике. Память, *закрепленная в записанном слове.*

Его любимым блюдом было картофельное пюре с яичницей и шпинатом. В еще жидкий яичный желток мать капала растопленное сливочное масло. Красную капусту очень любил, называл ее в детстве: прекрасная капуста. Когда заболевал, просил сварить ему молочную рисовую кашу с сахаром и корицей.

Не пил, не курил. Пока на фронт не попал. Сигареты отсылал отцу. Но пить начал. *Гуляли всю ночь, утром перекличка. Строевая подготовка для отрезвления.* Так мальчиков *гоняли.*
В его дневнике ничего не говорится о пленных. Ни разу, нигде он не пишет о том, что кого-то взяли в плен. Либо русских убивали на месте, либо они в плен не сдавались. Третья возможность: он просто не считал такую мелочь достойной упоминания.

75 м от меня Иван курит сигареты, отличная мишень, пожива для моего МГ.

1. Личинка хвостатого земноводного (внешне похожего на саламандру) — амбистомы.

Из речи Генриха Гиммлера перед личным составом войск СС в Щецине, 13 июля 1941 года, три недели спустя после вторжения в Советский Союз:

Это борьба мировоззрений и борьба рас. В борьбе этой на одной стороне национал-социализм, мировоззрение, взросшее на ценностях нашей германской, нордической крови, и мир всего, что в наших представлениях нам дорого: мир красоты, порядочности, социальной справедливости, мир, в отдельных частностях еще, быть может, и отмеченный некоторыми мелкими изъянами, но в целом прекрасный, радостный, исполненный культуры, словом – мир нашей Германии, какой мы ее знаем. На другой стороне нам противостоит 180-миллионное скопище, смесь рас, племен и народностей, сами названия которых уже неудобопроизносимы и чей внешний облик таков, что можно и следует без всякого милосердия и пощады изничтожать их силой оружия.

Участвовало ли его подразделение – 4-й саперный батальон танковой дивизии "Мертвая голова" – в так называемых "прочесываниях местности"? В облавах на партизан, штатское население, евреев?

Сперва дом разбомбили, а потом сразу и мальчик погиб. Такой вот удар судьбы, обрушившийся на семью, а всё война. *Лишились всего.*

Письмо отца сыну Карлу-Хайнцу

Ффо (Франкфурт-на-Одере), *6 августа 1943*

Мой дорогой, любимый Карл-Хайнц!

Сегодня вернулся из Гамбурга из отпуска, куда уезжал на выходные, но отпуск растянулся почти на две недели, потому что за это время в результате четырех воздушных налетов наш красавец Гамбург полностью разрушен. По меньшей мере 80 % города превращены в руины и пепел. Только-только мы с мамой в час ночи вернулись с вокзала, как в четверть второго объявили воздушную тревогу, и поскольку я сразу услышал, что неприятельские самолеты подходят к городу крупными силами, я всем, кто еще валялся в постелях, заорал, чтобы немедленно спускались в бомбоубежище. Не прошло и двадцати минут, как в наш дом прямым попаданием влетела фугасная бомба. Американки все засыпали фосфором, горело и пылало все и всюду. От нашего дома несколько кусков стен только и осталось.

Отец, случайно приехавший домой на побывку с фронта, и сестра, тогда уже двадцатилетняя, когда загорелся верхний этаж нашего четырехэтажного дома, успели схватить из квартиры что попало: курительный столик, стул, чемодан из кладовки, несколько полотенец, перину, две фарфоровых статуэтки, одну фарфоровую тарелку и небольшой ящичек, в котором, как решила сестра, хранилось что-то ценное, на самом деле это оказались елочные игрушки.

Они хватали первое, что попадалось под руку, вокруг уже рушились балки и падали стены. И выносили на улицу, где стояли все жильцы, среди них мать с ребенком, то есть со мной, на руках.

Вокруг горели дома.

Остальное уже рассказы. Как сестра пыталась спасти белье и отец едва успел ее отпихнуть, когда рухнула балка. Как от жара на третьем этаже одно за другим с громким треском лопались стекла. Как померкло небо, с которого черно-серым снегом сыпался пепел. А вместе с пеплом сыпалось все, что люди приобретали и копили годами – теперь все это грязно-серыми хлопьями оседало на волосы и блузки. Тот летний день, 25 июля 1943 года, выдался жарким.

Другая отчетливая картина, с которой начинается во мне память: огромные пылающие факелы вдоль по улице справа и слева, горящие деревья.

А еще: в воздухе летают маленькие язычки пламени.

Не хочется рассказывать гладко. *Память, говори.* Это из сегодняшнего дня протягиваются в прошлое цепочки причинно-следственных связей, норовя все объяснить и расставить по полочкам. Такая вот картина: ребенка, то есть меня, тогда трех лет от роду, укладывают в детскую коляску, накрывают мокрыми полотенцами и везут по Остерштрассе.

Язычки пламени, что летали и прыгали в воздухе, лишь в более поздних рассказах нашли себе объяснение. Это были горящие лоскутки занавесок, сорванных и выброшенных из окон пучиной огня.

Еще долгие годы после войны, сопровождая все мое детство, снова и снова пересказывались события той ночи, благодаря чему мало-помалу сглаживался, сходил на нет первоначальный ужас, а пережитое становилось постижимым и даже забавным: как старшая сестра и отец сперва составляли наши пожитки на середину улицы, как потом положили ребенка, то бишь меня, в коляску и укрыли полотенцами, смочив их водой из лопнувшей водопроводной трубы; как затем родители и сестра, бросив спасенный скарб прямо на улице, побежали по Остерштрассе в сторону Шульвег, а справа и слева горели дома, особенно правая сторона, та вообще пылала, добежали до Ласструпсвег, там тоже все горело; как они бросились в переполненное бомбоубежище, где молча, сосредоточенные и на удивление собранные, сидели люди; как отец той же ночью явился в распоряжение штаба люфтваффе и только спустя два дня, во время которых было еще несколько налетов, мать с сестрой снова его встретили у родственников, небритого, серого от недосыпа, в напрочь загубленной белой летней гимнастерке. Что еще рассказывали, он и другие: как в подвалах сгоревших домов находили людей, повисших на водопроводных трубах и распадавшихся в прах при первом же дуновении сквозняка. Других, кто успел выскочить, подхватывало ураганом пожара и утаскивало в самое пекло пылающих кварталов; были и такие, кто в горящей одежде бросался в каналы. Но фосфор прекрасно горит и на воде.

Бомбоубежище, где мать вместе с сестрой и со мной на руках спаслись, находилось на углу Шульвег, в доме кожгалантерейщика *Израэля.* Магазин его и по сей день там. В 1938-м, рассказывала мать, в окнах его витрины были вывешены большие плакаты: *Внимание! Невзирая на фамилию, владелец магазина чистокровный ариец! Искренне Ваш кожгалантерейщик Израэль.*

Вот еще одна из первых картин в моей памяти: люди в бомбоубежище. Плачущий старик. Женщина держит на коленях птичью клетку, по которой в панике мечется птаха. Вторая птаха лежит на полу клетки лапками вверх, как будто только что свалилась с шестка.

Письмо брата отцу

17.8.1943

Сегодня утром пришло твое письмо, я в себя прийти не могу, просто в голове не укладывается, чтобы 80 % Гамбурга сровняли с землей, у меня, хоть я тут всякого навидался, слезы стояли в глазах. Как-никак был родной дом, кров, сколь-

ко радости и воспоминаний связано, и вот все это, самое бесценное, теперь пропало, уничтожено, отнято.

Евреям вход в бомбоубежища был воспрещен.

Недавно я имел возможность взглянуть на бомбоубежище, на котором, как на фундаменте, после войны построили дом на одну семью. Мои друзья этот дом купили. Спуск по лестнице был подобен нисхождению в детство, снова сырость, теснота, узкие проходы, лабиринтность, — в бункере для прочности были еще и опорные перегородки. Заржавелые вентиляционные трубы тянутся поверху вдоль стен. Надписи: "Курить воспрещается!" Газовый шлюз. Странные, поразительные ощущения: вместе со спуском перед глазами встают затонувшие в памяти картины. Самое неожиданное случилось, когда погас свет: белые стены и сейчас, шестьдесят лет после войны, засветились слабым фосфоресцирующим сиянием. И лишь постепенно, совсем не сразу, свечение померкло.

Обе фарфоровые статуэтки в стиле бидермейер, спасенные отцом или сестрой из горящего дома, слегка повреждены. Одна, это пастушка с корзиной цветов, лишилась руки. Вторая изображает жанровую сценку: две дамы в пышных, опять-таки в стиле бидермейер, платьях внимают мужчине, который, стоя, читает им вслух: книгу он держит в левой руке, а правой для выразительности жестикулирует. Книги у него теперь нет, да и пальцы на правой руке тоже оторваны. В первые послевоенные годы обе покалеченные статуэтки стояли на книжном шкафу своеобразными памятниками родительских военных потерь.

Зато ничуть не пострадали — и об этом снова и снова рассказывали как о маленьком чуде — елочные шары, вытащенные сестрой из горящего, вот-вот готового обрушиться дома.

Самое удивительное — как испытанный ужас, шок, потрясение благодаря этим повторяющимся рассказам мало-помалу начинали укладываться в голове, как переживания, облекаясь в словесные формулы, постепенно утрачивали свою остроту. *От Гамбурга только руины и пепел. Город – море огня. Ураган пожара.*

Поздней осенью 1943-го нас, мать и меня, эвакуировали к родственникам в Кобург.

Брат обучился на скорняка. Он так хотел быть меховщиком, рассказывала мать. Это, кстати, и дневник подтверждает. Есть там несколько рисунков — трогательно неумелых — с набросками витринной декорации мехового магазина.

Да, как ни странно, ему явно нравилась это ремесло. В противоположность мне, хотя я тоже на скорняка обучился и тоже сдал экзамен на подмастерье, но всеми мечтами и помыслами тянулся совсем к другому: читать, писать, да, уже тогда меня одолевал настоящий голод по чтению и письму, — все что угодно, только не унаследовать отцовское дело, его скорняжную мастерскую. Профессия надоела мне, как только я все в ней изучил: каракулевые, норковые, нутриевые шубы, бобровые, выбор покроя и изготовление выкройки. Я настолько хорошо все освоил, что в итоге выдержал экзамен на подмастерье с отличием. И отец тоже ненавидел свою работу, относился к ней как к неизбежному злу. Зато

стал самостоятельным. Самостоятельность – это важно. Тешило остатки господского барства. Еще он ненавидел профессию, потому что по-настоящему, мастерски, никогда ею не владел. Случайное дело жизни. На развалинах подобрал скорняжную швейную машину. Впрочем, решила все не только случайная находка, но и его работа препаратором до войны – несомненно, лишь благодаря ей он на эту швейную машину и обратил внимание. В те времена многие вещи лишились владельцев и, вырванные из привычного обихода, бесхозными валялись среди руин.

Среди развалин разрушенных домов можно было подобрать медные и свинцовые трубы, вообще металл, который позже сулил приличную выручку у старьевщика, – кастрюли, чугунные плиты и печки, станки, инструменты, иногда причудливо изогнутые, оплавленные пожаром. А на дорогах, на путях отступления немецких армий, валялись и стояли брошенные повозки, прицепы, разбитые, расстрелянные и разбомбленные военные грузовики, полевые кухни, орудийные передки и лафеты, легковушки, в основном уже выпотрошенные и полуразобранные на запчасти. Последние жадно поглощал натуральный обмен, где всякому товару приходилось снова и снова подыскивать себе эквивалент, – меновая торговля, ориентированная не на деньги, а только на спрос и предложение, хотя и в ней в роли денег, пока, правда, робко, уже пробовали себя американские сигареты.

А отец, к чему он стремился?

Ведь желания и неприязни, причем как раз невысказанные, заветные, действуют в нас сильнее всего, давая, наподобие линий магнитного поля, направление нашим делам и поступкам.

Так к чему стремился отец? Уж никак не стать скорняком, а тем более препаратором.

Тогда что было предметом его желаний?

После "Добровольческого корпуса" он в разных городах обретался. Вроде бы изучал в университете зоологию, хотя аттестата зрелости у него не было. Как, спрашиваю я себя сегодня, мог он поступить в университет без аттестата, или это всего лишь предание, его рассказанная, вымышленная автобиография? Какое-то время он жил в Штутгарте, где, судя по всему, голодал, неделями питался одной морковью, пока вконец не обессилел от истощения. Его сестра Грета, навещавшая его в Штутгарте, потом об этом рассказывала. Он был близок к организации "Консул", может, даже состоял ее членом. Это тоже его сестра Грета утверждала.

Ноябрьские предатели. Удар ножом в спину[1]. Время системы[2].

Организация "Консул" была чем-то вроде суда Фамы при "Добровольческом корпусе". На ней лежит ответственность за убийства так называемых "изменников родины" Ратенау и Эрцбергера[3].

1 "Ноябрьскими предателями" реакционно-националистические силы Германии окрестили деятелей демократического правительства после Ноябрьской революции 1918 г., деятельность правительства соответственно именовали "ударом ножом в спину".
2 Имеется в виду – парламентской системы, т. е. время Веймарской республики (1918–1933).
3. Маттиас Эрцбергер (1875–1921) – министр финансов; Вальтер Ратенау (1867–1922) – министр иностранных дел германского правительства после 1918 г. Оба погибли в результате покушений, осуществленных террористической организацией "Консул".

Однажды к нему приехал боевой товарищ, соратник по Первой мировой, с которым он, вопреки обыкновению, беседовал в комнате с глазу на глаз. Долговязый мужчина, с бледным, узким лицом и багрово-сизым косым шрамом через нос от лба до щеки. Рассеченная шрамом бровь срослась завитком. Ротмистр, так отец к нему обращался, без имени и фамилии. Мать тоже ничего о нем не знала.

В 1921 году отец вместе с эмигрировавшим царским офицером пытался наладить артель по производству игрушек. Нанимали надомников, безработных и инвалидов войны, те должны были делать деревянных лошадок. Он придумывал рекламные лозунги, один из них мне недавно снова вспомнился:

Чтоб у ваших малышей
Всегда был ротик до ушей.

В это время он познакомился с моей матерью, дочерью модиста-шляпочника, хозяина процветающего шляпного ателье и собственного магазинчика, владельца небольшой виллы на Торнквистштрассе в гамбургском районе Аймсбюттель.

Любовь, хоть и не с первого взгляда, как она говорила, но близко к тому, после того как они несколько раз встретились. Между встречами, правда, проходило всякий раз не меньше одной-двух недель. Да, он ей нравился — этот высокий, стройный мужчина, даже элегантный в своей литовке, форменном кителе, который он носил без знаков различия. Есть фото, запечатлевшее его на карнавале в костюме гусара. Будь он авантюристом, вполне бы мог выдавать себя за прусского кронпринца. Почти на всех фото того времени он с сигаретой в руках, иногда и во рту, скорее даже в углу рта, с обольстительной полуулыбкой героев-любовников со старых киноафиш, руки неизменно в карманах литовки. Кроме этой литовки, у него не было ни пиджака, ни пальто, только этот форменный китель, под который он зимой надевал серый штопаный пуловер. Словом, голь перекатная, но с хорошими манерами. И рискнул попросить у шляпочника руки дочери; тот, конечно, желал себе более состоятельного зятя, но потом все же дал согласие. Вскоре после этого молодой человек со своей артелью, которую вряд ли стоит воображать себе таким уж солидным предприятием, обанкротился в пух и прах. Царский офицер бежал от кредиторов в Париж, долги молодого человека выплатил тесть.

Мать говорила: это был мой муж, единственный.

Не то чтобы она не видела разительной дистанции между тем, каким он был и каким хотел казаться. Но где бы он ни появлялся, он сразу получал кредит доверия, который, впрочем, никогда не оправдывал до конца, а в большинстве случаев и не в силах был оправдать. Поступи он в университет, сумей получить высшее образование, он, при его красноречии и даже известной интеллигентности, стал бы адвокатом или архитектором — вот уж профессия, которая вполне была ему по плечу, ведь он и рисовал, и чертил отлично, и пространственное воображение имел очень точное, — тогда солидное буржуазное существование было бы ему обеспечено. А так получалось, что он только внешне являет собой нечто *большее*, тогда как на самом деле вынужден отдавать свои силы ремеслу, которое втайне презирает.

Мать видела этот его изъян и всячески пыталась сгладить, на людях ни разу, никогда и ни в чем не выказав ему своего неодобрения, пусть хотя бы только недовольным движением губ или поднятием бровей. Ни разу не сказала о нем худого слова, даже когда я ей на него жаловался. А было и такое время, незадолго до его смерти, я тогда вообще не мог спокойно с ним говорить.

Всегда и во всем, без колебаний и сомнений, она была с ним, на его стороне. Мой муж, говорила она, просто и ясно: мой муж. А мне про него: отец.

Выйти замуж для нее означало нечто окончательное и безусловное, это был союз, который заключается однажды и уже нерасторжим.

При мне они никогда не ссорились. Хотя поводы для ссор наверняка имелись, ибо она, мама, с ее безошибочным чутьем к реально достижимому, с ее спокойным пренебрежением ко всякого рода показухе, разумеется, не давала себя ослепить; сама держалась подчеркнуто скромно и не могла не видеть, что отец живет не по средствам.

Так что размолвки между ними бывали. И она выкладывала ему свое мнение спокойно и твердо. Но при мне они не ссорились никогда. Единственное, о чем я могу вспомнить, это ее строгое увещевание:

— Нет, Ханс, этого ты не сделаешь. Это просто не годится.

Что родители могут разойтись — три-четыре примера тому имелись в семьях моих одноклассников — или просто начнут жить раздельно, такое для меня было немыслимо. Они всегда вместе, всегда неразрывны. И после его смерти, ей тогда исполнилось пятьдесят шесть, она сказала: это был мой муж, единственный и желанный, мой суженый. Даже с пристрастием допрашивая собственную память, не могу воскресить в ней ни единой громкой перепалки, или чтобы кто-то из них дулся, укоризненно молчал, а тем более смотрел на другого с ненавистью — такого не было ни с ее, ни с его стороны. Недвусмысленное распределение ролей в семье просто не оставляло места для подобных коллизий. Он решал главные, экономические вопросы, определял *направление на марше.* Она занималась хозяйством, присматривала за магазином, консультировала покупательниц, помогала в мастерской, подшивала подкладки на шубы и заботилась о сынишке, то есть обо мне, *позднем ребенке, последыше.*

Слово "эмансипация" было напрочь лишено для нее смысла. От чего мне освобождаться? — только и сказала она клиентке, которая в 1969 году вместе с другими единомышленницами организовывала у нас в районе женсовет, а к ней пришла перелицовывать шубу.

— А уж шуба-то, одно название, грязная рванина, — рассказывала позже мать, — так она еще и цену сбить норовит! Красивыми словами сыт не будешь, сказала я ей. И еще: я делаю свою работу и хочу, чтобы мне за нее платили. Она мне на это: "Ну все, хватит!" А я ей дверь распахнула.

В моих глазах она как будто делалась выше ростом, когда вот так держалась, твердо и энергично.

Политика интересовала ее лишь в том смысле, чтобы оставили в покое ее саму и ее семью. Чтобы никогда больше не было войны. Она ходила на выборы, но всегда с присказкой: "А-а, все равно они делают, что хотят". Голосовала за левые партии, отчасти, возможно, и из-за меня. Но только не за *правых*, не за эту *грязную шайку*, которыми, по ее же словам, она *сыта по горло.*

Ходила в оперу, в театр, в музеи, читала то, что я ей советовал. Но прочитанное, увиденное, услышанное не затрагивало ее всерьез. Она все это делала просто потому, что сходить *разок* в театр или оперу – это *прекрасно*, ибо по такому случаю полагается *нарядно* одеться, в антракте можно выпить бокал шампанского, а потом еще несколько дней об этом вечере рассказывать. Нет, она не была интеллигентна. Навещая ее на Рождество, на дни рожденья, мы все, дети, Дагмар и я, жадно набрасывались на чтение желтой прессы, на все эти журнальчики и газетенки, которые она бережно хранила.

Она покорилась неизбежному и твердо пошла ему навстречу. Сумела приспособиться к бедности и лишениям первых послевоенных лет, но и когда *дела пошли в гору*, жила очень скромно. А желания? Все желания сосредоточивались на мальчике, то есть на мне. Лишь бы мальчику в жизни было хорошо. А ей самой, чего бы ей хотелось? Ну, чтобы не думать о деньгах. Путешествовать. Чтобы дело шло нормально. А ведь у нее болели руки, болели глаза. Она никогда не жаловалась, но я видел, как она промывает глаза кусочками ваты, смоченными в настое ромашки. У нее была катаракта, и она боялась когда-нибудь ослепнуть настолько, что не сможет шить.

В восемьдесят два года оставила она мастерскую. До этого работала не покладая рук, каждый рабочий день была на месте, вела бухгалтерию, продавала, делала примерки, подшивала подкладки на шубы. Никто ее этому не учил. Она сама, незаметно, вросла в работу. А ведь смолоду, при ее родителях и воспитании, все совсем по-другому могло повернуться. Она была выгодная партия, девушка из хорошей семьи. Но на судьбу она никогда не сетовала.

В последние годы, когда она вела дело уже только на пару с моей сестрой и *дела шли настолько плохо*, что ей случалось доплачивать из собственных сбережений, всякий раз, когда я приходил, она сидела в этой небольшой светелке, которая именовалась мастерской, за прилавком и подшивала подкладку на очередную шубу. Это одно из самых отчетливых моих воспоминаний: как она сидит и шьет. За окном березка, что при порывах ветра своими нежно-зелеными ветвями легонько гладит по стеклу.

После обеда сестра выходила в кондитерскую и приносила слоеных пирожных или кусок сливочного торта, а мать тем временем ставила воду и накрывала на стол: тарелочки, чашки, блюдца. Потом они садились, пили кофе и, что называется, *устраивали себе красивую жизнь*. Вечером шли домой и обсуждали путешествия, которые намеревались совершить. И она действительно начала ездить, она, до шестидесяти лет не покидавшая Германии, отправилась в автобусные туры во Францию, в Италию, в Англию, в Россию. Из поездок посылала открытки – подругам, родным, мне. Снова оказавшись дома, писала уже письма, почти каждый день. Неотвязная, снова и снова всплывающая мысль: когда не смогу больше работать в полную силу, перечитаю все эти письма, сотни писем, надеюсь, они и вправду даруют мне утешение.

Тридцать восемь лет было матери, когда она произвела меня на свет. *Богатырь*, как любила она говорить, 5 килограммов 174 грамма. А она была маленькая, хрупкая, 161 см ростом. Поздняя беременность – тогда все это было чуть ли не странностью. Она немножко стеснялась, когда беременность стала заметна, признавалась она. Но рожать или не рожать – такого вопроса для нее вообще не было. И для отца тоже, утверждала она.

Ребенок, первый, появился на свет в 1922-м, роды на дому, и это оказался не желанный сын, а всего лишь дочка. Отец, похоже, даже и не скрывал разочарования. Он мечтал о сыновьях, сынках, которые своей жизнью подправят и наверстают все, что не удалось ему. Сыновья сулили в будущем надежность, в том числе и финансовую, экономическую. Ведь еще его дед был простым крестьянином в Лангенхорне[1]. *Путь Тиммов.* Надел свой он продал строительной компании, большую часть вырученных денег промотал на выпивку и женщин, как и отцовский родитель, который однажды просто-напросто исчез, сгинул вместе с каким-то *человеком.* Это и есть мой дед, все фотографии которого уничтожены. Запрет на изображения. О нем в семье и не говорили никогда. Предать забвению. Наказать молчанием, неупоминанием.

Отец, рассказывала мать, так мечтал о мальчике, что *с девчонкой* вообще не знал, что делать, совсем не то что с родившимся двумя годами позже сыном, Карлом-Хайнцем. И действительно, ни на одной из фотографий его не увидишь в физическом соприкосновении с дочерью, ни за ручку, ни на руках, ни на коленях. Много позже, сестра лежала в больнице, уже и говорила с трудом, она сказала: наш отец, — она всегда говорила о "нашем" отце, "нашей" матери, что, видимо, должно было связать нас не только грамматически, — *наш отец всегда меня недолюбливал. Не то что Карла-Хайнца. Но тот и вправду был вылитый папа.* Сестра так и выросла в его тени. Ее желаний почти не замечали, даже мать, обычно такая благорасположенная и справедливая. Сестра, кстати, была на нее похожа, только более темная — волосы почти смоляные, глаза темно-карие.

— На цыганенка похожа, — сказал как-то сосед, когда ее, еще совсем малышкой, увидел. Мать была возмущена и с соседом с тех пор не здоровалась.

Ну а последненький? Волосы светло-русые, по фигуре в отца, похож на него и формой головы, и линией шеи, и вихром на затылке, и формой рук, но глаза от матери, карие, — да, это я.

Ханне Лоре — именно так, с заглавных букв и по отдельности, требовала она писать свое имя, как будто необычность написания способна служить подтверждением ее неповторимости. Она не смогла выработать в себе стержня, чтобы уметь настоять на своем и вообще чего-то добиваться в жизни. После школы окончила курсы домохозяек, потом исполняла трудовую повинность[2]. И чуть было не утонула. Вожатая спихнула ее в самое глубокое место бассейна: в суровые военные годы подобный способ обучения плаванию считался наиболее эффективным. Сестра заорала, захлебнулась, ушла под воду, вынырнула ненадолго, потом окончательно пошла ко дну. Ее спас инструктор.

— Просто я из тех, кому нет в жизни счастья, — сказала она тогда. И в дальнейшем повторяла не раз, не делая из этого никакой трагедии, не поднимая шума, скорее бесстрастно констатируя: *нет мне в жизни счастья.* Первый жених погибает пехотинцем в России, она знакомится

1. Сейчас — отдаленная северная окраина Гамбурга.
2. Введенная в 1930 г. в системе немецких педагогических учреждений *добровольная* трудовая повинность в 1935 г. была узаконена нацистами как *обязательная*, в течение полугода, для юношей и девушек в возрасте от 18 до 25 лет. По мере приближения войны и после ее начала трудовая повинность принимала все более суровые формы работы и военизированного воспитания в специальных молодежно-трудовых лагерях.

с новым мужчиной, уже помолвлена с ним — в 1944-м он попадает в русский плен. Она ждет его до 1951-го, семь лет ждет, пока не приходит похоронка: ее жених умер в русском лагере. Наконец, она влюбляется в мужчину, внешне очень похожего на отца, — рослый, блондин, привлекательной наружности, он арендует ювелирный магазин, и она, конечно, становится лучшей его клиенткой, покуда отец однажды попросту не выставляет его из дома. Она продолжает встречаться с ним тайно, задаривая родственников столовым серебром, ложками, вилками, ножами, последние, впрочем, всегда перевязаны лентой, во избежание ссор, чтобы "не перерезать нити дружбы". А у ее суженого, как тем временем успевает разузнать отец, еще две невесты. Однако сестру не способно отпугнуть даже это, на сей раз вместо серебра гений торговли продает ей целую историю, объясняющую, почему обе предыдущие помолвки еще не расторгнуты, — и сестра "покупается", верит ему...

— Такая безмозглость, — только и сказал отец.

Но она вовсе не была глупа, просто влюблена до беспамятства, до ослепления. Она и не хотела ничего видеть, она хотела именно и только одного — чувствовать, ощущать себя и обращенную на себя приязнь, нежность, то, что ее принимают всерьез, пусть даже со стороны того мужчины все эти проявления чувств связаны с деловым интересом, с желанием продать ей побольше украшений и столового серебра. Это была одна из пресловутых бытовых-роковых страстей, но вместе с тем и протест, ослушание, настоящий бунт в семье, за которыми я, ребенок, наблюдал с тихим изумлением, причем разыгрывалось все куда более неистово, ожесточенно и драматично, чем подобные коллизии сейчас, ибо *прилично* и *неприлично*, *положено* и *не положено* имело тогда в обществе гораздо более обязательную силу. Девушке, незамужней женщине не положено было *бегать за мужчиной*.

А сестра бегала, да еще в нашем же квартале, ювелирный магазинчик находился на параллельной улице, — одним словом, скандал. Для отца, конечно, это было мучительно. На глазах у всех дочь крутит любовь с аферистом, про которого каждый знает, что у него еще две пассии имеются.

В конце концов отец запретил ей — как-никак уже взрослой тридцатидвухлетней женщине — всякий контакт с любовником. Сцены между отцом и дочерью были ужасны: всхлипы, крики, рыдания, хлопанье дверьми, рявканье, ор.

Она ушла из дома, устроилась бонной и экономкой в семью врача. Через два года вернулась. Ювелир к тому времени женился на другой, на дочке фабриканта рыбных консервов.

Итак, сестра возвращается под кров родной и работает швеей-скорняжницей в отцовской мастерской, здесь же пройдя курс обучения. После смерти отца знакомится с иранским евреем, семья которого занимается торговлей коврами. Милый, обходительный человек, он ухаживает за ней годами, однако замуж за него она не идет. Он ей симпатичен, но только на определенном, не допускающем интимностей расстоянии. Она ходит с ним в кино, изредка и в оперетту, а по выходным, в хорошую погоду, они едут в центр города, обедают, идут гулять, заходят в кафе, а к вечеру он доставляет ее домой. И так годами.

На дни рождения, на Рождество он дарит ей золотые слитки с портретом шаха, разного калибра, от миниатюрных до увесистых, он дарит ей персидские кружева, медные блюда и медные кувшины — всю эту утварь мать находит ужасающей. Поклонника, который и к сестре, и к ма-

тери относится со старорежимной почтительностью, почти с благоговением, зовут Эфраим.

Один раз на какой-то праздник сестра идет с ним в синагогу и один раз наносит визит его семье.

На вопрос, почему она с ним не съедется, отвечает: не настолько он мне нравится, чтобы вместе с ним жить.

Как-то ноябрьским утром сестра читает в газете заметку о последствиях пронесшейся ночью над Гамбургом бури, с подтоплением домов и несчастными случаями на улицах: *На Остерштрассе (Аймсбюттель) легковой автомобиль, за рулем которого находился 50-летний житель Нью-Йорка Хекмат Х., столкнулся с такси, управляемым Детлефом Л. (31 год) из Нордерштедта. Находившийся на переднем сиденье рядом с американцем 62-летний житель Аймсбюттеля Эфраим Х. от полученных травм скончался на месте.*

Эту газетную вырезку я нашел в маленьком игрушечном чемоданчике, где сестра хранила свои документы, а также несколько писем, объявления о помолвках и смертях, несколько фотографий, в том числе и одного из женихов, которого я раньше в глаза не видал.

– Все могло бы сложиться совсем иначе, – говорила она. Но она уже с малолетства не видела способов хоть что-то поправить. Так и жила, пока не заболела и не легла на операцию. Ей только-только исполнилось шестьдесят восемь. В результате ей вывели катетер из кишечника. Сначала она умирала от стыда и страха, никуда не хотела ездить. Потом, несколько месяцев спустя, все-таки приехала нас навестить и за столом даже смешила детей шутками по поводу своего непроизвольного, отчетливо слышного газоиспускания: "Ай-яй-яй! – говорила она. – Как не стыдно!"

"Всюду теперь должна с этими пузырьками таскаться". Выходя из туалета, слегка смущаясь, несла с собой завернутые в туалетную бумагу мешочки и шла вниз, во двор, к мусорным контейнерам.

Однажды, когда мы были одни, она расплакалась и сказала:

– Это омерзительно!

Я ехал из Берлина в Гамбург. Сидел в вагоне-ресторане и смотрел в окно, на знакомые, родные мне пейзажи: луга, кусты, мелколесье, аисты на заболоченных прогалинах, одинокие дубы, черно-белые коровы-пеструхи, дома из жженого кирпича, Заксенвальд[1], первые одноэтажные строения с голубыми елями и "пауками" для просушки белья в палисадниках, главный вокзал. Я ехал в Аймсбюттель, в Элим, больницу, где когда-то родился сам и где умерла мать.

Элим, оазис покоя.

Та же самая, на шесть коек, палата, в которой тогда лежала мать. Окна раскрыты, занавески мягко колышутся. Необычайно жаркий летний день.

Возле койки сестры передвижная, на колесиках, капельница. В синем от кровоподтеков локтевом сгибе торчит канюля. Сестра совсем исхудала, дряблая плоть обвисает на костях рук. Волосы, которые она обычно подкрашивает в светло-каштановые тона, растрепаны и у корней образуют заметный, сантиметра на два, ореол седины. Больничная рубаха съехала на сторону и обнажает блеклую лепешку распластавшей-

1. Лесной массив восточнее Гамбурга.

ся по ребрам груди. Рот по-старушечьи провалился. Уже после в ящичке ночного столика я углядел ее вставную челюсть.

Сперва я заехал к ней на квартиру. Там все тщательно прибрано и помыто. Холодильник оттаян. Неоплаченный счет за электричество на видном месте, на столике в коридоре. Для меня застелена постель — точно так же, как когда-то делала мать, и кровать та же самая, коротковатая для меня, так что мне приходилось спать слегка поджав ноги.

— Счет?

— Оплатил.

Она все равно нервничала, рука то и дело тревожно ерзала по одеялу.

— Дома все в порядке, можешь не беспокоиться.

Но она хотела поговорить, хотела рассказывать, о себе, об отце, обо мне.

— И каким же я был? — Покуда можно получить ответ на такой вопрос, ты еще ребенок.

— Необычным.

— Что значит "необычным"?

— Да просто необычным.

— Но в чем именно?

Она подумала немного, потом сказала:

— Тебе львы в кустах мерещились. И ты палкой как давай шуровать. Все над тобой потешались. Кроме отца, он к тебе подошел и тоже стал львов искать. — Она задумалась, и было видно, что ей трудно не только говорить, но и думать, вспоминать. — Наш папа всегда такой заботливый был, — сказала она вдруг. — Он бы эту жуткую операцию не допустил.

— Но ведь она необходима.

— Он бы не допустил. Он всегда обо мне заботился, — сказала она.

Сейчас ей хотелось так думать, и я сказал:

— Да. — И добавил: — Наверно.

Карл-Хайнц, который был так привязан к отцу и вообще был *настоящим мальчишкой*... Этим мальчишкой он, отец, *гордился*. По всей вероятности, брат был таким же боязливым ребенком, как и я. И его тоже, как и меня, наверно, пробирал страх при одном воспоминании: "Ну же, прыгай!" А внизу, где-то совсем далеко, вода. И никто мне так никогда толком и не объяснил, как прыгать, чтобы головой вниз, но при этом вперед, оттолкнуться от доски, а не просто с нее рухнуть. Однажды, в дождливый день, когда в бассейне почти никого не было, я туда пошел, никому ничего не говоря, взобрался на пятиметровую вышку и спрыгнул. Десятиметровая все еще меня дожидается. Чувство — как приказ: *будь мужественным!* Он должен был быть мужественным, но не безрассудным. Уже в лазарете, с ампутированными ногами, в полубреду, одурманенный морфием, он уверяет отца: на рожон он не лез. То есть даже тогда, уже калекой, осознавая всю свою отныне исковерканную жизнь, свою юность, которой не было, — даже тогда он все еще хочет быть хорошим, послушным, смелым мальчиком, мальчиком, у которого *достало мужества не лезть на рожон.*

К письму матери брат приложил второе письмецо, для меня, тогда трехлетнего малыша.

22.7.1943

Дорогой Уве!

Как мне пишет наша золотая мамочка ты хочешь перестрелять всех русских и потом вместе со мной смыться. Малыш, так не годится, представляешь,

если все так сделают? Но я надеюсь, что скоро вернусь домой и тогда поиграю с моим Уве.

Мы сейчас ждем переброски, нас направляют на другой участок восточного фронта.

Что ты там делаешь целыми днями? Небось в ежевике пасешься? Ну и правильно, кормись на здоровье!

Как, откуда в голову трехлетнему карапузу может прийти мысль "перестрелять всех русских"? Не иначе у взрослых это было само собой разумеющееся присловье. Но возможно, таким очень уж окольным путем мать, опасаясь военной цензуры и потому вложив свой призыв в уста ребенку, пыталась подбить сына на дезертирство? Иначе вообще ни складу ни ладу: если ты перестрелял всех русских, зачем смываться?
Люнебургская пустошь. Мертвая сушь[1]. Шлезвиг-Гольштейн. Курорт Бад-Зегеберг. Воскресный день клонится к вечеру. Прогулка вокруг озера. Отец в шляпе и легком летнем пальто, в руках кожаные перчатки, мать в костюме, светлом пыльнике, нитяных перчатках, рядом ребенок в светлых штанишках, белых гетрах, – так они ходили гулять. При воспоминании об этом – оторопь, трудно дышать, трудно думать, вспоминать трудно. И еще вот что: на этих воскресных прогулках речь часто шла *о нем*, или это *часто* – сильное преувеличение? То есть иногда, от случая к случаю, речь шла о нем, а мне эти разговоры впечатались в память, потому что в них, вроде бы меня не касавшихся, было что-то, ставившее под сомнение меня, мою жизнь. Впрочем, не только меня, но и родителей и всю их жизнь. Что, если бы... Совершенно излишний вопрос, который, однако, всегда имеет в виду и самого вопрошателя: насколько ему ход вещей и событий представляется изменяемым, подвластным рациональному вмешательству. При том, что мать ни разу отца ни в чем не упрекнула. Всегда считалось, что брат действительно записался *добровольно*, отец его не уговаривал. А и не нужно было уговаривать. Это было просто бессловесное исполнение того, чего в полном согласии с отцом желало от юноши общество. Это вот мне потом можно, нужно было найти свои, собственные слова, возражения, вопросы и еще раз вопросы. Вытащить из себя слова, которыми можно выразить скорбь, печаль, страх – которыми обо всем этом можно рассказать. Мальчишками мы мечтаем и *сочиняем*. Сочинять – значит врать, плести бог весть что. Вот и слово разговорное кстати подвернулось: плести, сплетать. Мальчишкой мне и вправду приходилось многое из услышанного и увиденного *сплетать*, чтобы дать свое, только свое истолкование и всем этим вещам, и себе рядом с ними.

Боязливый мальчик. Храбрый мальчик.

Письмо отцу *20.7.1943*

С 5 июля наш взвод "тигров" не выходил из боя, и так до сегодняшнего дня, когда контрудар остановлен, об успехе ты наверняка уже читал в газетах. Бои были тяжелые, в иных местах разбитые русск., амер. и англ. танки стоят в 50–100 м друг от друга, иногда и по 3 рядом. Мы на своем бронетранспортере по кругу с Т-34 наперегонки гонялись, покуда тридцатьчетверке кто-то из наших

1. Люнебургская пустошь – часть Среднеевропейской равнины между нижними течениями Эльбы и Везера, а также расположенный на ней одноименный природоохранный заповедник с многочисленными редкими ландшафтными комплексами (один из них, "Мертвая сушь", прозван так за отсутствие водных источников) и курортами.

"тигров" или из 3,4 не залепил прямой наводкой. Потом тебе все в подробностях обрисую.

Только маме ничего не пиши

Привет тебе шлет твой боевой товарищ Карл-Хайнц

Храбрый мальчик добровольцем записался в элитные части. Это была совсем иная элита, чем та, среди которой и наперекор которой ему, отцу, пришлось утверждаться в "Добровольческом корпусе", там были остатки аристократии, последыши феодализма, в круг которых его впускали, но никогда не принимали по-настоящему, то есть только терпели. *Semper talis*, "всегда превосходны" – таков был девиз гвардейской мотопехоты, который отец любил цитировать. Однако про его, именно про его жизнь сказать "превосходно" было никак нельзя. А еще было слово "честь" – и как, с каким нажимом он повторял: *это против чести.*

В войска СС мог поступить только тот, чья родословная доказывала отсутствие еврейских предков до четвертого колена, то есть до прадедов. *Чистокровное арийское происхождение.* Родословное древо. Дворянство для целого народа. Гиммлер, который еще в 1928 году выводил породы домашней птицы, искал для СС образцы в Средневековье: рыцарский орден, тинговые ристалища, заселение Востока. Перенародование. Смешное, глупое слово – перенародование – на самом деле было убийственным. Только избранные удостаивались звания чистой расы, народ целиком, не какие-то слои, то есть не социальное, а только кровь, как у знати, но не голубая, а просто арийская, немецкая, та, именем которой человек господствующей расы призван господствовать. Черная гвардия. Элита. И разумеется, была своя система в том, что командирами всех частей особого назначения в России были – Гиммлер специально подбирал – люди с высшим образованием: восемь юристов, один университетский профессор, а штандартенфюрер СС Блобель[1], командир отряда особого назначения 4а, ответственный за гибель 60 000 человек, в штатской жизни был самостоятельным архитектором. К изумлению допрашивавших американских офицеров, все эти субъекты оказались не примитивными извергами, а литературно, философски, музыкально образованными людьми, которые – как бы хотелось, чтобы этого не было! – слушали Моцарта, читали Гёльдерлина. Разумеется, они прекрасно осознавали преступность своих злодеяний и предпринимали все возможное для их сокрытия. Когда Красная Армия подходила к Киеву, мертвецы из урочища Бабий Яр были силами военнопленных *эксгумированы* и сожжены, после чего производивших работы военнопленных расстреляли. Солярку, потребовавшуюся для кремации, списали по акту. Бухгалтерия смерти. Отто Олендорф, дипломированный экономист, начальник особой группы "Д"[2], дока по части статистики, оправдывал убийство 90 000 человек, женщин и детей, ссылками на Библию: древние иудеи, дескать, тоже истребляли своих врагов подчистую. Человек-господин, особь господствующей расы. Сбылась мечта обывателя, стала явью его затаенная мания величия: даже последнему ханыге проще простого было втолковать, что куда лучше в форме и при карабине охранять двенадцать работающих *недочеловеков*, чем корячиться самому. Вот и вся премудрость этой

1. Пауль Блобель (1894–1957) был ответствен за массовые расстрелы мирного населения на оккупированной территории СССР, в том числе за уничтожение евреев в Бабьем Яру.
2. Группа "Д" действовала на Украине.

господской идеологии. Мифа о крови и сознания, что ты немец, было достаточно, не важно, ленив ты или труженик, глуп или умен, главное — ты принадлежишь к народу господ. Подобно знати, с которой отец столкнулся на Балтике, — только там кичились чистотой родословной, а здесь чистотой принадлежности к народной общности. И вот в ней, в этой ничем, кроме круговой поруки происхождения, не заклятой общности, которая почувствовала себя элитой, знатью, возвышенной над другими народами, — в этой общности СС, Силы Сопровождения, были образцом, элитой элит, у каждого из членов которой группа крови была вытатуирована на левом плече. Что, конечно, было продиктовано скорее практическими резонами, — в случае ранения не нужно тратить время на анализ, — но, с другой стороны, в своем более глубинном значении отсылало к братству крови, к идеологии, которая постоянно, снова и снова апеллировала к крови, к родословной, к породе. Зеркальным отражением этого действия была нумерация заключенных в концлагерях: им тоже татуировали номера, правда на предплечье, пожизненно клеймя как изгоев рода человеческого. Номерами, одинаковым образом, были помечены и жертвы, и палачи.

И ничто — вот она, подноготная, вот она, отчаянная правда, — ни образование, ни культура, ни так называемая духовность не удержало, не уберегло преступников от злодеяний. И то же самое, только в противоположной ипостаси — Жан Амери пишет об этом в своем эссе "У границ духа", — относится к жертвам лагерей: культура, образование не прибавляли человеку сил, не даровали утешения, не укрепляли волю к сопротивлению — они не давали ничего. Зато у палача, как, например, у Гейдриха, когда он играл на скрипке, от переживаний дрожали губы.

Как пишет Жан Амери, жертвы ощущали другое: *Перед безъязыкой неприступностью этих стен, перед тугим трепетом стягов на ветру утрачивали свою трансцендентность и строфы стихов, и философские премудрости, становясь для нас либо сухими, безразличными констатациями, либо пустой болтовней. Там, где они что-то значили, они казались тривиальностями, а там, где они не казались тривиальностями, они уже ничего не значили. Чтобы понять это, не требовалось ни семантического, ни логически-синтаксического анализа: довольно было один раз взглянуть на караульные вышки, один раз нюхнуть сладковато-жирного дыма из труб крематория.*

Это не попытка объяснения. И никакое писание, никакая фраза не спасет, не поможет — в смысле дедукции, упорядочения, понимания, — нет, здесь только одно: самозащита перед лицом того, что тебе открылось. Среди фотографий, сделанных Ли Миллер[1] в Дахау сразу после освобождения лагеря американцами, есть одна, запечатлевшая эсэсовца, утопленного заключенными в речушке. В струях прозрачной воды можно различить лицо и пятнистую защитную униформу, слегка размытые, как будто всплывающие из неведомых, грозных глубин. "The Evil"[2] — так назвала Ли Миллер эту фотографию. А что, если бы брата перевели в концлагерь, охранником?

1. Ли Миллер (1907–1977) — знаменитая американская фотомодель, затем столь же знаменитый фотограф. В качестве военного корреспондента принимала участие в освобождении американскими войсками концлагеря Дахау.
2. "Зло" (*англ.*).

Этот вопрос родители вслух никогда не задавали. А мысленно? По крайней мере мысленно, так мне думается, они должны были его себе задать, — и велик ли был их ужас при подобной мысли? Вслух произносилось и обсуждалось, однако, совсем другое: что, если бы он не записался в СС? Разумеется, если бы он пошел просто в вермахт, это не было бы радикальным отказом от участия в войне — такой шаг надо было совершать на годы раньше, — но все же это было бы другим вариантом военного распределения, выбора воинских частей. Части вермахта несли не столь тяжелые потери, как войска СС. А кроме того, вермахт никак не был связан с этими *жуткими вещами.* В пятидесятые, в начале шестидесятых годов служба в вермахте еще считалась вполне честным, *приличным делом,* и это разумелось само собой. В вермахте, там служили честные вояки, они *только* исполняли свой долг. Войска СС исполняли больше чем просто долг. *"Наша честь – верность!"* — было выбито на их ременных пряжках. Вот если бы он пошел в Африканский корпус... Сослагательное наклонение, в котором, разумеется, упускалось — и родители прекрасно это знали, — что и в Африке тоже вполне можно было потерять обе ноги. Но быть может, — так, наверно, они рассуждали, — в Африке судьба распорядилась бы иначе.

Брат и правда хотел сражаться в Африканском корпусе. Роммель. Лис пустыни[1]. Африка. Мальчишеская романтика. В его дневнике есть рисунок: лев, выпрыгивающий из-за дерева, листья пальмы, на земле змея. Лев довольно хорошо получился. Другой, несколько менее умелый рисунок изображает витрину мехового магазина. Над витриной вывеска: *Меха Шкуры Звери – Женская и мужская верхняя одежда – Головы диких зверей – Чучела и скульптуры животных.* И в завершение отцовские имя и фамилия: *Ханс Тимм.*

В начале 1929-го отец открыл магазин-ателье по изготовлению и продаже чучел животных, проработав до этого несколько лет у известного гамбургского препаратора. Официально он профессии этой не обучался, но практические навыки освоил еще подростком у своего дяди в Кобурге. У него, что называется, "был глаз", он умел точно схватить суть движения и пропорций, благодаря чему изготовленные им чучела выглядели поразительно натурально, "как живые". Фотографии, на которых засняты отцовские изделия, вполне это доказывают: зебра, лев, собаки во множестве, а особенно самец гориллы. Остались фотографии, запечатлевшие процесс создания этого чучела: сперва отец в белом халате моделирует тело животного из гипса, потом горилла перед нами уже в готовом виде. Левой рукой зверь ухватился за дерево, пасть раскрыта, зубы оскалены, правой рукой он бьет себя в грудь, хорошо видны и хватательные пальцы на ногах, и пенис, правда на удивление маленький. Глаза у гориллы свирепо горят, губы, широко обнажая грозный оскал, влажно поблескивают. Зверь держится за дерево, и невозможно понять, то ли он только что спрыгнул на землю и готов напасть на смотрящего, то ли, застигнутый врасплох, в следующую секунду испуганно обратится в бегство. Горилла, как позже рассказывал мне человек, работавший тог-

1. Эрвин Роммель (1891—1944) — генерал-фельдмаршал гитлеровской армии, командующий так называемым Африканским корпусом. Ряд успешных сражений с британскими войсками в Африке принес ему прозвище Лис пустыни. Был заподозрен (без достаточных оснований) в участии в Июльском заговоре 1944 г. против фюрера, по приказу Гитлера в октябре 1944-го покончил с собой.

да у отца подмастерьем, наводила ужас на всех клиенток. Пока одна из них не возмутилась пенисом и на гориллу стыдливо повязали передник. С тех пор грозный самец никого уже не пугал, только смешил.

На одной из фотографий брат в матросском костюмчике, в руках набор сладостей в кульке, "Подарок первокласснику". Этот костюмчик с огненно-золотистыми пуговицами отец шил сыну на заказ. Мальчик смотрит очень серьезно. Рядом сидит овчарка. Живая или тоже чучело? Думаю все-таки, это Белло, овчарка, которая у них тогда была.

Гориллу отец сработал для американского музея, хотел бы я знать, для какого. Не исключено, что в зоологическом зале где-нибудь в Денвере или Чикаго на нее и сегодня можно полюбоваться. Отец работал по заказам музеев, собраний и частных клиентов. Фотографии его работ публиковались и удостаивались похвал в специальных журналах. В начале 30-х ему поступило предложение занять штатное место препаратора в природоведческом музее в Чикаго. Он долго взвешивал, принимать предложение или нет, ведь это означало эмигрировать. Потом все-таки решил остаться и основать свое дело. Внешне главным резоном была семья. Но в глубине души доводы были другие: ему не нравилась Америка, он не хотел расставаться с Германией. Германия — не просто страна, а родной край, с родной историей, в которой и ему есть место, которой он насквозь пропитан, которой гордится. Быть немцем — не только пометка в загранпаспорте, это *родина, язык, народ*, понятия, и в самом деле коренящиеся в слове "дойч", ведь в древнем языке готов "thiot", от которого произошло "дойч", означает "племя", "народ".

Совсем уехать — он мог себе это помыслить лишь как чрезвычайный, бедственный вариант, эмиграция всегда попахивала для него предательством. Предателем был Томас Манн, который в своей речи по Би-би-си оправдывал бомбардировки и разрушение своего родного Любека, предательницей была Марлен Дитрих. Та вообще выступала в американской военной форме, *изгалялась* перед американцами.

После войны, суровой зимой 1946 года, мы получили американскую посылку милосердия. Внутри обнаружились такие прежде совершенно неведомые мне вещи, как овсяное толокно, коричневый сахар, солонина, сухое молоко и кленовый сироп. В коробке лежали также две рубашки и пара ботинок, черных полуботинок, новых, на кожаной подошве, с шариком литой красной резины в середке черного, тугого, рифленого резинового каблука. Короче, ботинки, на которые, как на произведение искусства, приходили поглазеть родные и знакомые. Именно тогда отец впервые произнес слова, которые потом повторял не раз:

— Идиот, почему я не уехал в Америку!

Он влез в эти ботинки, хоть они были ему малы на целых два номера, не помогли и многократные растяжки у сапожника, ботинки жали нещадно, но он все равно их носил, целое лето, пока не натер себе жуткие мозоли, только после этого он с ними расстался, обменял на черном рынке на харчи, сигареты и три плитки швейцарского молочного шоколада. Каждый вечер, после ужина, мне выдавали по одной дольке. Вкус я не забыл и поныне.

Америка, Швеция, Швейцария — это были богатые страны, откуда к нам попадали школьные завтраки, шоколад, печенье. Америка в моем дет-

ском восприятии — это страна могущественная, куда более могущественная, чем отцовская *наша Германия*, а значит, само собой, и куда более могущественная, чем сам отец. С Америки началось унижение, посрамление поколения отцов. Про Россию говорилось: *страна многонаселенная, но обескровленная войной.* Зато Америка, несомненно, была и больше, и сильней. Ее ценности, ее культуру и стали перенимать. Какое оскорбление для тех, кто двинулся походом завоевывать весь мир, мня себя избранной расой! А теперь они были вынуждены кланяться каждому американскому чинарику и подвергаться перевоспитанию. Одно слово чего стоит: перевоспитание, reeducation.

В Кобурге в апреле 1945-го за мостом через Иц соорудили баррикаду, на берегу вырыли окопы. Командовал всем старший лейтенант, которому предстояло посредством окопов и баррикад оборонять нас от американцев. Был теплый, солнечный апрельский день.

Утром, заигравшись перед домом, я провалился в яму — то бишь в одиночный стрелковый окоп. И очутился в сырой, черной норе, как в могиле. Над головой только голубое небо. Должно быть, я орал как резаный, покуда немецкий солдат меня не вытащил. Вскоре после этого немецкие солдаты по-тихому смылись: скинули форму, переоделись в штатское, попросту побросав свои фауст-патроны и карабины на верхнем этаже. Американский танк неторопливо отпихнул в сторону груженный булыжником мебельный фургон, перегораживавший въезд на мост. Вскоре после этого в подъезде позвонили, и перепуганные женщины, в том числе и моя мать, отперли дверь: на пороге стояли трое американских солдат, один из них чернокожий. Так в Кобурге пришел конец третьему рейху.

Это было освобождение. Освобождение от кожаного запаха вояк, от кованых сапожищ, от "Так точно!", от рубленого, грохочущего, клацающего строевого шага, еще издали сотрясающего улицу. Победители пришли на резиновых подошвах, почти бесшумно. Веселая целесообразность джипа с его бензиновыми канистрами и лопатой на задке. Ветровое стекло переворачивается. Запах бензина, совсем другой, чем немецкий, сладковатый. Как неторопливо, с ленцой, солдаты в эти джипы влезали. Бросая нам, детям, жвачку, печенье, шоколад. Заморские сладости.

Крайсляйтер Файгтмайер, которого еще пару дней назад все почтительно, раболепно приветствовали, теперь, в своем коричневом мундире, метлой гнал мусор и черную жижу по водосточному желобу и суетливо отскакивал на тротуар, когда проезжавший мимо джип обдавал его грязью.

Разом, в одночасье все большие и взрослые вдруг стали маленькими. Опыт, который мне предстояло разделить со многими другими моими сверстниками. Вероятно, есть связь между этим опытом и антиавторитарным бунтом студенческого движения, который был направлен против поколения отцов.

Колонны машин протискивались через город, джипы, грузовики, бронетранспортеры, а пленные немецкие солдаты, оборванные, жалкие, чапали пешком. Последующая глубокая восприимчивость к американскому стилю жизни, к кино, литературе, музыке, одежде, весь этот триумфальный марш американских ценностей объясняется тем, что отцы безоговорочно капитулировали не только на полях сражений, но и во всех своих ценностных представлениях, во всех формах и устоях быта и

бытия. Взрослые выглядели смешно; даже если ты, еще ребенок, не мог подыскать этому вразумительного объяснения, все равно: деградация отцов ощущалась явственно. Перед победителями, солдатами английских оккупационных войск, мужчинам полагалось снимать головной убор, приподнимать шляпу. Ребенок смотрел на взрослых, которые подбирают брошенные американцами окурки. Мужчины, которых совсем недавно полагалось приветствовать во фрунт, которые привыкли отдавать распоряжения командными голосами, вдруг заговорили шепотом и уверяли, будто ничего "такого" не знали, ничего "такого" не хотели и вообще, дескать, тут не обошлось без измены.

Отцы отвергали американскую музыку, кино, джаз. Потеряв командную власть в общественной жизни, они тем истовее раскомандовались дома, в своих четырех стенах.

В школе стало нельзя преподавать по старым учебникам. Учитель, господин Бонерт, единственный учитель в школе, уволенный при нацистах за политическую неблагонадежность, преподавая нам немецкий и историю, не только говорил о тупости и преступлениях нацистов, но и задавался вопросами о причинах, на наглядных примерах критикуя *тупое послушание* и *военное долдонство* немцев. Отец, которому я все это пересказывал, страшно кипятился, возмущаясь подобным, под диктовку победителей, перевоспитанием. Но поделать ничего не мог. И я, тогда еще ребенок, хорошо чувствовал: за бурей словесного негодования обнажалась беспомощность.

В оккупированной Франции он однажды наблюдал, как немецкий солдат захотел угостить яблоком французского мальчишку. Мальчик яблоко взял и тут же брезгливо выбросил. Притча о гордости, отец рассказывал ее много раз.

В поезде — мы куда-то ехали — американский офицер хотел подарить мне плитку шоколада, я отказался. Американец только покачал головой. Отец, при сем присутствовавший, потом рассказывал об этом снова и снова как о небывалом геройстве. Карл-Хайнц наверняка поступил бы точно так же.

Целое поколение в политическом, военном, ментальном отношении оказалось низвергнуто, и оно реагировало болезненно, с мальчишеской обидой и мальчишеским ожесточением. Позже, с началом "холодной войны", реставрационные настроения снова набрали силу, но в первые годы после капитуляции всякое притязание на власть обречено было реализовывать себя только дома, в частной сфере. И разумеется, было направлено против культуры победителей.

Возможно, одно из существенных различий между Восточной и Западной Германиями, то бишь между позднейшими ФРГ и ГДР, как раз в том, что в западной части перед населением со всей неумолимостью был поставлен вопрос коллективной вины. Что с точки зрения демократической процедуры только логично: Гитлера ведь избрали всем народом. В восточной части, напротив, в механистически-упрощенном ракурсе все свели к различию между обманщиками и обманутыми, в том смысле, что капиталисты, эксплуататоры, были обманщиками, а трудящиеся оказались обманутыми. Вина, таким образом, становилась явлением классовым, имеющим обоснование в экономических интересах. Благодаря чему авторитарное мышление и верноподданническое служе-

ние государству остались вне критики, больше того, были восприняты и унаследованы социалистическим обществом в качестве своеобразных прусских доблестей. Да, экономические отношения подверглись революционному преобразованию, впрочем, подверглись извне, усилиями Красной Армии и Советского Союза. Однако экономическому перевороту не сопутствовала культурная революция, то есть восстание против *устоев* и *стиля жизни* провинившегося поколения отцов. Не были опробованы новые формы общежития, более свободные отношения между полами, более критичный подход к государственным структурам, со свободой слова, участием населения в управлении, вовлечением его в механизмы социальной самоорганизации. Вследствие чего всякий частный кабачок в глазах власти уже становился рассадником крамолы, каждый печатно-множительный аппарат подлежал запрету как источник возможных беспорядков, даже микрокалькулятор и тот вызывал подозрения, ибо с его помощью можно, чего доброго, подделать и исказить цифры неколебимо улучшающихся производственных показателей. Всякая критика подобного положения вещей, даже когда она принимала солидарные формы, отметалась как следствие идеологических происков Запада, Америки, мирового капитализма.

Мальчик не в состоянии припомнить, чтобы родители хоть раз побуждали его к непослушанию, — даже мать; *проявлять выдержку, быть осторожным* – да, но сказать "нет", ослушаться, не исполнить — такого не было. Воспитание храбрости — которая неизменно мыслилась как храбрость заодно с остальными — вело к гражданской трусости.

После освобождения из английского плена отец направился в Гамбург, а вслед за ним в 1946-м и мы туда вернулись. В развалинах он нашел скорняжную швейную машину, смазал ее, почистил и в подвале, где вскоре предстояло обосноваться и нам, открыл пошивочно-меховую мастерскую. У него, когда он вернулся из лагеря, действительно не было ни кола ни двора, только его — перекрашенная в зеленый цвет — шинель офицера люфтваффе. Швейцарские авиационные часы, как он неустанно потом рассказывал всем и каждому, у него, когда его брали в плен, украл английский солдат. Относительно его теплых, на подкладке из свиной кожи, сапог имеется две истории; согласно одной сапоги с него под угрозой расправы сняли неподалеку от вокзала Даммтор только что освободившиеся *польские иностранные рабочие*, другая гласит, что сапоги он обменял на беличьи шкурки и масло. Может, было две пары сапог, одну он хранил у сестры? Одно из самых отчетливых воспоминаний об отце: в своих бриджах, туго обтягивающих икры, и в полуботинках он бегает по квартире, как аист. Половина дома, в котором он нашел полуподвальное наше жилище, была сметена с лица земли попаданием фугасной бомбы, в связи с чем межквартирная стена превратилась в наружную. Прямо в окно заглядывали развалины, холмистый руинно-мусорный ландшафт, где так замечательно было играть. В нагромождениях кирпича и штукатурки можно было откопать все что угодно: кастрюли, водопроводные краны, ванны, железные кровати, ножи, водопроводные и сточные трубы, часы, швейные машинки, утюги — все это заржавелое, а иногда и прихотливо оплавившееся в горниле пожара.

Полукруглый шрам у меня на лбу — напоминание об этих играх среди руин, с их запахом известки и трухлявого дерева. Мальчик, то есть я, сидя на корточках, играет в строителей — молотком очищает штуку кир-

пича от остатков цемента — и вдруг получает страшный удар в лоб велосипедной рамой, которую другой мальчик увлеченно выдергивал из горы мусора и наконец выдернул. В тот же миг глаза мне застилает пурпурная пелена, боли сперва вообще нет, лишь изумление этому алому цвету повсюду, на руках, рукавах, на одежде, и только потом вкус крови и железа во рту.

Отец спал на скорняжном столе, большой деревянной плите, на которой, подбором по лекалам, из кусков меха составлялось меховое изделие. Не могу припомнить, где тогда была сестра. Вероятно, у родственников в Шлезвиг-Гольштейне. На единственной кровати спали мы с матерью. Через граничившую с улицей стену в комнату проникала влага, замерзала зимой инистой корочкой, вечером, в бликах свечи, образуя сказочные лесные ландшафты. Мы спали в кровати одетыми, в свитерах и в пальто, отец укрывшись своей перекрашенной шинелью, с белыми буквами PW на спине. Prisoner of War[1].

Он сидит за швейной машиной и сострачивает куски меха, разглаживая ворс, такой нежный и тонкий, что при малейшем дуновении воздуха мех подергивается серой дымкой. Тяжкая, муторная работа, отец все время чертыхается, когда шерсть попадает в шов.

Это была первая в его жизни шуба, сшитая своими руками.

Через два года мы уже смогли выбраться из подвала и поселились в комнате в общей квартире, сухой и с нормальным отоплением. А еще три года спустя переехали в отдельную квартиру, что располагалась над нашей мастерской и магазином. Магазин отец основательно перестроил, стены облицевал мореным буком, установил два огромных примерочных зеркала. Нанял двоих скорняков и шесть швей. У мастера, господина Котте, не было одного глаза. Он был водителем танка. Осколок гранаты, залетевший в смотровую щель, угодил ему прямо в глаз. Скорняком Котте был неважным, в его шубах нередко обнаруживался брак. То волос по высоте подобран плохо, то по оттенку несовпадение, особенно в подпушке, которая дает *дымку*.

— Он плохо видит, одним-то глазом, — говорил отец. От клиентов поступали нарекания и жалобы, но он все равно стойко держался за своего мастера, инвалида войны, который регулярно отворачивался к стене, и все знали: это он вынимает свой искусственный глаз, чтобы протереть его носовым платком.

Когда праздновался какой-нибудь праздник — а в те дни то и дело что-то отмечали, — к нам приглашали молодого человека, владельца небольшой скорняжной мастерской. Он был калека — остался после войны без ног. Его привозили в отцовском автомобиле. Отец сам, на руках, нес его в мастерскую. Там, на скорняжном столе, уже было накрыто, копченые свиные ребрышки и сосиски с картофельным салатом. Молодого человека, у которого ноги были отняты по самое туловище, усаживали на стул. Время от времени отец носил его в туалет. Все много смеялись, и молодой человек смеялся, да, он тоже мог смеяться, громко и *от души*, чему я, ребенок, не переставал изумляться, во все глаза глядя, как он сидит, опершись обеими руками на скорняжный стол, и смеется, буквально *покатывается со смеху*. А когда все уходили, отец снова брал на руки этот человеческий обрубок и сносил по лестнице к ждущему внизу автомобилю.

1. Военнопленный (*англ.*).

После отец с матерью еще какое-то время сидели за большим скорняжным столом, над неубранной посудой и остатками трапезы, и молча курили. По такому случаю и мать разрешала себе выкурить сигаретку. Когда она докуривала, между родителями всякий раз затевался один и тот же разговор: если бы мальчику сделали больше переливаний крови, как знать, может, он бы остался жив. Вправду ли врачи сделали все, чтобы его спасти? Или его, с раздробленными ногами, в военно-полевом госпитале сразу определили в пресловутую категорию раненых "третьей очереди"? Раненых классифицировали по степени выживаемости. Чем тяжелее ранение, тем позже оказывалась помощь. Экономя силы хирургов, их избавляли от лишней работы. Многие тяжелораненые умирали, не дождавшись операции. Брат дождался и после операции еще 27 суток прожил, из госпиталя даже еще письма писал.

А если просто не хватило консервированной крови?

И поэтому он не получил надлежащего послеоперационного лечения?

Вопросы, которые снова и снова задавали себе родители.

Отец ведь почти сразу же после получения похоронки написал штабсврачу с просьбой предоставить более точные сведения. Не захотел довольствоваться сухими строчками извещения: "С прискорбием вынуждены сообщить вам о геройской смерти вашего сына". Хотел знать подробности, написал в *дивизию "Мертвая голова"*, в полк. В полученном ответе говорилось, что рота расформирована, личный состав придан другим подразделениям. Это означало, что роту стерло в порошок, она *сожжена* в боях. *Сожженный* батальон СС, *сожженная* рота СС. На языке преступников глагол *сжечь* относился не только к жертвам, но и к своим, к сообщникам, к подельникам.

Сестра рассказывала мне о брате, об их совместных играх и проказах. Как она, старшая, брала братишку с собой в кино, как они вместе ходили в цирк, а после она предложила братцу превратить его в кролика. Он, однако, попросил сперва испробовать колдовство на соседском мальчике, хотел убедиться, что она сумеет превратить его обратно.

Примечательно, что в его письмах о сестре почти ни слова. Зато о младшем братишке он спрашивает то и дело.

Письмо отцу 17.3.1943

Ты пишешь, чтобы я ничего не писал матери про то, что мы на передовой. На это скажу тебе, что вообще ни о чем таком домой ни разу не писал и в будущем тоже писать не стану. Кроме того, я и не гоняюсь за орденами, я себе раз и навсегда сказал, что это глупость, мое дело только приказы выполнять, а все остальное меня не касается – какой мне прок от ЖК, если я без руки останусь, тогда, считай, и жизнь загублена, и работа пропала.

Сегодня, по воспоминаниям, у меня такое впечатление, что отец сильнее страдал от утраты, чем мать. Да, она отгоревала, она попрощалась с сыном, но ее негодование имело конкретный адрес – *грязную шайку*, под которой она подразумевала нацистов и вообще всех этих, которые *там, наверху*, делают политику и всем заправляют.

Вот так растишь мальчика, чуть у него жар, ты глаз не смыкаешь, столько любви, заботы, трудов, пока вырастишь, а у тебя его просто отберут, увезут, искалечат, а потом уморят до смерти.

Отец не мог впустить в свое сердце скорбь, одну лишь ярость, которая, однако, поскольку для него отвага, воинский долг, традиция оставались понятиями святыми, никогда не доискивалась до первопричин, а обрушивалась на бездарность и дилетантизм командования, на трусов и тыловых крыс, на предателей. Это и составляло предмет его разговоров с боевыми товарищами. Они заходили по вечерам, садились, пили коньяк и кофе и в который раз обсуждали перипетии войны. Искали объяснений, почему *упущена* победа. Заново разыгрывали сражения, корректировали приказы, смещали бездарных генералов, отстраняли Гитлера от военного руководства. Сегодня даже поверить трудно: подобным разговорам посвящались целые вечера.

Какое-то время отец всерьез подумывал, не вступить ли ему в ЛДПГ или в национально-немецкую ГП. Он умел выступать, говорил хорошо, свободно, и знакомые, в эти партии вступившие, теперь уговаривали его присоединиться. Притом он ведь интересовался политикой, а все равно не решился. Он, кстати, и в национал-социалистскую партию не вступил, хотя его обхаживали, даже предлагали должности — он действительно был хороший оратор. Но все эти партийцы казались ему *шпаной*.

В начале 50-х, если не ошибаюсь — в 1952-м, он нанял шофера, который еще во время войны, когда отец служил при штабе люфтваффе в Кёнигсберге, случалось, время от времени его возил.

Мальчик, то есть я, окрестил шофера Массой. Имя он позаимствовал из книжек "про колонии", которые на свои карманные деньги покупал у старьевщика-букиниста. Книжки про немецкие и английские колонии в Африке. Масса. Так чернокожие обращались к своим белым господам. Отцу прозвище показалось забавным, и он тоже стал так называть своего шофера, а вслед за ним, разумеется, и все скорняки и швеи. Хотя он служил у отца три года, его настоящего имени я так и не знаю.

Масса ходил в серой шоферской форме и был у нас *мальчиком на побегушках*. Отвозил клиенткам сданные на хранение шубы, ходил за покупками, возил отца на заседания скорняжной ремесленной гильдии, красил двери в мастерской и у нас в квартире. Но главное — он много говорил. Этот человек готов был разглагольствовать везде и всюду. При этом не делая различий между взрослыми и детьми, то есть принимая меня всерьез. Масса был коммунистом.

Первый коммунист в моей жизни. Человек, питавший твердую, осознанную ненависть ко всем господам, в особенности к тем, у кого служил водителем. И только для отца делал исключение. Предполагаю, что, будучи во время войны его начальником, отец однажды серьезно его "прикрыл". Много я бы дал, чтобы узнать, где, в чем и как именно, однако от предположений воздержусь, не хочу уклоняться от описания процесса воспоминаний в область прекраснодушных гипотез.

Три года спустя — *дела пошли плохо* – отец Массу уволил. Но не просто так, а подыскав ему работу, место привратника у кого-то из знакомых. Исполнив таким образом то, что не раз провозглашал своим долгом:

— *Я забочусь о своих людях.*

В ту пору — мне, наверно, было лет четырнадцать — я понемногу, но все более остро начал осознавать в жизни отца некую неувязку. С одной стороны, это был мой отец, который, покупая себе рубашки, заказывал сразу по шесть штук одинаковых, который, когда приглашали портного, словно в старину в восточно-эльбском поместье, держал этого портного дома ме-

сяца два, заставляя его обшивать исключительно и только нашу семью: шить костюмы для мамы и сестры, брюки, пиджаки, куртки, а главное, мужские костюмы, в большинстве серые, светло-серые, маренго, темно-серые. Под цвет военной формы. Пиджаки он носил с платочком в кармане, но лишь слегка выглядывающим, в белый или голубой горошек. Здороваясь с женщинами, целовал руку. Как принято было говорить, *душа любого застолья*. После супа, постучав ножом по бокалу, произносил тост — за юбиляра, за новобрачных, за героя торжества. На собраниях гильдии или на встречах образованного им СГС, Сообщества Гамбургских Скорняков, говорил всегда без бумажки и так, что его все слушали. Умел рассказывать анекдоты. Но неизменно не больше одного за вечер и ни в коем случае не из "похабных". Обычно это были анекдоты про вождей третьего рейха — Гитлера, Геббельса, Геринга, Риббентропа. Однажды министр иностранных дел фон Риббентроп, даже среди нацистов слывший самоуверенным болваном, вместе с министрами иностранных дел других европейских государств был приглашен к голландской королеве по случаю юбилея коронации. На торжественный обед. В этот день королеву сильно пучило. И во время еды она внезапно и очень явственно испустила неприличный звук. Французский министр иностранных дел вскакивает и галантно произносит: "Простите, Ваше Величество!" Обед продолжается. Королева испускает звук вторично. Английский министр иностранных дел вскакивает и говорит: "Простите, Ваше Величество!" Обед продолжается. Королева в третий раз пукает, очень громко. Рейхсминистр фон Риббентроп вскакивает и гаркает на весь зал: "Ваше Величество! Этот и три следующих раза германская сторона берет на себя!"

Отец рассказывал с невозмутимым видом, без улыбки, не смаковал и смех окружающих, тут же непринужденно переводил разговор на другую, обычно более серьезную, деловую тему. И все это без малейшего заискивания и заигрывания с публикой. Поднимал бокал, держа его за самый низ ножки и как бы чокаясь со всеми сразу. За столом уже воцарялось оживление, смех некоторых дам звучал все заливистей. Он вставал, подходил к пианино, садился, начинал играть, импровизируя, голоса и смех постепенно стихали, изумленные гости, кто с сигаретой, кто с бокалом в руках, обступали музыканта, слушали. Он чуть иронично вскидывал руки, закрывал крышку инструмента, жестом отметая аплодисменты, вставал, извлекал из кармана пиджака портсигар, с мягким щелчком давал отскочить крышке, не глядя вынимал сигарету, несколько раз легонько пристукнув ею по крышке, захлопывал портсигар и небрежно опускал его обратно в карман. Коротко и точно чиркал спичкой, прикуривал сигарету, выбрасывал спичку в пепельницу — и все это непринужденно, элегантно, выверенными движениями. Курил, слегка отставив от себя сигарету, держа ее двумя пальцами, указательным и средним. На мизинце кольцо с камнем, дымчатый топаз.

Независимость, самостоятельность — главная его гордость.

Человек, которому всюду рады, чьего общества ищут, интересный мужчина, остроумный собеседник — таким был отец.

Но был и другой отец — тот, кто вечерами, сгорбившись, корпел над своими конторскими книгами, вычислял, подсчитывал. Вздыхал, качал головой, безмолвно сжимал руки — да, он медленно стискивал руки, отчаянно их мял, словно силясь раздавить, расплющить, стереть в порошок все свои тревоги. Постоянно ощутимый страх отца — да и матери — перед крахом, выпадением из буржуазного существования, перед непредставимой катастрофой отлучения от своего круга и класса. Боязнь утра-

ты самостоятельности, которая на самом деле была в буквальном смысле заемной, взятой у банков в долг.

И телефон. По утрам бесконечные телефонные переговоры с банками о продлении векселей. Я слышал, как ему, кто так дорожил своей гордостью, осанкой, манерами, своей честью, — как ему приходится клянчить, да, он клянчил по телефону, и не только у банков, но и у своих коллег-цеховиков, которых за глаза называл "портняжками", просил денег, 500 марок, 3000 марок, 5000 марок — в 1954-м это уже были немалые деньги, — вымаливал суммы, которые нужны срочно, позарез, расплатиться с банком по процентам, чтобы только не лопнул вексель, чтобы пролонгировать. Пролонгировать, слово-бич. И еще эта непрестанная забота о том, как он выглядит в глазах других: что *люди* подумают! Не в поверхностном смысле — кем ты среди людей слывешь, — а в смысле: кем ты хочешь казаться и кем на самом деле *кажешься*. Постоянно следя, чтобы между двумя этими образами не возникало ни малейшего зазора. Одно дело знатность, неотъемлемая часть личности, обусловленная рождением, происхождением, *кровями*, и не важно, разорился человек, приговорен, поражен в гражданских правах, — знатность его остается при нем. Другое дело буржуа: разорившись, обанкротившись, он становится никем, теряет себя, свою социальную сущность. Отсюда постоянная боязнь оказаться в неловком положении, ничего общего не имеющая с чувством такта, ибо чувство такта — это в первую очередь забота о других. Боязнь же неловкого положения сосредоточена исключительно на себе, это страх социально оплошать, оказаться социально несостоятельным. Это постоянный взгляд на себя со стороны, причем не собственный взгляд, а предполагаемый, чужими глазами. Косой, недобрый, подозрительный взгляд.

И как назло, едва ли не в самом чувствительном месте, в пункте кредитоспособности, он вынужден был так позорно обнажаться, признавать, что у него может лопнуть вексель, если он не раздобудет нужную сумму. А лопнувший вексель подобен всесокрушающей лавине, ибо тогда ему предъявят к оплате все векселя, а они все, как и самый первый, не обеспечены. Из-за этого телефонные звонки, просьбы, мольбы, унижения — перед приятелями, коллегами, служащими банка, притом мелкими, которым он с превеликой радостью дал бы пинка *в их тощие зады*.

Для себя он еще как-то оправдывал все это словом "ответственность". Ответственность перед своими людьми. Он говорил об этих *своих людях* в исконном смысле крепостной принадлежности, относя к ним не только членов семьи, но и своих служащих. Тогда это были двое скорняков, шесть швей и шофер. И семья: жена, незамужняя дочь, наследник и последыш сын, но также и обе отцовские сестры. Кого недоставало, так это старшего сына, моего брата, — тот бы помог. Ведь он тоже был скорняк. Надежды возлагались на меня: когда-нибудь я сниму тяжкую ношу с отцовских плеч. То есть тоже стану, должен стать скорняком.

Слово "пролонгация" было эвфемизмом финансового унижения. Унижения начинались каждое лето, когда наступал мертвый сезон, или, по-крестьянски говоря, *пора солить огурцы*. Продаж, считай, вовсе не было. Отсюда и изобретение: *прием меховых вещей на хранение*.

Начиная с весны шубы у клиенток забирали, тщательно выбивали и развешивали в специальном помещении, опрысканным средством против моли, но не слишком сильно, иначе существовала опасность, что поздней осенью, когда придет пора развозить шубы обратно, они будут нещадно вонять нафталином. Впрочем, и поскупиться с дезинфекцией

тоже было нельзя, такая экономия чревата нашествием моли. Летом шубы время от времени выносили на воздух, там проветривали и выколачивали. Забирали у клиенток шубы Масса и сын хозяина, то есть я, мы же поздней осенью развозили их обратно. В этом деле были свои ранжиры. Клиенток, у которых имелась лишь одна шуба, обслуживал только Масса. Обладательниц нескольких шуб или клиенток, важных благодаря возможным с их стороны рекомендациям, сын и Масса навещали вдвоем. Он, в серой шоферской форме, нес шубы, а сын, тогда тринадцати лет от роду, изрекал:

– Добрый день, отец передает вам самые сердечные приветы, мы привезли ваши шубы.

Сняв фуражку, Масса вручал хозяйке шубы. Сын просил расписаться о получении в квитанции. Отец разделял клиенток на тех, которые знают, что положено, и тех, которые не знают. Те, которые знали, давали чаевые Массе. Те, которые не знали, совали деньги сыну.

Мне приходилось отдавать чаевые Массе.

Однако доходы от сезонного хранения шуб и близко не покрывали убытков от вынужденного сезонного простоя. Следовательно, лето оказывалось порой, когда приходилось пролонгировать. Порой телефонных звонков и судорожного стискивания рук. Может, именно поэтому он на школьные каникулы отправлял нас с матерью "отдохнуть на природу", в Люнебургскую пустошь или в Петерсхаген, на Везер, где мы месяц с лишним жили в гостинице. В своем "адлере" сам отвез нас в Шнефердинген, *гостиница "Витте", старейшее заведение на площади.* Длинное, как барак, здание из жженого кирпича, с белыми переплетами окон. Отец хотел остаться дня на три. Мы отправились в поход, хотя нет, скорее на прогулку. У английских солдат, стоявших гарнизоном в соседнем Солтау, как раз были учения. В поле, на лесных тропах, они расспрашивали отца, где какая деревня и как туда добраться. Его вполне можно было принять за англичанина в штатском. Осталась фотография, на ней он в полуботинках, светло-серых брюках, светлой рубашке и темно-серой вязаной безрукавке. Ни дать ни взять наблюдатель маневров в штатском.

На опушке, укрытые маскировочной сеткой, стояли танки.

– Никуда не годится, – сказал он, указывая мне на изрытый гусеницами песчаный грунт, следы танков. – Сверху сразу все видно. Надо только понять, где кончаются следы. С воздуха танки как орехи щелкать можно. Первый танк, еще в Первую мировую, уничтожил Риттер фон Шляйх, в пикирующем полете. Принцип пикирующего бомбардировщика: целиться машиной. – Сначала он все очень подробно объяснял и руками показывал, как входить в пике через правое крыло, как через левое. А потом вдруг стало заметно, что мыслями он уже где-то в другом месте. Он курил, почти беспрерывно, после обеда выпил кофе с коньяком. И уже на второй день уехал в Гамбург.

А через две недели матери пришлось прервать отдых. Муж дома слег. Желудочные боли, судороги, приступы дурноты, рвота. Диагноз: язва двенадцатиперстной кишки. Еще одна из отчетливых картин в моей памяти, отчетливая как раз из-за своей непривычности, из-за того, что с образом отца и с его собственным о себе представлением так плохо вяжется: лежа в постели, он делает вращательную терапию. Мать готовит овсяный отвар. Два года спустя у него будет инфаркт. После этого, говорила мать, он стал уже совсем не тот, сломленный человек. Думаю, это щадящая ин-

терпретация: упадок начался раньше. Инфаркт был реакцией организма на ухудшение дел, на изменившуюся экономическую конъюнктуру. Послевоенная эпоха с ее экономикой дефицита подходила к концу. Черный рынок — вот была его стихия, это был он сам; время, когда требовалось умение импровизировать, верное *чутье*, способности не столько быть, сколько казаться, время векселей, выдаваемых на будущее, когда скупщики утильсырья становились промышленными магнатами, как Шликер в Гамбурге, который потом с треском обанкротился, — в каком-то смысле судьба отца в миниатюре повторяет шликеровскую.

На короткое время вдруг не стало спроса на университетские дипломы, сертификаты, аттестаты, свидетельства, на все, чего он не мог предъявить, зато понадобились оборотистость, идеи, связи, фантазия, умение убеждать и уговаривать. Иными словами, что-то от американского стиля жизни, который отец ненавидел, но который на самом деле в точности соответствовал его статусу недоучки и всему складу его существования и существа.

Человек находит старую швейную машину-скорняжку, чистит ее, смазывает и открывает меховую мастерскую. Беличьи шкурки он выторговал у советского офицера в ходе сложной обменной операции, изготовил из них, сверяясь с пособием "Немецкий скорняк", беличью шубу, которую сбыл жене английского майора, то есть тоже обменял. Майор контролировал вырубку Лауэнбургского леса. Древесину в порядке репараций отправляли в Англию. Множество *выкроенных* погонных метров обрезной доски отец и получил за беличью шубу, а уж доску он потом менял на сигареты, масло, сахар, одежду и новые шкурки.

Но это время импровизации, находчивости, вдохновенного изобретения экономических колес и велосипедов в мелких и мельчайших частных лавочках уже в середине 50-х неуклонно приближалось к концу. И от мехов теперь ждали совершенно иного качества, возник спрос на изысканные, дорогие шубы — бобровые, из оцелота, из рыси. То есть на меха, закупка которых просто подорвала бы отцовские финансовые возможности. Да и фасоны шуб, технология обработки мехов — все стало другое. А он был всего лишь скорняк-самоучка, к тому же сам давно не работал. Но и оба нанятых им скорняка не в состоянии были кроить элегантные фасоны модных шуб, горжеток и накидок.

Он умел замечательно продавать. Всем видом показывая, что ему лично ничего от вас не нужно, просто он делает вам любезность. Высокий, стройный, белокурый, летом бронзово-загорелый, с *глубокими синими* глазами, обворожительный говорун с превосходными манерами — вот его капитал. Разглядывая фотографии его юности, начинаю подозревать, что капитал этот он приобрел во время своей добровольческой экспедиции на Балтике, в общении с боевыми товарищами из благородных семейств.

Потому что дома ни его предельно ограниченная мать, ни дядя с теткой, у которых он рос в Кобурге, примером подобного обхождения послужить никак не могли. И пока он оставался вот таким — интересным, привлекательным мужчиной, *шармёром* и *душкой*, — многие клиентки приходили исключительно ради него, настаивая на том, чтобы именно он их обслуживал. В основном это были покупательницы, привыкшие не смотреть на цену и постепенно, по мере развития модных тенденций в сторону изящества, перебежавшие от нас в элегантные, большие мага-

зины-салоны в центре города, к *"Леверману"*, самому крупному меховому предприятию Гамбурга, где, как предполагалось, и я буду учиться, или к более экстравагантному *"Бергеру"*, покупать у которого считалось *особым шиком*. Шубы с фирменной этикеткой *"Бергер"* не зазорно было и в знаменитом ресторане *"Якобс"* небрежно бросить на стул шелковой подкладкой наружу. Этикетка *"Тимм-Меха"* — у меня их еще целый рулон сохранился, — невзирая на прихотливые, с завитушками буквы *T* и *M*, подобного эффекта не производила. Шубы, полушубки и горжетки с этой этикеткой были сработаны хотя и добротно, но вид имели простоватый, не поражали ни изысканностью покроя, ни редкостью мехов — серебристо-голубой или дымчатой норки, натуральной каракульчи.

Дело *больше не шло*, обороты падали, и отец, тем временем уже уволивший шофера, садился за руль и ехал в центр города, стоял там перед витринами универмагов, в которых красовались новомодные тогда норковые шубы, по ценам, в какие ему, вздумай он производить нечто подобное, в жизни бы не вписаться. Шубы, требовавшие много машинно-швейной работы, изготовлялись теперь — понятие, тогда только-только появившееся, — *в странах дешевой рабочей силы*, в Югославии и Греции.

— Какая халтура! — кипятился он. — Ты только погляди, мех в шов заженан, сразу же видно, и полосы вкривь и вкось.

Он стоял перед витриной и возмущался: за такое в суд надо подавать, это же недобросовестная конкуренция! Они ремесло подрывают! И когда он, стоя перед витриной, так распинался, он был тем, кем никогда бы на свете не согласился быть, кем только других презрительно обзывал, — мелким портняжкой.

Если бы Карл-Хайнц, сынок, был жив.

Брат мечтал о сапогах на шнуровке, какие тогда носили пилоты, мотоциклисты, штурмовики. Экономил, карманные деньги откладывал, пока не набрал на сапоги. На одной из фотографий он в форме гитлерюгенд и в этих сапогах, высоких, почти до колена. Шнуровка держалась на крючках. Он в Африку хотел. Но к Роммелю по личной заявке не брали.

Первые джинсы мне было разрешено купить после многомесячной ожесточенной борьбы, при поддержке матери и Массы, в четырнадцать лет. В этих джинсах я выходил в город, в них даже шлось иначе, медленнее, степеннее, с ленцой; отцу, который не уставал нахваливать походный шаг немецкого пехотинца, такая походка не нравилась. Я ходил в Дом Америки, располагавшийся тогда на Бинненальстере[1]. Там показывали фильмы, можно было брать книги. Фотоальбомы — я узнавал США по фотоальбомам. Видовые снимки лесов, высотных домов, озер, фермерских хозяйств, побережий — страна, которая поражала просторами и манила далями. Полная противоположность стране руин, с ее давящей теснотой, с ее предписаниями и правилами. Я читал Хемингуэя, купил себе вдобавок к джинсам вельветовую рубашку. И толстую книгу для записей в грубой синтетической обложке с надписью "Дневник". Когда я ее сейчас листаю, она пялится на меня чернильными строчками мелкого, странно угловатого почерка, в котором я с трудом узнаю свою ру-

1. Залив реки Альстер в центре Гамбурга, одно из красивейших мест города.

ку, а в строчках сплошь и рядом слова, силящиеся выразить мои тогдашние грезы: стада буйволов, водопады, исполинские деревья. Одно слово *небоскреб* чего стоит.

Поехать туда, пожить там, может, и совсем переселиться — такие меня, подростка, тогда снедали желания. Поехать в страну, где, как представлялось из Дома Америки, почти всегда светит солнце и вообще молочные реки, кисельные берега. Где все казалось простым, основательным и практичным. Что подтверждали даже две рубашки, полученные отцом в посылке милосердия. Они были такого качества, что даже прачка, приходившая к нам стирать и гладить, не уставала их нахваливать. На манжетах были пуговицы, а не двойные петли для запонок, вставлять которые отец терпеть не мог, перепоручая это муторное дело матери или мне.

Коробку от той посылки мать сберегла, она была из какого-то особо прочного картона с четырьмя большими буквами C.A.R.E.[1] на крышке. В ней хранились елочные игрушки, чудом спасенные в 1943-м из *разбомбленного* дома. И еще долго хранились, не считая немногих, неизбежно расколотых при ежегодной выкладке и укладке, пока последние, а вместе с ними и замечательная коробка, не сгинули в огне при пожаре нашей квартиры в 1999 году.

Словесная формула, выработанная родителями для обозначения происшедшего с ними, гласила: *удар судьбы*. То есть нечто, на что сам человек никоим образом повлиять не может. *Потеряли мальчика и кров* — одна из фраз, с помощью которых так легко увести себя от раздумий о причинах. Так легко поверить, что личной бедой ты сполна получил свою долю всеобщего возмездия, а личным страданием внес свою лепту во всеобщее покаяние. Просто все это было *ужасно*, хотя бы потому, что мы ведь и сами были *жертвами*, жертвами злосчастной, непостижимой коллективной судьбы, нездешних демонических сил, которые либо действуют как-то помимо истории, либо являются роковой частью человеческой природы, но в любом случае катастрофичны и неотвратимы. При таком раскладе оставалось только покориться. Ощущая на себе всю жестокую несправедливость судьбы.

Каким видел себя брат? Что он ощущал? Осознавал ли хоть сколько-нибудь свою причастность, со-виновность, со-преступность?

Только одно место в его заметках и письмах дает основание усомниться в пресловутом мифе о честных, отважных, порядочных войсках СС, мифе, который впоследствии усердно насаждался объединениями фронтовиков, но который и у нас дома исправно пестовался родителями.

25.7.1943 он пишет письмо из Украины, откуда-то из-под Константиновки.

Мы перебрались на замечательные квартиры, все чисто красиво аккуратно прямо как у нас. Здесь много хорошеньких девушек, так что в этом смысле можешь за меня не опасаться, одну я даже думаю подцепить – то есть я, конечно, хотел сказать, что и не думаю никого подцеплять... Похоже, люди здесь с СС еще

1. Cooperative for American Relief to Everywhere (Американское объединение повсеместной помощи) — основанная в 1945 г. американская благотворительная организация оказания помощи пострадавшим во время войны. Заглавные буквы сокращения образуют английское слово “care” — “забота”.

дела не имели. Все нам радовались, махали, фрукты приносили и проч., прежде здесь только вермахт квартировал.

К этому письму приложены две гвоздики, засушенные, следы лепестков нежным розовым контуром отпечатались на бумаге. Шестьдесят лет лежат в письме гвоздики, выросшие в местах, где люди радовались немцам, потому что еще не имели дела с частями СС. Может, эти гвоздики ему подарила украинская девушка. А до этого еще фраза, претендующая на шутку, но за игривым тоном выдающая подавленное, задушенное в себе желание: *и не думаю никого подцеплять.*

Солдатам СС строжайше запрещалось заводить отношения с украинскими женщинами и девушками, расе господ не пристало смешиваться с неполноценными славянами.

Еще в дневнике есть такое вот место. *Разбираем печки в русских домах, чиним дорогу.*

Очевидно, в деревянных крестьянских избах разбивали печи, чтобы пустить кирпич на починку дорог для грузовиков. Ибо тема непроезжих дорог тянется через весь дневник. *Только отъехали, через полкилометра вернулись, машины по такой грязи не пройдут. Через каждые сто метров приходится толкать. Дорога все хуже, не проехать.*

Но ведь эта разборка печей равносильна разрушению жилища. Что говорили им жители? Может, они плакали? В отчаянии пытались объяснить немцам, каково им будет зимовать без печек?

А он записывает это просто так, ни на секунду не усматривая связи между разрушенными домами на Украине и разбомбленными домами в Гамбурге. *...Только о доме тревожусь постоянно, каждый день здесь у нас сообщения о налетах англичан. Хоть бы треклятый сакс перестал так бомбить. Какая же это война, когда это просто убийство детей и женщин, и потом – это же негуманно.*

Не укладывается в голове это полное отключение сострадания и сочувствия при виде людского горя, невозможно понять, как возникает это разделение между тем, что гуманно дома, в Гамбурге, и тем, что гуманно здесь, в России. Уничтожение мирного населения здесь — это нормальные будни, даже не стоит упоминания, зато там это убийство.

Когда он это писал, ему было девятнадцать лет и три месяца и жить оставалось еще два месяца. Он учился в школе, потом на ремесленника. Был в юнгфольке, потом в гитлерюгенд. Военные игры. Учебные стрельбы. Ночные марш-броски. Его *гоняли.* В восемнадцать отправили отбывать трудовую повинность, в 1942-м — под Сталинградом строить дороги, потом на курсы подготовки войск СС во Францию, где его тоже *гоняли.* Потом, в январе 1943-го, переброска на фронт в Россию.

Он хотел пройти курс в школе танцев, рассказывала сестра. Но времени не хватило. А еще он хотел научиться летать на планерах. Это была его самая заветная мечта — летать.

Однажды в его дневнике упоминается совершенно особая трапеза.

29.7.

Спали в деревне, утром выдвигаемся на исходный рубеж. 6–8 артподготовка. 8 часов начинается наступление

Бешеный артобстрел Рёш и Херцфельд ран.

На б.м. (бронемашине) *отвозим раненых пехоту*

После обеда выезжаем на подрывы – пробивать дорогу нашим танкам. Бешеный салют с русской стороны. Наши танки палят прямо над нашими голова-

ми. Уш (унтершарфюрер) *Вагнер тяжело ранен. Вшестером заложили 59 зарядов – возвращаемся с ранен.*

Разрыв снаряда прямо возле бронемашины. Шварц и я ран. – на дивиз. медпункт. Укол 3 кубика. Перевязка, обоих отправляют в обоз – ночуем в перевалочном пункте, в дивизионном медпункте ели бутерброды с повидлом.

С тех пор мне случалось читать и другие дневники и письма, такие, авторы которых очень даже осознанно замечают страдания мирного населения и не скрывают своего негодования, и иные, в которых об уничтожении гражданского населения, что евреев, что русских, повествуется с полнейшей, само собой разумеющейся невозмутимостью. Заученными формулами, которые так облегчают убийство: недочеловеки, паразиты, насекомые, живущие грязной, оскотинившейся, полуживотной жизнью. В конце концов выкуривание – просто гигиеническая процедура.

В дневнике брата нигде не встретить прямого, осознанного оправдания массовых убийств, вообще идеологии, основы которой преподавались на курсах подготовки войск СС. Это просто *нормальный* взгляд на фронтовые будни.

Что он пишет матери, что пишет отцу и что заносит в дневник. Разная дозировка сообщений об его участии в боях. Оба, отец и сын, договорились не писать матери, что они уже на передовой, решили, что будут ее *щадить*.

Письмо матери 22 июля 1943 года. *Это даже по-своему обидно, что нас все еще держат в тылу, этак никогда наград не получишь, будешь вечно в необстрелянных молокососах ходить.*

Но ты ведь знаешь, я не особенно за этим гонюсь, главное живым и невредимым домой вернуться.

На самом деле он к этому времени уже несколько месяцев был на передней линии фронта, участвовал во втором взятии Харькова, а с июля был переброшен под Курск, о чем за две недели до письма матери повествует его дневник: записи торопливые, почерк разный, сразу видно – одно записано в дороге, на танке или грузовике, другое в окопе, а кое-что и на квартире. Писалось все карандашом, который так до сих пор и лежит в той картонной коробочке. Иногда от спешки искажается смысл, нарушается синтаксис, знаков препинания почти нет, все разрозненно, обрывками, кое-где буквы расплываются.

5.7.

0.30. Выезжаем в исходный район. 3–4 час. Арт. и реактивно-минометная подготовка. С 4 атака штурмовой авиации МГ (дивизии "Мертвая голова") *идем в атаку на минном поле подрывается Соло Кредер через взорванные противотанковые рвы через русские окопы через две линии блиндажей и т. д. С ходу форсируем речку тигры не проходят жратвы нет заряды на мосту разминируем мост ремонтируем мины подрываем взрывом ручной гранаты у тигра цепь выбита напрочь. Ночью занимаем позиции на шоссе. Курск–Белгород.*

6.7.

Переброска на новый участок. Пробиться невозможно. В 4 русская танковая атака 73 английских танка утюги будь здоров Машины Михеля после попадания прямой наводкой как не бывало движок и листы брони улетают метров на 400, наша машина горит все спрыгивают мы с Бергом и Янке остаемся на

полном ходу выбрасываем все что горит через море пламени уходим от огня русских проскочили Вильгельм (убит) Герд Клёпфер ран.

7.7.

все еще на исходных наши танки в лоб не пройдут переносим наступление на левый фланг

8.7.

Возвращаемся обратно в роту. Полный ужас. Сразу же дальше в полк. Заблудились, ночуем на дороге

9.7.

Прибыв в расположение дивиз. танк. роты через два часа выступаем на новые исходные, ночуем в лесу, воздушный налет, грохот до умопомрачения

10.7

Ждем боя. В лесу. Поели хорошо.

11.7.

Весь день ждем. Я на карауле. Трогаемся. На исходные к завтрашнему утру. Прибываем

12.7.

Отсиживаемся. Валим лес, чтобы прошли танки. Вечером на позиции.

13.7.

Заняли оборону на оборудованных позициях Артподготовка 2 м от окопа 17-2 Полдень танки Т-34 3 штуки прорываются мимо нас вынуждены отходить подавляющее превосходство Криль и Яух ранены и пропали

Мы под бешеным арт. и пулеметным огнем русских Шварц, Книг, Райнеке и я прорываемся, отходим

В 2 Лемке и я на передовую вытащить Криля и Яуха. Пуля в каску. Пулемет. Ничего не получается, ползем назад.

Ночью отлично выспался

Это был эпицентр сражения на Курской дуге, куда были брошены три так называемые элитные дивизии СС – "Рейх", "Лейбштандарте" и "Мертвая голова", про эту битву рассказывал мне отец, утверждая, как позже вслед за ним и многие военные историки, что поворотной точкой в войне стал не Сталинград, а именно эта, Курская битва.

Отец читал исторические труды, а также мемуары генералов, офицеров люфтваффе, которые стали выходить в начале 50-х. Генерал Галланд: "Первые и последние – истребительная авиация во Второй мировой войне". Генерал танковых войск Гудериан: "Воспоминания солдата". И, конечно же, "Проигранные победы" генерал-фельдмаршала фон Манштейна, который на 664 страницах своего опуса пытается доказать, что вермахт, а в особенности он лично, прекрасно бы выполнили свои задачи – если бы не Гитлер, этот *ефрейтор*, со своими дурацкими приказами. В частности, фон Манштейн очень подробно разбирает и битву на Курской дуге.

Немецкое наступление началось 5 июля 1943 года силами 900 000 немецких солдат, 10 000 орудий, 1026 танков и 1830 самолетов. Им противостояли 1,3 миллиона красноармейцев, 20 300 орудий, 3600 танков и 2600 самолетов. 10 июля, как пишут историки, южнее Курска две танковые лавины двинулись навстречу друг другу. К вечеру поле битвы было усеяно сотнями горящих боевых машин обеих армий. Но исход сражения еще не был решен, еще неясно было, кто перехватит инициативу. 13 июля брат записывает в дневник: *Ничего не получается, ползем назад.* В тот же день проходят телефонные переговоры между Гитлером, генерал-фельдмаршалом фон Клюге, командующим группой армий "Центр", и

генерал-фельдмаршалом фон Манштейном, командующим группой армий "Юг". Фон Клюге хочет прервать сражение, фон Манштейн считает, что надо "биться до конца". Он обосновывает свои соображения тяжелыми потерями Красной Армии. По тогдашним прикидкам потери эти составляли примерно 70 000 человек, из них 17 000 убитыми. Насчитывалось 34 000 взятых в плен и 6547 перебежчиков. Немецкие силы наступления докладывали о 3300 убитых и 7420 раненых – позднее цифра потерь возросла до 20 720 человек.

Гитлер выбрал компромисс, разрешив фон Клюге отступить, а фон Манштейну продолжить сражение. На основании чего Манштейн в своей книге и возлагает на Гитлера решающую вину за поражение в войне.

Сегодня просто в голове не укладывается, как можно было после войны, уже зная о массовых убийствах – *истреблении* – евреев, вести серьезные, развернутые дискуссии о том, каким образом войну все-таки можно было выиграть.

И нескончаемые дискуссии по домам, когда встречались бывшие фронтовики, стратеги в жилетках, чтобы снова и снова толочь воду в ступе, обсуждая судьбоносные и поворотные моменты войны: все эти пресловутые промахи Гитлера, Геринга, генерал-фельдмаршала Кейтеля по прозвищу Лакейтель. Смена стратегии. Почему силы люфтваффе были внезапно направлены на гражданские объекты противника, то есть на Лондон, Ковентри, Бристоль и Соунси, вместо того чтобы продолжать планомерные бомбардировки аэродромов и авиазаводов, обеспечивая себе таким образом превосходство в воздухе для последующего вторжения. И снова и снова Дюнкерк – какие только слухи вокруг него не расползались, какие только теории еврейского заговора не плелись! Почему Гитлер остановил 12-й танковый корпус на подходах к Дюнкерку? Дав тем самым возможность двумстам тысячам солдат британского экспедиционного корпуса благополучно переправиться в Англию? И потом, конечно, самая роковая, непоправимая ошибка – нападение на Советский Союз только 22 июня 1941-го, потому что сперва решено было атаковать и оккупировать Югославию. Из-за этого пять решающих недель было потеряно, их-то потом и не хватило. Войска стояли уже под Москвой, когда грянула зима, и т. д. и т. п. *Медаль мороженого мяса, гитлеровская пила, отпускное ранение*[1]. Это лишь немногие из множества подобных слов, что сопровождали все мое детство, нарочитой грубостью прикрывая прятавшуюся за ними ложь и трусость.

О войне много писали и в журналах, и в роман-газетах – грошовых брошюрках с воспоминаниями солдатни. Звучало это все примерно так же, как и на встречах боевых товарищей из дивизии СС "Мертвая голова": *Судя по всему, русские танки были начинены динамитом, ничем иным взрывы такой чудовищной силы объяснить невозможно. Ходовые колеса, каждое под центнер весом, разлетались по воздуху на огромные расстояния. Столь внезапную для нас атаку противника мы тем не менее сумели сдержать. Саперы, стоявшие перед нами, несли тяжелые потери. С магнитными минами в руках они прыгали прямо на вражеские бронемашины, прилепляли мины к броне и так подрывали неприятельскую технику. Однако от взрывающегося танка и их са-*

1. На солдатском жаргоне гитлеровской армии "Медалью мороженого мяса" называлась медаль "За зимнюю кампанию на восточном фронте в 1941–1942 гг.", учрежденная в мае 1942-го, "гитлеровской пилой" – ручной пулемет МГ-42 (за его необычайно высокую скорострельность), "отпускным ранением" – нетяжелое ранение, после которого раненый направлялся в тыловой госпиталь.

мих уже не спасало никакое укрытие. Некоторых саперов кусками летящей брони буквально разрывало в клочья.

Война как приключение. Вермахт как агентство путешествий. Предвосхищение будущего, времен процветания, состоятельного туризма. Даже самый простой солдат приезжал на побывку домой победителем, колонизатором, и его рассказы, даже потом, уже после поражения, были пронизаны пафосом, которым отнюдь не в последнюю очередь вдохновлялись все эти захватнические войны: пафосом грабительского обогащения. Лососина из Норвегии, отменное датское масло, а потом — *ну конечно же* — Франция: шелковые чулки, трюфеля, вина, шампанское. *Вояки они, можно считать, никакие, но в остальном зато – стиль, культура, ничего не скажешь.* А женщины? *Просто класс.*

А на востоке? На востоке просторы. Зерно, природные ископаемые, и все в несметных количествах, бери не хочу. Правда, вши, блохи, дороги непроезжие, но народ добродушный. Только порядка нет. Достаточно один раз зайти в русскую хату. Невообразимо. Восток — это было "жизненное пространство", жизненное пространство для заслуженных ветеранов СС, будущих владельцев наследных имений. Проекты нарядненьких, наподобие фахверковских, крестьянских домов соответствующими службами заселения уже вовсю разрабатывались. Можно было посмотреть макеты. Однако на предназначенных к заселению землях пока что жили миллионы русских, поляков, украинцев, евреев. Но и тут уже все было предусмотрено и продумано: для славянских недочеловеков — *переселение*, плюс к тому *окончательное решение еврейского вопроса.* Окончательное решение. Словосочетание позорное, запретное, табуизированное отныне и присно. А заодно и доказательство тому, что язык, немецкий язык, раз и навсегда утратил свою *невинность*, чтобы не сказать — *невиновность*. Останутся уликами и все эти сокращения, иные из которых впечатались в немецкий язык каленым клеймом и не забудутся уже никогда: СС, СД, СА. Другие можно ныне расшифровать только по специальным справочникам: РФСС, ВГК, ГУДРиЗ[1] — буквомаскировки, на много лет пережившие войну. Зашифрованный язык сообщников, словесные обрубки, столь явственно перекликающиеся с образами физического увечья: угловато-беспомощная припрыжка хромоты, костыли и палки, заколотые английской булавкой пустые рукава, подвернутые пустые штанины, скрипучие протезы.

Отец был в люфтваффе. Об этом он рассказывал — о своих разведовательных полетах над Финляндией, над Россией. Люфтваффе к убийству евреев отношения не имеет, говорил он. Там только храбро сражались, и все. Да нет — таков был наш с ним давний, ожесточенный спор, — и люфтваффе тоже, каждый из ее *храбрых* и *честных* воинов, помогал поддерживать бесперебойную работу конвейера массового уничтожения. *Мы об этом ничего не знали. Честные военные летчики. Честные военные моряки. Честные солдаты вермахта. Честные войска СС.*

Главный мой страх, сопровождавший все мои разыскания о брате, состоял в том, что его подразделение, 3-й саперный батальон танкового полка, а значит и брат тоже, участвовало в расстрелах гражданских лиц, евреев, заложников.

1. РФСС — рейхсфюрер СС, служебное звание Гиммлера с 1936 г., ВГК — верховный главнокомандующий, ГУДРиЗ — Главное управление по делам расы и заселения.

Похоже, насколько мне удалось выяснить, этого все-таки не было. Только нормальные фронтовые будни: *75 м от меня Иван курит сигареты, отличная мишень, пожива для моего МГ.*

Войска СС носили ту же униформу, что и части СС, осуществлявшие охрану концлагерей.

Поколение отцов, поколение подлецов, поколение слепцов, поколение лжецов — это поколение жило либо рассказами, либо отмалчиванием. Казалось, только две эти возможности для них и существуют: либо говорить без конца, либо не говорить вовсе. В зависимости от того, насколько гнетущими, насколько путаными и неспокойными были у каждого воспоминания.

Женщины и старики рассказывали о бомбежках *дома.* Былой ужас растворялся в подробностях, становился ближе, понятнее, одомашнивался. Во время уютных этих посиделок ужас растаскивался на житейские истории, подчас забавные, в которые лишь изредка, и всегда предельно внезапно, вторгался прежний страх.

Хорошо помню, как однажды отец стоял у камина отопления, руки за спиной — он их у камина грел. И плакал. Я никогда не видел, чтобы он плакал. *Мальчик не плачет.* И это был не просто плач о погибшем сыне, а что-то совсем безъязыкое, нутряное, вдруг излившееся в слезах. В том, как он стоял тогда и плакал, чувствовался ужас таких воспоминаний, какие поднимаются из самых глубин, это был плач без малейшей жалости к себе, просто от немыслимой, несказанной и несказуемой муки; на мои вопросы он только снова и снова тряс головой.

Что же это могли быть за картины, которые так его преследовали? Может, вот эта, увиденная в лагере для русских военнопленных и рассказанная однажды просто так, как пример ужасов, о которых еще следовало бы поведать, облечь их в слова. Как один из русских пытался бежать, часовой в него выстрелил и снес беглецу полчерепа, а остальные заключенные набросились на погибшего и стали пожирать его *еще дымящиеся мозги.* На одну жуткую секунду у меня возникло подозрение, что он и стрелял, но потом я убедил себя, что при его офицерском звании это все-таки весьма маловероятно. Не мог он стоять на часах с карабином.

Когда я только подступался к этой работе, к этой попытке написать о брате, я прочел книгу Кристофера Р. Браунинга "Вполне нормальные солдаты. Резервный полицейский батальон № 101 и 'окончательное решение' в Польше". На основании судебных показаний тогда еще живых свидетелей Браунингу удалось установить, что, когда поступил приказ о расстрелах мирного еврейского населения, мужчин, женщин и детей, любому из личного состава батальона была предоставлена возможность отказаться, не опасаясь никаких дисциплинарных взысканий. Имелись и примеры таких отказов, в том числе и в этом батальоне. Правда, было их немного: из примерно 500 солдат только 12 вышли из строя, сдали свои карабины и получили другие задания.

Те же — то есть большинство, надо бы даже сказать, почти все, — кто не вышел из строя, не сказал "нет", кто подчинился, — те стали убивать, сперва не без внутренней дрожи, потом с каждым разом все увереннее, привычнее, автоматически; читать описания их последующих злодея-

ний почти невозможно, приходится принуждать себя, ибо описанное превосходит границы человеческого понимания.

С июля 1942-го по ноябрь 1943-го военнослужащими резервного полицейского батальона № 101 согласно *рапортам об исполнении* было расстреляно 38 000 евреев.

В 1967 году против 14 бывших военнослужащих из состава этого батальона в Гамбурге был открыт судебный процесс. Троих офицеров приговорили к восьми годам тюремного заключения каждого, двоих младших офицеров — соответственно к пяти и шести годам. Остальные обвиняемые были освобождены из-под стражи в зале суда. Все они ссылались на воинский приказ и воинский долг. Наказания осужденным были впоследствии существенно снижены.

В приказе по армии от 20 ноября 1941 года, распространенном по всем полкам и батальонам, генерал-полковник фон Манштейн, тот самый, кому предстоит впоследствии возглавить группу армий "Юг", где и мой брат сражался, написал следующее: *Жидовско-большевистская система должна быть истреблена раз и навсегда. Никогда впредь не посмеет она поднять голову на нашем европейском жизненном пространстве.*

Генерал-фельдмаршал фон Манштейн, *стратегический ум*, при формировании бундесвера был призван в консультанты. Он, утверждавший, будто война была проиграна из-за ошибочного военного руководства Гитлера, и в своей книге "Проигранные победы" подробно описывающий собственные планы, концепции, решения и приказы, об этом своем суточном приказе от 20 ноября 1941 года не упоминает ни словом: *Жидовско-большевистская система должна быть истреблена раз и навсегда.*

О пленных в дневниках брата — да и в его письмах — ни слова. Почему он не счел это достойным упоминания?

Я нашел шикарный пистолет "радом", привезу с собой домой, всю жизнь мечтал о такой игрушке; это такой пистолет с тройным предохранителем, не самовзводный, короче, пистолет первый сорт, а к нему еще и кобура, коричневая, как новенькая. Теперь у меня два пистолета – 1.08 и "радом". "Радом" – это польский армейский пистолет.

Патронов к нему у меня тоже всегда навалом, это тот же калибр, что у нашего 08.

Видела бы ты, как я из него стреляю, метче, чем из винтовки. Вот приеду и на твоих глазах все фарфоровые штуковины, ну, которые на телеграфных столбах, одну за одной посшибаю.

Ну все, дорогая мамочка, пора заканчивать, напиши мне поскорее еще.

Примо Леви в своей книге "Канувшие и спасенные" описывает, как ужасно было, находясь в лагере, не получать писем и вообще никаких вестей от родных и знакомых, — для еврейских узников это было и невозможно, их родственники и друзья либо сами находились в лагерях, либо уже были убиты. Вдобавок ко всем унижениям, голоду, жажде, болезням, отсутствию солидарности между заключенными — еще и это безмолвие, это чувство покинутости. Глубоко безысходное чувство, порожденное уверенностью, что о тебе больше никто не вспомнит.

Ну все, дорогая мамочка, пора заканчивать, напиши мне поскорее еще.

Когда "забирали" соседей-евреев и те *просто* бесследно исчезали, почти все отводили глаза и молчали, а большинство молчали и после войны, уже узнав, где и как исчезали исчезнувшие.

В этом молчании Примо Леви видит самую тяжкую вину немцев. Это глухое молчание было ужаснее, чем пространные разглагольствования тех, кто тщился оправдаться по принципу "мы ничего не знали". Последние хотя бы отталкивали своим враньем молодежь, — я сам очень ясно это помню, — когда словно заведенные, иной раз без всякого повода, начинали оправдываться, обстоятельно перечисляя причины, по которым они ничего не знали и знать не могли. В этих хотя бы заговорила совесть, то и дело напоминая: все-таки кое-что можно было и знать.

Это поколение, не просто больно задетое, а больное, заболевшее, принялось усердно изживать свою травму трескучим бумом восстановления. От случившегося отгораживались стереотипами: это все Гитлер, преступник. И в этом лживом публичном надругательстве над языком участвовали не только бывшие подельники, но и те, кто уже привык говорить о себе: *мы и сами-то едва уцелели.* Простеньким обманом присваивали себе роль жертвы.

Впервые я видел отца в легком подпитии во время большого коллективного выезда в Люнебургскую пустошь. По весне, на первый урожай спаржи, гильдия скорняков отправлялась в Зудермюлен. И там застольничали, обильно, с размахом — воздавали должное спарже с картошкой и гольштинской сырокопченой ветчине, щедро запивая все это белым вином, обычно каким-нибудь мозельским или рейнским, "Катценштигель", "Либфрауэнмильх" или что-то в этом роде. В тот раз сидели на воздухе, в трактирном саду, был один из тех приятных, прогретых солнышком весенних дней, когда в дуновениях восточного ветра еще напоминает о себе легким холодком стужа ушедшей зимы. Мать сходила за своей норковой накидкой. Отец, тогда председатель какой-то из комиссий гильдии, сидел за длинным, белой скатертью накрытым столом и развлекал сидящих вокруг товарищей по цеху и их жен. Все много смеялись, и он смеялся со всеми, но как-то необычно громко. Все были в том настроении, которое ребенку, то есть мне, особенно нравилось. Когда взрослые вроде как забывают про свою власть. Потом, уже в машине, он сказал, что был сегодня особенно "хорош". Нас привез и увозил Масса, ибо среди гостей сидели и торговцы пушниной, от которых зависела пролонгация векселя, и никак нельзя было показывать, что дела не идут. *Дела идут!*

Вот только это состояние "хорошести" повторялось теперь все чаще, причем отец вовсе не бывал при этом так уж "хорош": по мере выпитого он становился все тише, все молчаливей, постепенно впадая даже в некоторое отупение. Теперь он уже вскоре после обеда отправлялся в какое-нибудь из заведений, где собирались друзья-приятели, это называлось "пропустить кружечку пивка" или "кувшинчик винца", но в действительности дело одной кружкой и одним кувшинчиком никогда не ограничивалось, а позже, году в 1958—1959-м, стали добавляться и рюмашки "крепкого", у отца обычно коньяка. Разумеется, причиной возлияний была тревога, гнетущая тревога. Упадок в делах, растущие долги — все это подтачивало его силы. У господина Котте, его мастера, явно недоставало знаний, да и умений, чтобы поспевать за требованиями моды, а у отца их недоставало и подавно. *Карл, сынок,* — вот кого не хватало. Не

хватало не только как настоящего мастера, специалиста, которым ведь отец не был, но и как опоры, не только как сына, но и как друга, боевого товарища, который осуществил бы все, чего ты сам не сумел добиться, но при этом относился бы к тебе с уважением и любовью, — именно таким он, старший сын, навсегда остался в отцовских воспоминаниях.

Слово "умения", слово "уметь". Мне, последышу и наследнику, тогда еще недоставало профессиональных умений — в 1956-м я был лишь на втором году обучения, — чтобы руководить мастерской, самому размечать покрои, следить за работой подмастерьев. Однако их, моих умений, уже вполне хватало, чтобы распознать бессилие и неумение отца. И от него, старшего брата, это бы тоже наверняка не укрылось, однако он смотрел бы на отцовское бессилие совсем другими, понимающими глазами, держа в уме и потерянное время войны, и разбомбленный дом, и плен, и необходимость начинать жизнь заново, то есть все беды истекших лет.

Именно постоянное присутствие в отцовских мыслях любящего, восхищенного сыновнего взгляда и помогало ему, отцу, пока что сохранять в себе остатки самоуважения. Ведь не он один потерпел крах, вместе с ним потерпела крах коллективная *система ценностей.* И он сам, как и многие другие, — да почти все, за исключением одиночек, которые пытались сопротивляться, — к разрушению этих ценностей приложил руку. Попытки обсудить это встречали обиду или уклончивое раздражение. Все настоятельные вопросы отметались одним ответом:

— Тебе не понять. Ты этого не испытал.

Совсем не то что он, старший брат. Тот бы понял, он-то все выстрадал. И собой пожертвовал.

Подобное превознесение опыта — *через это надо было пройти* — в профессиональной области все явственнее оборачивалось против него. С каждым годом я становился все более сведущ по части скорняжного ремесла. Так что когда он теперь принимался что-то мне втолковывать насчет особых сложностей пошива норковой шубы, мне делалось просто смешно. Да-да, я и в самом деле смеялся. И разумеется, он осознавал свою неосведомленность, но отвечал на мой смех с тем большей заносчивостью, тем яростней настаивая на своем. Причем в этих стычках все чаще и все запутанней перемешивались ремесло и политика, одно каким-то образом вытекало из другого. А упиралось все всегда в одно и то же: кто прав, за кем последнее слово. Мы спорили все громче, под конец уже просто орали друг на друга. С фирмы, где я проходил обучение, — фирмы, которая благодаря скупке по дешевке *ариизированных*[1] меховых мастерских и лавочек разрослась в крупнейшее скорняжное предприятие Гамбурга, — я под вечер возвращался домой, то бишь в отцовский магазин, и видел — еще одна из отчетливых картин в моей памяти, — как отец из-за раздвижной стены-перегородки смотрит на улицу, ждет покупателей. Когда на горизонте, приближаясь к витрине, появлялась женщина, он осторожно отступал на шаг-другой вглубь, чтобы его с улицы не увидели.

В конце 50-х он все чаще стал сбегать со своего наблюдательного поста на чашечку кофе и сколько-то рюмок коньяку в один из близлежащих

1. Ариизацией после 1938 г. называлась по большей части грубо принудительная передача собственности, принадлежавшей евреям, в руки новых, арийских хозяев.

кабачков, в последнее время все больше в закусочную "У папы Гезе". Жалкая забегаловка, через два дома от нашего подъезда. Четыре-пять лет тому назад он из-за одной только пошлой вывески побрезговал бы туда зайти. Это было не только бегство от все более долгого ожидания клиентов, нет, это было бегство от совсем другого ожидания — ожидания чего-то, что удалялось, скукоживалось, мельчало и серело на глазах, — ожидания иной жизни, полной приключений и опасностей, неожиданностей и событий, жизни счастливой и сбывшейся. Так он и сидел "У папы Гезе", в двух шагах от дома, откуда его, если вдруг приходила важная клиентка, всегда можно было вызвать. Тогда он бросал в рот мятную карамельку "Доктор Хиллер", которую для такого случая всегда держал в кармане своего белого, теперь неизменно расстегнутого рабочего халата.

Как выносила все это мать, которая все-таки знала, помнила его интересным мужчиной, таким общительным, обаятельным, симпатичным кавалером? Каково было свыкаться с этим ей, всегда столь выдержанной, со всеми ровно приветливой женщине? Теперь она пыталась отца — прежде всегда такого сильного, такого непререкаемого — оберегать. Внешне ни единым жестом, ни единым взглядом не показывая, насколько для нее это ужасно — видеть отца в подпитии, не вполне твердо стоящего на ногах, наблюдать, как он тяжело плюхается на стул и так сидит, тряся пеплом на письменный стол, а иной раз и роняя на пол горящую сигарету.

— Ладно, Ханс, пойдем спать.

И ни единого знака мне или сестре — ни страдальческого закатывания глаз, ни слова осуждения, — даже и после, уже уложив его в постель, ни вздоха не проронит, ни головой не качнет.

Он надсадил себе душу болью, причины которой очень трудно облечь в слова: тут и груз накопившихся разочарований, и возрастающее безразличие к событиям вокруг, и медленная утрата желаний. Он перестал читать. Рассказывал теперь все реже, да и то лишь под хмельком. Поздно вставал по утрам. Узел галстука, прежде всегда безупречно завязанный и аккуратно затянутый, теперь безвольно болтался под расстегнутым воротом рубашки. В магазине он теперь сидел в кресле, через распахнутую входную дверь поглядывая на летнюю зелень. Но по тому, как он сидел и как поглядывал, было ясно: клиентов он больше не ждет.

В то время магазин уже взяла на себя мать, она и в мастерской все больше дел на себя взваливала. С *бухгалтерской канителью* она, правда, не связывалась, с этим отец еще как-то справлялся. Но она знала: самостоятельность давно под угрозой.

Честно пробиваться в жизни своим трудом.

Элим. 12 источников и 86 пальм среди пустыни. Отдохновенный оазис.

Я сделал упражнения на растяжку, потом отправился на свой обычный пробег, сегодня утром, 6 марта, солнце только-только взошло. Небо безоблачное, но пока что в серовато-голубой дымке. Деревья и кусты подернуты пушком первой, еще полупрозрачной зелени, тут и там купами розоватой белизны взрываются дикие вишни в цвету.

Я бежал вдоль Айсбаха, который в этом месте устремляется к небольшому водопаду. Отчаянное, перекрывающее все шумы и звуки пе-

ние черных дроздов, металлический пересвист зябликов. Было прохладно, лишь немного выше нуля. Я бежал по Английскому саду, бежал к большой поляне с одиноким деревом посредине, огромной липой. Трава газона, подернутая белизной. Иней. Самые нижние ветки уже окутаны дымкой первой зелени. В одном из извивов мощной ветви — заплывшее наростами дупло, а в нем, вросшая в дерево уже навсегда, маленькая терракотовая фигурка мадонны. Пятно лазури на бурой коре.

Еще на бегу я знал: сегодня я начну то, что уже которую неделю откладываю, — начну писать о ней.

Мать пережила отца на тридцать три года. Восемьдесят девять ей было. Всякий раз, когда мы говорили по телефону, меня заставал врасплох ее голос, звучавший все так же молодо, и особенно ее прежний, ничуть не изменившийся, колокольчатый смех. Голос, а прежде всего смех, вполне могли принадлежать и девочке. Она рассказывала о всякой всячине, о людях, которых повидала, правда, в ее жизни этой всячины случалось теперь куда меньше, нежели прежде, когда она еще держала магазин.

Она рассказывала с изрядной долей юмора. Я люблю ее смех, такой близкий, такой явственный, и сейчас еще, стоит мне его вспомнить, она мгновенно снова у меня перед глазами как живая, сидит в чиппендейловском[1] кресле, приобретенном еще *в хорошие времена*, и смеется, очень характерным для нее движением слегка откидываясь назад, чуть приподнимая руку, правую, и легонько постукивая себя по коленке. Смех, в котором никогда не было злорадства. А еще — ее способность подмечать странности, отклонения, причем без всякой неприязни, только лишний раз дивясь обилию вариантов, многообразию возможностей, которое несет в себе жизнь. Она любила подбирать для них имена, как и прозвища своим клиенткам, причем стоило повстречать обладательницу такого прозвища — и его меткость трудно было не оценить: *Горластая Эмма*, *Купальщица в деньгах* или *Гимнастическая нога*. За поименованием скрывались наблюдения, истории, события, которые она всегда готова была обогатить новыми, благодаря чему они, накапливаясь, образовывали некий особый мир, противостоящий обыденному. И этот голос, который, чем она становилась старше, тем сильнее окрашивался неповторимыми гамбургскими интонациями. Впрочем, может, это я, живя в Мюнхене, все больше отвыкал от гамбургского говора, поэтому ее манера чуть нараспевно растягивать гласные и задевала мой слух все заметнее.

Как-то во второй половине дня позвонила сестра, захлебываясь от слез, я и понял-то ее с трудом. У матери удар, ее отвезли в больницу *Элим*.

Она лежала в палате на двоих, с пенсионеркой-учительницей. Медсестра, пожилая женщина с легким восточнопрусским акцентом, сказала: говорите с ней побольше, говорить очень важно. И вот я сижу возле ее койки, рассказываю, как долетел, потом о детях. Медленно и откуда-то очень издалека она все же пришла в себя, посмотрела на меня, протянула мне правую руку, такую хрупкую, такую невесомую, но мою пожала достаточно крепко. Левая половина лица безжизненно скошена, по правой время от времени пробегает тик.

1. Томас Чиппендейл (1709–1779) — английский мебельный мастер XVIII в.

Она лежала, наполовину парализованная, с губ ее срывался лишь невнятный лепет, но правой рукой, пальцами, она трижды коротко пожала мою руку. Это был условный знак, которым мы, еще когда я был маленьким, гуляя по городу, показывали друг другу на что-то интересное: вон женщина в шляпе как воронье гнездо, вон мужчина с дергающимся лицом.

Мы гуляли по старому центру, а один раз в неделю заходили в кафе на Генземаркт или в павильон "Альстер". Сидели там, лакомились каждый своим куском торта, она пила кофе, мне подавали какао — я и по сей день больше всего люблю кафе, где встречаются пожилые женщины и старушки в шляпках котелком или токах. Мы сидели среди вкушающей торты, беззаботно беседующей публики и гадали: чем занимаются, допустим, вон те две дамы, откуда они, есть ли у них дети, живы ли еще мужья и если живы, кто они по профессии. Живой, побудительный интерес к людям, к разным возможностям и поворотам в их судьбах. Потом мы шли домой. Куда бы ни выходила, она всегда была в шляпке и перчатках, летом в белых нитяных, из которых одну, правую, она, беря меня за руку, никогда не забывала снять.

Старое фото запечатлело ее родителей. Они сидят в гостиной собственного дома, обставленного еще в грюндерские годы, с пианино, могучим комодом, картинами по стенам в узорчатых обоях, сидят на фоне всего этого основательного, прилежно нажитого добра и достатка, кстати, не без экстравагантных модных привнесений: письменный стол и лампы выдержаны в стиле модерн. Мой дед в ту пору, судя по всему, очень даже хорошо зарабатывал, ведь это было время шляп, больших, с широченными полями и павлиньими перьями, а потом, после войны, в моду вошли котелки и токи. Женщине, если она родом не из деревни, полагалось носить шляпу, как это и делала моя мать до глубокой старости.

Дед сидит в кресле, с сигарой в руке, подле него супруга, женщина, на которой он вскоре после смерти своей первой жены — матери тогда было два годика — женился, это маленькое, невзрачное, бесформенное существо с — иначе и не скажешь — пронзительными, на удивление злющими глазами. Никто не понимал, чего ради дед женился на этой женщине, которая только и умела что хозяйство вести; может, это и был главный резон — копить деньги, приумножать богатство. Маме она стала мачехой, мне была приемной бабушкой. В детстве я старался ее избегать, не давал ей, невзирая ни на какие уговоры, себя целовать или сажать на колени. Женщина, от которой просто веяло злобой, жадностью, злоязычием и злорадством, она для моей матери стала злой мачехой, прямо как из сказки. За малейшую провинность запирала ребенка в чулан, то и дело жаловалась на нее отцу, который редко бывал дома, в наказание морила девочку голодом, так что сердобольные служанки тайком подсовывали ребенку чего-нибудь поесть. Из еды девочка больше всего любила жареную картошку, которую однажды, оставшись дома одна, и надумала себе приготовить. Мачеха вернулась домой и застукала девочку на кухне, когда та уже домывала сковородку. За то, что ребенок без спросу пожарил себе картошку, ей было запрещено есть жареную картошку целый год. А когда другие ели, ее заставляли смотреть.

Каким чудом вопреки столь неблагоприятным предпосылкам девочка не выросла злюкой, как она стала моей матерью, этой приветливой, доброй, ненавидящей всякую ложь, внешне хрупкой, но удивительно

стойкой и даже крепкой женщиной, от которой исходила такая оберегающая сила, особенно в любви, щедрой и всегда беззаветной?

Я остался на несколько дней в Гамбурге, приходил ее кормить, осторожно, дождавшись от нее кивка, просовывал в рот ложечку с кашей. Жевать она не могла, только глотать, и то медленно. Когда я приходил и потом, когда прощался, она пожатием пальцев подавала мне наш условный сигнал, наш давний код полного взаимопонимания.

А потом, как-то утром, я не обнаружил ее в палате. Ее перевели, сообщила соседка. Почему? Этого соседка не знала, но за ее незнанием, так я почувствовал, таится что-то неприятное.

Итак, маму перевели. В приемном покое, когда ее доставили, то ли решили, то ли понадеялись, что у нее частная страховка, и поместили в соответствующее дорогое отделение, под опеку главного врача. А страховка у нее оказалась самая обычная, компенсационная. Поэтому теперь ее *перевели по назначению*, в шестиместную палату. В моих глазах нет более красноречивого свидетельства о наших временах и нравах, чем этот *перевод по назначению* после стольких лет беззаветной трудовой жизни.

Больница, больничные порядки, виды страховок. Я спросил, сколько стоит палата в отделении для частных пациентов. Цена оказалась немаленькой. Я призадумался. Вдобавок ко всему, как мне тут же сообщили, и за все дальнейшие исследования и анализы тоже придется платить. Были названы суммы, которыми я просто не располагал. Так мама и осталась в шестиместной палате. Она заметила мое огорчение, мой гнев, да и мой стыд оттого, что я не в силах что-либо изменить, что не смог избавить ее от унизительного *перевода по назначению*. Она только пожала мне руку и через силу, половиной рта, попыталась улыбнуться.

Примечательным в этом переводе было то, что ее с первого этажа переселили на второй, туда, где пятьдесят один год назад она произвела на свет меня. А еще — палата оказалась просторной и солнечной, с замечательными медсестрами, и ей там было очень хорошо. Она слушала смех, разговоры соседок, а еще все те, иной раз поразительные, истории болезней, которые, как и все истории на свете, повествуют о жизни.

Я сидел возле ее койки и время от времени поил ее из клювика поильника. Вокруг соседней койки собралось испанское семейство. Там оживленно беседовали и много смеялись. Посетители с аппетитом уплетали ветчину и оливки, прямо руками отрывая куски от длинных батонов и заворачивая их в ветчину. Угощали и меня.

Меня поразило чувство покоя и глубокого облегчения, исходившее от матери, поэтому я снова и снова слегка пожимал ей руку, лишь бы побудить ее к столь радостному для меня ответному пожатию. По большей части я молчал, иногда рассказывал ей о доме, детях, о Дагмар, о моей работе. Она лежала и смотрела в окно. Голова после инсульта слушалась ее плохо, клонилась набок, но в окно смотреть она могла. Наверно, сестры специально выбрали для нее эту койку, чтобы ей не смотреть в глухую стенку. Время от времени она своей правой, не потерявшей чувствительности рукой трогала левую, тоже теплую и полную жизни, но ее она совсем не ощущала. А потом, о господи, она зевнула, — она, прежде при всяком зевке прикрывавшая рот рукой, как бы слегка его прихлопывая, зевнула так, как мне еще не приходилось видеть. Зевнула во весь рот, внутри которого инородным телом сам по себе двигался язык, большой и синий.

Солнце. Окно. Рука. Руки. Две руки. Пальцы, веко. Звук, тяжкая работа издавать звуки. Труд сказать "завтра", непомерный труд сказать "послезавтра".

Постепенно она как-то оправилась, уже могла произносить несколько слов. Что осталось при ней, даже в такой немощности свидетельствуя о полной ясности ума и трезвой оценке окружающего, — это ее юмор. Как-то после обеда я пришел в палату и застал всех остальных пациенток, глубоко пожилых женщин, в крайнем возбуждении. Опять ночью в палату заходил мужчина, какой-то старик, который якобы давно уже по ночам в женском отделении "колобродит". Мать, очевидно, все прекрасно понимая, только покачала головой, здоровой рукой слегка постучала себя по виску, а потом сделала движение, которым всегда изображала глупую болтовню, что-то вроде открывающегося клювика большим и указательным пальцем. С превеликим трудом, с третьего раза, ибо первые два я не разобрал, до меня дошла ее реплика:

— *Им бы так хотелось...*

Вошла медсестра, на мой вопрос заметила только:

— Ах, это старикашка Элерс, да какой он ходок, у него если что и заходит, так только ум за разум.

Я уехал обратно в Мюнхен. Несколько дней спустя маму выписали из больницы. Сестра моя за ней ухаживала, приходила и патронажная сиделка. Я звонил сестре.

— Маме уже лучше, она начала понемногу двигать пальцами правой руки. Погоди-ка.

Я услышал в трубке шорох, а потом лепет. Всякий раз было ужасно больно — куда больнее, чем видеть ее, — слышать этот беспомощный лепет вместо ее столь близкого, столь родного мне звонкого голоса, вместо ее заливистого смеха, кончавшегося обычно счастливой присказкой "ой, не могу". Теперь она не смеялась. И я ничего не понимал. Когда я был рядом с ней, мы, несмотря на всю плачевность ее состояния, могли общаться с помощью знакомых мне жестов, мимики, всего того, что тянулось ко мне из детства воспоминанием о самой тесной, какая только мыслима, душевной близости, а еще — пожатием наших рук, нашей тайной азбукой Морзе.

Месяц спустя я навестил ее дома. Она лежала на своей кровати, той самой, на которой прежде, когда я к ней наведывался, полагалось спать мне. Сама она переселялась в гостиную и спала на раскладушке. Я с куда большим удовольствием спал бы — и куда лучше высыпался — как раз на раскладушке, благо у нее нет спинок ни в ногах, ни в изголовье. Но мама настаивала, она хотела спать только на раскладушке, а свою кровать, лакированный рыдван цвета слоновой кости, уже застеленный чистым бельем, с двумя подушками, одна в головах, вторая в ногах, чтобы я не бился ногами о спинку, уступала мне. За ночь пух в одеяле, словно в мешке, валиками сбивался к ногам, а сверху оставался один пустой пододеяльник.

Теперь на кровати лежала она, а я спал на раскладушке. Сестра выгладила мне рубашку, белую, два нагрудных кармана, роговые пуговицы, — ту самую, американскую, которую обычно, когда я приезжал, мне гладила мама, приговаривая, что материалу этому сносу не будет, он как паруси-

на, такой же прочный. Сестра повесила рубашку на шкаф против кровати. Мать с кровати смотрела на рубашку и что-то бормотала, а что — я разобрал, лишь несколько раз ее переспросив:

— *Рубашка мне нравится.*

Лишь много позже я сообразил, что она, наверно, хотела, чтобы ее в этой рубашке похоронили.

Вскоре после этого с ней случился второй удар, и ее снова положили в больницу. На следующее утро, раным-рано, позвонила медсестра из реанимации и сообщила, что матери очень плохо.

Я помчался в аэропорт, прилетел в Гамбург, сразу же взял такси. В приспущенные окна машины задувал теплый встречный ветер, неся с собой запахи сухой листвы и зацветшей воды, что застоялась в каналах.

По больничному коридору мне навстречу шла сестра, она сказала, что мама два часа назад умерла.

Она лежала в маленькой комнатке, скорее каморке, где, кроме койки, едва хватило места для стула. Она лежала передо мной, и казалась — вот что было неожиданностью — совсем маленькой, почти ребенком, эта хрупкая, но такая стойкая, такая волевая женщина, которая так не хотела и не любила командовать. Укрыта белым одеяльцем, руки сложены, но не сплетены для молитвы — она ведь вышла из церкви. Вокруг по подушкам и одеяльцу сестры разложили маргаритки, что росли за окном, в палисаднике перед больницей. Совсем детские руки. Ни единого старческого пятна, а ведь ей было уже почти девяносто. Я осторожно взял правую. И оторопел — такая она оказалась холодная. Мягко приподнял один пальчик, в эту секунду мне показалось, что мама ласково усмехнулась. И щеки холодные, к тому же чуть деформированы платком, которым ей подвязали подбородок. Только сзади, глубоко под затылком, я еще ощутил последние остатки тепла, которым полнилась ее жизнь.

Шум машин с улицы, голоса в коридоре, и прямо напротив открытого окна желтым клювиком выводил свои трели черный дрозд. Тогда, в детстве, мы всех дроздов называли Отто, у нас, у нее и у меня, для многих вещей были придуманы свои имена, наш тайный код, никто, кроме нас двоих, например, не знал, что мы имеем в виду, говоря: “ноготок-с-мужичок”. Свой, на двоих поделенный, словарный запас. Благодаря которому у нас одно время был мир, только нам двоим ведомый и доступный, мы передвигались в нем как заговорщики, она и я, прекрасно зная, что дело не только в переименовании, нас объединяла общность памяти, общность совместно пережитого. И эта общность тоже была частью исходившей от нее оберегающей силы, надежной и стоящей за меня безоговорочно.

Я вышел на улицу, из больничной прохлады прямо в жаркий летний день, побрел вдоль канала Изебек, вдоль его серо-зеленых вод, в которых солнце казалось черным, но это была только тень моста. Ветры вдруг улеглись, и в небе царил покой.

Она непременно хотела увидеть его могилу, побывать там, где он похоронен. Знаменка. Даже номер захоронения известен, точно обозначен, *Геройская могила Л-302,* как уведомляло письмо военврача войск СС. Это было ее осознанное, твердое желание — когда-нибудь просто постоять

там или хотя бы где-то поблизости, ибо она знала: немецкие солдатские могилы в России сравнивают с землей. На месте некоторых немецких солдатских кладбищ после войны по распоряжению советского правительства возведены фабрики, заводы, а то и просто устроены свалки. Даже о погибших захватчиках ничто не должно напоминать.

Непреклонное, упорное желание матери попрощаться с сыном, последний раз к нему приблизиться, насколько это возможно. Поехать туда просто так, частным лицом, в те времена было исключено. В Советском Союзе не давали разрешения на подобные поездки. Ей было уже семьдесят четыре, когда она отправилась в автобусный тур, через Польшу, в Советский Союз, потом в Финляндию и Швецию. В карте маршрута значился и Минск.

Она надеялась из пункта, где они будут ближе всего к Знаменке, найти кого-нибудь с машиной и съездить туда. Нет, она не обманывалась ни насчет расстояний, ни насчет возможных трудностей. Но она хотела попытаться, пусть в глубине души, пожалуй, и не слишком верила в успех.

От этой поездки у меня остались ее записи и фотографии, моментальные снимки, на которых ничего особенного не запечатлено, но для нее, должно быть, они имели значение. Улицы, крестьянские хаты, но и новостройки, трактора, просто прохожие.

Товарка по группе, пожилая женщина, вела дневник их путешествия, точно фиксируя время и место, а после аккуратно перепечатала свои записи на машинке, в том числе и для матери.

7 июня (понедельник на Троицу)

12.00

Неподалеку от Минска останавливаемся около грандиозного мемориального комплекса и выходим. Перед нами огромный холм, Холм Воинской Славы, насыпанный из напоенной кровью земли с мест боев последней войны. Очень сильное впечатление. Совсем не похоже на обычные сооружения с памятниками.

13.00

Поездка продолжается, от деревни к деревне, по бескрайним просторам. Думаю о Второй мировой войне, мысленно слышу боевые сводки вермахта и вижу немецких солдат, шагающих по этим бескрайним полям, лесам, болотам. И все это в такую пору – просто сердце щемит. Километрах в 200 после Минска – яблони и вишни в самом цвету. Весна в России очень красива – но уж очень поздняя.

После смерти матери ее желание съездить туда перекинулось на меня. Она ни о чем таком и намеком меня не просила, тем не менее настоятельность требования вошла в мою душу. Она теперь поселилась во мне чем-то вроде обязательства, хотя ничего подобного я никогда матери не обещал. Я собирался написать о брате, но у меня и в мыслях не было поехать на Украину, чтобы увидеть место, где он похоронен. Даже не могу точно сказать, когда именно возникла во мне эта идея и как переросла в твердое намерение, но в любом случае это произошло после смерти мамы. Вероятно, когда я всерьез начал заниматься его дневником и его письмами — вот тогда мне впервые подумалось, что надо бы повидать места, где он сражался, где был ранен и *пал.* И где он других убивал и ранил.

4.8

Опять идем на Белгород. Вермахт не устоял. Русские прорвались.

5.8

Русские штурмовики с истошным воем атакуют нашу километровую колонну. Бензовозы взлетают на воздух. В роте 2 убит., 3 ранен.

6.8

Движемся дальше.

Это последняя датированная запись. *Движемся дальше.*

За ней последует только еще одна, без даты, то есть в промежутке между 7 августа и 19 сентября 1943 года, когда его ранило, аккуратная, твердым и ясным почерком, с отчетливым нажимом карандаша:

На этом я заканчиваю свой дневник, ибо считаю бессмысленным вести учет столь ужасным вещам, какие иной раз происходят в жизни.

Писать о страданиях, о жертвах означало бы задаться вопросом о вине, о преступниках, о причинах ужасов и смертей — есть такое наивное представление об ангелах, которые "наверху" "ведут учет" всем злодеяниям и страданиям человеческим.

Но пусть бы хоть свидетельство оставил.

Я написал в военно-исторический архив во Фрайбург, попросил предоставить мне возможность ознакомиться с журналом боевых действий дивизии "Мертвая голова" за 1943 год. Когда я туда приехал, нужная папка оказалась пуста. Содержимое отсутствовало. Архивариус не мог мне объяснить, куда оно подевалось. Возможно, записи были изъяты в США, куда все документы были отправлены сразу после войны.

Почему?

Получив приглашение выступить с чтением в Киеве, я вознамерился оттуда на машине доехать до Знаменки, это почти 800 километров. Ирис Клозе из Биржевого объединения немецкой книжной торговли, помогавшая организовывать проведение немецкой книжной выставки-ярмарки в Киеве, раздобыла для меня переводчицу и даже автомобилиста-частника для такой поездки. Наутро после прилета, по случайному совпадению это был день, когда ранило брата, меня разбудил пронзительный телефонный звонок. Мне снился тягостный, смутный сон, от внезапного пробуждения запутавшийся еще больше, и брат в нем тоже каким-то боком, скорее тенью, участвовал. Испуганно вскинувшись, я попытался встать. И не смог. Обе ноги свело невыносимой болью. Я скатился с кровати, в темноте пополз к надрывающемуся телефону, по пути натыкаясь на ножки стола и стульев, схватил наконец трубку, услышал голос, непонятный и далекий, который после нескольких моих "алло!" внезапно умолк.

Забравшись в кресло, я кое-как пришел в себя, сумел и боль в икрах как-то локализовать, это были судороги, которые удалось снять только интенсивным массажем одной ноги о другую. Я встал, побрился, принял душ, оделся. Внизу в холле гостиницы меня уже ждал водитель, чтобы везти в университет.

Дискуссия с украинскими германистами и преподавателями немецкого языка была окрашена необычайным радушием и сердечностью с их стороны, отчего мне, стоило подумать о прошлом, делалось стыдно. Ведь урочище под названием Бабий Яр находится совсем неподалеку от Киева.

В перерыве я пошел в туалет. Глянул в зеркало и не узнал себя. Лицо белое, под глазами фиолетовые тени, как у умирающего.

Позже я спросил у ведущей, заметила ли она во время дискуссии, что со мной творится.

Да, заметила, подтвердила она, но решила ничего мне не говорить, чтобы меня не тревожить и не сбивать с толку. Вдруг, прямо в ходе дискуссии, у меня под глазами стали расплываться эти сизые круги, словно от ударов.

После обеда я позвонил в немецкое посольство представителю Немецкого попечительства солдатских захоронений и спросил про кладбище в Знаменке. В ответ услышал, что кладбище несколько недель назад "расформировано", семь тысяч скелетов лежат сейчас в заброшенном фабричном корпусе. Но человека, у которого от этого корпуса ключи, сейчас там нет, он уехал в Крым, готовить предстоящее перезахоронение.

— Вряд ли вы много там увидите, — сказал он мне.

Кстати, и это бывшее кладбище тоже частично оказалось застроено зданиями фабрики. Он спросил меня о номере захоронения, но в свете того, что кладбище расформировано, это мало что дало. Услышав, что у брата были ампутированы обе ноги, он спросил, какая нога на сколько.

— Это что, важно для идентификации других останков?

— Да. Но в корпус вам не пройти, там закрыто.

Несколько мгновений я колебался, не отменить ли договоренность с водителем. Потом все-таки поехал, на Днепр, туда, где Красная Армия форсировала эту мощную водную преграду, с боями, в битве, которая стоила жизни сотне тысяч красноармейцев. Балыко-Щучинка. Перегруженный бронзой памятник, на котором выбиты названия всех принимавших участие в битве советских полков. Он поставлен над обрывом, откуда открывается вид на перекрытый с тех пор плотиной Днепр и на другой, пологий, бескрайними просторами уходящий к восточному горизонту берег. Пышные, высокие облака медленно тянулись по небу, наполняя могучие воды своей воздушной белизной.

Мы сели в траву, водитель развернул банки с икрой, купленные в Киеве на рынке за несколько долларов. Он забыл открывалку и теперь аккуратно отгибал края жестяных крышек перочинным ножом, потом осторожно снимал крышки со стеклянных банок. Мы черпали икру белыми пластмассовыми ложечками и пили водку из больших граненых стаканов. Какая-то женщина подошла к нам с корзинкой и угостила крутыми яйцами и помидорами собственной засолки. Мы предложили ей икры, но она перво-наперво захотела выпить водки.

Потом мы поехали в Канев, город на Днепре. Именно на этом отрезке мне предстояло оказаться ближе всего к могиле брата. Город, разрушенный во время войны, отстроен заново. Серые, одинаковые до безобразия, панельные дома. Автобусный вокзал с разбитой мостовой, навесом от непогоды, напротив здание, которое я принял за фабричный корпус, на самом деле это оказался театр, где, правда, уже много лет не играют. Единственное крупное предприятие в городе, электростанция, тоже закрыто. Показатели безработицы приближались к 90 %.

Украинский водитель, очень хорошо говоривший по-немецки, пригласил нас навестить его "стариков". Дача стояла за городом, на холме. Ря-

дом с маленькой деревянной хибаркой возвышалась коробка строящегося солидного дома, над возведением которого годами трудится отец. Это был мужчина лет под шестьдесят, с волосами столь смоляного черного цвета, что на послеполуденном солнце они отливали угольным блеском.

Он показал нам коробку дома, который строит один, лишь изредка ему сын помогает. Прошли по доскам, брошенным на бетонный пол, которому когда-то суждено стать полом террасы. Справа и слева торчащая из стен щетина арматуры. Тут же компактная, тщательно укрытая пленкой бетономешалка, кучи песка, кирпич, ведра.

– Вон там поднимем стены второго этажа, на следующий год, это долгая история, – объяснял сын, – стройматериалы, металл, бетон, это ведь все доставать надо.

– А что, цемент, арматуру купить нельзя?

Он рассмеялся.

– Нет. Только организовать.

На холме стояли и другие частные новостройки, анархическим разнообразием форм и архитектурных решений свидетельствуя об организаторских способностях своих владельцев. На участках гуляли куры, утки, неподалеку по-хозяйски рылась в листве свинья. Мы сидели в садике перед деревянной хибаркой и пили кофе. Потом отец водителя поставил на стол бутылку водки, мать принесла засоленных яиц и соленых огурчиков.

Через сына я спросил отца, который выглядел чуть постарше меня, помнит ли он войну.

Тот, не поднимая глаз, покачал головой. Видно было, что не хочет вспоминать. Некоторое время спустя он все же посмотрел мне в глаза и поднял рюмку. Мы чокнулись. "Друшшба!"

Я так до самого вечера и просидел с хозяевами в этом садике возле недостроенного дома. Вместо того чтобы ехать дальше, решил, что куда лучше побыть с этими людьми.

Фамилия одного из подмастерьев на фирме, где я обучался ремеслу, была Крузе. Весельчак, он много смеялся, хотя в негласной иерархии мастерства его место было самое последнее. Табель о рангах определялась мехами, которые тому или иному мастеру или подмастерью доверяли обрабатывать, что, в свою очередь, зависело от их умений и выучки. Мастер, фамилия которого тоже была Крузе, Вальтер его звали, стоял во главе этого внутрислужебного ранжира из двенадцати скорняков и шестерых учеников-подмастерьев. Он работал с оцелотом и шиншиллой, самыми дорогими мехами, после него шли два мастера, изготовлявшие шубы из бобра и нутрии, потом подмастерья, отвечавшие за пошив норковых шуб и горжеток, за ними подмастерья, работавшие по каракулю, между которыми, впрочем, тоже были свои разряды серого натурального и крашеного черного каракуля, а уж затем шубы, изготовляемые из остатков – каракулевого лоскута. Это была работа учеников второго года обучения и Артура Крузе. Кропотливая, муторная работа, при которой волей-неволей оставалось много времени на болтовню и рассказы, ибо тут не требовалось особо точного расчета и ремесленной сноровки, как при раскройке полос или распускании норковых шкурок. Артур Крузе, для которого я, учеником, целый месяц сортировал каракулевые лоскуты, часто и много рассказывал о войне, как, впрочем, и другие подмастерья и мастера, все они воевали, кто в унтерах, кто в лейтенантах.

Благодаря войне Артур Крузе первый раз в жизни выбрался из Гамбурга, побывал в Польше, в России, на Украине. Все его истории, все пережитые им потрясения, большие и малые, я позабыл, все, кроме одной, после которой этот простоватый, но к нам, ученикам, неизменно дружелюбный человек перестал казаться мне таким уж приятным.

Однажды ему пришлось доставлять с передовой на сборный пункт двух русских пленных. Летом 1943-го, в знойный летний день. Двенадцать километров по пылище туда, двенадцать обратно. Пыль – ну просто не продохнуть. Час прошли, он сказал: "Этой!" Оба пленных на него обернулись, а он фляжку достал и воду пьет. Ясное дело, русским тоже пить хочется, они смотрят на него, с фляжки глаз не спускают, ну, он ее на землю поставил, к камню прислонил, чтобы не свалилась, а сам шага на три-четыре назад отошел и рукой им показал, мол, пейте, правда, карабин в другой руке наперевес держал, и палец на спусковом крючке.

Они сперва робели, потом все-таки подошли, фляжку взяли, отпили немного, по глотку-два каждый, не больше, и фляжку снова на землю поставили.

– Ну, а я им рукой показываю, – продолжал Крузе, – мол, драпайте.

Русские по-прежнему колебались, вроде как не верили.

– Ну же, проваливайте!

Он даже вроде как замахнулся на них, и тогда оба кинулись бежать. А он карабин вскинул и выстрелил, коротко так, два раза всего, раз и раз.

– Стрелок я был хороший, разряд имел. А они потом в лагере все равно бы с голоду подохли.

Он отправился обратно, по пути еще привал себе устроил, посидел, хлебом с копченой колбаской перекусил, воду из фляжки допил. Вернулся на передовую, пошел в часть, доложил: оба пленных застрелены при попытке к бегству.

– Ну и хорошо, – только и сказал ротный.

Артур Крузе хромал. Незадолго до конца войны его ранило: восемь гранатных осколков в ногу.

И ведь это были повседневные, самые обыденные истории, которые после войны рассказывались на работе, в пивнушках, дома, на диалекте и на хорошем литературном немецком, – словами люди перемалывали в себе прошлое, а вместе с ним и вину. И обо всем этом – сегодня себе это уже невозможно представить – можно было вот так, запросто, рассказывать. В те годы русские по-прежнему были всего лишь врагами – теми, кто насиловал немецких женщин, сгонял немцев с родных земель, до сих пор морил голодом немецких военнопленных, и никто особо не задумывался над вопросами о вине, о первопричинах и временной последовательности зверств. Сами-то что, сами-то мы только по приказу. Все, от рядового до генерал-фельдмаршала Кейтеля, который и на Нюрнбергском трибунале заявил, что невиновен, ибо всего лишь выполнял приказ.

Мой дядя, тоже записавшийся в СС, короткое время, месяц или два, прослужил в охранной команде СС при концлагере Нойенгамме. Но ему, по рассказам, стало там плохо. "Йоханн (которого в семье звали просто Йонни), он же вида крови на дух не переносил", – объясняла тетя Грета. И вот он из охранной команды добровольно попросился на

фронт, попал в боснийский полк СС. Есть фотография, он там в феске. После войны два года отсидел в американском лагере для интернированных лиц. Этот дядя у нас дома почему-то не бывал. Но на общих семейных торжествах мы встречались. Я хорошо запомнил, как он жаловался, до чего ужасно американцы обращались с военнопленными. На первых порах им вообще приходилось траву жрать. У него был красивый голос, баритон, и он иногда пел популярные песни, арии из оперетт. "Я граф фон Люксембург, стопятидесятипроцентный граф". Говорят, что бабушка по отцу, женщина нрава крутого и решительного, стоя на стремянке, как раз вешала только что постиранные, мокрые еще гардины, и когда он, приехавший с фронта отпускник, принялся рассуждать, что с евреями поступают совершенно правильно, она этими мокрыми гардинами его прямо по мордасам и отхлестала.

Мы ничего такого не знали.

Мать, которая не очень интересовалась политикой, тем не менее вопросом о собственной вине задавалась, без мучительного самоедства, но все же осознанно спрашивая себя: а что лично я могла и должна была сделать? По крайней мере осведомиться, говорила она. Куда подевались две еврейские семьи, что жили по соседству? Хотя бы этот вопрос можно было задать, и не только себе, но и соседям, а по совести говоря — всем и каждому. Как можно чему-то сопротивляться, если боишься даже сказать об этом вслух?

Между тем эта всеобщая немота объясняется глубоко коренящимся в нас инстинктивным стремлением не выделяться, оставаться *в общей упряжке, заодно* со всеми, из боязни неприятностей на работе, помех карьерному росту, а еще — из потаенного страха перед притеснениями со стороны режима. Вошедшая в привычку трусость — вот что такое наше мертвое молчание.

В начале 50-х, когда правительство ФРГ приняло решение о перевооружении бундесвера, к нам пришла тетя, сестра моего отца, и спросила маму, пойдет ли она вместе с ней на Ратхаусмаркт на демонстрацию протеста. Муж тети, владелец фирмы по очистке нефтеналивных судов, ни в коем случае не должен был об этом знать.

Пошла ли тогда мама вместе с тетей? Я так и не спросил об этом — как и о многом другом.

Для отца война, вообще эпоха нацизма, завершившаяся безоговорочной капитуляцией, так и не стала поводом для скорби, скорби по разрушенному — как он, с неповторимым нажимом именно на первом слове, говорил — *нашему немецкому рейху*. Нет, это была не скорбь, а мстительная обида и заносчивое стремление доказать свою правоту, пусть даже после драки. Он, не устававший подчеркивать, что никогда нацистом не был, то и дело приводил аргументы, свидетельствующие якобы о совиновности союзников. Почему, спрашивается, англичане и американцы не бомбили подъездные пути к концлагерям? Ведь они уже в 1943-м все знали. Почему крематории не бомбили? Почему заблаговременно не приняли всех евреев в США и Англию на постоянное жительство?

Попытка показать относительность вины, переложить собственную **виновность на союзников, втянуть** в преступление и их.

Пусть в моем тогдашнем мальчишеском сознании это рисовалось не с такой ясностью, однако чувство было — а сперва это было именно и только бессловесное чувство, — что все это отговорки, что отец совершает как раз то, что он обычно так гневно и презрительно клеймил, — *он увиливает.* Он боится честного боя. То, чем так восхищался мальчик, во что так упоенно играл на берегу Эльбы: Роммель в Африке. Держать оборону до последнего солдата, потом яростно атаковать позиции англичан (даже в мальчишеских играх тех лет проигранная война в конце концов все же заканчивалась победой), это знаменитое *выстоять, не согнуться, не дрогнуть* — в речах отца все это оборачивалось теперь слабостью и трусостью.

Может, подспудно именно по этой причине юноша, тогда уже не ребенок, с таким возмущением спорил, с такой яростью писал — пусть в писаниях своих он не мог сформулировать суть дела критически, однако пытаясь доискаться до нее, ставя своих вымышленных персонажей в конфликтные ситуации. Ненависть, возмущение, презрение. Не столько из-за мелочных запретов и предрассудков отца во всем, что касалось кино, музыки, моды, сколько именно из-за его слабости, трусливой апатии, явственного желания смыться, спрятаться от своей вины, рожденной не каким-то одним проступком, а всей жизненной позицией, той самой, которая готова признавать только приказы и послушание. Послушание кому? От кого, как и кому отдавались приказы? И что эти приказы гласили? Ответить на это, ответить за это — вот от чего он уклонялся. Он довольствовался отговорками. То есть тем, что в других неизменно презирал. Однажды обратив на это внимание, юноша вскоре заметил, что все эти кавалеры железных и рыцарских крестов, обладатели планок "За ближний бой" — все они прячутся за отговорками, боятся взять на себя ответственность. Одно из любимых словечек для самооправдания: *приказ непреодолимой силы.*

Попытки без ложной поспешности, без скороспелых поименований восстановить в памяти моменты наибольшей к нему душевной близости удаются лишь тогда, когда перед моим мысленным взором мы с ним вдвоем, только он и я, что-то предпринимаем вместе. Он близок мне, когда рассказывает, я слышу его голос, спокойный, низкий, но не слишком. По вечерам он рассказывал мне истории, которые выдумывал сам. Про хомяка Толстощека, до того любопытного, что однажды он на доске переправился на речной остров. В сущности, детские сказки, и было это сразу после войны. На фотографиях, где мы с ним вместе, он в шинели или в костюме и шляпе, совсем другой, чем на фотографиях с моим братом, там он с сынишкой то на мотоцикле, то в машине, то просто в комнате держит мальчика на коленях. Тогда ему было к тридцати. А я не могу припомнить, чтобы мы с ним хоть раз, допустим, играли в футбол, вообще с ним и друзьями во что-то играли. Ему было уже к пятидесяти и всегда некогда. Время восстановления. У него был магазин, была мастерская, были боевые товарищи. Свой взрослый мир.

Слово, сопровождавшее меня все детство, — как сопровождало оно, наверно, и брата: "Соберись!"

Однажды мы, отец и я, совершили поход на лодке по запруженной реке в Зудермюлене. Пробивались протоками сквозь заросли. Мне было одиннадцать. Фотография с датой запечатлела нас — его в костюме, меня в белой курточке и коротких штанишках — в лодке. Снимала нас,

должно быть, мама в момент доблестного возвращения из "похода" по этой крошечной речушке, скорее запруженному ручью, в Люнебургской пустоши — но это было целое путешествие, уведшее нас в неведомо какие страны. Явственное, навсегда сохранившееся в памяти желание вместе с ним этот поход повторить.

И те десять дней поездки принадлежат к воспоминаниям о счастливой, ничем не омраченной душевной близости — нашей совместной поездки в Кобург. Мать осталась в Гамбурге, кто-то ведь должен был за магазином смотреть. В Кобурге мы заночевали в *"Золотой гроздИ", старейшем доме на площади.* Наверно, это была для него кульминация всей поездки — вернуться в маленький город, куда его мальчишкой отправили к бездетной тетке, самой старшей из братьев и сестер. У бабушки было пятеро детей. Хансу было десять, когда он приехал в Кобург, там ходил в школу, жил у тетки, тети Анны, и у дяди Франца Шрёдера, самостоятельного предпринимателя-препаратора. Ему он после школы должен был помогать в мастерской. По-видимому, работал он настолько хорошо, что дядя всячески пытался его удержать, даже хотел женить на своей единственной дочери, то есть на отцовской кузине. Возможно, семь лет, проведенных в маленьком, но столичном городке, как-никак резиденции герцога Саксонско-Кобург-Готского, в бюргерской по суги, но на сословную знать равняющейся, от этой знати зависимой среде, — возможно, именно этот *отрезок жизни* объясняет всегдашнюю тягу отца к аристократическому свету.

Для него эта поездка стала осуществлением заветной мечты. Он приехал в город своего детства в пору, когда его финансовые дела шли хорошо, когда он кем-то *стал, состоялся,* что-то из себя представлял, приехал в Кобург с сыном, то есть с наследником. Он разъезжал по улицам города в своем огромном, цвета морской волны "адлере", и вокруг машины, где бы он ее ни поставил, неизменно собирался народ. Почему он не поехал с шофером, который у него тогда еще был, — на этот счет я могу только строить догадки: вероятно, его представлениям больше соответствовала картина, в которой он сам за рулем, кроме того, ездить по улицам Кобурга на машине с шофером ему, должно быть, казалось барством, это было бы чересчур. Шофер еще как-то был бы уместен, приедь он по делам, но личный шофер в отпуске — нет. Ибо при всем при том, вот ведь в чем загвоздка, хотя жил он явно не по средствам, назвать его зазнайкой, хвастуном, выскочкой было никак нельзя.

Сопутствовавшая ему высокая, да что там, завышенная деловая и общественная репутация проистекала сама собой из его манеры держаться, из его обхождения, вежливости, хорошего тона.

О том, чем он действительно мог бы гордиться, о своих работах препаратора, о чучелах животных и птиц, которых домогались музеи, о которых с похвалой отзывались специалисты, — об этом он не говорил никогда.

В Кобурге он снова повстречал кузину, племянниц, приятелей и знакомых. С ним здоровались на улице, его приглашали в гости друзья детства, ставшие кто торговым представителем, кто служащим банка, кто просто, как говорится, "сделал выгодную партию". В крохотном городке, бывшей герцогской резиденции, отставные военные — рядовые и офицеры — состояли в разных объединениях. Еще можно было встретить "поставщиков двора". Разумеется, все это были реликты герцогства Саксонско-Кобург-Готского, приказавшего долго жить еще в революцию

1918 года. Однако сословный дух продержался в городишке значительно дольше. Живший в Кобурге дядя пел в хоре военных моряков, и ему не раз приходилось отвечать на вопросы, не роняет ли этим он, капитан-лейтенант в отставке, своего офицерского достоинства.

Потом путешествие повело нас дальше, по землям Франконии, в места, каким-то образом связанные с отцовской юностью, мы взбирались на холмы к стенам старинных замков, бродили по лесам в поисках заросших руин, которые напоминали отцу о походах его юности, вместе с хором народной песни. Мы по-прежнему ночевали в гостиницах, аттестовавших себя *первыми заведениями на площади,* обедали только в ресторанах, которые были рекомендованы отцу как *лучшие.* Он много рассказывал из прошлого. В местной истории франконского края он очень хорошо разбирался. Был спокоен, приветлив, не скупился на деньги (как, впрочем, и никогда). В этой поездке мне впервые бросилось в глаза, насколько нравится он женщинам, тогда он был еще строен, держался очень прямо — *подбородок на уровне подворотничка,* — сразу успел загореть на солнце, он вообще быстро загорал, делался темно-бронзовый, что так оттеняло белокурую золотистость волос и синеву глаз. Он носил сшитые на заказ костюмы, рукав с манжетой, одна пуговица обычно расстегнута.

Сколько я знаю, за время брака у него не было любовницы и вообще каких-либо женщин на стороне. Но он любил нравиться женщинам. Мать относилась к этому спокойно. Тут ведь был еще и денежный резон — многие клиентки, особенно из состоятельных, приходили к нам покупать шубы только ради него.

Недолгая это была пора — года три, от силы четыре, — когда он действительно был тем, кем хотел казаться.

Сталинград, Харьков, Киев — названия городов, которые то и дело мелькали тогда в разговорах. Сталинградская битва. Второе взятие Харькова, в котором и брат участвовал. Киев, где брат, а позже и отец побывали, но так там и не встретились. Брат к тому времени уже снова был *на передовой.* О Киеве рассказывали, как русские, оставляя город, заминировали здания, целые кварталы и, когда немцы вошли, с помощью дистанционно управляемого взрыва подняли эти дома на воздух.

О чем не говорили, так это о Бабьем Яре, урочище неподалеку от Киева.

"В результате спецоперации, подготовленной штабом группы армий 'Юг' и проведенной объединенными усилиями зондеркоманды 4а и двух рот полицейского полка группы армий 'Юг', 29 и 30 сентября осуществлены массовые казни еврейского населения в количестве 33 771 человека. Принадлежавшие казненным деньги, ценные вещи, белье и одежда были конфискованы и частично переданы в распоряжение НСНБ[1] для нужд коренных немцев[2] за рубежом, частично в распоряжение городской комендатуры для раздачи нуждающимся".

Сообщение ТАСС № 106 от 7.10.1941.

1. "Национал-социалистическая народная благотворительность" — нацистская благотворительная организация, осуществлявшая свою деятельность исключительно на принципах расизма.
2. Так называемые "фольксдойчи" — граждане зарубежных стран, немцы по происхождению, не имевшие немецкого гражданства. Создание организаций из "коренных немцев" составляло важный аспект идеологической и политической работы гитлеровских властей в оккупированных странах.

Перед расстрелом людям приказывали снять с себя всю одежду. Фотографии, — как ни удивительно, это цветные фотографии, — сделанные немецким фотокорреспондентом роты пропаганды, крупным планом запечатлели: протез, черный полуботинок, рубашку, белую, пальто, коричневое. Следы на песке. Человеческие. А вот кое-что другое: детская туфелька, шуба, дамская сумочка, коричневая, детская шапочка, вязаная, письмо, книжка, вероятней всего, записная. И общий снимок: во всю длину насыпи тысячи и тысячи подобных же, где просто скинутых, где тщательно сложенных, где яростно выброшенных предметов одежды.

На одной из фотографий можно видеть двух немецких солдат, разбирающих ворох тряпья — не в поисках чего-то ценного, а чтобы проверить, не припрятала ли здесь перед расстрелом какая-нибудь из матерей своего ребенка.

Что еще очень хорошо видно на фотографиях: солнце светит.

Среди солдат были и такие — некоторые, очень немногие, — кто отказывался расстреливать мирное население. Их самих за это не расстреливали, не разжаловали, не предавали военно-полевому суду. Очень немногие сумели сказать "нет", но, как убедительно доказывает в своей книге Браунинг, — они не были *нормальными солдатами.*

Он, брат, звал меня. Его голос раздавался из другого конца не то коридора, не то туннеля. Я побежал на голос, и туннель неожиданно вывел меня на свет. Сад, много людей, все как на негативе, тени белые, лица черные, никого не узнать. Брат стоит здесь же, лицо черное, костюм — или это мундир? — белый. И просит меня спеть для него, что-нибудь, все равно. Я пою. И сам удивляюсь, до чего чисто, до чего красиво у меня получается. И вдруг он бросает мне грушу, а я не успеваю поймать. Мой ужас, когда груша падает на землю. И его голос: "В пользу бедных".

Монастырь Киево-Печерской лавры стоит над Днепром. Отсюда пошло на Руси христианство, говорит мне гид, вслед за которым я, с восковой свечкой в руке, спускаюсь вниз, в узкие ходы, что прорыты здесь под землей. В стенах, в нишах, похоронены отцы-основатели, в бликах свечки можно видеть за стеклом их мощи. В нише побольше, по сути в небольшой, озаряемой свечками пещере, сидят четверо послушников. Им положено какое-то время здесь, под землей, рядом с основателями монастыря и упокоившимися братьями, жить и поститься, прежде чем они примут посвящение. Извилистые ходы тянутся под землей, как кишечник, и действительно, похороненные здесь как будто перевариваются, чтобы в день светопреставления возрожденными восстать для новой жизни. Бледные, почти белые лица послушников, которые лишь изредка тихо переговариваются с паломниками.

Когда сестра второй раз лежала в больнице, долго, несколько недель, все нетерпеливей и безнадежней мечтая хотя бы на день вернуться домой, она много размышляла: как так все вышло в ее жизни и почему все вышло именно так, а не иначе. Не то чтобы она говорила: это все отец виноват. Но говорила она о нем много, гораздо больше, чем о матери, даже потом, когда легкий инсульт затруднил ее речь. Ей все время при-

ходили в голову эпизоды из прошлого, сцены, случаи, и она только снова и снова качала головой. Часто, затрудняясь с подбором нужного слова, она стала использовать выражение, которого я раньше никогда от нее не слышал, она говорила — с нажимом так, очень отчетливо: *к слову сказать*. Как будто пытаясь с помощью этого "к слову сказать" извлечь из своей памяти забытое.

Она думала о жизни отца, пошедшей прахом. Она и свою жизнь считала бы пропащей, не случись с ней — это уже в семьдесят два и после операции — то, о чем она снова и снова говорила с большой нежностью, называя это событие счастьем своей жизни: она встретилась с *тем мужчиной*.

Человек этот, до выхода на пенсию бывший нашим семейным доктором, жил на нашей же улице, неподалеку от нас, правда, в районе получше нашего, там четырехэтажные доходные дома сменяются небольшими частными виллами.

Время от времени сестра встречала нашего бывшего врача на улице. Они здоровались, обменивались словом-другим. Потом, как-то весной, она встретила его в небольшом аймсбюттельском парке. После ее первой операции прошло два года. Она встретилась с этим врачом-пенсионером, и, как всегда, они остановились поговорить. Ему тогда было семьдесят шесть, кажется. От соседей она случайно услыхала, что у него несколько месяцев назад умерла жена. Она сказала ему, что ей очень жаль, что она соболезнует. Жену его, которая часто помогала доктору во время приема пациентов, она хорошо помнила. Поговорили немного о погоде. Она рассказала, что каждый день после обеда ходит в этот маленький парк и, если солнышко светит, садится тут на скамейке. Она обратила внимание, что доктор осунулся, лицо серое, она увидела, что брюки у него мятые, рубашка расстегнута, а еще она заметила, что он небрит, уже несколько дней, и тут же, непроизвольно, — все-таки их домашний врач, уважаемый человек, — провела рукой по его щеке и сказала:

— Вам надо побриться.

— Да для кого? — ответил он, и в том, как он это произнес, чувствовалась боль и даже как будто резкость.

Два дня спустя она снова увидела его в парке и сразу заметила, что он побрился. Сперва они говорили о всякой всячине, а потом он вдруг без обиняков сказал:

— Потрогайте.

И подставил ей щеку.

Она провела рукой, щека была гладкая и мягкая.

Вот так все и началось. То, что она потом называла счастьем всей своей жизни. А жизни оставалось два с половиной года. Она стала покупать себе новые вещи — черные лаковые туфли на невысоком каблучке, брюки, свитера светлых тонов, бежевый и красный. Красные перчатки. Она в жизни красных перчаток не носила. Вместе они поехали к морю, в Зильт. И когда я смотрю на привезенные оттуда фотографии — она стоит, волосы на ветру развеваются, улыбка смелая, дерзкая почти, — ее не узнать, никакого сравнения с той сестрой, какую я знал прежде, привычно глядя на нее отцовскими глазами.

Листаю — в который уже раз, бессчетно за эти одиннадцать месяцев, — снова и снова листаю этот блокнотик, сзади переплет уже оторвался, смотрю на рисунок брата, изображающий льва. Зверь выпрыгивает из-

за дерева. Набросок этот, полагаю, задним числом подправил отец, все остальные рисунки брата довольно примитивные и беспомощные, а этот благодаря немногим деталям, прорисованным резче и энергичней остальных, получился очень похожим: выразительный изгиб передней лапы, глаза, нос хищника, клыки в оскаленной пасти. Сразу видно умение точно ухватить суть. Я уверен: отец, когда ему прислали этот блокнот, несколькими штрихами и полутонами помог сыну, чуть подправив рисунок. Должно быть, ему хотелось, чтобы в глазах позднейшего читателя — которым оказался я — работа сына не обманула его, отцовских, ожиданий и чаяний.

Свой дневник брат начал 14 февраля 1943 года записью:

С часу на час ждем приказа в бой. С 9.30 готовность по тревоге.
Февр. 15
Опасность миновала. Ждем.
Февр. 16
Русские развивают наступление, а мы лежим без дела и ждем приказа.

И так изо дня в день. Почти никогда невозможно догадаться, что стоит за этими лаконичными записями, самого брата за ними не видно: что творилось у него на душе, его страхи, радости, побуждения, боль, даже физическая, — обо всем этом ни слова, он не жалуется, только фиксирует.

Март 18. Весь день под русской бомбежкой. В дом где мы расквартированы попадание бомбы трое ранен. Мой ручн. пулемет отказывает хватаю свой МГ-42 и луплю из него на в.40 беглым огнем

На этой страничке остались даже телесные следы моего брата, темными облачками на бумаге отпечатались следы его пальцев, местами настолько сильно, что *"на в.40"* почти невозможно разобрать. Что означает *"в.40"*? Может, это сокращение — "на высоте 40"? Или это вовсе не "в", а тройка, тогда 340?

Приказ генерал-фельдмаршала фон Райхенау от 10 октября 1941:

Солдат на восточном фронте – не только боец, сражающийся по всем правилам военного искусства, но и носитель непреклонной народной воли и мститель за все зверства и притеснения, причиненные немцам и родственным им народам. Поэтому солдат обязан проникнуться полным пониманием исторической необходимости сурового, но справедливого возмездия, свершаемого ныне над презренным недочеловекоеврейством.

Желание, чтобы они — отец, брат — повели себя так же, как тот немецкий офицер, который в первые же дни, когда всем евреям было приказано надеть желтые звезды, не побоялся в военной форме показаться на улицах родного города вместе со своим другом евреем. Офицера с позором разжаловали и уволили с военной службы. Его поступок описан в книге Вольфрама Ветте "Вермахт". Мужественный офицер. Только мужество у него совсем другое, чем то, к которому привыкли в Германии, когда мужество выказывается и доказывается всеми вместе, в одной упряжке, заодно, когда главная предпосылка и первейшее условие мужества — послушание, одна из прусских добродетелей, предполагавших умение проявлять мужество в насилии, насилии над другими, но и над собой, — *они выстояли, они сломили в себе труса*, – мужество убивать, мужество быть убитым. На что не было спроса, так это на мужество сказать

"нет", мужество возразить, мужество ослушаться приказа. Если бы все они прекратили выслуживаться, делать карьеру! Позорное, гротескное презрение к офицерам и солдатам, которые были в Сопротивлении, презрение к тем, кто дезертировал...

В том-то и задача, чтобы самому, одному, отважиться всецело и только быть самим собой, отдельным человеком, именно этим вот, совершенно определенным человеком; одному перед Богом, одному в этом неимоверном своем усилии и с этой неимоверной ответственностью.

Сёрен Кьеркегор

С тех пор как я работаю над этой книгой, с тех пор как я читаю, снова и снова читаю, письма, дневники, документы, отчеты, свидетельства, книги, в который раз – Примо Леви, Хорхе Семпруна, Жана Амери, Имре Кертеса и "Совершенно нормальных солдат" Браунинга, с тех пор как я изо дня в день читаю одни ужасы, у меня болят глаза, началось с правого, *разрыв роговицы*, несколько недель спустя та же история с левым, потом все повторилось, и снова, сейчас уже в пятый раз, жгучая, нестерпимая боль. Я не особенно чувствителен к боли, но эта лишает меня сна, не давая ни читать, ни писать, боль, из-за которой не только поврежденный глаз слезится, но и второй, здоровый, и вот я, человек поколения, которому запрещалось плакать – мальчик не плачет, – плачу, плачу без конца, словно выплакивая все сдержанные, не выплаканные на своем веку слезы, плачу о неведении, о нежелании знать, о нежелании матери, отца, брата знать о том, о чем они могли, должны, обязаны были знать, ведать, в самом первом, исконном, древнем значении этого слова, ибо "ведать" происходит от "видеть". Они и не ведали, потому что не желали видеть, потому что смотрели в сторону. Тем самым даже как бы оправдывая всегдашнее свое утверждение: мы ничего такого не знали – не знали, потому что не желали смотреть, потому что смотрели в сторону.

Сон: я бегу по коридорам в каком-то бункере. Сырость, с бетонных потолков капает, на полу от этой капели причудливые наросты, сталагмиты. Навстречу мне связные в мундирах, бегут, торопятся, лавируя между сталагмитами, как горнолыжники. Взламывают ломами какие-то двери. В бетонном склепе с принудительной вентиляцией сидит отец и объясняет мне, как прыгать с десятиметровой вышки, чтобы не удариться о воду животом. Я прыгаю и просыпаюсь.

Мальчик пришел из школы позже обычного и забыл сделать то, что ему поручили. И сегодня еще, хотя я уже неделями во всех подробностях пытаюсь восстановить в памяти этот случай, я не могу припомнить, что́ я тогда забыл. Отец в магазине велел мальчику отправляться домой и ждать вечером порки. Часа три, может, четыре мальчик ни о чем другом, кроме предстоящего наказания, думать не мог. Вечером пришел отец, ему отворили дверь, отец снял пальто, выдернул из брюк кожаный ремень, приказал мальчику нагнуться – и начал бить.

В памяти голос матери, как она пытается отговорить отца от наказания. Как она просит, умоляет не бить мальчика.

Но отец наказывает не только мальчика, но и ее тоже, пусть и ей будет урок: сколько можно прощать и прощать, пора положить этому ко-

нец. Это был единственный раз, когда отец меня выпорол. В назидание. Чтобы впредь неповадно было.

Хорошо помню этот тянущийся день, потом сумерки, предвещающие неотвратимость кары. Остались обида, возмущение и неизбывный, нарастающий гнев.

Насилие было *в порядке вещей.* Всюду пороли и били, от полноты чувств или по убеждению, из педагогических соображений, в школе, дома, на улице.

Мальчик на своем самокате катался по велосипедной дорожке. Навстречу ехал велосипедист и — ни с того ни с сего — влепил мальчику оплеуху. Мальчик упал с самоката.

— И правильно! — заметил прохожий.

Насилие в школе. Лупили почем зря — тростью, линейкой по рукам. Однажды учительница вырвала у мальчика целый пук волос, что заставило отца, обнаружившего у сына кровавую проплешину, пойти в школу и высказать свое возмущение. А мальчику из-за этого было стыдно, словно он дома наябедничал, и с тех пор о всех телесных наказаниях в школе он молчал. Как насилие воспринимал он и то, что его *заставляют учиться писать.* Ибо занятие это никогда не обходилось без *подзатыльников.* Одно только словосочетание — *правила правописания* — чего стоит. *Стрелóк по буквам,* как по-немецки называют первоклашку. Казалось, будто мальчик, делая паузы в чтении, осознанно сопротивляется навязываемой необходимости втискивать живые звуки речи в систему знаков, — он как будто слушал себя, слушал вольный, пока что вольный звук собственного голоса, — еще и сегодня, когда читаю или пишу, я слышу иногда этот свой голос где-то у себя в мозгу, голос мозга. С каким наслаждением он произносит: *слова, слова, слова...* Только так твое писательство сохраняет физическое к тебе отношение. Это была — и есть — необходимая самооборона.

Насилие дома, да и на улице находило себе негласное оправдание в насилии государства и в постоянной готовности применить насилие во внешней политике. *Готовность к войне.*

В истории человечества применение насилия для достижения политических целей считалось законным и расценивалось положительно. Отсюда — все эти улицы и памятники, поименованные и возведенные в честь победоносных битв. Убедительным доказательством успешной политики всегда считались захватнические войны Фридриха Великого или инициированные Бисмарком "объединительные" войны: германо-датская, прусско-австрийская, а также германо-французская. Насилие, революционное насилие и в политике левых, марксистских левых, всегда было легитимным политическим средством для достижения общественных преобразований. Ленин восхищался германским генеральным штабом. Партийная дисциплина, партийное послушание. Единица ничто, партия все. Генеральный секретарь. Центральный комитет. *Всего себя поставить на службу идее,* которая, впрочем, в отличие от национал-социалистской идеологии, не утверждала неравенство, не превозносила культ вождя над послушным народом, а, наоборот, была направлена против явлений, порождающих неравенство, против деклассирования, однако в достижении своих целей — создание бесклассового, братского об-

щества — в качестве временных мер отнюдь не исключала насилие и подавление.

Мое восхищение товарищами, которые были в концлагерях и там не дали себя сломить, продолжали бороться, организовывали группы сопротивления, а после войны, в Федеративной Республике при правительстве Аденауэра, снова оказались под запретом, ушли в подполье и упорно продолжали бороться, храня верность идеалам, вдохновляемым стремлением к равенству и справедливости, — это мое восхищение порождалось среди прочего и приверженностью *старым добродетелям,* которых всегда так взыскивал отец: стойкость, верность долгу, мужество, — без них в такой борьбе было не выстоять. Поэтому я к ним и примкнул. Когда расхождения между нами стали усугубляться и я вышел из партии, больше всего меня мучила мысль, что я подвел товарищей, бросил их в трудную минуту. И хотя решение мое, принятое осознанно, вполне убежденно, было неколебимо, саднящая мысль, что я совершил предательство, осталась.

Мужество в одиночку, полагаясь только на самого себя, сказать "нет". Non servo[1]. Акт грехопадения в религии и в любой тоталитарной системе, что зиждется на приказе и послушании. Сказать "нет" — даже вопреки нажиму социального коллектива.

На этом я заканчиваю свой дневник, ибо считаю бессмысленным вести учет столь ужасным вещам, какие иной раз происходят в жизни.

Снова и снова, пока писал эту книгу, я открывал и перечитывал это место — словно лучик света, пробившийся в кромешной тьме.

Как, почему он пришел к этой мысли? Брат упоминает гибель двоих товарищей и утрату родного дома. Однако и то и другое к тому времени произошло уже довольно давно. Не могло ли, пока он был на передовой, случиться нечто ужасное, нечто такое, что уже не поддавалось подобной манере письма? Эти отрывочные, конспективные заметки не ухватывали, не могли передать человеческой боли, ни чужой, ни своей собственной. В них напрочь отсутствует сопереживание — в том числе и самому себе. А частые повторы делали всю эту бессмыслицу еще и банальной.

Подразумевает ли, вбирает ли в себя эта его мысль — что нельзя вести учет столь ужасным вещам — также и неприятеля, и жертв, русских солдат и мирное население? Евреев? В дневнике нет антисемитских высказываний и иных стереотипов, каких много в солдатской полевой почте тех лет: недочеловеки, мразь, насекомые, тупые русские. С другой стороны, здесь нет и ни единой фразы, выдающей хоть намек на сочувствие к жертвам или на критическое несогласие с тем, что он видит, — нет ничего, что могло бы объяснить столь внезапный перелом в его мыслях, в его отношении к своим записям. Заметки не выдают в авторе ни убежденного преступника, ни зачатков протестного мышления. Из них говорит — и это самое ужасное — некая частичная слепота, ибо они фиксируют только *нормальное.* Тем разительней эта последняя фраза, ус-

1. Не подчиняюсь (*лат.*).

танавливающая невозможность писать *о столь ужасных вещах,* и особенно промежуток между ней и предыдущей записью: *движемся дальше.* И я хотел бы надеяться, мне бы очень хотелось, чтобы в этом промежутке читалось произнесенное братом "нет", non servo, как уведомление об отказе от послушания, который требует куда большего мужества, чем взрывами пробивать в укреплениях бреши для прохода танков. Это было бы мужество, которое ведет к обособлению, к боли и гордости одного, отдельного человека.

Боль и смерть считались определяющими и неотъемлемыми компонентами героики: готовность человека переносить боль и стойко принять смерть. Принятие боли как самоутверждение жизни, которая осознанно себя направляет и собой рискует, в противоположность обывательскому уюту и трусливой посредственности.

Японский генерал Ноги, с удовлетворением принявший весть о гибели собственного сына. Однако уже и в те времена героика со всеми своими напоказ выставляемыми атрибутами — шпагами, кавалерийскими сапогами и шпорами, кинжалами люфтваффе — выглядела штукой несовременной и даже сомнительной. Кинжал офицера люфтваффе, еще одно воспоминание: отцу в отпуске пришлось покупать себе новый, потому что, когда он садился в поезд, кто-то из *солдатни,* один из этих *пролетариев,* якобы из вежливости, а на самом деле исключительно из подлости, чтобы насолить пижону-офицеру, захлопнул за ним дверь вагона — и погнул кинжал.

Самое поразительное при чтении "Стальных бурь" Эрнста Юнгера и, пожалуй, самое захватывающее — это искренность в самовыражении сознания, для которого *смертельная отвага, долг, самопожертвование* все еще *абсолютные ценности.* Не только социальные ориентиры, но именно ценности, которыми — в совместной борьбе — когда-то, трансцендентно, будет преодолен нигилизм. А вот что это мужество, этот долг, это послушание оказались одновременно ценностями, при помощи которых, благодаря которым дольше проработали фабрики смерти, даже если ревнители ценностей об этом не знали — хотя могли бы знать, — вот этого мой отец никогда не мог и не хотел уразуметь. Это был вопрос, которым отцовское поколение даже не задавалось — как если бы в их сознании для его постановки не было соответствующих инструментов — и на который, когда вопрос звучал со стороны, ответа не было, одни отговорки.

Перемены в отце. Потолстел, лицо заплыло, в нем появилась алкоголическая одутловатость. Куда подевалась его подчеркнуто прямая осанка — *подбородок на уровне подворотничка,* — он обрюзг и как-то весь осел. Не носил больше галстуков, ходил с расстегнутым воротником, чтобы легче было дышать. У него и вправду стало пошаливать сердце, появилась одышка, он курил, пил, спать ложился в два-три ночи, утром выходил из спальни в одиннадцать, а то и к полудню, с похмельным, помятым, серым лицом. Из клиенток, которые приходили специально ради него, к нам теперь заглядывали лишь очень немногие, и то в основном не покупать, а что-нибудь починить или переделать.

Я сверился со своим рабочим дневником: действительно, первый разрыв роговицы в правом глазу случился у меня, когда я читал книгу Брауннинга *Совершенно нормальные солдаты.*

Интересно, если бы брат уцелел — что бы он сказал про книгу *Совершенно нормальные солдаты*? Как бы вообще относился сегодня к своему военному прошлому? Состоял бы в каком-нибудь из объединений бывших фронтовиков-эсэсовцев? Что бы сказал он сегодня, прочтя вот эту собственную фразу: *75 м от меня Иван курит сигареты, отличная мишень, пожива для моего МГ.*

А что бы он, отец, сказал? Взял бы вообще в руки такую книгу?

Я пытаюсь до него дозвониться, мне срочно надо что-то ему передать, еще во сне я удивляюсь: как это я должен что-то передать, а что — не помню? Не помню и того, кто дал мне это поручение. Но это что-то необычайно важное. Бегу от автомата к автомату, на всех дисплеях одна и та же надпись: "Автомат не работает. Только экстренный вызов SOS". Наконец, поколебавшись, жму на клавишу SOS. Слышу странный, высокого тона, певучий гудок и мгновенно понимаю: это голос его мозга. Какое странное словосочетание: голос мозга.

В то же утро, после завтрака, я набираю гамбургский телефонный номер, полученный отцом полстолетия назад и перешедший потом к матери, а еще позднее к сестре: 40—50—10. Очень своеобразный номер, как мне только сейчас приходит в голову: в сумме чисел он дает сотню, а в сумме цифр — десятку. Слышу магнитофонный голос: "По данному номеру нет подключения абонента".

Вот еще что стало мне ясно, пока я писал эту книгу: отец ничего не рассказывал о своем детстве. Ему, должно быть, ой как несладко жилось с этим дядюшкой-препаратором, говорила потом одна из теток. В одиннадцать, в двенадцать лет его отправили к дяде в обучение. И учеником он, судя по всему, оказался хорошим. Всем запомнился его грамотный "литературный немецкий" с легким северным акцентом. Видимо, ему было там очень одиноко. С утра он был в школе, во второй половине дня помогал дяде в мастерской. Приручил вороненка, выпавшего из гнезда. Ходил по городу с этим вороненком, уже вороном, на плече. Единственная подробность его детства, которая мне известна.

Такая вот картина: ручной ворон — должно быть, он и несколько слов умел прокаркать — на плече у мальчика, который станет потом моим отцом.

Ночью меня разбудила мать, вся сцена, как сейчас, у меня перед глазами, мать стоит возле моей кровати и говорит:

— Вставай скорей, отцу плохо.

Был необычайно жаркий день, 1 сентября 1958 года. Даже тогда, в три ночи, в воздухе по-прежнему стояла духота. Я спустился в магазин: отец лежал на полу. Лежал, как подкошенный, между креслом и курительным столиком, который сам же когда-то вынес из сгоревшего дома и который теперь, поваленный набок, всеми четырьмя ножками упирался в стену. Видимо, когда падал, отец пытался за столик ухватиться, нет, опереться. Левая рука странно откинута, лицо серое. Он лежал в костюме, в темно-сером, даже в такое пекло пиджак не снял. *Пиджак снимать не полагается.* Вокруг него прыгал наш пес, лизал ему руки, лицо. На тротуаре, перед открытой дверью магазина, молча стояли несколько прохожих. Он спустил и запер решетку перед входной дверью, а саму дверь ос-

тавил приоткрытой, наверно, чтобы воздух шел. Это мать мне потом рассказала, ее разбудили крики людей на улице. Сквозь щель в двери они заметили ноги на полу, открыли дверь пошире и увидели лежащего отца.

Потом, в машине "скорой помощи", я сидел в изголовье носилок, а фельдшер, пристроившись сбоку, спрашивал у меня необходимые сведения, возраст, дату рождения отца: 5 ноября 1899 года. И записывал все это в формуляр, как вдруг рука умершего соскользнула, стукнув сгорбившегося санитара прямо по спине. Хорошо помню ужас санитара и его короткий, непроизвольный вскрик. Я бережно положил тяжелую, безжизненно свесившуюся руку обратно отцу на грудь. "Скорая помощь" ехала без сирены и мигалки. На какую-то секунду краем сознания пронеслась мысль: как странно, ведь надо спешить, хотя умом я прекрасно понимал, что спешить некуда.

Въехав во двор Портовой больницы, мы вылезли из машины. Фельдшер поднял заднюю дверь и оставил открытой. Я стоял и ждал. По-прежнему было душно. Я видел смутный силуэт отца на носилках, руки сложены на груди. Через какое-то время появился врач, усталой походкой пересек двор, во рту сигарета, халат нараспашку. Поздоровавшись со мной кивком, полез в машину, уже оттуда выбросил недокуренную сигарету, достал из кармана халата маленький, трубочкой, карманный фонарик и посветил отцу в глаза.

Вылез из машины, пожал мне руку и сказал:

— Мои соболезнования.

На мой вопрос, от чего отец умер, он ответил:

— Это надо посмотреть.

Первые год-два после его смерти — я унаследовал все дела и долги, над ликвидацией которых мы потом трудились с матерью и сестрой, — мне много раз снился один и тот же сон. Звенит колокольчик на входной двери, и входит он, высокой призрачной тенью. Мой ужас. Он не умер, он только прикидывался.

Только в брауншвейгском колледже[1], готовясь к выпускным экзаменам, я избавился от этого наваждения.

Иногда, очень редко, он близок мне.

Старая, коричневатая и потрескавшаяся фотография запечатлела его — видимо, все там же, на Балтике, — стоящим в снегу перед крестьянской хатой, в шинели и сапогах, на голове пилотка. Он стоит и смеется. Сходство, которое странным образом норовит, продолжившись в нас, нас, моего сына и меня, перечеркнуть, по крайней мере на этом снимке, с этого расстояния от фотообъектива.

Я все еще работаю — да, работаю — во исполнение его желаний.

При входе на территорию Софийского собора в Киеве я услышал пение, тихое, задушевное пение, странным — я такого никогда прежде не

1. Альтернативное традиционной школе и гимназии профессионально-техническое учебное заведение (первое такое было основано в 1949 г. в Брауншвейге), по окончании которого учащиеся получают аттестат зрелости и право поступления в университет.

слыхивал — напевным речитативом, который неодолимо притягивал меня к себе. Пройдя чуть дальше, я заметил возле стены, под кленом, сидящего человека. Один из странствующих певцов, которые, как мне потом объяснили, после крушения социалистических порядков снова потянулись по всей стране, распевая свои песни о павших героях и любовных страданиях. Несмотря на долгие семьдесят лет запрета, традиция этих былинных песен подспудно и безмолвно сохранилась в народной памяти. Певец аккомпанировал себе на кобзе — почти круглом, похожем на лютню инструменте. Внезапно песня смолкла. И наступила томительная, заставляющая прислушиваться тишина, покуда через какое-то время, исподволь и неспешно, пение не возобновилось.

Я стоял, слушал, весь захваченный этим пением, — и внезапно как будто пелена упала с моих глаз и моего слуха.

Главная особенность этого дневника в том, что его не должно было быть. На войне было запрещено вести дневники, а уж тем более в частях СС. Попади такой дневник в руки врага, из него с легкостью можно было бы узнать о настроениях личного состава, о дислокации и передвижениях частей, что, кстати, я сейчас и делаю, с временно́й дистанции в шесть десятилетий. Это означает, что брат вел дневник тайно, чем и объясняется краткость, беглость этих заметок, обилие в них сокращений и ошибок.

Еще более удивительна в судьбе этого дневника сама его сохранность: соответствующие службы СС переслали его матери, очевидно, по недоразумению, по инерции сугубо бюрократического автоматизма: небольшая картонная коробка, в ней письма, орден, несколько фотографий, тюбик пасты, расческа. На расческе все, что осталось, уцелело от тела моего брата: несколько белокурых волосков. Паста в тюбике с тех пор закаменела.

На этом я заканчиваю свой дневник, ибо считаю бессмысленным вести учет столь ужасным вещам, какие иной раз происходят в жизни.

Фолькер Браун

Перевод В. Агафоновой

Все мое

Моя страна идет на Запад. Вот — я сам.
И ХИЖИНАМ ВОЙНА И МИР ДВОРЦАМ.
И это я же дал стране пинка под зад.
Лежит в грязи, испачкав украшенья.
Зима сменилась летом вожделенья.
Остаться у чертей собачьих буду рад.
Где текст мой не поймет ни друг, ни брат.
Отнимут здесь и то, чего я не имел.
Непрожитая жизнь — вот горестный удел.
Надежда на пути лежит капканом.
А все мое — по вашим по карманам.
Мои, мое — все стало вдруг обманом.

Пробуждение от догматического сна

Ты ночь использовал? — Я упражняюсь
В терпении. — Чего ты ждешь? — Ты знаешь
Боль сладкую: любви к Неведомой... —
Неведомое дело? — Что? — Ты о чем? —
Чуть вены мне не разорвали тело.
Устал, пересекая площадь Марка. —
Ты спишь, не так ли, связны твои сны. —
И улицы прозрачности полны.

Лагерфельд

Рим: открытый город Лагерь
Фланирует по подиуму мода
Тысячелетий смена Кольчуги
Для постели Два гладиатора
С захватом крепким сражаются за место и оклад
Приемчик стар, но публика в восторге
Затем ведь и учили их: ОН ИЛИ Я

© Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main, 1996; 1999
© В. Агафонова. Перевод, 2004

Запах страха В своей империи
Лагерфельд воплощает мечту: БУКЕТ
НЕВИДАННЫХ КРАСАВИЦ
Зимняя коллекция дакийских войн
Обогатила ЧТОБ ОТВЫКНУТЬ
Они носят мои идеи, легкие платья
Несут в балованный свет Праздник красоты
Хелена Кристенсен в вечернем туалете Двое
Трудяг сражаются никто не уступает
Первый Коммод, развратный сын
У стоика-отца, ошибка матери
Когда он дух испустит трон будет пустовать
Второй Север Септимий Африканец
Маршем идет с четырнадцатым из венской глуши
На столицу БЕДНЫЙ РИМ Варвар Император
Ему на пятки наступает Весь мир оставшийся
Лагерфельду не до того Его проблема:
Сделать их красивее он может, но не лучше
Все красивее Экипировка бестий
БЕДНЫЙ И БОГАТЫЙ Разные клиенты
УЖАСНО Платить и красть
Наслаждаюсь безраздельным интересом Но
Знает он что происходит, ведь не слеп
Пятнадцатилетний убийца из Спрингфилда
ГОРА ТРУПОВ В ШКОЛЬНОМ КАФЕ
Умеет подступиться к делу Сидит
В бумажных тряпках под замко́м
Тоже мода Из Америки Банды детей
Прочесывают Северный Рейн-Вестфалию Ищут
Чем поживиться в “Вулворте” и “Херти”
Проворное племя будущего
Терпеливая падаль на биржах труда ждет
Вторичного цикла Ждет сколько надо
А кто работает ждет автоматов
Ждут, чтобы было чего ждать Легионы
А мир чернеет в это время
Как Африка СИЛУ НЕ ТОЛЬКО ПОКАЗЫВАТЬ
НО И ПРИМЕНЯТЬ Мининдел
Поддерживает Боснию с тайной ухмылкой
Вам покажут что такое работа
Машина с бесполыми членами
Манекен для работы Завтра
К КОНЦУ ДНЯ ТЫ ПРОСТО ПРОДУКТ
Мысли вот чего я избегаю
Ежедневно листы бумаги заполняют знаки
Тюрьма против самоубийства вида
Я не читаю их, я не смотрю
Театр исполненный равнодушием
ТОЛЬКО ЗДЕСЬ ПРОЦВЕТАЕТ
ОТЧАЯНЬЕ Неудержимый Клейст
Штиммингс Круг, Потсдам: ОСТАЛАСЬ У МЕНЯ ОДНА
ЗАБОТА

НАЙТИ ДОСТАТОЧНО ГЛУБОКУЮ ПРОПАСТЬ
Подпись Двоеточие в Постдаме Ничего не ждать
Вот так драма: нет действия
Мы ее понимаем иначе бездействуем Нет,
Мы не можем по-другому Платье
Приросло СЕГОДНЯ РАБОТАЕМ
ТОЛЬКО НА ТЕЛО Но пьеса идет
Смотрите Коммод, смерть прет-а-порте
Лагерфельд или Полное равнодушие Он
Не любит красавиц, доступных ему Он
Сердцем ищет красоту во всем
Сын нищеты, уже судимой
Следите за плакатами "Их ищут", цвет кожи — черный
Я наслаждаюсь роскошью быть вне
Быть идиотом третьего тысячелетья Гражданином мира
Хелена Кристенсен площадку покидает
К чему мне становиться модой
В ничтожном обществе
Последний крик идей несется над ареной
Рим к концу подходит эра Беззаботность
Следите за финалом
Я ИЛИ Я
Приветствую вас, варвары.

Дурс Грюнбайн

Перевод Е. Соколовой

У *моста* Т*иберия*

Фридриху Китлеру

Долго там он стоял, погруженный в мечтанья,
Белизной ослепленный истрийских кубических
Скал, обветшалых и все-таки свежих, как в первый день.

Tempus fugit?[1] Нет, оно сохранит очертанья
Здесь, возле устья. Река, веной сжатой губительно
С мукой тянется к морю, с солью в гнилой воде.

Странно чуять касанье излучин так ясно.
Пять пастей каменных темный поток глотают
С самых времен Тиберия, с крестной муки Христовой.

© Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main, 1999; 2002
© Durs Grünbein, 2004
© Е. Соколова. Перевод, 2004
1. Время летит? (*лат.*) (*Здесь и далее – прим. перев.*)

Он думал о римской клоаке, думал о яслях,
О том, что убитые рыбы долго еще взлетают.
Прыгнет пантера в цирке, в руку вцепляясь снова.

Ничто не в прошлом. Полуденная жара
Каменотесом — в июле — с него все лишнее стешет,
Лишь в голове сохранится сморщенный серый сор,

Похожий на камень, — думал, потея, — пора
Через мост в Ариминуме[1] двинуться ходом пешим.
Но не воспряла история, затор и упадок с тех пор.

Римини, 2003

560 метров над уровнем моря

Из цикла МЕДАЛЬОНЫ

Однажды мы в Средневековье ночевали,
В местечке горном затаясь, за древней кладкой.
К нам мотыльки в пушистых свитерах взывали,
Стучась в виски ночами. По углам украдкой
Уж не драконы ли со стен собора — в палец рост.
День полз медлительно по кручам переулков.
Мы черепахи, панцирь наш, как серый камень, прост,
К полудню жаждем сдаться тени — от прогулки
Устав, стыдясь крестьян, встающих с петухами.
Прошлись под сводами ворот — уже довольны
Многообразьем древних сцен у нас над головами.
Старушки тянут на закорках внуков своевольных.
Мясник — пила запела — делит кость на части.
Век тянется в зевок одной кошачьей пасти.

Черная среда

Ты так была грустна, что я заметил вдруг
Обломки люльки за спиной, пустую парту.
Я видел, как в твои глаза все, что вокруг,
Вплывает холодом. Пустоты, дырки в карте
Растут в каналы, покрываясь льдом.
Вдали, как остров, луг вольготно индевеет,
Не ведая угроз, промчаться б босиком.
Немыслимо пускать овцу, корову на конвейер,
Стыдиться, повязав ручной работы шаль.
Дружки фривольные, но лучшие, все те же.
Твердеют каблуки на солнце — боже мой.

1. Древнее название современного итальянского города Римини.

По кругу носимся, теряясь, и так жаль...
В ту среду черную я по пути домой
В твоей тоске никак не мог тебя утешить.

Мизантроп на Капри

Не правда ли, вас пугают они, мои пальцы,
Длинные и костлявые, десять сухих искривленных ветвей.
Что говорят обо мне? Указательным пальцем сверлит насквозь
яблоко?
И не просто, друзья мои, яблоко, могу и глазное.
Или письмо, испещренное искрами лести.
Мне не нужен кастет, пальцев моих довольно —
Тех, которыми чищу раков и забавляю детей.
Взмахом, каким сбивают муху, чтоб после она,
Закружившись по полу, издохла, касаюсь чьего-то лица.
Самый опасный удар мой совсем как ласка,
Проявление нежности. Кожа горит, не так ли,
След-полоса кровоточит. Отметив врага,
Я уверен, найдется тот, кто его уберет для меня.
Сам же я отступаю в печали. Убийство претит мне.

Берлин posthum

Декабрь. С утра в такси ни шатко и ни валко
Своей же завистью сражен. — "Смогли они".
В глазах, пробитых светом, будто трется песок сырой.
Водитель четки теребит. Ты видишь катафалки
Через окно, за желтой шторкой в оборках гниль.
Тогда начнешь считать. Но пальцев руки одной
Не хватит — столько гробовщиков встречаешь по пути
От дома твоего к вокзалу. Реклама их бесстыдна,
Черным по белому, о будущих заказчиках, и так
Прямолинейно. Кресты, решетки — мимо не пройти,
Что ж, пропороть живот, как самурай, — обидно.
Кондитер месит тесто. Точит мясник тесак
Перед началом дня. Сверкают на лотках плоды.
А счетчик крутит пени с каждых двадцати шагов
Из денег трудовых — за элегичность строчек.
Цинизмом времени пронзенный мозг все ждет беды,
В сонливость впав. Суровым взглядом отразить готов
Случайный — в зеркале — шофера взгляд. Но если хочешь
Не опоздать на поезд, поспеши. По *авторадио* зудит
О новостях спокойный голос, шесть ноль три,
Подпрыгнул Доу–Джонс, банк лопнул в эту ночь
"Предугадал?" — курсивом жирным дразнит *Гроб в кредит.*
У кромки тротуара вспышка жизни — миг — смотри.
"Скорбь долгая бесцельна. Мы убираем трупы прочь".

Харальд Гриль

Перевод В. Куприянова

***

когда власти
заводят речь
об охране птиц

у орлов
на монетах
опускаются крылья

Птицы зимой

Беате и Хуберту

они сидят на проводах
по которым
мы обмениваемся
нашими новостями
и кошмарами

если бы птицы знали
о чем мы говорим
они бы съежились
и крепко прижались друг к дружке

Михаэль Крюгер

Перевод В. Куприянова

***

Я говорю, кто мне вернет назад
мои слова? Пустой вопрос,
когда отдачи нет и нет удачи.
Вот имя на чужих устах все мельче,
все незаметней в сильных голосах,
поющих с твоего, и над твоим же прахом
слова взлетают, продолжая
твою же речь, но вовсе без тебя,

© Edition Pongratz, Hauzenberg, 1998
© Residenz Verlag, Salzburg, 1998
© В. Куприянов. Перевод, 2004

от твоего же имени. Отныне, безымянный,
идешь свободно через все слова
в воскресный день, тебя не замечают,
молчанием утешься и надолго
вновь сам к себе уйди в ученики.

Сердцебиение

Такие простые вещи
нас лишают сна и покоя:
сердцебиение,
рукопожатие,
удивленный взгляд вокруг себя.
Вовсе не лихая игра ума,
не причудливые раздумья,
не шутки, когда правда
меняет маски.
Так бывает, когда оступишься
и вдруг вновь отыщешь дорогу,
и так покорно, так блаженно,
с бьющимся сердцем
пробираешься сквозь свой сон.

Гунтрам Веспер

Перевод М. П.

По *обе стороны Дуная*

Почтовый полет ворон
над голыми кленами возле церкви
в ноябре пятьдесят шестого
мне никогда не забыть

этот венгерский вороний грай

И каждое клацанье
захлопывающейся на замок двери
звучало как выстрел
Друг у друга в глазах
мы читали один и тот же вопрос:
“Может, они еще живы?”

© Demand Verlag, Buch und Media GmbH, München, 2000
© S. Fisher Verlag, Frankfurt am Main, 1999
© М. П. Перевод, 2004

Нет, все кончено
А ведь прошла
всего лишь неделя

Трещина в воспоминании

Безоблачно. Жара. На селе
первый сенокос

На Старом торге с утра
горела клятая контора
Мать сама видела

Из окон порхая в воздухе
летели бумаги
потом пришли танки

десятерых поставили к стенке
мужики еще грузили сено

Дневник начала февраля

Жуткая стужа с воскресенья Сегодня ночью
В спальне пока я читал
Под открытой форточкой
Лопнула батарея центрального отопления

Ее вскрик

Что
Станется со страной
У которой больная память
И чего сто́ит человек
У которого
Нет воспоминаний

Харальд Хартунг

Перевод В. Куприянова

Моментальный снимок

Несколько впечатляющих снимков
всегда остается по такому поводу
например на улице где как раз двое
мужчин лежат и один из них
еще жив в мгновение фотовспышки

Бумага над которой идет снег

Я мог бы часами смотреть
как падает снег
снегопад слог за слогом
образует слова и фразы
и медленно окутывает деревья
пока не заполнятся все строки
и бумага снова бела

Марсель Байер

Перевод Е. Соколовой

Никакой музыки

Навскидку речь исходит из
носа, в комнате звук то громче
то тише, но там меня нет. На

рукаве ищут пальцы мои
где протерто, туда я
вплетаю странную рифму...

© Carl Hanser Verlag, München, 2002
© Du Mont Verlag, Köln, 2002
© В. Куприянов. Перевод, 2004
© Е. Соколова. Перевод, 2004

Обо мне

Слышу, как сам говорю, но не знаю
с кем, беспокойные ночи, утром
вокруг меня запах мочи: скоро ты

станешь права, утверждая, что тот
самый тип с беговой дорожкой, руки —
на рычаге одна, а другая в ящике

с бодрым маршем, — это я сам.

Пять строк

I

Останки покрышек, камеры, шины
мертвые язычки на
колее. Грязь плюс снег по колено

вкруг забора, ни звука, я
ничего не могу припомнить.

II

Отмечают границу покрышки, пустая
стоянка у бара братков, мешки с торфом,
цветы — стройтовары, рельеф местности, дальше

все говорят не как здесь. Бессонница,
свет сквозь шторы, ночью бреется воздух.

III

Покрышки в кустах бузины, еще
белой, за рыбной заводью. У воды
много чешских кондомов, взгляды, ко

мне на языке мартовской кошки не
лезь. Взгляд на проселок, сфера бикини.

IV

Половинки покрышек между клумбой и
гравием, яркость листьев, а дальше
цвет теряется. В направлении порта

фигуры в штормовках, банки пива, ноябрь,
Локса, дискотеки откроются в шесть.

V

Вся фраза: четыре летних покрышки, словно
кто-то их потерял. У откоса
тысячелистник, одуванчик, ревень,

две светлые полосы в траве. Она
в туфлях на босу ногу, я в рубахе, я
мальчик. Шины старые, надпись чужая,

пальцем цепочка цифр, уши
пылают, сколько лет прошло. Вся
фраза, клей хрустит у меня

на зубах, верно, “Континентал”, и год
хороший, имя вертится на языке.

VI

Под березами, как на картинке, покрышки, сами
березы как на картинке, сточные трубы белым
с черными пятнами. Из ванной сквозь стену

в родной уголок, белый как мел,
творог. Мы вулканизируем покрышки.

VII

Пока вдруг не увидишь покрышки и
не вспомнишь: за кладбищем русским
кое-что в захоронке. Куртка (от формы),

рубаха (вельвет), жизнь новобранца. Или
в камнях, подразделение сорок один
сорок пять никуда не годится. Там

в соснах был лесной лагерь. Портянки. Лыко.
Повсюду бычки. Теперь их там нет.

VIII

В лесу след покрышек, где собирается
дождь: я туда указал, ни слова не
сказав, тут мне в голову мысль

о шкуре пришла, о шубе единства,
малиновом свете и плохих зубах.

IX

Пневмоторакс, и в рот, и в
нос. Я еще повернусь к
вентилю, вдохну, скользят

пальцы. Что там в воздухе, что
за свист, — ни кинжала, ни камня.

Томас Клинг

Перевод Е. Соколовой

Ш*ершни*

шаги шуршат по гравию и тело попало в поле зрения
шершней реакция на блеск прожекторов щелчок

прыжок на датчики движенья реакция. шершни
тревожно отвечают, шумно. симптомы стресса. вот

реакция шершней. стихают с наступленьем темноты.
стихают, если лампочка погасла. а днем

до сумерек кромсают древесину кромсают громко.
и потом спешат от деревянных стен в те стены где

живут. шершни летают как и пчелы держась
внутри или вовне того же круга. со светом по краям...

Б*ерлинский танец смерти 2*

Что доктор, властелин лекарств...
уже три раза я предупреждала вас:
уверены, успеете пожить
и к богу рано вам пока спешить
анализ ставьте тут, простятся с вами все,
а я станцую вам во всей красе

© Du Mont Verlag, Köln, 1999
© Е. Соколова. Перевод, 2004

врач:
увы, советом уже не помочь
моча пациента черна как ночь,
черна, зелена и вдобавок красна:

сомнений нет — в ней смерть видна
а в аптеке ведь нет пока никакой травы
чтоб с ее помощью смерть одолели вы.

Невфель Кумарт

Перевод М. П.

о родине II

мой отец
возвращается в Турцию
он не хочет
умирать на чужбине

я тоже не хочу
умирать на чужбине
поэтому решаю
остаться в Бамберге

стратегия

чужбина
моего
отца
стала
мне
родиной

моя
родина
осталась
моему
отцу
чужбиной

так
и встречаемся
на нейтральной
полосе

© Grupello Verlag, Dusseldorf, 1997; 1998; 2003
© М. П. Перевод, 2004

SOS

в прошлое воскресенье
испустил дух телевизор
теперь живу без новостей
вечера совсем пустые

позавчера у меня подгорел
спаржевый суп из пакета
так что когда ты вернешься
одной кастрюлькой на кухне будет меньше

а вчера полетел к чертям компьютер
рухнул в тартарары со всеми файлами
и конечно в самое подходящее время
за два дня до сдачи материалов в номер

а в довершение всех бед
сегодня после обеда
ума не приложу где
я посеял ключи
невзирая на все поиски безвозвратно —

любимая
самое время
тебе вернуться домой
потому что если ты вскоре
как можно скорей ко мне не вернешься
боюсь я этак
в самые ближайшие дни
когда-нибудь где-нибудь
чего доброго потеряю голову

Лутц Зайлер

Перевод Е. Соколовой

шестой черно-синий август

Дуне и Максу

но я же видел, как она
стояла, такая маленькая, безымянная,
там, на берегу

© Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main, 2000
© Е. Соколова. Перевод, 2004

как зовут тебя все-таки
все-таки зовут как тебя
вечно сходишь как снег
вечерами за рукоделъем? непостижимо как
в кончиках пальцев твоих рожденье клавира. как звали
маму твою, неспешная птица? скудный обед, бедное
сердце? как звали отца под лампой, как ты вдаль
глядишь, выглядишь, выговоришь из себя прочь
напрочь забытого зверя, кость
курам на смех? сотни собачьих могил без крестов
время длится, как зовут тебя все-таки?
ты не молочница? что ты ищешь в воде?
страх мостов, поездов, парус дрожащий? Там
нет паруса, риф там, время там
как свистит время, время длинное и прекрасно оно
словно в кончиках пальцев твоих рожденье клавира

Роберт Гернхардт

Перевод В. Куприянова

Хорошо и приятно

Север, дай нам хлеб насущный,
Мы его, забыв печали,
Будем в масле Юга жарить,
Как отцы нам завещали.

Запад нам вино подносит,
Чтобы мы свой хлеб запили,
Чтобы мы нужду Востока
За глотком глоток забыли.

***

Я маршей не любил язык
И шахмат не держал.
От маршей слишком шум велик,
От шахмат слишком мал.

© Haffmans Verlag, Zürich, 2002
© В. Куприянов. Перевод, 2004

Хорошо, лучше, лучше всего

Как хорошо
под шампанское заводить разговоры
и бросать на девчонку коварные взоры —
как хорошо!

Но куда лучше —
знать меру во всем, избегая сомнений,
и воздерживаться от земных искушений —
это куда лучше!

Но вот что еще лучше —
внушать неопытной молодежи,
что духовные ценности прочих дороже —
это еще лучше!

Но вот что лучше всего —
с девчушкой, духовность принявшей пылко,
бутылку откупоривать за бутылкой —
вот это лучше всего!

Любовные стихи

Жабы жадно ждут поры
появленья мошкары.

Мошки жили бы, когда б
не пропали в брюхе жаб.

Я и ты, и все мы вместе
образцы каких из бестий?

Катрин Шмидт

Перевод М. П.

опустошение

город покинув можешь спокойно сложить в нагрудный карман
пыльный остаток страны речушка чью смерть давно
считают делом решенным побежит тогда прямо над сердцем
опережая всех неизвестных солдат что бредут домой

© Lyrikedition, München, 2000
© М. П. Перевод, 2004

ты веришь иль нет дезертирами из пышных могил обратно
в лоно своих матерей а отверстые пяди Германии над ними
зарастут травой очень быстро и только тонкая струйка
вытечет из нагрудного кармана и проест себе путь вниз
прямо под ноги тебе в землю муки твоей

П*ринимаю страну*

Шапка письма. Страна моя мне написала
и кланяется в пояс не чинясь. А из письма вдобавок
уж сыплются идейных постулатов отважные бойцы
на мой паркет и вопрошают: как ходить училась,
где отучалась, больше ничего. Былая тяга за кордон отчизны
уж не в чести — толпою на границе
просители убежища стоят и клянчат. Но моя страна
черту под прошлым подвести решила, пусть саму черту
никто из спящих граждан и не чует.
Словами иноземного звучанья заполнился язык,
немецким числя, что отродясь немецким не звалось:
эскорты, эскапады, эскалопы.
Почем мне знать, откуда этот крик,
что болью рвется из меня, неважно,
ведь нынче написала мне страна,
вдобавок сложено письмо в кораблик, в лодку,
что, как выше сказано, давным-давно полна.
Страна моя большая мастерица себя хвалить.
Но знаю я давно, что все равно привязана я к ней
петлею мертвой, как к виселице, родненькой и сладкой.

Ханс Магнус Энценсбергер

Перевод В. Куприянова

Ч*истый лист*

Ты держишь в руке белый лист,
но не совсем белый, совсем белого не бывает;
этот лист плотен, гладок, тонок и, как обычно,
он мнется, шуршит, рвется, почти ничем не пахнет,
но таким, как есть, он не останется, он будет покрыт
враньем, впитает все ужасы, все нелепости,
грезы, страхи, вымыслы, слезы, страсти;
так, пока все это не высохнет, не пожелтеет, пожухнет,

© Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main, 1991; 2003
© В. Куприянов. Перевод, 2004

пока лист под дождем не размокнет, не затеряется в соре,
не распадется; а лучшее, вероятно,
это лишь то, что никем не написано,
и останется лучшим: рыба, бочка с солью, звезда,
слон, носорог, или голова быка,
письмена святого Луки; то, что проявится,
если на свет посмотреть, — станет явным,
вероятно еще на тысячу лет или еще на мгновенье.

Зимняя гроза

Когда воздух становится белым,
теряется видимость,
в небе гремит и сверкает,
гаснет свет в бюро,
и только сирены пожарных машин
проникают сквозь зыбкую пелену,
которую гонит перед собой чуткая стража,

исчезают на четверть часа
заботы, закупки, сроки,
и ты смотришь вовне,
наконец безмятежен,
в ослепительно мрачный мир.

Потери

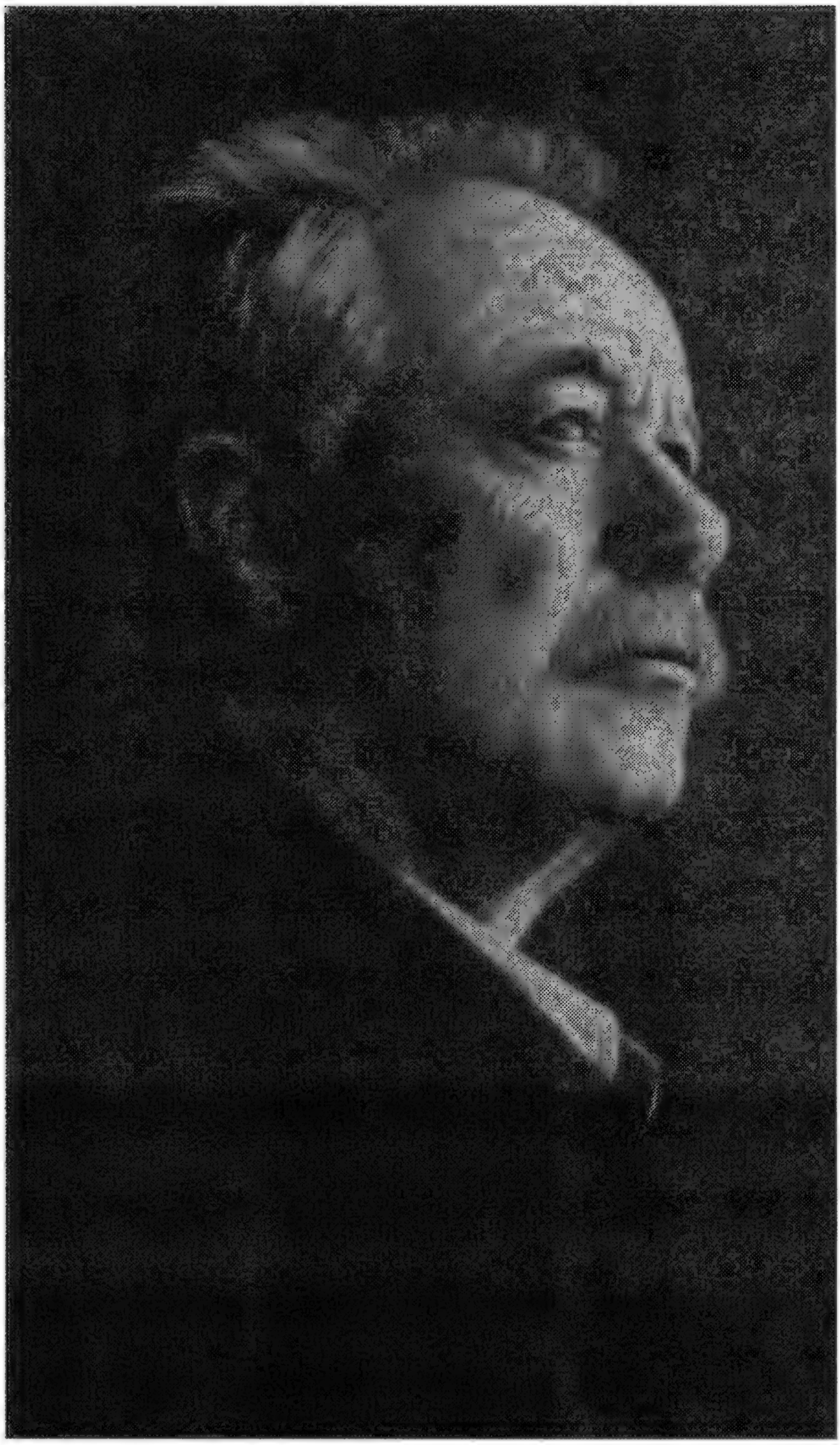
О да, *Одиссея*! Прежде иные
знали ее наизусть, во всяком случае
пару строчек. И китайской химчистки
нет на старом месте.
Что ты сказала? В ушах
стучит паровой молот. И где
теперь это в неясном свете
чудесно блеснувшее облако?
Прочь ушло! И ты, моя милая?
Вдруг ты разочаровалась.
Еще минуту назад казалось,
что ты в восторге! Но теперь
снова нас заманивает новинка,
кроваво-красная, из витрины,
когда ты мимо ее проплываешь, а там
вчера показывали футбольный матч,
закончившийся вничью.

Винфрид Георг Зебальд

Пауль Берейтер

Из книги “Изгнанники. Четыре долгих рассказа”

Перевод и вступление М. Кореневой



© Eichborn Verlag, Frankfurt am Main, 1995
© М. Кореневa. Перевод, 2004

Немецкие литературные критики уже давно сетуют на то, что писателей в стране много, а литературы нет. Той литературы, которая имела бы не только локальный резонанс, которая складывается постепенно, без лишней суеты, усилиями тех, кто, оставаясь в стороне от бурного потока майнстрима, предпочитает сосредоточенное созидание, в классическом значении слова — осмысленное "собирание" дискретного мира, рассыпающегося на тысячи человеческих судеб, случайных ситуаций, жизненных коллизий, потаенных мыслей и чувств. Один из таких "собирателей" — Винфрид Георг Зебальд (1944-2001), писатель, чье творчество не вписывается в рамки "уездной немецкой этнографии" и потому считается по праву "европейским".

Филолог-германист, он провел большую часть своей сознательной жизни за пределами Германии: сначала в Швейцарии, а затем в Англии, где преподавал историю немецкой литературы. Его "английские годы", а это без малого тридцать лет, были внешне вполне успешными: проработав какое-то время в университете Манчестера, он возглавил кафедру немецкой литературы в университете Восточной Англии, основал Британский центр литературного перевода, опубликовал множество научных статей, принесших ему славу тонкого исследователя и видного специалиста по истории и теории литературы, а его книги по поэтике привлекли внимание широкой читающей публики, ибо выходили за рамки сухой академической науки, исключающей как "повествовательность", так и "художественность". О Зебальде заговорили. Заговорили, как об оригинальном писателе, "превращающем повествование в исследование, исследование — в повествование и погружающем читателя в состояние исследовательского восторга", как писала о нем "Нью-Йорк таймс". Когда же вышел сборник "Изгнанники. Четыре долгих рассказа" (1992), первая книга Зебальда, не касающаяся чисто литературных тем (один из этих рассказов, "Пауль Берейтер", мы публикуем ниже), среди эпитетов, характеризующих автора этого сочинения с невыразительно лаконичным названием, наиболее частотными стали эпитеты "волнующий" и "человечный" — определения, в которых слышится что-то наивно-старомодное, не уместное на исходе XX века. Четыре новеллы, повествующие о судьбах четырех "рядовых" немцев, оказавшихся в добровольно-принудительном изгнании и не сумевших совладать с бесприютностью, с этой "европейской болезнью XX века", четыре сюжета, главные действующие лица которых добровольно уходят из жизни, четыре рассказа о том, что за "короткой жизнью" может скрываться долгая история, — эти четыре новеллы, написанные человеком, прожившим в состоянии внутренней эмиграции долгие годы, принесли писателю неожиданный литературный успех за пределами немецкоязычного пространства, главным образом в Америке, где книги Зебальда с тех пор прочно занимают начальные позиции в списках бестселлеров. Зебальд последовательно осваивает открытое им литературное пространство, бытующее на стыке документа и вымысла, пространство, где, по мнению писателя, только и возможно проникновение в подлинную историю, сопротивляющуюся всякой беллетризации и не терпящую профессионализации скорби, от которой Зебальд сознательно дистанцировался как житейски, так и литературно: житейски, уехав в Англию, подальше от "деятельного народа", который сначала с энтузиазмом гробит полмира, а потом с таким же энтузиазмом занимается самобичеванием, подальше от страны, где появились новые профессии — "палач" и "жертва"; литературно — создав новую повествовательную форму, "гибрид" романа, травелога, воспоминания, исторического исследования и семейного фотоальбома, форму, которая могла бы передать отзвуки человеческой трагедии, что распространяются через поколения, и стать "вместилищем" того скорбного бесчувствия, которое становится для Зебальда единственной "эмоцией", позволяющей человеку по-прежнему считать себя homo sapiens. Его последний роман

"Аустерлиц", вышедший в 2001 г. и названный "первым великим романом XXI века", стал важным литературным событием европейской культурной жизни, о чем свидетельствуют не только многочисленные премии (в том числе премия Американской ассоциации литературных критиков, выдвинувшей его на соискание Нобелевской премии), но и рецензии, отклики, отзывы, любопытные дискуссии, спровоцированные этим необычным текстом, несомненные литературные достоинства которого позволили критикам поставить его автора в один ряд с Прустом и Набоковым. Сопоставление не случайно. Не только потому, что книги Зебальда завораживают красотою языка, которую только и может, наверное, сохранить писатель, дистанцированный в пространстве от родной речевой повседневности. И не только потому, что автор облекает свое повествование в необычную форму, в которой читатель не найдет примет классических форм-романа, повести, рассказа, с диалогами персонажей, линейной композицией и последовательным развитием сюжета, — но обнаружит "густую" прозу, где элемент "фиктивности", вымысла сведен к минимуму за счет включения в текст аутентичного фотоматериала, архитектурных планов, карт, превращающихся в неотъемлемую часть почти что документального повествования и позволяющих проследить не только за перемещениями его персонажей по Европе, куда они отправляется в "поисках утраченного времени", но и за направлением взгляда рассказчика-исследователя, неизменно присутствующего в каждом тексте, человека, пытающегося обнаружить в случайных деталях, выхваченных из материальной, осязаемой действительности, себя, свое прошлое и настоящее. Сходство с Прустом и Набоковым обусловлено еще и тем, что Зебальд обращается к воспоминанию, под которым он понимает, с одной стороны, особую форму жизни, необходимую, как он считает, для сохранения рода человеческого, с другой — особую форму бытования истории, той самой безымянной истории, носителем и созидателем которой является всякий и каждый. Именно поэтому, наверное, все "путешествия" персонажей Зебальда превращаются в бесконечное воспоминание-припоминание, заменяющее собою и обязательные когда-то "годы учения" и "годы странствий", без которых, как думали прежде те, кто верил в возможность совершенствования натуры человеческой, нельзя было представить себе "воспитание чувств", ставшее для Зебальда его главной темой и одновременно особой миссией, которую добровольно взял на себя этот странный писатель, "очарованный жизнью" — "очарованный смертью".

Не всякую туманность
можно разглядеть глазами

В январе 1984 года до меня дошло известие из С. о том, что мой бывший учитель начальных классов Пауль Берейтер добровольно ушел из жизни в возрасте семидесяти четырех лет вечером 30 декабря, то есть через неделю после своего дня рождения, выбрав местом своей смерти тот участок железной дороги, где она, вынырнув из небольшого лесочка неподалеку от С., поворачивает к полям, образуя излучину, к которой он и пришел в тот день, чтобы лечь здесь на рельсы. Некролог из местной газеты, каковой прилагался к письму и начинался словами "*С прискорбием сообщаем*", обходил молчанием тот факт, что Пауль Берейтер расстался с жизнью по собственной воле или поддавшись искусу самоуничтожения, и ограничивался главным образом перечислением заслуг и достоинств погибшего педагога, о котором говорилось, что он окружал своих учеников бесконечной заботой, выходившей далеко за пределы сугубо профессионального попечения, что он был большим любителем музыки, что он был человеком высокой духовной культуры и так далее и так далее. Среди прочего в некрологе упоминалось без особых комментариев и то обстоятельство, что во времена третьего рейха Пауль Берейтер был отстранен от преподавательской деятельности. Эта скупая фраза, совершенно выпадавшая из общего контекста, равно как и сама страшная смерть этого человека долгие годы не выходили у меня из головы, заставляя мысленно то и дело возвращаться к Паулю Берейтеру, о котором я сохранил немало милых моему сердцу воспоминаний, нисколько не прояснявших, однако, истории его жизни, оставшейся закрытой для меня, что и стало причиной того, почему я в конце концов решил заняться этим сюжетом. Мои разыскания привели меня снова в С., где я после окончания школы бывал лишь наездами, интервалы между которыми раз от разу становились все больше и больше. У Пауля Берейтера, как я довольно скоро выяснил, имелась в С. своя квартира, находившаяся в доме, построенном в 1970 году на территории, где размещалось некогда садоводческое хозяйство Дагоберта Лерхенмюллера. В этой квартире, впрочем, он почти никогда не бывал, предпочитая своему жилищу другие места обитания, о которых, однако, никто ничего толком не знал. Эти постоянные отлучки вкупе со стран-

ной замкнутостью, которая стала проявляться у него задолго до выхода на пенсию, способствовали тому, что за ним окончательно закрепилась слава чудака, каковым он и без того считался, несмотря на все свои несомненные педагогические таланты, так что его смерть не только никого не удивила в С., где он вырос и прожил с некоторыми перерывами всю свою жизнь, но лишь утвердила местных жителей во мнении — произошло то, что и должно было произойти. Из немногочисленных, не слишком содержательных бесед с людьми, знавшими Пауля Берейтера, я вынес только одно примечательное наблюдение, сводившееся к тому, что никто из опрошенных мною не говорил о Пауле Берейтере или об учителе Берейтере: мои собеседники и собеседницы называли его просто Паулем, отчего у меня сложилось впечатление, будто он, с точки зрения всех этих людей, бывших с ним одного возраста, так никогда и не стал взрослым. В связи с этим я припомнил, что и мы в школе называли его не иначе как Пауль, выказывая тем самым не столько пренебрежение, сколько приязнь, с какой обыкновенно говорят о старшем брате, мечтая быть похожим на него. Мы говорили так потому, что считали его своим, полагая, будто и мы для него тоже свои. Это наивное представление, как мне стало ясно впоследствии, оказалось ошибочным, ибо если Пауль знал и понимал нас, то мы не имели ни малейшего представления о том, кем он был и что происходило у него внутри. Вот почему я — с большим опозданием — решил попытаться приблизиться к нему, вообразить себе, как он жил в большой квартире на последнем этаже старого лерхенмюллеровского дома, стоявшего на месте нынешней новостроечной коробки посреди аккуратных пестро-зеленых участков с цветниками и грядками, составлявших угодья обширного садоводства, куда Пауль частенько наведывался после занятий, чтобы немного там помочь. Я представил себе, как летними ночами он лежит на крытой гоном террасе, обратив лицо к небосводу, по которому нестройными рядами растянулись звезды; я представил себе, как зимою он надевает коньки и выходит один на Моосбахский пруд, и еще я представил себе, как он лег на рельсы. Он, подумалось мне, снял, наверное, очки и пристроил их подальше. Блестящая лента стали, дерево шпал, сосновый лесок на склоне и знакомый изгиб линии гор — все это расплылось перед его близорукими глазами неясным пятном и угасло в сумерках. Под конец, когда клацающий стук был совсем уже близко, он видел только серую муть, в глубине которой с необыкновенной отчетливостью прорисовались белоснежные вершины Кратцера, Треттаха и Химмельсшрофена[1]. Подобные попытки проживания его жизни, как я сам убедился, нисколько не приближали меня к Паулю, разве что на какие-то мгновения, когда переполнявшие меня чувства грозили выйти из берегов, и тогда я, дабы воспрепятствовать подобным изливам, казавшимся мне совершенно неуместными, принял решение просто записать все то, что я знаю о Пауле Берейтере, и то, что мне удалось собрать о нем в ходе моих разысканий.

В декабре 1952 года мы переехали в С., небольшой городок, находившийся в девятнадцати километрах от нашей деревни В. По дороге, сидя в кабине бордового мебельного фургона предприятия "Альпенфогель", занимавшегося грузоперевозками, я смотрел во все глаза на бесконечную череду заиндевевших деревьев по обеим сторонам, выныривающих

1. Горы в Швейцарских Альпах. (*Здесь и далее – прим. перев.*)

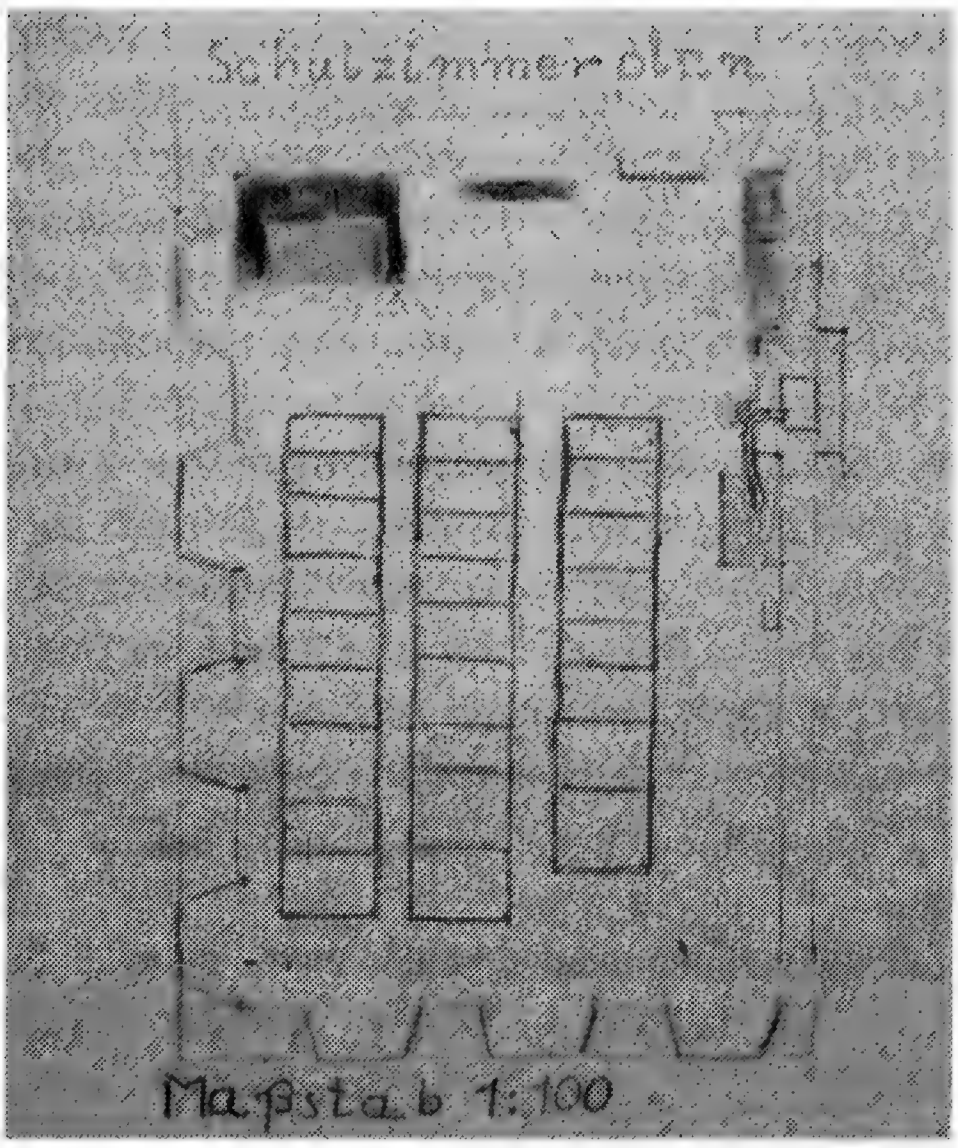
из беспросветного утреннего тумана, и мне казалось, будто за то время, пока мы находились в пути, мы объехали уже полсвета, хотя на самом деле наше путешествие продолжалось едва ли больше часа. Когда же наш грузовик миновал мост и въехал в С., который в ту пору и городом назвать было нельзя, скорее мелким городишкой с населением тысяч в девять, я преисполнился безотчетной уверенности в том, что здесь нас ожидает новая, по-столичному бурная жизнь, приметы которой угадывались, как мнилось мне, и в синих эмалевых табличках с названиями улиц, и в огромных часах перед старинным зданием вокзала, и в том, как выглядел "Виттельсбахер хоф", отличавшийся, по моим тогдашним представлениям, необыкновенной импозантностью. Более всего, однако, радовал тот факт, что ровные линии домов тут и там прерывались развалинами, вид которых казался мне весьма обнадеживающим, ибо после того, как я однажды побывал в Мюнхене, ничто так однозначно не связывалось в моем сознании со словом "город", как груды обломков, брандмауэры и пустые окна, сквозь которые просвечивало небо.

В день нашего приезда, ближе к вечеру, разыгралась непогода. Завьюжила метель и весь остаток дня мела, мела и только ночью успокоилась, сменившись мягким тихим снегом. Когда на следующее утро я отправился в новую школу, я все никак не мог надивиться, сколько снега насыпало за ночь, и оттого даже впал в какое-то праздничное настроение. Класс, в который я вошел, был третьим, и вел его Пауль Берейтер. Пятьдесят одна пара глаз уставилась на меня, а я стоял в своем темно-зеленом свитере с оленем, замершим в прыжке, под любопытными взглядами моих будущих однокашников и слышал как будто издалека голос Пауля, который сказал, что я пришел очень кстати, потому что как раз вчера он рассказывал легенду об олене и теперь сможет показать на доске, как прыгал олень, воспользовавшись рисунком на моем свитере. Он попросил меня снять свитер и сесть пока за последнюю парту к Фрицу Бинсвангеру, сам же он собирался, взяв за основу узор, продемонстрировать нам, как картинка раскладывается на множество отдельных деталей, крестиков, квадратиков или точек, из которых, в свою очередь, можно снова составить нужное изображение. И вот я уже сижу рядом с Фрицем, склонившись над тетрадью в клеточку, и переношу с доски рисунок прыгающего оленя. Фриц, оставшийся, как я выяснил вскоре, в третьем классе на второй год, тоже старался как мог, но у него все продвигалось крайне медленно. Даже самые бестолковые уже давным-давно управились с заданием, а он еще корпел над своими крестиками, сумев с трудом вывести чуть больше десятка. Мы молча обменялись взглядами, и я быстро довел начатое им дело до конца, как я в последующие два года, что мы просидели за одной партой, дописывал за него задачи по арифметике, диктанты и упражнения, что не составляло особого труда и проходило обыкновенно без сучка и задоринки уже хотя бы потому, что у нас обоих был одинаково безобразный почерк, глядя на который Пауль неизменно качал головой и говорил, что это не почерк, а одно сплошное свинство; разница же заключалась лишь в том, что Фриц не умел писать быстро, а я не умел писать медленно. Пауль смотрел снисходительно на наш творческий союз, более того, он способствовал его дальнейшему укреплению, повесив на стену рядом с нашей партой стеклянную витрину в коричневой окантовке, наполовину заполненную землей и предназначенную для демонстрации жизни майских жуков, для чего туда была помещена пара взрослых особей из разряда Melolontha

vulgaris, как явствовало из выведенной округлым зюттерлиновским шрифтом[1] надписи на табличке, при этом в нижней части витрины, в земле, можно было видеть отложенные яйца, куколку и личинку, в то время как над землею — жука ползающего, жука летающего и жука поедающего яблоневые листья. Этот стеклянный ящик, в котором майские жуки претерпевали фантастические метаморфозы, подтолкнул нас с Фрицем к тому, чтобы по весне вплотную заняться изучением жуковой сущности, чему мы отдались с большим воодушевлением, проведя множество экспериментов, включая тщательное анатомирование и поедание отдельных экземпляров, из каковых был нами приготовлен однажды суп-пюре. Надо сказать, что Фриц, который рос, не имея, насколько было известно, настоящего отца, в многодетной семье, ютившейся в небольшом домишке, в Шварценбахе, не проявлял ни к чему другому столько интереса, сколько он проявлял ко всему, что так или иначе было связано с продуктами питания, их приготовлением и поглощением. Каждый день он обстоятельно и подробно разбирал достоинства и недостатки принесенного мною из дома завтрака, которым я всегда с ним делился, а по дороге домой мы неизменно останавливались перед витриной магазина деликатесов Турра или же айнзидлеровскими "Дарами юга", где больше всего нас привлекал темно-зеленый аквариум для форели, наполненный пузырчатой водой. Однажды, когда мы все никак не могли оторваться от южного изобилия, из недр магазина, откуда этим сентябрьским днем тянуло приятной тенистой прохладой, вышел старый Айнзидлер и протянул нам по сочной королевской груше — настоящее чудо, если учесть, какою редкостью была у нас эта заморская роскошь, и если знать характер старика Айнзидлера, известного своим вспыльчивым нравом и тем, что не было для него более ненавистного занятия, чем обслуживать покупателей, число которых с каждым годом становилось все меньше и меньше. Именно тогда, поедая грушу, Фриц открыл мне, что мечтает стать поваром, каковым он и стал впоследствии, причем не просто поваром, а поваром с мировым именем, сумевшим, проработав некоторое время в гранд-отеле Долдера в Цюрихе, а затем в "Виктория юнгфрау" в Интерлакене[2], довести свое мастерство до такого совершенства, что его охотно приглашали и в Нью-Йорк, и в Мадрид, и в Лондон. В лондонский период жизни Фрица нам довелось встретиться снова, и произошло это апрельским утром 1984 года, в читальном зале Британского музея, где я собирал материал по экспедиции Беринга на Аляску, а Фриц изучал французские поваренные книги XVIII столетия. По воле случая мы оказались совсем рядом, нас разделял только проход, и когда в какой-то момент мы оба оторвались от работы и наши глаза встретились, мы тотчас же узнали друг друга, несмотря на то что со времени нашей последней встречи минуло четверть века. В кафетерии каждый рассказал о себе, а потом мы долго еще говорили о Пауле, перебирая воспоминания, среди которых одно принадлежало Фрицу, запомнившему, что он никогда не видел, как Пауль ест.

В нашей классной комнате, план которой мы должны были начертить в масштабе в своих тетрадях, стояло двадцать шесть парт, разделен-

1. Зюттерлиновский шрифт получил свое название по имени его создателя, художника Людвига Зюттерлина (1865–1917), и представлял собой специальный шрифт для письма, введенный в прусских школах в 1915 г., а с 1935-го — во всех землях Германии; отменен в 1941 г.
2. Дорогой горный курорт в Швейцарии.



ных на три ряда и привинченных накрепко к навощенному дощатому полу.

Возвышение, на котором помещалась учительская кафедра на фоне распятия с пальмовой ветвью, позволяло смотреть на учеников сверху вниз, но Пауль, насколько я помню, никогда не пользовался кафедрой. Если ему не нужно было ничего писать на доске или объяснять по географической карте, наклеенной на огромную холстину, он ходил по рядам или пристраивался у шкафчика для вещей рядом с зеленой кафельной печкой, стоя там со скрещенными на груди руками. Но больше всего он любил стоять у одного из тех окон в глубоких нишах, что выходили на южную сторону, туда, где над верхушками деревьев старинного яблоневого сада, принадлежавшего винно-водочному предприятию Фрея, виднелись скворечники на длинных шестах, тянувшихся к небу, по нижнему краю которого проходила неровная линия Лехтальских Альп, сиявших белизной на протяжении всего учебного года. Предшественник Пауля, учитель Хормайр, которого все страшно боялись оттого, что он завел суровые порядки и заставлял провинившихся часами выстаивать на горохе, велел в свое время закрасить эти окна до половины белой краской, дабы учащиеся не отвлекались. Первое, что сделал Пауль, когда его в 1946 году взяли на работу, он удалил собственноручно бритвою всю краску, потратив на это немало времени и труда, хотя никакой особой нужды в этом не было, ибо Пауль имел обыкновение при любой погоде, даже зимою, в морозы, открывать нараспашку все окна, будучи твердо убежденным в том, что недостаток кислорода пагубно сказывается на мыслительных способностях человека. Вот там, у окна, он и любил стоять во время урока, наполовину повернувшись к нам, наполовину — к улице; слегка откинув голову назад, он ловил лицом солнечный свет, от которого у него поблескивали глаза, и говорил нам что-то, так и оставаясь на отдалении. Он говорил красивыми округлыми фразами, без всякого диалекта, но как-то по-особому артикулируя звуки, которые казались немного искаженными, будто они выходили не из гортани, а откуда-то из области сердца, отчего иногда создавалось впечатление, будто все у него внутри приводится в движение неким часовым механизмом, а сам Пауль целиком составлен из отдельных жестяных и металлических деталей, словно он был искусственным человеком, которого малейший сбой может вывести навсегда из строя. Он и впрямь нередко впадал в совершенное отчаяние от нашей непроходимой тупости. В такие моменты он всегда ерошил себе волосы, так что они потом стояли у него дыбом, добавляя к его образу некий драматический штрих. Нередко, бывало, он извлекал из кармана носовой платок и, поднеся его к лицу, буквально впивался в него зубами от ярости, охватывавшей его при

виде нашей глупости, которая казалась ему — пожалуй, вполне справедливо — совершенно безнадежной. После подобных приступов он неизменно снимал очки и, стоя посреди класса, слепой и беззащитный, принимался протирать стекла, предварительно подышав на них, и протирал их так долго и старательно, так самозабвенно, как будто ему было приятно, что он на какое-то время избавлен от необходимости видеть нас.

Пауль вел занятия по всем тем предметам, которые входили в обычную для тогдашних времен программу обучения в начальной школе и включали в себя таблицу умножения, четыре правила арифметики, чистописание, отдельно — готический шрифт, отдельно — латинский, а еще природоведение, родную историю, пение и так называемое физическое воспитание. Правда, уроки Закона Божьего Пауль не вел, вместо него раз в неделю к нам сначала приходил изрядно пришепетывавший церковнослужитель по фамилии Майер, писавшийся через "е", а затем — обладатель зычного баса, законоучитель Майэр, писавшийся через "э", они знакомили нас с основами вероучения, рассказывали о том, как готовиться к исповеди, о церковном календаре, о смертных грехах и проч. Пауль, о котором ходили упорные слухи, будто он человек верующий — что казалось мне долгое время малоправдоподобным, — умудрялся обставить дело так, чтобы ни перед началом урока, ни по его завершении не сталкиваться с преподавателями по Закону Божьему, избегая в равной степени как Майера через "е", так и Майэра через "э", ибо ничто так не претило ему, судя по всему, как католическое пустословие. Когда же он снова возвращался в класс после урока Закона Божьего и обнаруживал на доске нарисованный лиловым мелом рождественский алтарь, или красно-желтую дароносицу, или что-нибудь еще в том же духе, он немедленно брал тряпку и принимался стирать эти шедевры с подозрительным тщанием и старательностью. При этом Пауль, как я много раз наблюдал, никогда не забывал перед каждым уроком по Закону Божьему наполнить до самых краев водою из лейки, используемой обыкновенно для поливки герани, чашу для святой воды, что располагалась при входе в класс и символизировала сердце Христово. Вот почему законоучителю все никак не удавалось пустить в ход свою бутылку со святой водой, каковую он постоянно носил с собою в блестящем черном портфеле из свиной кожи. Вылить попросту всю воду из чаши он не решался, ибо, пытаясь найти подходящее объяснение тому, что сердце Христово как будто бы никогда не иссякает, никак не мог решить для себя, является ли сие результатом злонамеренной каверзы или, как ему все же хотелось надеяться, знаком свыше, а может быть, и вовсе настоящим чудом. Гораздо более определенным было отношение обоих преподавателей, как Майера через "е", так и Майэра через "э", к Паулю, которого они считали заблудшею душою, и потому время от времени призывали нас помолиться за нашего учителя, дабы он обратился наконец к истинной вере. При этом нелюбовь Пауля к римско-католической церкви объяснялась не одними только принципиальными соображениями; он и в самом деле испытывал глубокое отвращение ко всем этим пронафталиненным слугам Господним. По воскресеньям он никогда не ходил в церковь, более того, он забирался куда-нибудь в горы, подальше от города, чтобы не слышать звона колоколов. Если же погода не благоприятствовала дальним вылазкам, он проводил время в обществе доморощенного философа и убежденного атеиста башмачника Коло, каковой употреблял бла-

гословенный день, отпущенный Господом для отдохновения от трудов праведных, если не на игру в шахматы с Паулем, то на сочинение разнообразных памфлетов и трактатов против душеспасительной церкви. Память моя сохранила одно связанное с этим воспоминание, когда я стал свидетелем тому, как нелюбовь Пауля ко всему ханжеско-лицемерному возобладала однажды над его долготерпением, с каким он обыкновенно относился к духовным недугам окружающего его мира. Был у нас в школе один мальчик, который учился классом старше меня, по имени Эвальд Рейзе, так вот этот мальчик попал под такое влияние нашего законоучителя, что начал проявлять странную для своего десятилетнего возраста набожность, казавшуюся со стороны вызывающе демонстративной. В свои десять лет Эвальд Рейзе выглядел уже как настоящий каплан. Единственный во всей школе он носил пальто, поверх которого пускал крест-накрест фиолетовый шарф, сколотый на груди булавкой, называвшейся в наших краях брошкой. Этот Рейзе, никогда не выходивший из дома без головного убора, — даже в самую жару он нацеплял что-нибудь на голову, либо канотье, либо льняную кепочку, — настолько раздражал Пауля, являя собою, с его точки зрения, образец добровольного оглупления, что Пауль, когда они однажды столкнулись на улице и Рейзе не успел снять шляпу, подошел к нему и стащил с него эту шляпу, а затем отвесил звонкую пощечину, добавив при этом, что даже будущий каплан обязан соблюдать общие правила и приветствовать учителя подобающим образом.

По меньшей мере четверть всего учебного времени Пауль употреблял на то, чтобы познакомить нас с материалом, не входившим в программу. Он преподнес нам основы алгебры и, в своем увлечении естественными науками, дошел до того, что однажды, к ужасу соседей, несколько дней кряду варил у себя дома на плите, в старой кастрюле, дохлую лису, которую притащил из леса, и все это ради того, чтобы потом, в школе, разобрать на уроке, как выглядит настоящий скелет. Что касается чтения, то мы никогда не пользовались теми хрестоматиями, которые предназначались для третьего и четвертого классов и которые Пауль иначе как дурацкими и глупыми не называл, предпочитая давать нам тексты из сборника “Вечера на Рейне”, каковой Пауль, как я полагаю, по собственному почину, заказал в количестве шестидесяти экземпляров. Многие из тех историй, вроде той, в которой герою коварно отрубили голову, живо сохранились у меня в памяти и по сей день; но более всего, не знаю почему, мне запомнилась фраза, сказанная пилигримом из “Базельской волшебной палочки”, когда он говорит, обращаясь к хозяйке: “Я скоро вернусь и привезу вам священную раковину с берегов Аскалона или розу из Иерихона”. Не реже раза в неделю Пауль учил нас французскому. Без долгих предисловий он сообщил нам, что жил когда-то во Франции и что там все говорят по-французски, что он тоже научился говорить по-французски и что мы также можем легко этому научиться, если захотим и будем просто повторять за ним. И вот одним прекрасным майским днем мы вышли на школьный двор, чтобы здесь, на свежем воздухе, с легкостью усвоить, что такое un beau jour и что цветущий каштан, оказывается, может называться un chataignier en fleur. Вообще все уроки у Пауля отличались большой наглядностью, которой он, как никто другой, придавал огромное значение. Вот почему он при всякой возможности старался вывести нас за пределы школы, чтобы осмотреть как можно больше примечательных мест — электро-

станцию с трансформаторными установками, плавильные печи и литейный стан на металлургическом заводе, фабрику по изготовлению плетеных изделий и сыроварню. Мы посещали варочный цех оксеновской пивоварни и солодохранилище, в котором стояла такая совершенная тишина, что мы боялись произнести хоть слово; а однажды мы зашли к ружейнику Корради, который почти шестьдесят лет подряд занимался в С. своим ремеслом. Корради всегда носил зеленый козырек и, покуда хватало света, падающего из окна его мастерской, сидел целыми днями, склонившись над хитрыми старинными затворами, которые только он один и мог еще починить. Если ему удавалось выправить сложный механизм, он выходил с ружьем в палисадник и на радостях давал несколько залпов в ознаменование того, что работа закончена.

Благодаря этим наглядным урокам мы с течением времени осмотрели все более или менее примечательные места нашей округи, находившиеся приблизительно на расстоянии двух часов хода. Были мы в крепости Флуэнштайн, в Штарцлахском ущелье, видели водонапорную станцию под Хофеном и пороховую башню на Калвариенберг, в которой стояли мортиры, принадлежавшие Союзу ветеранов. А как мы удивились, когда после разнообразных разысканий, на которые у нас ушло довольно много времени, нам все же удалось найти в районе Штраусберга заброшенные штольни горнорудного предприятия, закрывшегося после Первой мировой войны, и остатки канатной дороги, по которой уголь доставлялся прямо от штольни к Альтштетскому вокзалу.

Помимо таких целевых экскурсий по конкретным местам, мы, если погода стояла особенно хорошая, совершали вылазки на природу для сбора растений или же под предлогом сбора растений отправлялись в поля просто гулять. Во время этих прогулок, которые в основном приходились на раннюю весну, к нам иногда присоединялся считавшийся слабоумным сын парикмахера Вольфрата, исполнявшего по совместительству обязанности патологоанатома. Неопределенного возраста, по-детски бесхитростный, этот человек, которого никто не называл иначе,

как просто Мангольд, чувствовал себя на седьмом небе от счастья оттого, что он, давно переросший нас, желторотых юнцов, мог шагать с нами рядом и удивлять всех своей необыкновенной способностью точно определять, какой день недели приходится на то или иное число, в прошлом или в будущем, и это при том, что он не мог решить простейшей задачки по арифметике. Стоило, например, сказать Мангольду, что такой-то и такой-то родился восемнадцатого мая 1944 года, как он тут же говорил, что это был четверг. Его нельзя было сбить с толку даже более сложными датами: назовешь ему дату рождения Папы Римского или короля Людовика, и он без единой запинки ответит, в какой это было день. Пауль, превосходно считавший в уме и бывший вообще отличным математиком, на протяжении многих лет пытался посредством разнообразных сложных проверочных упражнений, наводящих вопросов и прочих ухищрений разгадать секрет Мангольда. Но это, насколько мне известно, ни ему, ни кому бы то ни было другому не удалось, поскольку Мангольд не мог понять толком ни одного из тех вопросов, которые задавались ему. Надо сказать, что Пауль получал от наших походов явное удовольствие, относясь к ним с таким же энтузиазмом, с каким к этим вылазкам относились все мы, включая и Мангольда. В штормовке или просто в рубашке, он шагал впереди нас с высоко поднятой головой, своим характерным широким, пружинящим шагом, воплощая собою, как я теперь понимаю, идеалы движения "Перелетные птицы", возникшего давным-давно в среде германского юношества и несомненно оказавшего на него в свое время существенное влияние[1]. Пауль имел обыкновение по дороге насвистывать какую-нибудь мелодию. Свистел он действительно мастерски, проявляя редкий талант; удивительной красоты звуки, которые он умел извлекать, напоминали по своей окраске флейту, но самым поразительным было то, что он не прекращал свистеть даже тогда, когда мы поднимались в гору, делая это с кажущейся легкостью и умудряясь на ходу вытягивать длиннейшие пассажи, из которых складывались не какие-нибудь случайные напевы, а настоящие, полноценные пьесы, о чем мы тогда, конечно, и не догадывались, поскольку никто из нас этих произведений никогда не слышал, и только много позже я, слушая какую-нибудь оперу Беллини или сонату Брамса, с замиранием сердца обнаруживал знакомые мотивы. На привалах Пауль неизменно извлекал свой кларнет, который он обязательно брал с собою, храня его в старом простом чулке, и принимался играть самые разные пьесы из совершенно неизвестного мне тогда классического репертуара, выбирая из них главным образом медленные части. Помимо этих уроков музыки, во время которых нам отводилась лишь роль пассивных слушателей, мы приблизительно раз в две недели разучивали какую-нибудь песню, при этом предпочтение отдавалось тоже неспешным, задумчивым мелодиям, а веселые и задорные были скорее редкостью. *Печален путь мой средь теснин, Старый замок на вершине в ночь холодную глядит, Ветер шумит в дубраве лесной, путник идет одинокой тропой* и *Куда несетесь буйны волны* — вот такие песни разучивали мы. Какое значение музыка в самом деле имела для Пауля, открылось мне лишь тогда,

1. Молодежное движение "Перелетные птицы" возникло в Германии в 1899 г. и ставило перед собой среди прочего задачу распространения здорового образа жизни, поддержания национальных традиций, борьбы за права молодежи (права на самовоспитание, права на самостоятельность и пр.) и т. д. Основными формами проведения совместных мероприятий стали походы, спортивные состязания и праздники на природе.

когда однажды к нам в школу пришел, надо полагать по приглашению Пауля, сын органиста Брандайса, талантливый молодой скрипач, закончивший уже консерваторию, и дал нам, простым крестьянским мальчишкам — а в нашем классе почти все без исключения были из крестьян, — настоящий концерт. Пауль, стоявший по обыкновению на своем любимом месте у окна, не мог скрыть волнения, охватившего его от проникновенной игры юного музыканта, и даже снял очки, потому что слезы застилали ему глаза. Мне помнится как будто, он совсем отвернулся к окну, чтобы мы не видели, как он плачет. Впрочем, не только музыка повергала его в такое смятенное состояние духа. Сколько раз, бывало, он прямо посреди урока, или на перемене, или же когда мы куда-то шли, вдруг словно бы замирал и, стоя или сидя где-нибудь в сторонке с отсутствующим видом, погружался в скорбное бесчувствие, казавшееся странным, если учесть, что обыкновенно он держался весело и бодро.

Что скрывалось за этой скорбью, мне удалось до некоторой степени прояснить только после того, как я соотнес свои собственные обрывочные воспоминания с тем, что рассказала мне Люци Ландау, которая, по сведениям, собранным мною в ходе разысканий в С., и занималась похоронами Пауля, погребенного на местном кладбище. Люци Ландау проживала в Ивердоне, где я нанес ей визит, первый из довольно длинного списка, на второй год после смерти Пауля, в один из летних дней, от которого у меня в памяти сохранилось странное ощущение беззвучности. Первым делом она рассказала мне, что переехала сюда из Франкфурта вместе со своим рано овдовевшим отцом, историком искусств по образованию, когда ей было семь лет. Небольшая вилла на берегу озера, в которой она жила, была построена на рубеже веков владельцем шоколадной фабрики, решившим поселиться здесь на склоне лет. Батюшка мадам Ландау приобрел этот дом летом 1933 года, пустив на него, по словам мадам Ландау, почти все свое состояние, вследствие чего у них не осталось средств даже на обстановку, так что все ее детские годы, равно как и последующие годы войны, прошли в полупустых стенах. Эта пустота нового жилища, как заверила мадам Ландау, никогда не воспринималась ею как нечто неприятное, скорее наоборот, она внушала ей, девочке, трудно поддающееся описанию чувство, что все это есть результат счастливого стечения обстоятельств, знак особой милости и благорасположения, как будто случайно выпавших на ее долю. Она до сих пор прекрасно помнит, сказала мадам Ландау, свой день рождения, когда ей исполнилось восемь лет и отец накрыл на террасе небольшой стол с белой бумажной скатертью, за которым она сидела вдвоем с Эрнестом, своим новым школьным товарищем, в то время как отец, в черной жилетке, с салфеткой на руке, изображал официанта редкой предупредительности. Их пустой дом с распахнутыми настежь окнами, стоявший среди слегка покачивающихся деревьев, представлялся ей тогда чудесной декорацией какого-то волшебного, сказочного спектакля. И когда потом, рассказывала дальше мадам Ландау, все побережье, до самого Сент-Обена, осветилось огнями фейерверка, у нее было полное ощущение, что вся эта красота устроена только ради нее, в честь ее дня рождения. Эрнест, сказала мадам Ландау с улыбкой, предназначавшейся мальчику из прошлого, Эрнест, конечно, прекрасно знал, что это сверкающее великолепие, эти разрывающиеся во тьме залпы торжественного салюта были связаны с национальным праздником, и тем не менее он, дабы не нарушать моего блаженства, не позволил себе ни единого замечания относительно моего заблуждения.

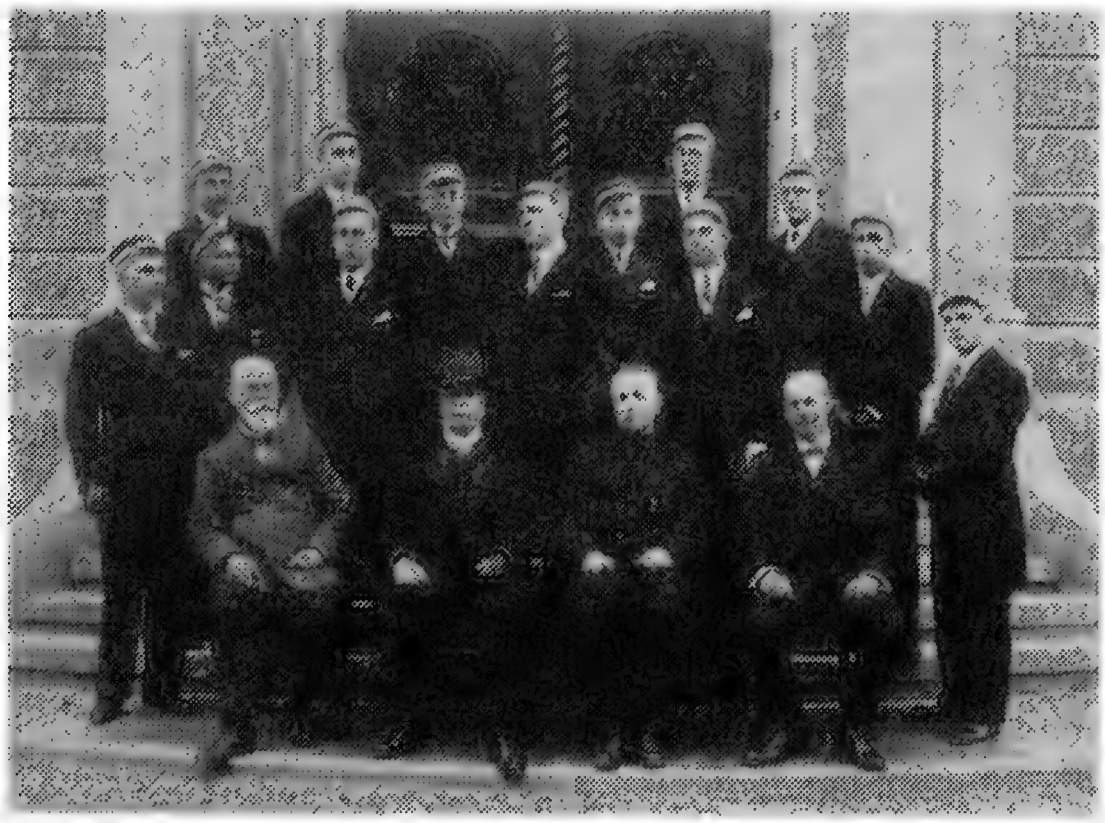
Вообще деликатность Эрнеста, который происходил из простой рабочей многодетной семьи и был самым младшим ребенком, была, с моей точки зрения, поистине поразительной, и я не знаю никого, кто мог бы сравниться с ним в этом смысле, за исключением, быть может, Пауля, с которым я, к сожалению, познакомилась слишком поздно, летом 1971 года, во Франции, на водах в Сален-ле-Бэн.

За этой вступительной фразой последовало продолжительное молчание, после чего мадам Ландау добавила, что она познакомилась с ним случайно, когда однажды сидела на скамейке на бульваре Корделье и читала воспоминания Набокова, а Пауль прошел мимо нее, потом вернулся и с необыкновенной вежливостью, граничившей с экстравагантностью, заговорил с ней о книге, которую она как раз держала в руках, и незаметно вовлек ее в беседу, затянувшуюся до самого вечера и получившую продолжение в последующие дни, на протяжении которых он развлекал ее занимательнейшими разговорами на своем немного старомодном, но в высшей степени грамотном французском языке. Почти что сразу он, так сказать, без особых предисловий, открыл ей, что приехал на этот курорт, знакомый ему по прежним временам, оттого, что за последние годы у него участились такие состояния, которые он сам называл припадками, связанными со странной боязнью пространства, каковая дошла у него до того, что он уже не в состоянии был проводить занятия, а его ученики, к которым он, по его собственным словам, относился всегда с неизменной любовью и симпатией, вдруг начинали ему казаться самыми мерзкими и отвратительными существами на свете, причем это чувство было настолько сильным, что он уже не в силах был совладать с подступавшей к нему беспричинной и совершенно беспочвенной агрессивностью. Эти признания со всею очевидностью говорили о том, что Пауль явно опасался за состояние своего рассудка, но сам он по возможности обходил эту тему стороной или же оборачивал все в шутку. Так уже в первые дни знакомства, сказала мадам Ландау, он, со свойственной ему иронией, сообщавшей всему, о чем он говорил, своеобразную легкость, как будто речь идет о каких-нибудь пустяках, — он рассказал ей о своей недавней попытке свести счеты с жизнью и добавил, что, с его точки зрения, это было бесконечной глупостью, о которой он не любит вспоминать, но считает себя не вправе утаить от нее это обстоятельство, дабы она могла составить себе должное представление о своем странном, восставшем из праха спутнике, которому она любезно разрешила сопровождать себя во время променада по летнему курорту. Le pauvre Paul, сказала мадам Ландау, погрузившись в задумчивость, а потом очнулась и, опять глядя мне прямо в глаза, добавила, что за свою не такую уж и короткую жизнь знавала немало мужчин, с которыми она имела счастье познакомиться, что называется, поближе — на этом месте она язвительно усмехнулась, — и все они так или иначе были заняты только собою. Все эти господа, имена которых, слава богу, у нее давно уже выветрились из памяти, были, в сущности, все до одного бесчувственными чурбанами, которые не шли ни в какое сравнение с Паулем, бывшим, при всем своем пронзительном одиночестве, словно сжигавшем его изнутри, самым интересным и обходительным собеседником, какого она только встречала на своем пути. Сколько было чудесных прогулок, вспоминала мадам Ландау, сколько интересных мест посетили они в Салене и его окрестностях. Они ходили вместе к горячим источникам и в соляные лечебные пещеры, а вечерами отправлялись к форту

Белен и подолгу там гуляли. Они любили стоять на мосту, глядеть на зеленые воды Фюрьезы и рассказывать друг другу какие-нибудь истории, они побывали в доме Луи Пастера в Арбуа, а как-то раз добрались до Арк-и-Сенан, где осмотрели выстроенное в XVIII веке здание соляного предприятия, каковое считалось идеальной моделью производственного, городского и общественного устройства, в связи с чем Пауль высказал по моим тогдашним представлениям довольно смелые мысли, увязав между собою буржуазные социально-утопические теории, нашедшие, в частности, отражение в проектах и сооружениях Николá Леду[1], и постепенное вытеснение естественной жизни, которой грозит полное уничтожение. Ей самой удивительно, сказала мадам Ландау, насколько живы в ней все эти давние картины, которые теперь, когда она рассказывает об этом, всплыли из глубин памяти, хотя она думала, что они давно померкли, вытесненные печалью, связанной со смертью Пауля. Самым ярким воспоминанием, однако, остались для нее их вылазки в горы, честно признаться, довольно утомительные, несмотря на наличие фуникулера, доставлявшего их на Монтрон, с вершины которого они могли целую вечность любоваться цепью озер, растянувшихся вокруг Женевы и казавшихся отсюда совершенно крохотными, будто сделанными для украшения ландшафта игрушечной железной дороги. Эти миниатюрные вкрапления в сочетании с массивным, плавно уходящим ввысь Монбланом, и еле мерцающим вдалеке ледником Вануаз, и панорамой Альп, раскинувшейся на полнеба, — все это заставило ее впервые в жизни прочувствовать, сколь несоразмерны могут быть по своим масштабам места, выбираемые нашей мечтой.

На мой вопрос, который я задал, когда в очередной раз наведался на виллу Бонлё, в связи с одним замечанием мадам Ландау, упомянувшей вскользь, будто Пауль хорошо знал те места по прежним временам, я получил ответ, из которого следовало, что Пауль провел в этих краях несколько лет, с осени 1935 года до зимы 1939-го, и жил сначала какое-то время в Безансоне, а затем перебрался в Доле, где получил место домашнего учителя в семье по фамилии Пассагрен. Чтобы пояснить эти сведения, которые как-то плохо увязывались с представлением о жизни немецкого учителя начальных классов в 30-е годы, мадам Ландау достала большой фотоальбом, в котором помещались фотографии не только за интересовавший меня период, но и много других, по которым можно было проследить, с небольшими пропусками, почти всю жизнь Пауля Берейтера, собственноручно подписавшего каждую фотографию. Много раз за тот вечер пролистал я этот альбом, вперед и назад, потом снова и снова, много раз возвращался я к нему позже и все так же листал, разглядывая содержащиеся в нем снимки, ибо мне и в самом деле казалось тогда и, собственно, кажется по сей день, что мертвые скоро вернутся, или же мы еще немного — и сами двинемся к ним навстречу. Первые карточки рассказывают о счастливом детстве в доме на Блюменштрассе, находившемся в непосредственной близости от садоводческого хозяйства Лерхенмюллера, и демонстрируют Пауля в разных вариациях, в основном в компании с кошкой и совершенно безобидным на вид петухом. Далее следуют годы в интернате, не менее, видимо, счастливые, чем предшествующие годы детства, а затем идет поступление в педагогическое училище Лауингена,

1. Клод Николá Леду (1736–1806) — французский архитектор и теоретик архитектуры; разработал "Проект идеального города Шо" (1871).



каковое Пауль обозначил в подписи под фотографией как Учебное заведение по дрессировке учителей г. Лауингена.

Мадам Ландау пояснила, что Пауль не бросил обучение в этом заведении, где надо всем довлела непроходимая тупость и фанатичная преданность католической вере, только потому, что он во что бы то ни стало хотел стать школьным учителем и был готов ради этого даже смириться с любыми формами преподавания, движимый бесконечным идеализмом, который и помог ему пережить без душевных потерь это время. В 1934–1935 годах Пауль, в возрасте двадцати четырех лет, прошел педагогическую практику в начальной школе С. и вел занятия, как я установил к своему немалому удивлению, в той же классной комнате, в какой затем, пятнадцать лет спустя, учил нехитрой премудрости тех ребятишек, что изображены на помещенной ниже фотографии, на которой есть и я.

По окончании практики, летом 1935-го, для молодого преподавателя начальной школы Пауля Берейтера, как это со всею очевидностью следует из дальнейших снимков и отдельных замечаний мадам Ландау, наступила самая счастливая пора его жизни, связанная с продолжительным пребыванием в С. Хелен Холлендер из Вены.

Хелен, бывшая всего на несколько месяцев старше Пауля, жила, судя по записи в альбоме, отмеченной двумя восклицательными знаками, в доме у Берейтеров, в то время как ее матушка поселилась в пансионе в Луитпольде, и Пауль, как предполагала мадам Ландау, воспринимал ее появление в своей жизни ни больше ни меньше как дар небес, ибо, если верить снимкам, сказала она, Хелен Холлендер была девушкой прямодушной, умной, но совсем не простой, со своими загадками, разгадывать которые Паулю доставляло явное удовольствие.

И вот представьте себе, продолжала мадам Ландау, Хелен с матушкой возвращаются в начале сентября в Вену, а Пауль отправляется в дальнюю деревню В., чтобы там приступить к исполнению своих обязанностей, но не успел он еще толком освоиться в школе, как на его имя приходит официальное письмо, из которого следует, что он, на основании неведомых ему юридических предписаний, отстраняется от долж-

ности с последующим запретом на осуществление педагогической деятельности. Все его светлые надежды и планы на будущее, которыми он тешил себя все лето, рухнули в одночасье, бесшумно рассыпавшись как карточный домик. Он остается без всяких перспектив, и у него возникает в первый раз то самое непреодолимое чувство собственного поражения, которое впоследствии так часто будет возникать у него и с которым он однажды так и не сумеет справиться. В конце октября, сказала мадам Ландау, завершая свой рассказ об этом эпизоде, Пауль едет через Базель в Безансон, где ему удалось получить

по рекомендации одного из знакомых отца место домашнего учителя. Насколько скверным было его состояние в тот период, можно судить по небольшой фотографии, запечатлевшей момент воскресной прогулки, в которой принимал участие и Пауль, на снимке он крайний слева, человек, которому суждено было в течение одного месяца познать величайшее счастье и тут же лишиться его, — изможденное, почти бестелесное существо, на которое страшно смотреть.

О том, что сталось с Хелен Холлендер, мадам Ландау не могла мне сообщить ничего более или менее определенного. Пауль, заметила она, упорно обходил эту тему молчанием, возможно потому, высказала она предположение, что мучился угрызениями совести по отношению к ней, поскольку, как он полагал, спасовал перед обстоятельствами и не пришел в нужный момент ей на помощь. По тем обрывочным сведениям, которые ей удалось собрать, можно с большой долей уверенности предположить, сказала она, что Хелен вместе с матерью, вероятнее всего, депортировали из Вены, посадив в один из тех спецпоездов, которые на рассвете уходили с венских вокзалов, наверное, сначала в Терезиенштадт.

Вот так, по кусочкам, жизнь Пауля Берейтера обретала все более ясные очертания. Мадам Ландау нисколько не удивилась тому, что я, будучи сам

родом из С., где все мне было как будто знакомо, пребывал в полном неведении относительно того, что старый Берейтер был так называемым полуевреем, а Пауль, соответственно, на четверть евреем, ибо никто никогда мне об этом ничего не говорил. Знаете ли, сказала она мне в один из моих визитов в Ивердон, знаете ли, усердие, с каким эти люди, после учиненной ими же разрухи, все замалчивали, скрывали и забывали, причем забывали искренне, как мне теперь уже кажется, — это усердие на самом деле не что иное, как то же гнусное рвение, с каким, например, господин Шёферле, владелец кофейни в С., принялся защищать интересы простых граждан и потому обратился к матушке Пауля, которую звали Текла и которая какое-то время выступала на сцене Нюрнбергского театра, с настоятельной просьбой воздержаться от ежедневных посещений его заведения, поскольку, как он объяснил ей с приличествующей вежливостью, присутствие дамы, являющейся женой полуеврея, может быть неприятно остальным посетителям. Меня не удивляет, сказала мадам Ландау, меня нисколько не удивляет то, что вы остались в неведении относительно тех гнусностей и мерзостей, с которыми столкнулись Берейтеры, живя в такой поганой дыре, какой был тогда С. и какой он остался, вопреки так называемому прогрессу, и по сей день. Нет, это совсем меня не удивляет, ибо такова логика всей истории.

Отец Пауля, отличавшийся меланхолическим складом и душевной тонкостью, был, между прочим, родом из Гунценхаузена, сказала мадам Ландау, пытаясь, после небольшого эмоционального всплеска, который она себе позволила, вернуть нашу беседу в деловое русло; здесь, во Франконии, продолжала она, дед Пауля, Амшель Берейтер, держал мелочную лавку, в которой ему преданно помогала молоденькая служанка христианского вероисповедания, прожившая в его доме несколько лет и привязавшаяся к нему, так что в итоге он взял ее себе в жены, когда ему, Амшелю, уже перевалило за пятьдесят, а Розине было всего-навсего чуть больше двадцати. От этого брака, который по понятным причинам не слишком афишировался, и появился на свет Тео, отец Пауля, так и оставшийся единственным ребенком в семье. Пройдя обучение по торговой части в Аугсбурге и проработав продолжительное время в одном из нюрнбергских магазинов, где ему удалось заметно выдвинуться, Тео Берейтер в 1900 году приехал в С. и открыл, частично на собственный капитал, частично на деньги, взятые взаем, магазин-склад для оптовой и розничной торговли, в котором можно было купить все: от кофе в зернах до корсетных крючков, от тонких кружев до канделябров и от крахмала до канотье. Этот волшебный магазин, рассказывала мадам Ландау, Пауль однажды описал ей во всех подробностях, когда ему, в 1975-м, сняли катаракту и он лежал в Берне, в клинике, с завязанными глазами, удивляясь, как он говорил, тому, какой необыкновенной ясности картины встают перед его внутренним взором, касающиеся вещей, о которых он даже помыслить не мог, что они сохранились у него где-то внутри. Все в магазине представлялось ему в детстве каким-то слишком высоким, отчасти потому, что сам он тогда был невеликого роста, отчасти же потому, что полки и впрямь тянулись до самого потолка, высотою в четыре метра. Даже в самые яркие летние дни, рассказывал Пауль, магазин освещался тусклыми продолговатыми лампами, шедшими по верхнему краю щитов, закрывавших витрины со стороны торгового зала, и этот сумрак казался ему, ребенку, еще более густым, чем он был на самом деле, оттого что он проводил по большей части все время на самом нижнем уровне, разъез-

жая на своем трехколесном велосипеде по тесным проходам между прилавками, ящиками и коробками, в море запахов, из которых сильнее всего был запах нафталина и ландышевого мыла, в сырую же погоду к ним добавлялся запах фетра и сукна, а в жаркую — селедок и льняного масла. Часами колесил он тогда, вспоминал Пауль, перебирая с нежностью, как рассказывала мадам Ландау, картины прошлого, вдоль казавшихся ему бесконечными темных рядов с рулонами ткани, мимо саног с блестящими голенищами, стеклянных банок, садовых цинковых леек, кнутовищ и представлявшегося ему совершенным чудом специального шкафа, в котором за стеклянным окошком хранились шитейные катушки гютермановских шелковых ниток всех цветов радуги. Персонал магазина состоял из конторщика, счетовода по фамилии Фромкнехт, у которого, в его тридцать лет, от вечного сидения крючком над бумагами и бесконечными цифрами одно плечо было выше другого, уборщицы — старой девы фройляйн Штайнбас, каковая целыми днями сновала туда-сюда, вооружившись тряпкой и метёлкой из перьев, и двух приказчиков, не имевших друг к другу, как они непременно подчеркивали, ни малейшего отношения, при том что один из них звался Мюллер Герман, а другой — Мюллер Генрих, и были они внешне похожи, когда стояли, оба в одинаковых жилетках, оба в нарукавниках, слева и справа от внушительных размеров кассового аппарата, взирая со снисходительным и, так сказать, естественным величием высокопоставленных особ на клиентов, которых им приходилось обслуживать. Отец же, сам хозяин торгового заведения Тео Берейтер, появляясь в залах на несколько часов, а происходило это каждый день, облаченный либо в сюртук, либо в костюм в тонкую полосочку, который носился с гамашами, неизменно занимал позицию между двумя пальмами в кадках, каковые, смотря по погоде, стояли либо внутри, либо снаружи, у самой двери с легко распахивающимися створками, и, выказывая ко всем одинаковое почтение, будь то беднейший обитатель богадельни напротив или сорящая деньгами супруга владельца пивоваренной фабрики Хазтрайтера, встречал и провожал каждого отдельного покупателя самым обходительнейшим образом, считая своим долгом сопровождать всех своих клиентов на коротком пути ко входу или же выходу из магазина.

Этот магазин, добавила мадам Ландау, будучи единственным крупным торговым заведением на всю округу, приносил, судя по всему, семейству Берейторов неплохие доходы, позволявшие вести вполне обеспеченную жизнь, не лишенную даже некоторого шика, о чем свидетельствует хотя бы тот факт, заметила мадам Ландау, что Теодор Берейтер в 20-е годы завел себе личный автомобиль марки “дюркопп”, который, где бы он ни появлялся, будь то Тироль, Ульм или же Бодензее, производил, по словам Пауля, вспоминавшего об этом с явным удовольствием, настоящий фурор. Умер Теодор Берейтер, как я узнал из тех же рассказов мадам

Ландау, по которым у меня сложилось впечатление, перешедшее со временем в уверенность, что обо всех этих вещах они подолгу беседовали с Паулем, — умер он в Вербное воскресенье 1936 года, официально — от сердечной недостаточности, в действительности же, и это мадам Ландау подчеркнула особо, от ярости и страха, терзавших его с тех пор, как ровно за два года до его кончины в его родном Гунценхаузене начали происходить бесчинства, жертвами которых стали еврейские семьи, на протяжении многих поколений жившие здесь в мире и покое. Похоронили хозяина знаменитого торгового заведения, которого никто не провожал в последний путь, кроме супруги и немногочисленных служащих, еще до Пасхи, под неказистой оградой городского кладбища С., на специальном месте, отведенном для лиц, не принадлежащих ни к какому вероисповеданию, и самоубийц. Ко всему этому можно только добавить, сказала мадам Ландау, что ввиду изменившихся обстоятельств, связанных со смертью Теодора Берейтера, магазин, перешедший по наследству к его вдове Текле, которой было отказано в ариизации имущества, тем не менее был благополучно продан, хотя и за сущие гроши, скототорговцу и землевладетелю Альфонсу Кинцле, числившемуся с недавних пор в серьезных дельцах, а Текла Берейтер по совершении этой примечательной сделки впала в депрессию и несколько недель спустя последовала за супругом.

За всеми этими событиями, сказала мадам Ландау, Пауль наблюдал издалека, не имея возможности каким бы то ни было образом повлиять на них, во-первых, потому, что когда плохие вести доходили до него, было уже поздно что-нибудь предпринимать, а во-вторых, потому, что он пребывал в состоянии какой-то апатии и совершенного безволия, не в силах даже просчитать, что ждет его завтра. Вот почему, как объяснила мне мадам Ландау, Пауль имел весьма смутное представление о том, что происходило в С. в 1935—1936 годах, и не желал возвращаться к этому прошлому, в котором для него осталось немало белых пятен. Только в последние десять лет своей жизни, которые он по большей части провел в Ивердоне, Пауль стал проявлять интерес к событиям тех лет и попытался их восстановить, что было для него, сказала мадам Ландау, очень важно — жизненно важно, добавила она. Несмотря на свое ухудшающееся зрение, он целыми днями сидел в архивах, делая бесконечные выписки, касающиеся, например, инцидентов в Гунценхаузене, когда в 1934 году, в то самое Вербное воскресенье, о котором она уже упоминала, то есть задолго до так называемой "хрустальной ночи", начали бить окна в домах, где жили евреи, а самих евреев вытаскивали из подвалов, где они пытались укрыться, и таскали по улицам. Но не эти нападения и акты насилия, имевшие место в Гунценхаузене, и даже не гибель семидесятипятилетнего Арона Розенфельда, которого просто зарезали, и не смерть тридцатилетнего Зигфрида Розенау, повешенного на заборе, — не только это, сказала мадам Ландау, повергло в ужас Пауля, не менее жуткое впечатление на него произвела попавшаяся ему случайно на глаза ерническая заметка, в которой сообщалось о бесплатном базаре, устроенном на следующее утро для школьников Гунценхаузена, каковым предоставлялась ко всему прочему счастливая возможность порадовать себя совершенно безвозмездно заколками для волос, шоколадными сигаретами, цветными карандашами, сухим лимонадом и прочими полезными вещами, в изобилии имевшимися в разгромленных магазинах.

Самым непонятным для меня в истории Пауля после всего этого является то, что он, в начале 1939 года, то ли потому, что атмосфера нетер-

пимости нагнеталась и ему, немецкому учителю, было уже трудно оставаться во Франции, то ли в порыве слепой ярости, то ли и вовсе из какого-то мазохизма, вернулся в Германию и поселился в совершенно чужой ему столице империи, где устроился конторщиком в какую-то авторемонтную мастерскую в Ораниенбурге и по прошествии нескольких месяцев получил призывное свидетельство, из чего можно заключить, что на фронт отправлялись и те, кто был лишь на три четверти арийцем.

Шесть лет прослужил он, если можно так выразиться, в мотострелковых войсках, сменив множество мест назначений, сначала внутри самой великодержавной столицы, а затем в многочисленных оккупированных в скором времени странах, был он в Польше, Бельгии, был во Франции, на Балканах, в России и на средиземноморском побережье и, как он сам говорил, насмотрелся на всю жизнь. Менялись цифры на календаре, менялись времена года, за валлонской осенью последовала бесконечная белая зима под Бердичевым, и французская весна на берегах Соны, и лето на Далматинских островах или в Румынии, но не менялось одно — удаленность в пространстве, составлявшая, независимо от местонахождения, как это явствует из подписи под помещенной ниже фотографией, ≈2000 км по прямой — вот только откуда? — и не менялось ощущение, что ты с каждым днем, с каждым часом, с каждым ударом пульса становишься все более непонятным, все более безликим и абстрактным.

Возвращение Науля в Германию в 1939 году, равно как и его возвращение в С. после войны, где он снова занялся преподавательской деятельностью, хотя именно здесь его в свое время выставили за дверь, — во всем этом, сказала мадам Ландау, есть что-то ненормальное. Я понимаю, конечно, почему его так снова тянуло в школу. Он просто был рожден для того, чтобы учить детей, — настоящий меламмед[1], который, как вы мне сами рассказывали, мог сотворить из ничего чудесный урок. И как хороший педагог он, видимо, кроме всего прочего, считал, что нужно вычеркнуть

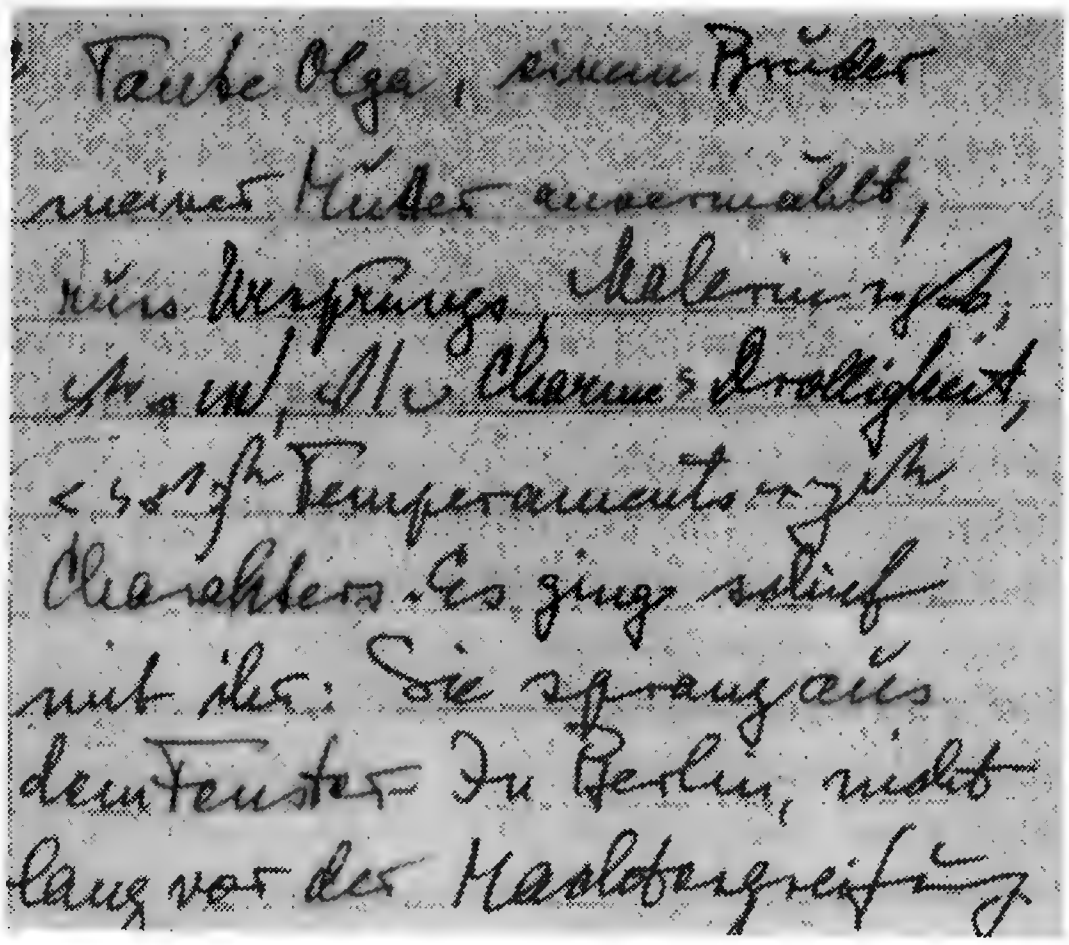
1. Меламмед — учитель в еврейской школе.

из памяти двенадцать скверных лет, чтобы начать все с чистого листа. Но это только половина правды. Другая же причина, побудившая или даже вынудившая Пауля вернуться в Германию в 1939-м и потом в 1945-м, заключается в том, что он до мозга костей был немцем, привязанным всем сердцем к своим родным местам, к этим Альпам, и к этому проклятому городишке С., который он на самом деле ненавидел, и в глубине души, я уверена в этом, сказала мадам Ландау, мечтал, чтобы он провалился в тартарары со всеми своими мерзкими жителями. Пауль ведь терпеть не мог, сказала мадам Ландау, свою новую квартиру, в которую он въехал незадолго до выхода на пенсию отнюдь не по доброй воле, а потому, что кому-то пришло в голову снести прелестный старый лерхенмюллеровский дом и соорудить на его месте новомодное уродство, и тем не менее, как это ни странно, за те последние двенадцать лет, что он прожил в Ивердоне, он все никак не мог подвигнуть себя на то, чтобы избавиться от этой квартиры, более того, он по нескольку раз в год наведывался в С. с единственной целью — проверить, все ли в порядке, как он выражался, в его жилище. Из этих инспекционных поездок, которые продолжались, как правило, не больше двух дней, он возвращался обыкновенно совершенно подавленным и принимался с подкупающим детским простодушием сетовать, отчего он в очередной раз не послушался, себе во вред, моего́ настоятельного совета не ехать в С.

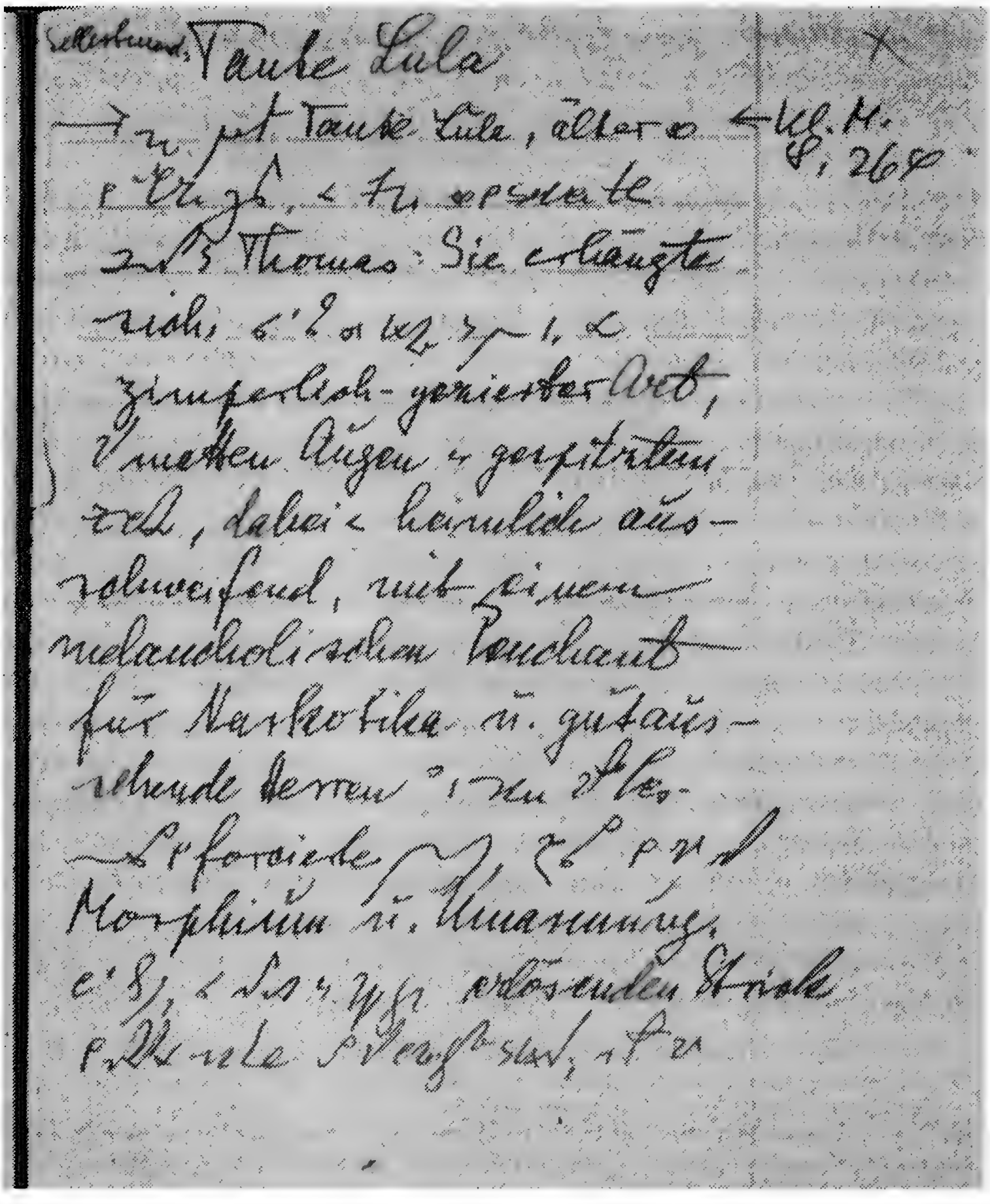
Здесь, в Бонлё, поведала мне мадам Ландау, во время нашей другой встречи, Пауль много времени проводил в саду, работать в котором доставляло ему, пожалуй, ни с чем не сравнимое удовольствие. Когда по возвращении из Салена мы решили, что Пауль переедет жить тоже в Бонлё, продолжала мадам Ландау, он первым делом попросил разрешения взять на свое попечение мой довольно запущенный сад. И действительно, усилиями Пауля здесь все преобразилось. Молодые деревца, цветы, вьющиеся растения, живые изгороди из плюща, рододендроны, розы, кустарники — все росло и цвело, все было засажено и ухожено. Каждый день, после полудня, если погода позволяла, рассказывала мадам Ландау, Пауль копался в земле, а временами уходил в самую глубь сада и просто сидел, глядя на разросшееся зеленое царство. Спокойное созерцание зелени было полезно для его глаз, тем более что и врач, лечивший его катаракту, советовал ему почаще смотреть на листья. Правда, по ночам, сказала мадам Ландау, Пауль забывал о предписаниях врача и до самого утра у него всегда горел свет. Он все читал, и читал, и читал — Альтенберга, Тракля, Витгенштейна, Фриделя, Хазенклевера, Толлера, Тухольского, Клауса Манна, Осецкого, Беньямина, Кёстлера и Цвейга, то есть главным образом тех писателей, которые покончили жизнь самоубийством или же были близки к тому. Его тетради с выписками дают представление о том, насколько он интересовался именно биографией этих авторов. Сотни страниц, исписанных в основном габельсбергеровой скорописью[1], потому что иначе дело продвигалось бы слишком медленно, и только одни сплошные истории самоубийств.

1. Система курсивных стенографических знаков, разработанная для немецкого языка в 1834 г. Францем Габельсбергером (1789–1849); кроме габельсбергеровой скорописи в ходу была стенографическая система, предложенная в 1841 г. Вильгельмом Штольце (1798–1867) и взятая впоследствии за основу стенографии, использовавшейся в официальном делопроизводстве.

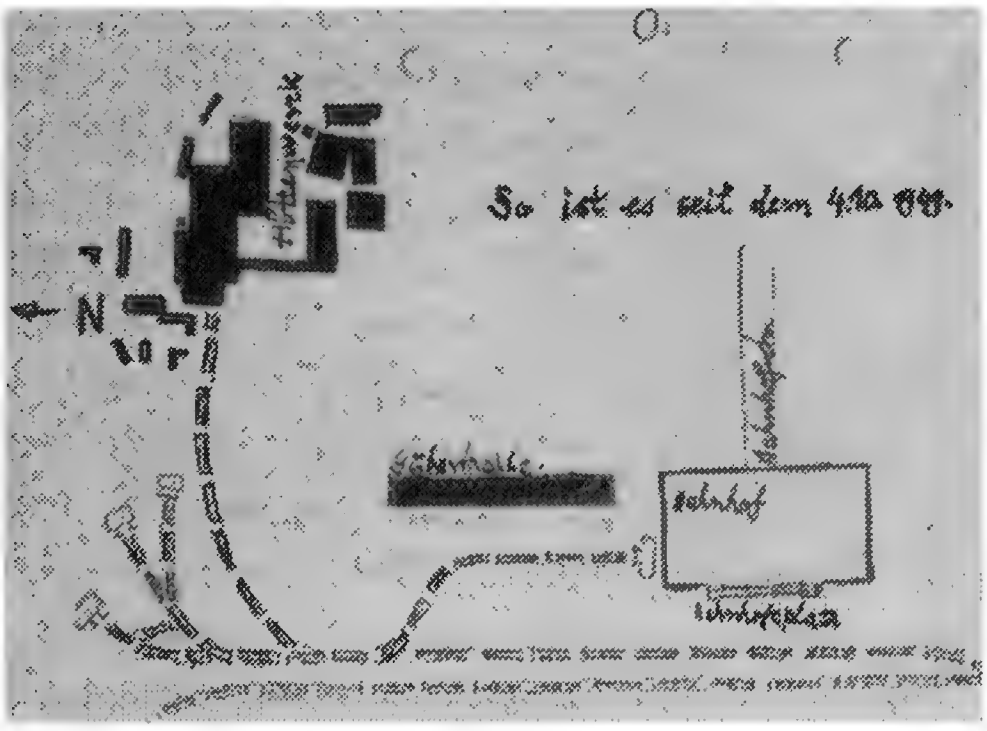
У меня было такое чувство, сказала мадам Ландау, отдавая мне черные клеенчатые тетради, будто Пауль хотел собрать в одном месте некие неопровержимые доказательства, которые, как выяснилось по ходу проведенного им разбирательства, оказались достаточно вескими, чтобы окончательно убедиться в том, что его место среди изгнанных, а не в С.



В начале 1982 года у Пауля начало резко ухудшаться зрение. Скоро он уже не видел ничего, кроме каких-то рваных, перекошенных картинок. Сообщение о том, что повторная операция невозможна, Пауль принял, по словам мадам Ландау, с полным самообладанием и все говорил, что бесконечно благодарен судьбе за те восемь лет, которые были отпущены ему после бернской



операции. Если вспомнить о том, сказал ей Пауль вскоре после того, как ему поставили неутешительный диагноз, — если вспомнить о том, что в детстве он страдал от так называемых "летающих мушек" и постоянно боялся, что из-за этих маленьких черных точечек и кружочков, мельтешащих у него перед глазами, он когда-нибудь ночью ослепнет, то остается только удивляться, как долго прослужили ему верой и правдой его глаза. Пауль и в самом деле, так сказала мадам Ландау, совершенно спокойно рассуждал в те дни о той, как он говорил, сероватой перспективе, которая открывалась теперь перед ним, и выдвинул предположение, что новый мир, в котором ему предстояло начать жить в самое ближайшее время, будет, возможно, несколько тесноват в сравнении с нынешним, но зато, как он смеет надеяться, даст ему некое чувство комфорта. Я предложила тогда Паулю, сказала мадам Ландау, прочитать ему всего Песталоцци, на что он ответил: "За это я готов пожертвовать всем белым светом" — и попросил начать незамедлительно, если можно, с "Уединенного вечера отшельника". Как-то раз осенью, во время одного из таких чтений, сказала мадам Ландау, Пауль без всяких предисловий сообщил мне о том, что собирается расстаться с квартирой в С., поскольку держать ее теперь не имеет никакого смысла. Для этой цели мы сразу после Рождества отправились в С. Поскольку мне до того еще не доводилось бывать в новой Германии, я заранее с некоторой тревогой думала о предстоящем путешествии. Снега совсем не было, вокруг — ни единого признака зимы, когда же мы вышли в С., мне показалось, что мы заехали на край света, и так мне стало не по себе, что я готова была тут же развернуться и поехать обратно. В квартире у Пауля было холодно, пыльно, и прошлое глядело из каждого угла. Дня два или три мы бестолково пытались как-то разобрать все вещи. На третий день погода вдруг переменилась и стало удивительно тепло, что было непривычно для этого времени года. На склонах гор чернели еловые леса, свинцовым блеском отливали оконные стекла, а небо казалось таким низким и таким темным, будто его пропитали чернилами, которые еще немного — и польются на землю. От нестерпимой боли в висках мне пришлось лечь, и я точно помню, что, когда аспирин, который выдал мне Пауль, медленно начал действовать, у меня перед закрытыми глазами появилось два странных роковых пятна, которые осторожно перемещались, словно высматривая жертву. Очнулась я в сумерках: в тот день, кстати сказать, стемнело довольно рано, часа в три. Пауль накрыл меня одеялом, но его самого я в квартире не обнаружила. В растерянности я стояла в прихожей и тут заметила, что нет его штормовки, по поводу которой Пауль еще утром сказал, что она тут висит уже лет сорок. В тот момент я поняла, что Пауль ушел в этой куртке и что живым я больше его не увижу. Вскоре в дверь позвонили, но внутренне я уже была ко всему готова. Только непостижимый способ, который выбрал Пауль для того, чтобы уйти из жизни, поверг меня поначалу в ужас, хотя, как я поняла впоследствии, в нем была своя логика. Железная дорога имела для Пауля особое, глубокое значение. Возможно, ему казалось, что она ведет к смерти. Расписания движения поездов, железнодорожные справочники, система путей сообщений — всем этим он занимался как одержимый, о чем свидетельствует его квартира в С. Большая электрическая модель железной дороги на дощатом столе в пустой комнате до сих пор стоит у меня перед глазами как символ и знак несчастной жизни Пауля и его немецкой беды. При этих словах мадам Ландау мне вспомнились вокзалы,



пути, депо, товарные платформы, семафоры, которые Пауль так часто рисовал на доске и которые мы затем должны были с возможной точностью переносить в свои тетради. В том-то и дело, сказал я мадам Ландау, поведав ей об этих наших железнодорожных уроках, что в конечном счете никогда не знаешь, от чего умирает человек. Это верно, согласилась мадам Ландау, и вправду никогда не знаешь. Все те годы, которые он провел здесь, в Ивердоне, я не подозревала о том, что Пауль нашел в железной дороге, так сказать, свою структурно организованную беду. Только один-единственный раз, очень осторожно, полунамеками, он сам заговорил о своей железнодорожной мании, но говорил так, будто все это уже давно в прошлом и сейчас ему кажется какой-то причудой. Пауль рассказал мне тогда, продолжала мадам Ландау, что однажды летом он был на каникулах в Линдау и там каждый день ходил смотреть, как поезда переправляются с материка на остров и с острова на материк. Белые клубы пара, пассажиры в окошках, машущие руками, отражение в воде — это волшебное действо, повторявшееся с некоторыми интервалами, приводило его в такой восторг, что он не мог оторваться от чудесной картины и потому вечно опаздывал к обеду, встречая дома всегда одно и то же — тетушку, которая с каждым разом все более обреченно качала головой, и дядюшку, который все твердил, что проклятые паровозы доведут его до могилы. В этой вполне безобидной детской истории, сказала мадам Ландау, я, конечно же, не могла в тот момент, когда услышала ее от Пауля, увидеть ничего такого, что видится в ней сегодня, хотя уже тогда что-то меня встревожило. Возможно оттого, что я не сразу поняла, к кому, собственно, относится фраза, сказанная дядюшкой, мне стало как-то не по себе, будто я услышала мрачное предсказание. Но эта тревога, вызванная секундным замешательством, — сегодня мне порой кажется, будто я и в самом деле увидела в тот момент призрак смерти, — эта тревога была лишь мимолетным чувством, которое скользнуло по мне тенью летящей птицы и тут же рассеялось.

Маттиас Альтенбург

Легкий кайф: Дневник

Перевод Т. Баскаковой

Вторник, 5 августа

Сегодня чувствую себя посвежевшим. Ничто не вызывает досады. Похоже, я счастлив. Опять наблюдаю за мулаткой, как она сидит на скамейке под платаном и жует хлеб. Ждет свою маленькую дочку. Площадка окроплена солнечными брызгами и отчасти напоминает пейзажи французских импрессионистов. Появляется девочка, смеющаяся, в белом платьице, мать протягивает к ней обнаженные руки. Мимолетное желание пригласить их обеих позавтракать у меня на террасе. Спрашиваю себя, есть ли у этой женщины муж, отец девочки. Но тут же отгоняю нелепую мысль. В последнее время меня очень беспокоит Мазепа.

Около полудня — прогулка по городу, я иду легким, пружинистым шагом. Дружелюбные лица. Или все дело в том, как я их воспринимаю? В двенадцать звонят колокола. Они всегда звонят в это время? Беру себе на заметку, что в ближайшие дни надо бы это уточнить. При случае опять загляну в церковь. Духовными материями пренебрегать не стоит!

Позже — несчастный случай, испортивший всю картину. Много крови. Покореженное железо, осколки стекла. Тут же подкатывает тошнота. Отворачиваюсь. Никогда не умел оказывать первую помощь.

Вечером: мы выпили много вина, почти не разговаривая друг с другом.

Нина: "Замечательно, такой вот тихий вечер вдвоем".

Я спрашиваю, где ее научили говорить такие банальности, но она только смотрит на меня, не отвечает.

Я устал, но заснуть не могу. У окна. Луна — вовсе не желтая, какой ее изображают в детских книжках. Иногда — красноватая, иногда — белесая, даже с голубизной, размытая. Только что: я не проявил никакого желания. Нина усмехнулась — "ну ладно" — и повернулась на другой бок, но была явно разочарована. Ничего, теперь это уже ненадолго. Одеяло соскользнуло на пол. Пытаюсь мысленно представить себе ее скелет. Захотелось, чтобы сейчас была зима и мы оба — плотно укутаны. Завтра она уезжает на свою конференцию. Буду ли я скучать по ней? Я ведь ее все-таки люблю...

Мазепа спит. Бужу его, мы немного играем. Он кажется вялым: надеюсь, ничего серьезного. Вот кто и в самом деле приятный партнер. Но Нина не разрешает пускать его к нам в постель.

Я еще сколько-то времени сижу на темной террасе и попиваю вино. На тротуаре парочка, они целуются. Не замечают меня. Он прижимает свою пассию к ограде, елозит руками под ее футболкой. Мне противно.

© 2001 by Deutsche Verlags-Anstalt, Stuttgart München
© Т. Баскакова. Перевод, 2004

Или я просто завидую? Нарочно покашливаю. Они испуганно замирают, потом, хихикая, удаляются прочь. И правда: куда ни глянь — всюду секс.

Никогда не чувствовал себя более одиноким...

Среда, 6 августа

Проснулся с эрекцией. Без последствий. Завтракаем. Нинин поезд через два часа. Я отпросился на работе, чтобы ее проводить. Она уже упаковала вещи и теперь не знает, как убить время до отъезда. Постоянно мешается под ногами, воркует, как бы невзначай ко мне прикасается.

Она: "Скажи, какой я тебе кажусь".

Я: "Что ты имеешь в виду?"

Она: "Я тебе кажусь эротичной?"

Первое побуждение — ударить ее. Уже за одно это слово.

В конце концов я сдаюсь. Все у нас происходит очень быстро, рутинно, но она, похоже, довольна. Легкая тошнота. Душ.

Радуюсь, когда ее поезд наконец отходит.

На парковке какой-то толстяк ест из пакетика жареную картошку. Его семейство уже в машине. Три юные девицы, остановившись поблизости, улыбаются ему, хихикают. Он тоже заулыбался, расправил плечи, взгляд его проясняется, быть может, в последний раз. Потом, быстро посмотрев в сторону жены, толстяк опять обмякает. Быть может, навсегда.

Вокзальный кинотеатр. Крутят американскую порнуху. Звук слишком громкий. Кроме меня в зале только четверо или пятеро парней придурковатого вида. Наверное, солдаты. *Не тяни, дорогуша, ты же не жмот, давай скорей загоняй свой болт... Нуу-кла... я прям вся изнемогла... Ай-ай, старайся, бэби, сильней налегай...* Всю дорогу одна и та же невнятица. Текста, собственно, вообще нет. После сходил в уборную. *Нуу-кла...*

Пробираюсь меж уличными проститутками. Большинство — какие-то увечные. Цепляются, шепчут что-то, когда проходишь мимо. Клейма некуда ставить, а все же возбуждают.

Со школьницей в кабине лифта. Фантазии. Прошел за ней по улице еще пару метров. По форме ягодиц можно судить о форме груди. Но тут требуется осторожность, ошибки всегда возможны. Она оборачивается, смотрит на меня. С полным презрением. Больше того: негодующе. Я делаю вид, будто завязываю шнурок, и потом сворачиваю в другую сторону. Я в ее глазах — старый хрыч. Неприятный осадок. Устранить его может только удачное знакомство.

В поле зрения — ничего подходящего. Бесцельно брожу по улицам.

Вечером дискотека, я кажусь себе здесь совершенно лишним. Чужие взгляды это подтверждают. Но, в очередной раз собираясь отчалить, я замечаю, что на меня смотрит какая-то девушка. У нас завязывается разговор. Меня удивляет, как она молода. Очень свежая, очень простодушная. И при всем том весьма активная. Без лишней болтовни. Она хочет меня. Мы едем на моей машине в парк. Легкий кайф. После мне опять стало грустно, так часто бывает. Думаю о вчерашней аварии, о крови и всем прочем. *Она* рядом со мной, спит на траве. Я целую ее в лобик и ухожу. После — страх, как бы с ней не случилось что-нибудь нехорошее.

Мазепа не спит, ждет меня. Судя по его виду, недавно плакал. Я его ласкаю. И плачу сам.

Четверг, 7 августа

Проснулся в семь. Воспоминания о вчерашней ночи приятные, но расплывчатые. *Ее* имя я забыл. А знал ли вообще? Маленькая, не стоящая упоминания эрекция.

Вчерашний корм Мазепы остался нетронутым. Звоню ветеринару. Он предписывает щадящую диету.

Улицы полнятся плотью. Мозолящей глаза непрерывно. Бесстыдно. Туго обтянутые ягодицы, крутые груди... И снова — желание однажды взглянуть на мир глазами женщины. Впрочем, думаю, откровением это бы не стало. Мужчины теперь внешне выглядят точно так же. Некоторые — всякая шваль — даже не брезгуют пользоваться гелем.

Как все-таки это трогательно, что с рождением каждого человека старая игра начинается сызнова. Эта способность к непрестанному обновлению, эти иллюзии, эти вечные рассуждения о будущем... Разве любая юная задница не пересилит любую мысль? Впрочем, как ни крути, со временем скукожится и та и другая.

В конторе обеденный перерыв. Б. делает мне комплименты, наклоняется надо мной, распространяя аромат духов, и так далее. Будь она лет на десять моложе, я бы сдался. Она чем-то напоминает мою мать. Иногда проявляет готовность к великому самопожертвованию, но потом опять демонстрирует мне свое презрение.

Вечером — местное телевидение, молодежное ток-шоу. Тема: тинейджеры и любовь. И потом шок: девушка, с которой я вчера провел ночь, заходит в студию. Теперь мне сообщают, что ее зовут Катрин и что она еще моложе, чем говорила: ей только семнадцать. Ведущая спрашивает ее о последнем памятном эпизоде с бой-френдом. Катрин начинает рассказывать о нашем с ней приключении. Мне хочется крикнуть, что она лжет, но говорит-то она правду. Я так разволновался, что вырубаю телик. И все равно потом еще долго не могу успокоиться.

Вечером — снова на дискотеке. Жду Катрин, хочу призвать к ответу, заставить объясниться. Но она не приходит. Тем лучше. Я пьян. Что очень сбивает с толку. Мешает улавливать смысл взглядов и жестов. Вернулся и как подкошенный рухнул в постель. Долгий, но неспокойный сон с частыми перебоями. Бесконечные хождения в уборную.

Сон: летний луг, синее небо в курчавых облаках. Вдалеке холм, и на нем — большая цветущая магнолия. Старообразный ребенок бежит вверх по склону. Он бежит и бежит, оставаясь все на том же месте. Ребенок — это я.

Утром сильная головная боль, таблетки.

Пятница, 8 августа

Всю первую половину дня провел на террасе. В ожидании мулатки. Но та так и не появилась. В итоге — ощущение полнейшего упадка сил. Я бы охотно познакомился с ней, но не позволю себе быть рабом своего желания. Разочарования не полезны для здоровья и способствуют старению.

По телевизору — Клаудиа Шиффер. Интервьюер после каждого вопроса беспомощно моргает перед телекамерой. Сама супермодель кажется мне глупенькой, но породистой. Фантазии тем не менее возникают. С

этими мысленными картинками не сравнится никакая реальность. Потому что в них все доступно.

Обеденный перерыв в конторе. Б. приносит мне кофе, она накрашена. Слишком сексапильна для своего возраста. Очень любезна со мной, духи хорошо пахнут. Как бы намекнуть ей, чтобы не строила надежд? Спрашивает, не заказать ли какую-нибудь еду в пиццерии, для нас двоих. Нас двоих! Я не хочу быть невежливым, но, видимо, придется. Она меня вынуждает.

У женщин ее возраста особенно бросается в глаза стремление любой ценой компенсировать недостающую молодость: посредством повышенной витальности (они такие бодрые! спортивные! с горящими глазами!), или умных разговоров, или непрерывного демонстрирования того, что они якобы способны понять другого, ибо обладают богатым жизненным опытом, либо, наоборот, чрезмерной чувственностью (как если бы они хотели сказать: возьми меня, я давно избавилась от всяких комплексов). Каждая выбирает способ, наиболее соответствующий ее натуре.

Странно, что никто не может вообразить себе собственных родителей в момент соития. А если и может, не испытывает при этом ничего, кроме отвращения.

Я встречаю ту мулатку на улице. Крепко сбитое тело. Глаза зеленые, но добрые. Общее впечатление округлости, компактности, сконцентрированной силы. Долго иду за ней следом. Она замечает, что я не отстаю от нее, и — тем не менее — улыбается. Спрашивает, который час. Наверняка это только предлог, но я слишком смущен, чтобы как-то им воспользоваться.

Через полчаса встречаю ее опять, теперь рядом с ней дочка. В самом деле прелестный ребенок. Мы, все трое, широко улыбаемся, будто составляем одно счастливое семейство. И без единого слова расходимся в разные стороны.

Позже — тренировка, но я не в форме. Мазепа опять ничего не ел и смотрит на меня с грустью. Я дважды, с ним на руках, обхожу наш квартал.

Потом — плавательный бассейн. Перед кабинкой для переодевания сталкиваюсь с какой-то женщиной в зеленом купальном костюме. Мы с ней одновременно бормочем извинения и смотрим друг на друга дружелюбно, можно сказать, чувственно. Но продолжения, слава богу, не следует. Тактильное ощущение от ее кожи еще на какое-то время остается со мной — и запах хлора.

Укладываюсь спать. Мрачные мысли. Красота? Если ее еще и можно найти, то только в процессе разрушения, как нечто преходящее. Трещина в старой стене... Мерцающая тушка дохлой форели... Старуха, уже примирившаяся с собой и со своей старостью... Однажды я видел в морге обнаженное тело молодой женщины. Главное впечатление: наконец-то она обрела покой. Приобщилась к вечности. Может, и к красоте. Все правильно. *La grâce des choses fanées...*[1]

Суббота, 9 августа

Вчера вечером — вечеринка на работе. В целом — безвкусица и пошлость, одно старье. Женщины веселятся вовсю. Некоторые сменили на-

1 "Изящество увядших вещей..." (*франц.*). Выражение, которое дважды встречается в прозе Стефана Малларме: в "Литературной симфонии" и "Зимней дрожи".

ряды. Куда ни глянь — всюду воркующая похоть. Б. снова и снова чокается со мной. Целуемся в проходе. После — ощущение, будто у меня язык распух. Коллеги сочувственно подмигивают. Я пьян в стельку, а потому позволяю Б. отбуксировать меня на такси к ней домой. Ее квартира напоминает студенческую гарсоньерку: диван-кровать, полка, над столом открытки с кошечками. Компактное жилище. Началось все на удивление приятно, без лишних осложнений, потом она плакала. Среди ночи я встал, поймал такси и отправился восвояси.

К утру от всего только отрывочные воспоминания. Угрызения совести. Жалость к ней.

Еду с Мазепой в неотложку. Где цены, конечно, чудовищные. Ветеринар долго осматривает его и только потом переводит взгляд на меня: "Поверьте, мне очень жаль". Делает укол, тело можно не забирать. Что ни говори, а цены все равно непомерные...

Звонит Нина, говорит, что соскучилась и охотно бы со мной трах... Я не выношу таких выражений, что и довожу до ее сведения.

Она: "Да ладно тебе, не выпендривайся".

Я бросаю трубку и больше ее не беру. Позже — раскаяние и нежные мысли.

Опять укладываюсь в постель и думаю о Мазепе.

Долго плачу.

Клаус Бёлдль

"*Свет очей*"

Перевод Т. Баскаковой

Я тогда был таким маленьким, что еще не умел читать и писать. Но уже настолько большим, что хотел тому и другому научиться. В книгах мне нравились те страницы, которые были заполнены буквами целиком. Потому что там царили полнота, насыщенность, непрерывность — как в жизни. Страницы же, на которых помещалось много абзацев и некоторые строчки не доходили до края, вызывали у меня отвращение. Там зияли пробелы, отсутствовали взаимосвязь и цельность. В написанных мною книгах, думал я, такие белые пятна никогда не появятся. Все слова будут плотно пригнаны одно к другому.

В соседнем доме жила одна старая женщина. Ее звали фрау Мондшайн — имя я понимал буквально: госпожа Лунный Блеск. Потому-то я часто представлял себе, как по ночам, когда лунный свет проникает сквозь ее оконные стекла, она расхаживает по своей квартирке, вытирает пыль, стирает белье, готовит или читает газету: иными словами, делает все то, чем обычные женщины — моя матушка и мамы других детей — занимаются днем. На морщинистом личике госпожи Лунный Блеск под седыми завитками ее волос жили маленькие, сверкающие черным блеском глаза. В лунные ночи, так я себе воображал, над миром разливается какой-то особый свет, способный сделать эти глаза зрячими. Впервые ус-

© S. Fischer Verlag GmbH, Frankfurt am Main, 2001
© Т. Баскакова. Перевод, 2004

лышав выражение "свет очей", я сразу подумал о том, что не иначе как сама Луна посылает госпоже Лунный Блеск этот "свет очей".

Госпожа Лунный Блеск жила в той квартире вместе со своим мужем, который был очень болен. Он не вставал с постели, и госпоже Лунный Блеск приходилось за ним ухаживать. Я никогда не встречался с ним лицом к лицу. А когда вырос, узнал, что эта хворь прицепилась к нашему соседу Мондшайну — господину Лунному Блеску — в концлагере и что потом он лет тридцать от нее страдал. В годы же моего детства господин Лунный Блеск казался мне сказочным существом-невидимкой, и я всерьез думал, что в силу некоей таинственной причины его болезнь как-то связана с ночным образом жизни этой семьи.

В теплые дни госпожа Лунный Блеск обычно выходила "на полчасика" погулять — подышать свежим воздухом — и усаживалась на скамейку в нашем дворе. Она сидела с таким отсутствующим видом, что, по моим понятиям, ничего видеть не могла. Двор был большой, его обрамляли огородики. Но с одной стороны открытый, и видна была колокольня, которая, правда, относилась не к церкви, а к старинной ратуше. Стоило госпоже Лунный Блеск сесть на скамейку, как она начинала что-то рассказывать. Она, мол, провела в этом доме почти всю жизнь (словечко "почти" исключало времена Гитлера, но что тогда с ней происходило, я не знаю). Раньше колокола отбивали каждую четверть часа, рассказывала она. Однако на моей памяти — сколько я себя помню — они всегда безмолвствовали. Их совершенная неподвижность принадлежала к числу тех важнейших ориентиров, которым я, будучи ребенком, безоговорочно доверял: я, например, твердо знал, что мой отец возвращается с работы в полпятого или что в восемь в нашей комнате звучат позывные программы новостей, еще раз подтверждающие мне, уже полусонному, что все в порядке, что и на следующий день жизнь будет продолжаться предначертанным для нее образом. А вот госпожа Лунный Блеск когда-то слышала, как под медно-зеленым навершием башни звонят колокола, — и уже одно это ясно показывало, что она была существом из давних, незапамятных времен. О временах этих я ничего не знал, как и вообще о том времени, что предшествовало моему рождению. И что-то обидное чудилось мне в том, что мир настолько старше меня, что я в нем появился некстати, слишком поздно. Что все, кого я знаю, живут здесь уже очень давно, гораздо дольше, чем я. Со смесью восторга и недоверия смотрел я по воскресеньям телевизионные фильмы, вглядываясь в мир, каким он был до моего рождения: мир, в котором все — мебель, дома, деревья — располагалось в непривычной мне близости одно от другого. И в этой тесноте нелепо одетые люди двигались так, будто все вокруг пребывает в полном порядке.

В моих самых ранних воспоминаниях мир с какого-то момента начинает медленно, как бы еще не вполне проснувшись, смыкаться в одно целое: светлая кухня, залитая солнцем тропинка, ведущая к воде, влажная трава, страх, описанные штанишки, сперва горячие, после — мокрые и холодные... Взаимосвязанность всего и вся в этом мире, тогда заявлявшая о себе лишь неясным намеком, со временем становилась для меня все более очевидной и несомненной. Пространства же, которые я мог заполнять по своему усмотрению, неуклонно сужались. Только в самых дерзких, в самых уединенных играх мне удавалось заставить колокола звучать, да и то звук получался глухим, расплывчатым, ведь на самом деле я не знал, что такое колокольный звон. А вот госпожа Лунный Блеск когда-то слышала, как они бьют, эти самые колокола, роль которых во

взаимосвязи вещей теперь сводилась к тому, чтобы всегда оставаться безгласными, неподвижными. В рассказах госпожи Лунный Блеск мерцал и переливался неуютный свет того мира, в котором меня еще не было, который возник и существовал во время моего отсутствия. Он, этот мир, еще обходился без красок, в нем царили черно-белые образы, теперь вернувшиеся на экраны наших телевизоров.

Госпожа Лунный Блеск рассказывала о людях, живших здесь когда-то прежде: о сумасшедшем, который убил ребенка, о тучной оперной певице и о том, что, когда сама она, фрау Мондшайн, была еще юной девушкой с выгоревшими волосами, состоятельные семьи держали прислугу, а во дворе имелся колодец. Я так и не решился спросить у нее, как выглядели ее выгоревшие волосы, потому что за этой невнятной фразой мне мерещилось что-то темное, страшное, и вдаваться в подробности не хотелось.

Однажды, хмурым и душным от зноя летним вечером, фрау Мондшайн сказала, что, наверное, ее муж скоро умрет. Меня ее слова очень заинтересовали. Я хотел знать, как это происходит — умирание. Она объяснила: когда человек умирает, это выглядит так, как если бы он заснул. Только он никогда больше не проснется. И нужно раскрыть окно, чтобы его душа могла выбраться из комнаты и улететь на небо. Для души, которая всегда заперта в теле и вырывается из него разве что по ночам, когда человек видит сны, это великое событие. Понятно, согласился я, но потом, подумав, добавил: может, все-таки лучше продолжать жить?.. У меня самого души все равно не было, это я уже давно знал.

Но получилось так, что умерла сама фрау Мондшайн, всего через несколько дней после нашего разговора. Она упала, спускаясь по лестнице в погреб. Заснула в самом низу лестницы, на нижней ступеньке — так я себе это представлял. Сумела ли ее душа отыскать путь вверх по лестнице, через дверь подвала, на волю? На всякий случай я распахнул эту дверь и следил, чтобы она оставалась открытой — до тех пор, пока кто-то из соседей, выругавшись, не закрыл ее снова.

Все это трудно назвать историей, рассказом. Как это соотносится с темой чтения и писательства, мне тоже нелегко объяснить. Скажу лишь, что всего через несколько дней после смерти фрау Мондшайн я впервые пошел в школу. Там я научился читать и писать. Однажды меня наказали: мы тогда проходили букву "б", и учитель велел, чтобы я заполнил целую страницу словом болеет. Я обрадовался: с таким наказанием, решил я, можно жить... Та страница с многократно повторяющимся словом болеет стала моим первым рассказом. В нем, как я полагал, речь шла о нашем соседе Мондшайне, господине Лунный Блеск.

Пока мы не переехали в другой район, я любил сидеть на той самой скамейке во дворе и придумывать всякие истории. В них часто кто-нибудь болел или даже умирал, как фрау Мондшайн, но иногда, наоборот, описывались какие-то забавные происшествия. На скамейке Лунного Блеска, как я ее прозвал, мне почти всегда что-нибудь приходило в голову. И потому мысль о писательстве для меня и сегодня неразрывно связана с душными от зноя субботними вечерами, с безмолвной капелью часов, которую я ощущал под небом моего детства — с того неба струился, как влага, "свет очей", тогда как из открытого окна напротив доносился возбужденный голос футбольного комментатора, а за другим, закрытым окном лежал и непрерывно, без всяких пауз болел наш сосед Мондшайн, господин Лунный Блеск.

Лиана Диркс
И *нету* Вилли

Перевод И. Городинского

ВИЛЛИ исчез почти как в сказке. Он вскарабкался на паровоз, паровоз взлетел, облака раздвинулись, небеса озарились, и Вилли сгинул.

Как это ему удалось, я не знаю, и даже не знаю, откуда взялся паровоз. Но точно помню его картуз и старенький засаленный сюртучишко, он выглянул, ухмыляясь, еще раз из кабины машиниста, кивнул — и поминай как звали. Поговаривали, что не обошлось без музыки, известной музыки сфер, в чем я сомневаюсь, по мне, так и смерть тут ни при чем. И начинается эта история с конца, что тоже странно, обычно сначала завязка идет. Но Вилли заявил бы, что это никакая не история, и, честно говоря, мало-помалу я начинаю думать, что так оно и есть. Это жизнь, а что такое жизнь? Это ведь то, что все время убегает, только и всего; разбег, уход, шмыг — и все. Ветер, дуновение, которое ищет постоянства.

Видимо, он удрал из гроба. Может быть, Вилли попросту надоела неуклюжая старуха, которая все ходила в церкви вокруг гроба, помогая пастору, или речи показались слишком грубыми, или нас пожалел, как неубранные капустные поля зимой, а может, это было только озорство, но похоже — Вилли просто хотел посмотреть на все сверху. Ему нравилось смотреть сверху. Только не дано это было ему. Он был очень маленького роста. Всю жизнь. Да еще горб. Горб накрепко прилепился к плечу справа. Вот и получилось, что голова будто воткнута прямо в плечи и покачивается, как у китайского болванчика. Волосы седые, телом худой, кожа тонкая — чистый пергамент. И глаза, такие большие, словно они, раз уж сам Вилли телом не вышел, нарочно предназначены были для обзора сверху.

Собственное тело он называл фигурой подводника. Во время войны Вилли служил на флоте. Он был единственным, кто мог вытянуться во весь рост на койке. Наверное, это было ему на руку. Он запросто мог пролезть сквозь любую щель, будь это даже зазор в брюхе движущейся подводной лодки с торпедами и эхолотом. Возможно, иногда он накрепко застревал из-за своей спины, но это было давно, а мертвый горб подобен воздушному шару — он тянет только вверх.

Война — это непрерывное ожидание, твердил Вилли, сидишь в воде и ждешь. Война была сплошным испытанием на долготерпение. Но в Норвегии они тайком гнали шнапс из картошки, из чего же еще. Однако потом на лодку явился офицер и учинил расправу. Приказал вылить шнапс в море, а змеевики и колбочки разбить. Когда он явился снова, они подпилили леера, и офицер ухнул в море, тут матросам стало не до смеха, и они швырнули ему вслед спасательный круг.

Больше он на лодке не появлялся — даже плавать гад не умел.

© 2003 by Deutsche Verlags-Anstalt, München
© И. Городинский. Перевод, 2004

– Слушай, знаешь, я был на все руки мастер, чуть что отремонтировать, без меня никак, подать сюда маленького Вилли. И выпить я тоже был не дурак. И если нам случалось сойти на берег, мы были им, норвежцам, по нутру.

– Да ты что, Вилли, – ответил я, – ты же всегда всем по нутру.

Он засмеялся.

– Ха-ха, ты вправду так думаешь? Вот это да, значит, ты так думаешь! – Он пустился в пляс, исполняя коротенький танец гномов, хлопал в ладоши, седые волосы взметнулись. – Вот здорово-то, я всем всегда по нутру. Где собака? – заорал он. – Подать сюда собаку! Приведи мне свою собаку!

Он обегал всю деревню, что-то искал, собачник эдакий, поводок ему не нужен, вместо веревки голос.

– А убитые, Вилли, – поинтересовался я, – убивать приходилось?

– Я не застрелил ни одного, – ответил он.

– А торпеды?

Он улыбнулся:

– Как же без них-то.

Пес высоко подпрыгнул, Вилли едва не кувырнулся.

– Зачем ты его привез, этого желтого карибского ублюдка?

– Ах, Вилли, – вздохнул я, – каждый раз один и тот же вопрос.

Пес стоял на перекрестке и ждал, к тому же он был еще маленький.

– Он совсем дикий.

– Верно, это любовь.

– Любовь, которая царапается? У меня идет кровь! – Вилли показал дрожащие руки.

– Натри руки кремом, – сказал я, – в старости всегда так, кожа становится как бумага.

Тут собака возьми да и лизни его. Молодец пес!

– Говорю тебе, это любовь.

– Любовь, конечно, любовь, любовь зла – полюбишь и козла.

Жена болела раком легких, сын дурак, доченька куколка. Пришла смерть в дом, любовь из дома бегом.

– А ты? – спросил он. – Ты-то как?

– Послушай, – сказал я, – здесь я задаю вопросы.

Он смеялся, семенил в мокасинах, волосы снова взметнулись. Когда он смеется, поднимается ветер, лицо светлеет, серо-голубые глаза блестят.

– А ты? Мельник, молоко, бидон, выйди вон. До этого еще далеко, – он посмотрел на меня. – Твое счастье от тебя не уйдет.

Потом он уходит вместе с собакой. Животное мотает мордой на уровне его талии, а есть ли у него талия?

– Вилли, – закричал я, – смотри-ка, тебя совсем перекосило!

– Я просто не на те пуговицы застегнулся!

Но на самом деле талия у Вилли есть, потому что грудная клетка у него тоже пучится горбом, а поэтому оставшаяся часть тела много тоньше, так что у него, можно сказать, осиная талия.

– Вилли, – сказал я, – я знаю одного танцора с тебя ростом и вообще...

– И он танцует? – Вилли остолбенел.

– Да, – сказал я, – танцует. Я его уже видел полуголого на сцене, он висел и качался на трапеции с магнитофоном, а пела-то Каллас.

– А он рисковый, этот мужик.

– Да, – сказал я, – рисковый, он там еще лепестки у хризантемы оборвал, потом взял пылесос, пустился с ним в пляс и всосал лепестки.

– А Каллас пела?
– Так ведь магнитофон.
Он захихикал.
– Вот смехота.

Он шел по деревне, которую уже нельзя было узнать, просто глазел по сторонам. Там, где раньше жил учитель, теперь поселились тайцы. Целая банда сидела на корточках, и все ели ложками рис. Рис с яйцами, рис с крабами, рис с рыбой. Ели утром, в полдень, вечером, ночью в саду, сидя на старых автомобильных сиденьях, знай себе наворачивают из пластиковой посуды. Их привезла маленькая женщина в голубом платье с модным кушаком, всю родню. Потому что сын учителя Франц, приятель Вилли, захотел в старости убедиться, что он еще может. И так как кёльнские девки его до себя не допускали, он взял тайку. А потом втюрился в нее всерьез. Женился, поехал с женой в Таиланд и тоже ел рис от пуза – в сезон дождей, в засуху, утром, в полдень, ночью, два года, пока не заработал тоску по дому, тосковал ужасно по свиному холодцу, кровяной колбасе и ржаным рогаликам с сыром. Потом вернулся, упивался пивом всласть и умер прямо в пивной. Жена унаследовала дом, вызвала родню, теперь они там и сидят. Под кустами бузины, где Вилли играл, еще когда маленький был: "Покажи-ка нам твою пиписку, она такая же скрюченная, как ты?"

А рядом кусок луга, слякоть, на лугу две лошади с трещинами на копытах. "Они наверняка сдохнут, а охраны животных и в помине нет", – каждый раз сокрушался Вилли. Здесь банда тайцев, там лошади, здесь дома – квартал К6. У каждого дома крохотный садик, куда только детские качели помещаются, и в каждом садике как раз такие качели и стоят, такие все ярко-розовые. В каждой семье по меньшей мере шестеро детей и отец-чернорабочий, который работает полдня, потом всякие безобразия на детских площадках: то контейнер подожгут, то легковушку поцарапают, то антенну свинтят, то ребенка побьют, но самое распрекрасное – это кёльнская высотка. Какое украшение для деревни, груда камней высотой в тридцать этажей.

Хоть разок забраться на самый верх, стать великаном, очутиться там, где они под Рождество зажигают стальную елку. Рождество здесь тоже бывает. И кричать, и кивать, и вертеться.

Только на самом деле это гетто, тут дерьмово. Зимой все это мерзнет в слякоти капустных полей, летом жара как заляжет между блочными домами, никакой ветерок не прошмыгнет. Только ненависть грохочет ударами мячей в стены. Шайбы, стальные сетки на игровых площадках... чем не лагерь для военнопленных?

Здесь турецкая мафия бьется с русской, трах-тарарах – и парочка трупов. Итальянцы управились с этим делом давно, они живут в кварталах поспокойнее. В лифте застревают трехлетки с ротвейлерами, и каждый месяц кто-нибудь спрыгивает с крыши. "Скорая помощь", слякоть, брезент сверху.

– Странно, – говорит Вилли, – большинство приземляется перед аптекой. – Он качает головой и смеется.

– Конечно-конечно, совсем забыл, пошли, пес, жизнь продолжается. И какая же ты все-таки здоровущая скотина, ублюдок. А может, тебе рэгги[1] не хватает, это ведь то самое, что они там поют?

1. Рэгги – простая ритмичная музыка в стиле "рок" вест-индского происхождения. (*Здесь и далее, кроме оговоренных случаев. – прим. перев.*)

"Альди", "Лидль", там в придачу нынче дают биомолоко. А здесь крестьянин с яйцами как из концентрационного лагеря, их продают автоматы. Где еще такое найдешь! Во всей Германии ничего такого больше нет. Даже у нищих горемык на Востоке. Шесть яиц за один евро, карман автомата открывается – плюх, плюх. Раньше в таких вот штуковинах лежали бутерброды или дамские чулки. Только фирмы "Белами". Никак не иначе. Дата на яйцах не стоит. Где еще такое найдешь! У этого типа тысячи кур, а ты и знать ничего не знаешь. Господи!

А здесь церковь и капуста, кругом одна капуста, кёльнцы явно не на уровне...

Но вдруг сзади раздается:

– Ты только глянь, глянь вон туда, – он протягивает руку к горизонту. – Вилли, слезь с крыши, что ты там делаешь?

– Sorry! – кричит он. – Я хочу увидеть Нью-Йорк. Sorry!! – кричит. – Ты видишь Нью-Йорк? Вот же он, смотри: Скайлайн, Манхэттен. Мы наймем лодку, у меня еще сохранилась форма, мне ее отлично сшили, правда, давненько. Вниз по Рейну, через Северное море, потом через Атлантику. Война была ужасная, война была одно сплошное ожидание, но Нью-Йорк-то – красавец!

– Это не Нью-Йорк, Вилли, это "Петрохеми"!

– Я хочу увидеть Фреда Астора и Синатру, эту свинью, ты знаешь, что он свинья?

– Фред Астор умер, а ты давай спускайся. Это опасно.

"Что я должен делать, если мне грозит опасность?

Если Вы почувствовали непривычный запах, поднимитесь на верхний этаж, так как газ чаще всего тяжелее воздуха и стелется по земле.

Не пользуйтесь телефоном, линии связи – для вооруженных сил.

Оповестите соседей голосом.

Запрещается спасаться бегством как на автомашине, так и пешком.

Проезжие дороги – для вооруженных сил.

Ничего не предпринимайте на свой страх и риск. Оставайтесь на месте в том виде, в каком Вас застала опасность. Воздушное пространство – для вооруженных сил.

Помогайте прохожим"[1].

После войны Вилли водил по тем местам поезда. Составы для олефиновых заводов, для заводов "Дегусса" и "Шелл". Впереди маленький Вилли, позади в утробе ядовитые вещества. На велосипеде из деревни к нефтеперегонным заводам. На голове шапка, курточка нараспашку, в кабине машиниста для него привинтили скамейку, чтобы он мог видеть путь. Отсюда – туда, оттуда – сюда. В промежутках он читал. Манна, который Генрих, Грасса, Бёлля, в общем очень много. И газеты тоже. Когона, Кёппена, "Панораму" почитывал. Господи, мир так велик. А Вилли такой маленький, а время бежит – не зевай. Господин Вилли строит дом, это было еще до небоскреба. В саду он принялся выращивать розы. В то время в моде был сорт "Снегурочка".

– Не бери яблок у злых женщин, не забудь, я карлик.

– А я, Вилли, этого и не делаю.

– Твой друг не хочет разводиться. Почему?

– Но, Вилли, ты ведь знаешь, он погиб, обгонял автобус.

1. "Нашим соседям для сведения", Кёльн, 1997. (*Прим. автора.*)

— А новый, новый, как поживает он? Старого она не вернет никогда.

— Все-таки, Вилли, разве любовь за людьми не водится?

— Я выращиваю розы, а лилии выращиваешь ты. У твоего друга была депрессия. Почему?

— Стало быть, жизнь так распорядилась.

— Жизнь, жизнь! Он умный был и выпить не дурак, и он так любил тебя.

— Вилли, застегни брюки, и вообще — купи новые, а то ширинка всегда нараспашку.

— Счастье тебе должно привалить, — сказал он. — У меня никогда не было другой жены. Маленьких-то не больно много — не разбежишься. Да и дети колотили бы ее, ведь они свою маму хотели. Мама. Мама.

— А ты сам-то тоскуешь?

— У меня сад был большой, прямо гигантский.

— Нет, скажи, ты-то тоскуешь?

— У меня сорта всякие были: "Любовное томление", "Хадлей-роуз", "Рандеву", "Симфония" и "Конрад Аденауэр". А вот эти, взгляни-ка, поздоровайся, это "Конрад-Фердинанд-Майер". Посмотри, какие побеги — толстые, красные. Какой аромат! Как много шипов! А у тебя какие?

— У меня есть "Жорж Санд", "Сильвия Плат" и эти вот, я их "Бахман" назвал. Цветы величиной с головку ребенка, цвета пламени, и каждый цветет всего один день. Я могу разредить их, оттяпать кое-что для тебя. Вот тебе побег с цветком, маленький противный гном!

— Стихи, стихи получились! Ты ж рассказы писать должен!

— Без начала, без конца нет рассказа, нет словца.

— А ты ее бил когда-нибудь?

— Ей-богу, ведь вы были такой отличной парой.

Вилли был моим соседом. Мы передавали друг другу через забор садовые ножницы, удобрения для роз, распылители, журналы для садоводов и обсуждали всякую всячину. Вернется ли он? Исчезнет ли снова? Отправится ли вновь бродить по белому свету? А как детки у тебя поживают? А собака? Почему ты назвал пса Джорджем? А с легкими у тебя как, Вилли, что с ними, по-прежнему посвистывают?

А ты сам? Что делаешь ты? Пишешь, читаешь, раздумываешь?

И что такое, собственно говоря, форма рассказа?

Вилли за всю свою жизнь наслушался ораторий и опер, Генделя, Гайдна, Моцарта, Баха. И конечно, итальянцев!

Он с удовольствием ел и с удовольствием пил, но если бедствовал, то мог ничего не есть целыми днями. И он совсем не прочь был стать оперным певцом, или писателем, или человеком высокого роста. Он с удовольствием строил бы мосты, подводные лодки для мирных целей, как Кусто. Он спас бы Коралловое море.

Вместо этого Вилли построил три дома и четвертый в Турции. Он отказывал себе во всем. Настолько, что выжимал сок из дешевых лимонов и замораживал его в виде пакетиков. Он закатывал консервы, варил варенье, сам выращивал картофель и зимой ежедневно перелопачивал в погребе яблоки. Он по воскресеньям ездил на велосипедике от супермаркета к супермаркету на распродажи, собирал и привозил домой использованные бумажные салфетки, сортировал их по цвету и стопками раскладывал на тумбочке у входа в туалет — пригодятся.

Другим Вилли отдавал все. Какому-то черномазому — один дом, какому-то турку — второй, третий он отдал своим детям. Черномазого деревня ему никогда не простила. Тот выкрасил дом в голубой цвет и стучал на барабане всю ночь. Турок жил в саду. С семьей и грилем на древесном угле, а семья его все росла и росла.

Дочурке Вилли, маленькой бабочке-капустнице, было тринадцать, когда умерла мать. У нее тогда едва только крылышки наметились, а тут она опять забилась в кокон. Она растила маленького брата, придурка, который переболел полиомиелитом. Когда она выросла, Вилли стал бродить по свету вместе с ней.

— Я не был только в Нью-Йорке, зато был в России, искал Дедушку Мороза, но нигде не нашел, время года было не то. Гитлер врал нам напропалую, поэтому я хотел побывать в России. Из Москвы — в Якутск, из Ленинграда — в Алма-Ату, "*...где ходят люди с изюмными глазами, где ходит перс с глазами как яичница!*"[1].

Как яичница, вот умора, ха-ха-ха. А еще я был в плену, поэтому говорю по-английски: My name is Willy, I am from Germany, yes sir, sorry sir, excuse me sir, good-bye sir.[2]

Ты тоскуешь, ты часто плачешь? Я богатый Вилли, великий Вилли, приглашаю тебя в мой дом в Турции. Я экономил на всем.

Турки вели себя как европейцы, а я был их dede alman[3]. Потому что я дал им жилье, поэтому, только поэтому.

Избавил их от каменного угля, опустил вниз с двадцатого этажа на землю, деде, деде, знаешь ли ты, что это такое, дедушка, дедушка, alman дедушка.

Из моего дома ты можешь увидеть горы, море, лопнувшие трубы на улице. Ничего не получалось, не клеилось. И несмотря на это дом вышел что надо. Приезжай, возьми с собой детей и вашу собаку. И как только можно было назвать пса Джорджем, знаешь, как это звучит в Кёльне? Шорш!

Я могу показать тебе все, они там любят меня, они сами маленькие, турок ростом невысок, один из них постоянно хватал меня за волосы. А потом мы поедем в Токат, должен же ты что-нибудь увидеть, кое-что я тебе покажу, должен же ты что-то почувствовать на собственном опыте. Там, в Токате, в горе сияет медь. Там ты не поспишь, там никто не спит. Для тебя это то, что надо. Ты сможешь ночи напролет писать, головушка гудит, пальчики летают...

Я рабочий, я много читал. И всегда голосовал за СДПГ, почему ты отворачиваешься?

Пощади меня, о горе, о несчастье, разве я не похож на ребенка?

А вот и господин пастор. Надо быть начеку, инквизиция. Моя мать была протестанткой, теперь он меня убьет, в школе я всегда должен был сидеть за отдельной партой, но потом мы перешли в другую веру.

— Привяжи покрепче собаку, святой Георг, почему ты ее привел, собака слишком большая. У него INRI[4] в руках, а что мне делать, когда опасность рядом?

1. О. Э. Мандельштам. Четвертая проза. (*Прим. автора.*)
2. Меня зовут Вилли, я из Германии, да, сэр, простите, сэр, извините меня, сэр, до свидания, сэр (*англ.*).
3. Дедушка немецкий (*турецк.*).
4. INRI — Иисус из Назарета, царь Иудеев.

— Вилли, слезай, что ты там затеял? Чего доброго, шею сломаешь!

Господин пастор жил позади нас. Его звали Юпп, он был ровесником Вилли. В саду напротив моей террасы на веревке болтались его выстиранные подштанники. Их стирала его сестра.

Я часто наблюдал, как они качаются на ветру, то повиснут, то вздуются. Сестра стирала для него, готовила, убирала и делала закупки.

Церковь господина пастора всегда была переполнена, переполнена правоверными. Они приходили уже к утренней мессе, Вилли называл их горцами. Они выплескивались из многоэтажек и, веруя, текли по улице.

Когда господин пастор не служил мессу, он пестовал своих петухов. Господин пастор разводил петухов. Он отлучал их от куриного общества и надевал им маленькие белые очки, которые смотрелись как крошечные пластиковые наглазники. Он делал это, чтобы петухи не могли покалечить друг друга. Господин пастор даже в курятнике насаждал безбрачие.

Когда петухи созревали, он выбраковывал их, самых сильных сажал в короб. Они предназначались для петушиных боев в Эйфеле.

Петушиные бои запрещены, но что с того. У нас они кукарекали, там они умирали.

— Я же говорил, — кричал Вилли, — это настоящая инквизиция.

— Но иногда, Вилли, он их все-таки забивал.

— Так это только самых слабых!

Слабых — в кастрюлю, сильных — на поле брани.

— Вилли, — закричал я, — это чудо, что ты живешь!

— Разве я живу? Я нужен им был, вот и все. Подать сюда маленького Вилли! Если бы я был им не нужен, то я остался бы там, на дне, и в кабине машиниста был бы сейчас другой.

Олефин и Серафим.

— А сейчас пойду на вторичную термообработку. Яды, лаки, больничные отходы, особые отходы. Они мою спецовку прожигают. Привяжи покрепче собаку.

Во что они превратили нашу деревню. Здесь ведь раньше рыбаки жили. Мы ели мидий и лососей, а теперь каждый год получаем новую брошюру:

"Информация для наших соседей!

Факелы служат для безопасного сжигания газов при авариях на производстве"[1].

При этом небо становится красным, и даже в деревне трудно дышать.

Потому что огонь сжирает кислород, вот почему.

Но Кельну повезло: отработанные газы добираются и до богатеев, до кокаиновых заправил, до продажных политиков, до кинозвезд с пластиковыми сиськами.

Они собираются взорвать многоэтажки. Но перед этим я хочу еще раз влезть наверх.

Когда дети у Вилли выросли, он стал выгуливать собак. Чем меньше ростом становился он, тем больше становились псы. Последним был наш, доисторическое животное, Джордж, я приобрел его на Карибах, как бы

1. "Нашим соседям для сведения", Кёльн, 1997. (*Прим. автора.*)

в память о моем детстве. Я всегда мечтал о желтых собаках, всю жизнь бежали они сквозь мои сны. Но потом его выгуливал Вилли, в сущности Джордж принадлежал ему.

Когда Вилли умер, умер и Джордж. Не от боли — он сожрал яд.

Русские вели себя как настоящие европейцы.

Почему они облачают покойника в спецовку, словно он идет на работу? На какую? А под спецовкой ничего нет.

Вилли умер от воспаления легких и апоплексического удара.

Он почти не пил, Вилли не хотел больше жить. Он высох, он хотел стать бесконечно маленьким, сжаться, исчезнуть, не быть, вернуться в свой горб.

Он лег в больницу, что рядом с "Петрохеми", он мог бы не пасть духом и сохранить ясный ум, но на это у него уже не было сил. Вилли разбил паралич.

Потом гроб. Детский гроб. Детская могила для восьмидесятилетнего.

Откуда это всегда сбегается столько людей, да еще так быстро?..

Гроб привезли, часовня была открыта.

Тысячу один раз проходили мы мимо этого кладбища, тысячу один раз.

— Расскажи мне что-нибудь, ты ведь умелец, знаешь, как это делается, рассказ ведет от пункта А в пункт Б, как моя маленькая железная дорога. Вот только жизнь закручивается водоворотом и устремляется прочь.

— Представь себе, я вывел новую розу "Сувенир де ля Мальмезон", полосатая роза, просто чудо.

— Бедная Жозефина! Французы вели себя, как настоящие европейцы!

Теперь в придачу они строят рядом еще один поселок. Четыре дома в линию с автостоянкой, церковь выделила деньги на дома для многодетных семей. Десять рядов по четыре дома, а жители квартала К6 уже повышибали все окна из недостроенных домов. Рядом кладбище, вокруг кладбища капустные поля.

Хорошо, что ты там больше не живешь, говорят мои новые друзья, там лучше не жить. Но так ли это? В самом деле?

Присутствовали дочка, сын, пастор Юпп, но без петухов. Пришли турки, черные тоже были, Джордж, дети и я.

Тайцы вышли на берег из подводной лодки.

С высотки кивали горцы — хоть разок поглазеть на Нью-Йорк, на Манхэттен, — бросали информационные листки в знак приветствия. На горизонте горел факелами газ, красное остроконечное пламя, потом мимо проехал поезд, в кабинке машиниста виднелась скамейка, облака разошлись, и небо порозовело.

Дорис Дёрри
Конец сезона

Перевод Б. Хлебникова

ВНИЗУ, в долине, распустились фиалки. Лили слышала об этом от Зеппа, обслуживающего подъемник, — это он по утрам приходит первым, включает радио и подвешивает гондолы. За три последних месяца Лили спускалась в долину всего четыре раза, ведь каждая поездка обходится в двенадцать марок, а Зепп тут ничем помочь не может, все оплаты идут через компьютерный горнолыжный абонемент, к тому же внизу, в деревне, такая же скучища, как и здесь, наверху.

Сделай это ради меня, умоляла мать, хоть раз в жизни сделай что-нибудь ради меня. Вот и просидела Лили в отеле "Хирш" на вершине Хиршхальма целых сто дней, так и не научившись за это время ни кататься на лыжах, ни пользоваться сноубордом, ежедневно задаваясь вопросом, зачем, черт возьми, она уступила матери.

Лили не могла отделаться от чувства жалости, которое вызывала у нее мать с ее плохо покрашенными волосами, бледным, нездоровым цветом лица, усталыми глазами и, конечно же, отечными, как у всех официанток, ногами — особенно той, где большой палец посинел и распух, а ноготь кровенил.

Не хочу, чтобы у меня были такие же ноги, ни за что, подумала Лили, но тут же пообещала матери работать вместо нее четыре месяца в отеле на Хиршхальме. И вот результат. Здесь до сих пор лежат сугробы высотою в три с половиной метра, хотя в долине, по словам Зеппа, давно ходят без чулок.

С самого декабря ее окружала белизна — цвет, который, собственно, не является цветом; белизна все поглощает и отравляет ей нутро, подобно крысиному яду. Лили мечтает о зелени, а еще о том, чтобы кто-нибудь был с нею рядом.

В ее каморке висит фотокалендарь с цветами, их названия она выучила наизусть и бормочет их перед сном: касатик, волчник обыкновенный, водосбор темный, белоцветик весенний, касатик желтый, морозник, венерин башмачок, купальница, роза альпийская волосатая, прострел альпийский, горечавка ластовая, горечавка венгерская.

Габор, Марта и Золтан никогда не слышали о горечавке венгерской, Лили спрашивала их об этом. Эти трое — отец, мать и сын — каждую зиму работали на Хиршхальме, в апреле делали двухнедельную передышку, потом переезжали в отель на Балатоне. Для Лили оставалось загадкой, почему Золтан, худощавый и застенчивый парень, не уходил от родителей. Сидит себе и пялится в окно. Лили ждала, что он когда-нибудь решится заговорить с ней. Иногда слышно, как он ритмично постанывает за стенкой в соседней комнате — конечно, ему приходится что-то делать с собой, чтобы не тронуться умом. Как и ей самой. Она даже не догадывалась, до чего тяжело будет просидеть наверху целых три месяца, до чего одиноко.

© 2001 by Deutsche Verlags-Anstalt, Stuttgart München
© Б. Хлебников. Перевод, 2004

А Зепп, трогательный бедняга Зепп? Через сто дней она едва не поддалась ему. Едва. За восемнадцать дней до окончания сезона. Но тут неожиданно появился Огненный Дракон.

Пока еще она ничего не знает о нем, каждый день думает лишь о том, как бы сбежать отсюда прочь, и иногда Габор, чтобы подбодрить, пощипывает ее за попку. Обслуживая гостей, Габор и Золтан надевают белые рубахи и черные кожаные жилеты, отец — приземист и толст, сын — худощав и высок ростом. Порой Габор тихо и спокойно что-то втолковывает сыну по-венгерски, но чаще оба миролюбиво помалкивают, аккуратно складывая салфетки. Марта, жена Габора, работает на кухне и лишь изредка появляется в зале ресторанчика. К концу сезона она выглядит бледной и усталой, от нее пахнет мясом. Лили — вегетарианка, а потому уже одна мысль о подобной работе кажется ей нестерпимой. Марта лишь качает головой. Плохо для здоровья, говорит она и продолжает изо дня в день готовить сырные клецки, омлет королевский, шпинатные блинчики.

Слова "конец сезона" становятся для обслуживающего персонала своего рода мантрой, но пока еще сезон не кончился. Фрау Пфефферле, хозяйка отеля, велит всем расписывать яйца; она принесла из долины ветки форсиции, чтобы потом повесить на них расписные яйца, поскольку каждое время года требует особых декораций. На Новый год они надували воздушные шарики, на фашинг[1] рассыпали конфетти и надевали дурацкие шляпки. Теперь же фрау Пфефферле достала откуда-то чучела цыплят, которым напялили самодельные фартучки, перед тем как поставить на каждый столик. Лили берет пушистый комочек, чувствует, как в ладонь впивается острый клюв — противно. Габор кладет руку ей на плечо. Уж больно Лили у нас чувствительная, говорит он и забирает цыпленка. Ей хочется схватить хлебный нож, чтобы всех прикончить. Ах, мышка моя, успокаивает ее каждую неделю мать в телефонном разговоре, скоро все останется позади; голос у нее кажется все более довольным, и у Лили возникает подозрение, что прооперированная нога заживает гораздо быстрее, чем мать об этом рассказывает.

Лили приехала сюда наверх 27 декабря, в снежную бурю, совсем одна в гондоле, раскачивавшейся над вершинами деревьев. Чувствовала она себя погано, что, впрочем, почти не отличалось от ее обычного состояния, так как мутило ее постоянно. Слишком много вечеринок, противозачаточных пилюль, неверных парней.

— О! — воскликнула фрау Пфефферле, впервые увидев Лили. — Китаяночка. Рита могла бы и предупредить.

Лили только головой мотнула, как лошадь, отгоняющая мух.

— Не больше двенадцати минут на комнату, — строго инструктировала ее фрау Пфефферле, — не больше двенадцати, ясно? Причем в стирку идут лишь те полотенца, которые валяются на полу.

Удивительно, как свинячат люди у себя в номере, когда знают, что наутро придет убираться горничная. В первый день она заревела уже после четвертой комнаты.

— Рита поначалу тоже выла как собака, — сказала фрау Пфефферле.

Еще ребенком Лили чувствовала у себя в груди большую птицу, которая больно колотилась о ребра, и она, Лили, была готова на что угодно, лишь бы избавиться от этого ощущения; позднее, заметив, как у матери начинает подрагивать нижняя губа и срывается голос, она тут же выходи-

1. Фашинг — период карнавалов и маскарадов, соответствует Масленице. (*Прим. перев.*)

ла из комнаты. Мать считала ее бессердечной, но привыкла сначала говорить то, что нужно было сказать, и только потом разражаться рыданиями.

Нет, горы не были сказочно прекрасны. Если сияло солнце, Лили казалась себе ничтожной перед их величием; если на вершины ложился туман, она боялась затеряться во мгле; а когда валил такой снегопад, что не различишь и собственной ладони, у нее начиналось что-то вроде клаустрофобии.

В первые дни от перестилания кроватей ныли руки. Когда заканчивалась уборка номеров, приходилось накрывать в столовой, готовиться к обеду; не успеешь закончить — уже собираются постояльцы, грохоча лыжными ботинками.

Через четыре дня после ее прибытия праздновали Новый год — 2000-й. Дурацкое событие. Когда наконец наступила полночь, все постояльцы высыпали наружу, столпились в углу веранды, где мобильники, хотя и слабо, но все же работали, и принялись трепаться по телефону.

Фрау Пфефферле запечатлела на щеке у каждого свой розовый поцелуй, в ее глазах, обрамленных сеткой морщинок, стояли слезы: С новым тысячелетием! Танцуют все! Лили видела, как некоторые из постояльцев запускали потешные ракеты, которые тут же исчезали среди темной громады гор; ей сделалось страшно, что вот так же просто может угаснуть и ее жизнь, не успев толком разгореться. Она бросилась к гондолам, встала перед контрольной телекамерой и, задрав свитер, покачала полными голыми грудями. Но тут же собственная выходка показалась ей глупой, стало одиноко. Освещенный отель "Хирш" и люди в его окнах были похожи на картинки из телефильма.

Хорошо хоть грудь у тебя не такая худосочная, как у китаянок, твердила мать; зато глаза у Лили узкие и косые, лицо плоское, волосы черные и гладкие. В детском саду ее прозвали Китайской Лилией; почему-то другого имени, кроме Лили, мать выдумать не могла. Как звали того мужчину, мать не помнит — то ли Лю Фен, то ли Фен Лю; он был официантом китайского ресторанчика в Розенхайме. Ни за что не стану официанткой, клялась себе Лили, делая школьные уроки за столиком очередного ресторана, где работала мать.

С той новогодней ночи, когда Лили задрала свитер перед контрольной телекамерой, Зепп каждый вечер, выключив подъемник, приходит в ресторанчик и, потягивая фруктовый напиток, бросает на нее тоскливые взгляды. Массивный, обожженный горным солнцем мужчина с огромными ручищами; впрочем, после трех месяцев вынужденного любовного воздержания даже он стал ей небезынтересен, а когда Зепп заговорил о распустившихся в долине фиалках, Лили догадалась, что скоро получит фиалку в подарок, а потом, наверное, шоколадку.

За восемнадцать дней до окончания сезона прибыла группа студентов, возглавляемая профессором — маленькой стройной женщиной с крашеными рыжими волосами. Какой она преподает предмет, Лили так и не поняла, во всяком случае профессорша выкладывала на стол часы-луковицу, а студенты принимались лихорадочно строчить в своих тетрадках, чтобы потом вслух зачитывать написанное; через каждые два часа объявлялся перерыв, и Лили приносила большие термосы с кофе; лишь один из студентов, самый симпатичный, пил чай. Высоченный парень, вьющиеся черные волосы, почти такие же черные, как ее собственные,

глаза за очками в никелевой оправе — синие, вроде колокольчиков горечавки. Губы и щеки пухлые, в лице что-то ангельское. Лили так и называет его про себя — Большой Ангел.

Утром, склонившись за завтраком к чучелу цыпленка, он поморщился. Эта реакция и покорила Лили. Поворачиваясь, он случайно попал ей локтем в глаз, тут же извинился. Лили только отмахнулась, хотя синяк остался. Теперь каждый раз, заприметив ее, он смущается, а она улыбается и чувствует легкую дрожь. Лили с благодарностью отмечает, что в своем номере он аккуратно развешивает одежду или складывает ее на стул, а мусор бросает в ведро. Зубная щетка у него новехонькая, он пользуется дезодорантом, бреется безопасной бритвой. Все это ей нравится.

На его ночном столике Лили обнаружила книжку: *Год Дракона. Китайский гороскоп на 2000-й год.* Осторожно взяв книгу, она отыскала страничку, где значится год ее рождения: 1979. Она — Коза. С этим, пожалуй, согласились бы многие из тех, кто меня знает, думает она. *Коза,* читает Лили, *активна и полна энергии. Только действуешь ты слишком скоропалительно. Надо умерить пыл. Не получив того, что желаешь, наяву, ты начинаешь фантазировать. Тебе всегда хочется чего-то большего, чем у тебя есть.* Верно, бормочет Лили. *Но жизнь будет к тебе добра.* Жизнь будет ко мне добра, шепчет Лили. *Козы легко уживаются со всеми другими знаками Зодиака, кроме Зайца. На Зайца у Козы не хватает терпения. Благоприятны сочетания с Петухом, Лошадью и Собакой.*

В обеденное меню Лили вписала: "Жаркое из серны с красной капустой и кнедликами". Постояльцы удивленно рассматривают поданного им гуся. Большой Ангел расхохотался:

— У серны, значит, бывают крылья.

Лили покраснела. Выбежав после обеда на веранду, она принялась разыскивать его глазами. Вдали гудели подъемники, таща по склонам гор игрушечные фигурки лыжников, на снежные вершины надвинулась шапка тяжелых туч. Может, ей удастся разглядеть на трассе его красный комбинезон? Она впервые пожалела, что не умеет кататься на лыжах. Жизнь будет добра ко мне, прошептала она.

В регистрационном журнале Лили отыскала его фамилию и дату рождения: Петер Грюнлер, 7 июня 1976 года. Сверилась с китайским гороскопом: год рождения 76-й — Дракон. Стало быть, Ангел — Дракон. *Огненный Дракон поднимается в небеса. Он будет могуществен и прославлен. Он найдет себе союзника, а когда наступит пора, к нему придет счастье. Но Огненный Дракон любит и одиночество, нужно помочь ему открыть себя... Дракона интересуют Змеи, Крысы и Обезьяны. Шанс сойтись с Драконом есть у Лошади и Козы.* Шанс есть. А большего ей и не надо. Он пробудет здесь еще целую неделю. *10–17 марта: трудная неделя для Дракона; достаточно неловкого движения, и может случиться беда. Лучше оставаться дома!*

Совет Козе: *Остерегайтесь электроприборов. Влюбленной Козе следует решить свои проблемы в течение недели, иначе будет поздно. Она их не решит никогда!*

Когда он заказал себе порцию шоколадного торта "Мавр в рубашке", у нее екнуло сердце.

— На лыжах все было в порядке?

У него удивленно взлетели брови. Подъемники закончили свою дневную работу, и Зепп подарил ей маленькую горную фиалку. Спасибо, холодно поблагодарила Лили.

Петер поднялся с места, Лили быстро спрятала фиалку и скрылась на кухне. Марта взглянула на синий цветок. Проговорила: вот снег сойдет, опять любовь начнется.

Лили надеялась, что погода для лыж будет хорошей. Ведь и без того осталось всего пять дней. Трудная неделя для Дракона, для Козы тоже.

Во вторник сломалась микроволновка, в среду перед Лили заголился в своем номере пожилой мужчина, в тот же день Габора подкосил сильный грипп, в четверг заболела Марта, и Лили пришлось помогать на кухне. В пятницу она валилась с ног от усталости, а отношения с Драконом ничуть не продвинулись. Каждое утро он справлялся о ее глазе, синяк под которым менял свой цвет. *Влюбленной Козе следует решить свои проблемы в течение недели, иначе будет поздно. Она их не решит никогда!*

У нее оставался единственный день. Лили знала, что она уже не просто влюбленная, а без памяти и по уши втрескавшаяся Коза. Только ей никак не приходило на ум, как воспользоваться своим шансом.

В последний вечер студенты затеяли игру. Прилепляли друг другу на лоб записочки с именем персонажа, которое тот, кому прилепили записочку, должен был угадать, а Лили носила им вино и коктейли.

Профессорша нарядилась в облегающий свитер, распустила рыжие волосы. Студентки вели себя сдержанно, а студенты постепенно напивались — все, кроме Петера. Он пил только воду и чай, скучал, но сидел терпеливо. Посреди игры встал, направился в туалет.

— Только в зеркало не глядеться, — крикнули ему вслед.

Лили пошла за ним.

— О! — воскликнула она, когда Петер вышел из туалета. Он улыбнулся. Желтая записочка качнулась на его лбу. Наклонившись к Лили, он шепнул:

— Кто я?

— Огненный Дракон, — выпалила Лили. Только потом, догадавшись, о чем речь, прочитала: — Гарри Поттер.

— Гарри Поттер? А кто это?

— Маленький мальчик, который носит очки и умеет колдовать, — объяснила Лили.

— Вот как, — Петер тронул свои очки. Оба в некотором замешательстве молчали, пока в коридор не выскочил студент с криком: — В зеркало смотрелся?

— Нет, — ответила Лили, — не смотрелся.

— Ненавижу игры, — шепнул ей Петер.

У Лили подкосились ноги. Пришлось сесть прямо на ступеньки лестницы. Ладони увлажнились, зато во рту пересохло. Коза и Огненный Дракон. Огненный Дракон и Коза.

Ночью ей не спалось. Ей виделись он и она, как они вместе идут по планете, идут целенаправленно, прямо к Хиршхальму. Это казалось вполне логичным, естественным. Коза и Огненный Дракон. Жизнь будет к ней добра. В три часа начался снегопад. Большие хлопья, будто обрывки бумаги, кружились в свете наружных фонарей.

Еще, еще больше снега, взмолилась Лили, пусть все занесет снегом. Ну пожалуйста, пожалуйста. Но в тот же момент хлопья сделались меньше, а вскоре снегопад и вовсе прекратился.

С семи часов, даже раньше, она начала ждать его к завтраку. Петер пришел в девять. Лили приберегла для него круассаны. Поблагодарив ее улыбкой, он сел за стол, приступил к завтраку. На нем уже был красный

лыжный комбинезон. Петер поглядывал в окно, оценивая состояние снега.

— Поосторожней надо сегодня, — предупредила Лили, — снег сыроват.

— Да, глупо было бы сейчас грохнуться, — сказал Петер и вышел наружу, а чуть позднее Лили увидела, как он уехал на лыжах. Спустился по трассе к промежуточной станции. Слепящий снег заставил ее прищуриться, тут Габор положил ей на плечо тяжелую ладонь.

— Все кончается. Конец сезону. Конец снегу. Конец всему этому дерьму, — проговорил он, а когда убрал ладонь, красная точка уже исчезла из виду. — Мне будет не хватать тебя, — сказал Габор, уставившись на снег. — Береги себя, малышка Лили.

— Жизнь будет ко мне добра, — громко и отчетливо ответила Лили.

— Ясное дело, — пробормотал Габор. — Только надо держать ее в руках покрепче.

Схватив с углового дивана подушку, украшенную изображением оленя, он тряхнул ее так, что пыль посыпалась, после чего оба уставились на пылинки, парившие в солнечных лучах, а когда пылинки улеглись на пол, Лили скинула передник, выбежала в коридор, сорвала с вешалки свою куртку и бросилась к подъемнику; там она дрожащими руками взяла из автомата билет, прыгнула в гондолу и поехала к промежуточной станции.

Далеко внизу лыжники, скатываясь по трассе, вычерчивали элегантные кривые. Она всматривалась в крошечные фигурки, но не могла отыскать красного пятнышка. Прибыв на промежуточную станцию, Лили постучала в окошко смотрителя. Зепп поднял глаза, в которых отразилось небо, придав им неземную голубизну. Зепп от волнения мял свои огромные ладони.

— Лили, — сказал он. — Это ты.

— Зепп, — перебила она его, — сделай мне одолжение.

— Все, все, что захочешь.

— Большое одолжение. Надо остановить подъемник на пару минут, когда я буду в гондоле. Только на пару минут. Пожалуйста.

Зепп недоуменно взглянул на нее.

— Мне нужно немного побыть там, наверху.

— Зачем?

Лили опустила глаза.

— Я влюбилась, — бормочет она.

— Вот как.

Зепп отворачивается к мониторам и пульту управления.

— Нет, нельзя. Останавливать можно только в чрезвычайных случаях.

Лили ждала, переминаясь с ноги на ногу, лыжники тормозили совсем рядом. Ждать пришлось целую вечность. Наконец он появился, выстрелив красной молнией по трассе. Она встала в очередь к гондолам, пропускала лыжников вперед, пока Петер не оказался сзади. Тут она обернулась. Он снял лыжные очки.

— Привет, — удивился он.

— О, привет.

— Неужели отгул?

— Нет, просто кое-какие дела.

Она молила судьбу оставить их в гондоле наедине. Нужен хотя бы этот маленький шанс.

Они действительно остались одни в маленькой гондоле, которая, вздрогнув, со скрипом начала подъем. До вершины Хиршхальма семь минут. На лице у Лили появилась неуверенная улыбка.

– А где ваши лыжи? – поинтересовался он.

– Я не умею кататься.

– Работаете тут, наверху, и не умеете кататься на лыжах?

– У нас все равно не бывает времени.

– Бедняжка, – покачал он головой.

Они умолкли. Снаружи было тихо. Под ними проплывали темные верхушки елей.

– Вон там вчера лавина сошла, – он показал на темное пятно на горном склоне.

– Да, сейчас опасно.

– Как ваш глаз?

– О, все уже прошло. Правда, – ответила Лили.

– Я порой бываю ужасно неловок.

Они улыбнулись друг другу. Лили знала, что за следующей вершиной покажется Хиршхальм. Конец. Шанс потерян. Единственный шанс потерян. Она глубоко вздохнула.

– Касатик, волчник обыкновенный, водосбор темный, белоцветик весенний, касатик желтый, морозник, венерин башмачок, купальница, роза альпийская волосатая, прострел альпийский, горечавка ластовая, горечавка венгерская, – выпалила она, не переводя дух.

– Да-да, – пробормотал он.

– Скоро цветы распустятся.

– Да, – повторил он, – скоро распустятся.

Он улыбнулся, улыбнулся своей ангельской улыбкой. Лили видела перед собой только эти улыбающиеся губы.

– Я – Коза, – прошептала она, не понимая толком, произносит ли эти слова вслух или про себя.

– Что?

– Коза. Из китайского гороскопа.

– Ах, вот как.

Молчание. Тут он догадался:

– Вычитали в моем китайском гороскопе?

– Нет-нет, – смутилась Лили, – я давно это знала.

Он кивнул.

– Я же китаянка. Мы такие вещи знаем.

– Конечно, – согласился он. – Книга мне понадобилась, потому что мы рассматривали дело одного официанта-китайца, который, ссылаясь на китайский гороскоп, пытался отвертеться от обвинения в предумышленном нанесении тяжких телесных повреждений. Дескать, он Лошадь, а потому испытывает панический страх перед Змеями... Мы, видите ли, изучаем право. Наша профессорша любит экзотические судебные дела.

Лили вежливо улыбнулась. Гондола качнулась.

– А кого боятся Козы?

– Только Зайцев.

Он улыбнулся. У Лили замерло сердце.

– Я – Заяц, – проговорил он.

– Нет, – горячо возразила Лили, – неправда! Вы – Огненный Дракон!

– Огненный Дракон?

– Именно. Огненный Дракон.

— Ах, да. Вы однажды уже говорили мне. Но нет, я — Заяц.

Лили уставилась в пол, и, если бы там была кнопка, чтобы открыть люк в днище и рухнуть вниз, она бы не замедлила это сделать.

Катарина Хакер

Карл

Перевод М. Зоркой

ВСКОРЕ по приезде в Берлин он начал прибавлять в весе. Ночью ехал по улицам, уверенный, что все осталось в прошлом: детство, и юность, и учеба, город, где он вырос, и деньги, которые давал отец. Теперь он зарабатывал сколько нужно, сам платил за кров, сам платил за то, что не спит, сидит в пивной и пьет кружку за кружкой, пока Макс, друг, не вызовет ему такси. Вокруг него (за окнами такси) расстилался во всю свою ширь город.

С самого прибытия (Макс встречал на вокзале Цоо) его не покидало чувство, будто все уже позади.

На заброшенных садовых участках (у опушки леса, минутах в десяти ходьбы от родительского дома) им было совершено следующее:

1) побита кошка;

2) подожжен садовый домик;

3) напугана старая дама (которая робко потянулась, чтобы сорвать ветку цветущей вишни).

Взгляни на белокурые локоны! Будто ангелочек! И как чудно играет на виолончели!

Матери гордость, матери забота. Мать, чтобы ему не было скучно, приглашала после обеда детей, таких же, как он, — детей отцовских коллег, интеллигентных детей. *Он играет с детьми!* — кричала, счастливая, в свой ухоженный сад.

Надеялась, он будет музыкант: первая виолончель знаменитого оркестра или даже солист.

На Рождество припасла ему полное снаряжение: ноты, новый смычок, пюпитр, рубашечку с оборками. И надо всем этим — восковой аромат свечей, пчелиный воск, рождественская елка, у подножия притаились подарки в разноцветной бумаге и рядом — коричневые посылки от теток, только на его имя, ведь он первенец, белокурый мальчуган с большими синими глазами, так что сестрице, сероглазой, худой, недоверчивой, против него и в ход пустить почти нечего. Платьица, синенькие или серенькие, вечно тесные даже на худосочной ее фигурке, будто мать ждала, что этот ребенок истает, снова уменьшится и, наконец, пропадет вовсе. Даже от имени ее почти ничего не осталось: Лене, Лео, Ле — от Леоноры; и все, кто помнил ее настойчивые, часами, игры под столом, не удивились, когда двадцати пяти лет от роду она вышла замуж за араба

© 2001 by Deutsche Verlags-Anstalt, Stuttgart München
М. Зоркая. Перевод, 2004

и бесследно исчезла. С ним, Карлом, матери не так повезло. Воспитанием сына занялся муж. Без возражения оплачивал учение Карла — *обучение юриспруденции*, — с тем чтобы тот, *когда наступит срок*, смог взять дела в конторе на себя.

Говорить тут было особенно не о чем. Первые годы студенчества Карл провел между аудиторией, библиотекой и общежитием, комнату в общежитии обставила ему мать, каждые две недели велела стирать занавески. Был у него чемодан, куда аккуратно складывались грязные вещи до отъезда домой, каждую неделю, ведь слова "Гёттинген — Хильдесхайм" обозначают не непреодолимый пространственный разрыв, а участок железной дороги, обеспечивающий сообщение с домом. Незаметно перетекали один в другой отрезки его жизни. *Главное – знать, где место человека и кто он сам*, — так завершил Фихтен-отец свою небольшую речь, когда сыну исполнилось двадцать четыре.

Макс-то и выманил его из *бермудского треугольника с прилегающим кладбищем*, Макс, то и дело подбивавший сходить вместе в пивную, Макс, одолживший ему виолончель, когда отец Карла постановил *сконцентрировать в данный момент все усилия на предстоящем экзамене* и временно забрал к себе виолончель сына.

Студентом он никогда не блистал и, возможно, завалил бы экзамен и второй раз, если б по утрам не раздавался звонок Макса и полчаса спустя тот не появлялся в дверях с булочками, сигаретами, газетой — дожидаться, покуда Карл не сядет за учебники. *Вот только сдашь – поедем в Берлин*, — торжественно обещал Макс каждый вечер, выводя Карла (бледного, покорного в бессильном своем страхе) из общежития в пивную.

Макс не отступался. Нашел им обоим стажерские ставки в Берлине и квартиру, он-то бы отправился в Берлин и без Карла, но Карл тогда совсем был сбит с толку, несмотря на свою отрешенность, переживал из-за предстоящего отъезда друга, однако не злился на него — как не злится тот, кто ночью переходит на другую сторону улицы, завидя перед собой женщину, которая может испугаться. Оставлять Карла одного Максу не хотелось. *Я могу заехать за тобой в Хильдесхайм*, — предложил он в день экзамена. Но Карл только покачал головой.

И в день, когда ему исполнилось двадцать восемь, сам прибыл в Берлин.

Пришлось ли ему из-за этого вступить в конфликт с отцом?

Отцовская комната, тяжелая обитая дверь (чтобы не мешали), письменный стол, кресло с высокой спинкой и никакого другого сиденья. Мать встретила Карла не без опаски, сказала, отец ожидает в кабинете. Отец движением руки пригласил войти, закрыть дверь. Карл встал к столу, отец склонился над документом, держа перо для подписи наготове, Карл ждал. Отметку он сообщил отцу по телефону. *Поговорим об этом, когда ты вернешься домой.* Теперь решалось его будущее. Место за креслом, где раньше отец держал отобранную у Карла виолончель, пустовало.

В тридцать два года Карл занялся авторским правом, по прошествии двух лет открыл собственную консультацию. Макс отбыл на год в Америку, *на год без юриспруденции*, ведь работу Карл сможет ему дать, только если дела в конторе пойдут успешно, вот Макс и оставил город с их общей квартирой, уехал.

Впервые Карл почувствовал себя одиноким. Отношения с отцом и матерью ограничивались редкими письмами, сестрица Ле покинула Гер-

манию, отбыла со своим палестинским мужем в Египет (или все-таки в сектор Газа?), Карл не вмешивался в ее ссору с родителями и, возможно, лишь оттого не был отлучен от дома, что они боялись потерять обоих детей разом. *Мало ли подружек*, — писал Макс, — *которые о тебе позаботятся.* Так оно и вышло, но более всего помогало обещание обеспечить Максу условия для работы в его, Карла, конторе.

И дело двинулось. Некоторые клиенты бывшего работодателя Карла переходили к Карлу и рекомендовали его другим.

Карл и прежде отличался медлительностью, а теперь стал еще медлительней. Одна рука теребит, растягивает вырез пуловера (без галстука), другая шарит по документам, находит нужное, помечает, подкладывает второй документ, почерк мелкий, для других едва разборчивый, и все это — в ритме неспешном, задумчивом. Грузный, степенный человек, притом весьма любезен, так что к нему приходили снова, убеждаясь, что Карл не позабыл даже о самом, казалось бы, пустяковом их пожелании. Карл хранил в памяти все данные по существу дела, а заодно и болезни, дни рождения, семейные и прочие обстоятельства своих посетителей, и — пьет ли клиент кофе с молоком и сахаром, до или после обеда предпочитает деловые встречи.

Не все шло как по маслу, но Карл тщательно, обстоятельно улаживал и продвигал дела, соглашения, контракты, составлял письма, смягчал конфликты, не допуская — сколько возможно — их углубления и обращения спорящих в суд.

Вечерами и по выходным дням он находил время почитать, посмотреть кино, и книги, сценарии, фильмы его клиентов сплетались со свойствами их характеров в единый узор, образуя чужой и сложный мир, где Карл регистрировал каждое колебание, и невольно силы его сосредоточивались на попытке избежать любого, даже самомалейшего конфликта, который мог бы привести к беде. Он не хотел нарушения порядка. Он не любил ссор. И со всем тщанием содержал квартиру, дополнив приобретенную Максом обстановку коврами, которые залегли по комнатам, как звери в логове, следя за неуклюжими его движеньями, отмечая каждый шаг и вбирая в себя крошки хлеба, печенья, соленых кренделькoв, пока он сидел перед видеомагнитофоном. Карл прибавлял в весе. Своих подруг он приглашал к столу, предварительно сам читал кулинарные книги, изучал приправы. Он понял, что все прочее зависит от количественного соотношения продуктов и верного расчета времени. Развившееся чутье подсказывало ему вес пригоршни сухих белых грибов и идеальное число листиков свежего базилика или лаврушки, и так же хорошо он стал разбираться в подсобной утвари, фарфоре, ножах, кастрюлях.

Поначалу он готовил еду только к приходу какой-либо из девушек, потом стал готовить по вечерам и для себя, если оставался дома, читал, смотрел кино, иногда даже дважды, если на работе короткий день, первый раз часа в четыре, а в девять вечера снова. В очередности приправ, посуды и кухонной утвари постепенно обнаруживались закономерности, хотя чувство меры и времени, владение приемами, неторопливая уверенность движений пришли к нему не сразу.

Карл приметил, что окружающие стали относиться к нему с уважением, не то что раньше. На улице он теперь не всегда первым уступал дорогу, в ресторане официант замечал его немедля, новые клиенты скоро проникались к нему доверием, и хотя он был весьма беспомощным любов-

ником (не умел согласовать движения своего тела и женского, найти наиболее удачный для снятия чулок момент — и на голени у Линды проступал красный след от резинки гольфов), подругам его это нисколько не мешало.

Ты увидишь, как я изменился, — писал он Максу, — *и, надеюсь, к лучшему.*

Одежда, какую он носил в студенческие и первые берлинские годы, давно была ему не впору. Шло время, консультация работала, он нанял секретаршу и стал ждать Макса, он познакомился с Маей, но беспокоился из-за того, что скоро вернется Макс и надо найти помещение попросторнее. Мая вытеснила прочих его подружек. Карл толстел. Сценаристы, фирмы звукозаписи, продюсеры слали ему приглашения на концерты, приемы, премьеры, днем в контору звонила Мая: *Мы куда-то выйдем сегодня вечером?* Она звонила первой (раньше Греты, раньше Мелани и уж точно раньше Линды). *Давай куда-нибудь сходим,* — говорила Мая, — *что у нас сегодня вечером?*

Макс вернулся ровно через четырнадцать месяцев, и Карл встречал его в аэропорту. Они обнялись, взвалили на себя тяжелые чемоданы, сумки и направились к выходу, оба молчали — от радости и от желания все-все рассказать. Метров через сто Макс внезапно остановился. *У тебя одышка!*

Карл, однако, сохранял безмятежность. Макс намеревался предостеречь его относительно Маи, но не стал. *Ей всего-то двадцать пять лет* — вот было единственное его замечание, а Мая тогда уже принесла часть своей одежды к Карлу в квартиру, в его шкаф, тотчас оказавшийся тесным: тут и платья Маи, и его пуловеры, брюки, рубашки — все новые и новые, все больше и больше.

По настоянию Маи он приобрел два кресла и маленький столик.

Развешивая платья и заодно перебирая шкаф после ее ухода, он нашел костюмы, рубашки, пуловеры, давным-давно слишком тесные для него, но оставленные до того времени, когда — Карл думал — вновь станут как раз впору.

Ты разжирел, — сказала однажды Мая и тут же хлопнула себя девичьей ладошкой по губам. Карл взял ее руку и расцеловал лакированные ноготки. Он был уязвлен. *Прости,* — сказала Мая, не глядя ему в лицо. Знала, кто для нее Карл. Светлые волосы Маи, когда он ее обнимал, а она наклонялась вперед, касались его подбородка, но прижаться всем телом не получалось, мешал живот.

Никогда больше не напоминала Мая про вес, про рубашки, и пуловеры, и пиджаки — все новые и новые, и спала с ним, пусть не часто, но они все-таки спали вместе. Карлу хотелось спросить, почему, когда они ласкают друг друга, она никогда не обвивает руками его шею. Она вытягивала руки вперед, справа и слева от его тела, и обнимала живот.

И вообще, — однажды услышал он, как Мая говорила кому-то, — *мне все равно, толстый он или нет. Он из всех самый милый, и все его приглашают.*

Карл не придавал большого значения тому, спят они друг с другом или нет. Он любил целовать ее в тонкие губы с привкусом помады, утром — гигиенической. Если они куда-то выходили (эти слова она любила повторять, а его раздражало: *мы выйдем сегодня вечером*), Мая брала с собой двух лучших подружек. В дутых своих куртках, в ярких, сверкающих брюках ждали они у входа в театр, в клуб, окружали его, чтобы провел бесплатно. Карлу нравилось появляться в обществе трех молодых женщин. В туфлях на высокой платформе они казались длинноногими, по-

хожими на девочек-подростков. Растворялись в толпе, потом, случайно натолкнувшись на него, целовали в щечку и тут же снова пропадали среди тех, с кем пришли танцевать. Ведь Карл не танцует. Ходили слухи, будто девушка Карла (одна их трех) гуляет направо и налево. Но мало ли какие ходят слухи. Мая моложе почти на пятнадцать лет и, возможно, ему изменяет. Подводила к нему молодых людей — и те, авторы сценариев или книг, рослые, привлекательные, нуждались в каких-то советах, в каких-то знакомствах, с продюсером ли, с режиссером ли, с издателем, да и сама Мая, которую он узнал как ассистентку (или секретаршу?) мелкой продюсерской компании, намеревалась стать сценаристкой или ассистентом режиссера. Все они хотели познакомиться с кем-то, кого знал он, и в суматохе вечеринки, устроенной по случаю очередной выставки или премьеры, танцуя, проносились мимо, целовали в щечку, опять танцевали — до двух, до трех ночи, когда у Карла начинало щипать глаза. Он вызывал такси. *Девочки*, говорил Карл. *Мышки*, называл их Макс. Набивались в такси, Мая к Карлу на колени, им хотелось дальше, в клуб, в бар, Карл был трезв, они пьяны, Карл уставал, они веселились, он называл Маю Саскией, а Саскию называл Леони. Высаживали его у дома, а сами ехали дальше, или тоже выходили, и Мая с ним прощалась, поцеловав на ночь.

Юридическая консультация процветала. В центре Берлина они сняли более просторное помещение. Мая подыскала новую мебель, и все, даже Макс, пришли в восторг. *Это у нее и вправду хорошо получилось*, — сказал он, хлопнув Карла по плечу. И снова состоялась вечеринка. На этот раз в центре внимания была Мая: как создательница интерьера. Вытребовала у Карла костюм, и в этом костюме — черном, облегающем фигуру — казалась совсем взрослой. Весь вечер провела рядом с ним, пока не ушли последние гости. *Это у нее и вправду хорошо получилось*, — тихонько повторил Макс Карлу, когда тот несуразно и смущенно стоял посредине комнаты.

Как только он письменно оповестил родителей о переезде в новую контору, те выразили намерение приехать в гости.

Прочитав письмо отца, Карл попытался глазами своих родителей взглянуть на квартиру, где они — родители — еще не бывали, но у него ничего не вышло. Как ни старался, а видел только углы, какие-то фрагменты, отделку, пока и самому не показалось невероятным, что он уже столько лет прожил в этой квартире, для него означавшей свободу. Смотреть было не на что, и он отвернулся обескураженно, но без всяких переживаний. Скоро сюда переедет Мая, считай, это дело решенное.

Что Карл мог предъявить родителям, так это факты — жизнь состоявшуюся и благополучную, в которой имела место и будущая невестка. Однако на материнском лице отразилось разочарование: потемнели и поредели белокурые локоны ее сына.

За ужином в ресторане отец преподнес ему изящный черный футляр, где на бархатной подкладке покоился серебряный ножичек для бумаги, и в коротком застольном обращении упомянул многообещающие, ко многому обязывающие письма, каковые Карлу доведется тем ножичком вскрывать, и Мая издала возглас одобрительный и восхищенный. На первый раз она не получила подарка, однако Фихтен рассмотрел ее девичью ручку с короткими пальчиками, воображая на ней обручальное

кольцо своей матери. Что связывало Карла с этой молодой женщиной? Ведь не слепа отцовская любовь. Пусть бы и хотелось Карлу казаться статным, на деле же он толст, и лицо какое-то вялое, дряблое.

По возвращении в гостиницу Фихтен размышлял, не следует ли поговорить с женой, не подметила ли и она эту вялую уступчивость, но Марлис Фихтен (уже в ночной сорочке) лежала в постели с полотенцем на лбу и думала, как ее белокурый сын играл бы на виолончели в день сестриной свадьбы и посвятил свою жизнь музыке, и единственно ей, матери, дозволялось бы сопровождать его в концертных турне, а о муже она могла бы не беспокоиться — оставлять его на попечении дочери с зятем.

Фихтен уселся за гостиничный письменный столик (основное пространство занимал телевизор, Фихтен заметил листок с пояснениями по поводу платных каналов, порнофильмов) спиной к кровати, к распростертой на ней жене, и вздыхал, и тосковал по дочери, и боялся за нее — после трех лет без всяких известий не верилось, что она еще жива. Когда-то он принял решение лишить ее наследства в случае брака с этим человеком (арабом, мусульманином). Теперь же с удовольствием отменил бы свое решение, занялся бы ее розысками, он намерен обсудить это с Карлом, он обижен на сына за готовность безропотно согласиться с приговором судьбы.

Под конец мы останемся одни, хотел сказать он жене, дети нас покинут. Но Марлис с полотенцем на лбу прикрыла глаза и спала, или делала вид, будто спит, или она пьяна, как обычно бывает пьяна к вечеру, а порой и днем. Фихтен с шумом разделся и лег подле жены, не пожелав ей спокойной ночи. Наутро в восемь позвонил Карлу, хотел предложить встретиться за *мужским завтраком,* но Карл не отзывался ни дома, ни в конторе, оттого и не представилась возможность отвести его в сторону, спросить, нет ли известий от Ле. Вместе собрались за обедом, и Фихтен-отец перед прощанием поднял бокал, выпил за молодую пару, за их будущих детей: так состоялось обручение Карла и Маи.

Вот только похудею, и мы поженимся, — сообщил Карл Мае, когда она вскоре за тем переехала к нему, поскольку так оно лучше. *Вот как только ты сможешь обнять меня по-настоящему...* — продолжал Карл, покуда грузчики тащили в квартиру новый шкаф, новое зеркало и Маину софу. Карл стоял посреди длинного коридора, Мая направляла грузчиков по всем четырем комнатам. *Если выбросить твой старый стол, в дальней комнате можно устроить вторую спальню.* Стала обнимать его, и руки раскинулись направо и налево. *Так ты не возражаешь?* Как тут возразишь... *Увидишь, как хорошо получится,* — добавила она, тронула пятнышко у него на пуловере и осторожно стала подталкивать его к дверям через узкий проход между старым шкафом и кроватью. *Когда ты вернешься, все уже будет готово.* Карл закивал, поцеловал ее и вышел на улицу без шарфа, да и пальто не надо застегивать, ему не холодно. Он заметил это впервые и обрадовался, что не мерзнет, ведь прежде всегда страдал от холода, точно как сестрица Ле, двое худеньких деток, из коих одно дитя стало тощим, другое жирным, будто им полагалось непременно воплощать противоположности.

Не часто вспоминал он свою сестрицу. Уехала, ни разу не написала. Она приняла решение, как Мая приняла свое, — и Карл не понимал обеих. Однако — так размышлял он на ходу и не мерзнул, — однако Маино решение верно вне сомнения, ей у него хорошо, ей он поможет, и пусть даже не найдется ассистентское место при режиссере, но всегда сохра-

нится возможность (при помощи и поддержке его конторы) работать самой, открыть собственную продюсерскую фирму или агентство. Мае с ним хорошо, хотя она могла найти мужа и покрасивее, — так ему думалось, — однако ведь и он, по-своему и несмотря на полноту, вовсе не противен, а на Рождество они поедут к его родителям, и он впервые за долгие годы (со своей нареченной) проведет у родителей Рождество, и во всяком случае Мая наконец-то выехала из тесной, пропахшей угольным дымом и вечно холодной квартирки. Как есть, так и хорошо. Он больше не мерзнет и отныне каждый день станет выходить на прогулку, чтобы похудеть к свадьбе: которая состоится, наверное, весной или летом.

Иногда в контору звонила какая-нибудь из прежних его подруг. Карл, обрадованный, отправлялся с ними обедать, около часу за ним заходили, и Макс ухмылялся, если секретарша докладывала о появлении Линды, или Греты, или Мелани. *Почему же не Линда?* — спросил как-то Макс, когда та ушла. Высокая и худая тридцатипятилетняя Линда рецензировала для ежедневной газеты научно-популярные книги и обращалась к Карлу за советом, когда речь шла о музыке или праве. Макс невысоко ценил Маю, и даже оформление интерьера, как он предполагал, было всего лишь ловким ходом, чтобы заарканить мягкого, милого и к тому же преуспевающего Карла.

— И как ты запал именно на эту девку! — не уставал повторять Макс. — Ты оглох, что ли, и не слышишь, какой у нее цепкий голос?

А Карл лишь тепло улыбался и помалкивал, осторожно поводя плечами; он вообще все осторожней обращался со своим телом, набавлявшим вес: не оттого, что чувствовал себя неуклюжим или беспомощным, но, так сказать, из одобрительного сочувствия к толстенным ручищам, животу, широким бедрам и ляжкам, к тучной плоти, способной хранить и укрывать его столь бережно и любовно, что Карл ощущал себя под этим покровом совсем легким — наподобие души в миг отлета, какой она виделась ему в детстве. Ему и в самом деле казалось, что скоро станет легче.

Поженились они через полгода: по настоянию Маи и без всякой огласки. Карл купил новый костюм, расписались в ратуше, свидетелями — Саския и Макс, а вечером ужинали с отцом и матерью Карла.

Он увидел себя на фотографиях: немыслимо толстый мужчина любезно улыбается, отдаленно напоминая прежнего, молодого Карла. Мая радовалась, что ее теперь непременно зовут повсюду, где бывает муж, вписывают ее имя в пригласительный билет, и все чаще Карл предлагал ей принять приглашение одной, вместо него. И все больше появлялось у него возможностей временно отстраниться от дел. Быстрее и точнее, нежели прежде, схватывал он суть проблемы; дела повторялись, страхи клиентов тоже походили один на другой. Он уже успел составить себе репутацию. Никто более не сомневался в безупречности его памяти, сценаристы, режиссеры, композиторы, писатели поручали ему заключение договоров, обращались к нему в конфликтных случаях, полагаясь на то, что он защитит их права, никогда и ничего не упустит из виду. По завершении первых и решающих переговоров дело обычно передавалось Максу. Вот и вышло, что Карл был как никогда нарасхват, но в конторе показывался нечасто.

— Странно, — заметил он Максу, когда тот попросил дозволения нанять еще одного юриста, — все уверены, что нуждаются именно во мне, тогда как на самом деле я почти и не нужен.

— Ты мог бы работать больше, — посоветовал Макс. — В конторе ты почти не бываешь, с женой по вечерам никуда не ходишь — отправляешь ее одну. Что ж, это неплохо. Людям нравится, когда им не докучают по пустякам, а твое спокойствие внушает доверие — разве что какой-то упрямец станет сомневаться в бесспорном успехе дела... Только с тобой-то самим что будет? Ты ничем не интересуешься, а без меня при всех твоих успехах ты не заработал бы ни гроша, потому что забываешь выставить счет клиентам и проверить, отправили тебе гонорар или нет. Что ты вообще делаешь, чем заполняешь свои дни?

— Ничего особенного, — отвечал Карл, — я много гуляю. Мне вовсе не скучно. Время летит так быстро. И вечерами я бываю дома. Так много мест, где можно провести целый день даже зимой. Мне вовсе не скучно, — мягко повторил он, и Макс после этого разговора больше не приставал, беспрекословно взял на себя все, что можно, нанял второго поверенного и настаивал лишь на том, чтобы Карл каждый день хоть ненадолго заглядывал в контору.

— Иначе и не сообразишь, где тебя в случае чего искать. Можешь мне не рассказывать, что ты с утра до ночи дома, — заявил он.

Ваш брат, часто говорили клиенты, не смущаясь их внешним несходством и тем, что у них разные фамилии. *Ваш брат, ваш старший брат на месте?*

Карл был доволен. Дома у него Мая, в большой комнате (а в маленькой, дальней, так и осталась Карлова спальня) она устроила себе кабинет, пытаясь создать сценарное агентство. Правда, пока ничего не продалось, но денег хватало, и ведь всему свое время. Сценаристы, продюсеры, актеры с удовольствием заходили к ней после обеда или ближе к вечеру, и на большом, красном кожаном диване восседала Мая, а также Саския, а также Леони, одинаково или похоже одетые в костюмы насыщенных, контрастных цветов: скажем, зеленого с черным и синим. *Ваша супруга просто очаровательна*, или, с двусмысленной улыбочкой: *Славная у тебя малышка.*

Карл с удовольствием делал закупки (вино и шампанское Мае доставляли на дом), времени хватало, он много гулял — *а то растолстею*, пояснял со смущенным видом. Голос Карла стал тише, словно ему приходилось продираться из каких-то глубин: сквозь жирную складчатую шею непосредственно в подбородок и выше, ко рту, чуть приоткрытому, что усиливало впечатление детскости — *ах, какой же милый мальчик.*

Вечером, каждый вечер, возвращаясь к девяти часам домой, он заставал Маю за макияжем или уже у порога и целовал на прощанье — а иногда и не заставал, что нисколечко не мешало ни ей, ни ему, ни миру в доме, их гладкой совместной жизни. Мая о нем заботилась. Следила, чтобы в большой комнате было убрано и проветрено (пепельницы пусты) к моменту ее выхода из дому. Карл осматривался — все ли в порядке, заносил на кухню покупки, споласкивал пепельницы, размещал стаканы в посудомоечной машине. В гостиной Карл сидел редко, ужинал на кухне, одновременно читая книгу, и продолжал читать у себя в комнате, пока не пора было отправляться ко сну, в одиннадцать, не позже, ведь вставать ему рано. По субботам они выходили куда-нибудь вместе. По субботам Саския и Леони не появлялись. Мая готовила на обед отбивные, жаркое из свинины или дичь. Ей казалось, он особенно любит мясо. Но к мясу — только овощи или салат, *ради твоего здоровья*; зато под конец — торт или мусс. Теперь стало очевидно, что лицо у Маи круглое, и выщипанные ее брови

приводили Карла в замешательство. Такие тоненькие, хотелось ему сказать, к твоему лицу не подходят. Но потом его взгляд падал на ее губы, две тонкие красные линии, и он не говорил ничего.

Он изучал свое тело, раздающееся вширь так естественно, словно вышел ему некий срок, словно для какого-то нового порядка, столь же самоочевидного, как определенный пейзаж или парк, требовалось, чтобы Карл растолстел: как если бы речь шла о замысле паркового дизайнера или о природном явлении, но в любом случае — о чем-то независимом от Карловой воли, хотя и не враждебном ему. Тело раздавалось вширь к собственному его удовлетворению, будто с души — сколь ни мала она в соотношении с телом, и становится все меньше — следовало снять тяжесть. Душа была теперь только легким следом в глубинах плоти, чрезмерно легким, чтобы напоминать о былом. Да и о чем вспоминать? От Ле нет известий, а с родителями все по-хорошему. Карл понял, как мало надо, чтобы быть счастливым.

Он догадывался, что Мая его использует и к тому же, наверное, изменяет ему. Тем не менее они по-прежнему были приветливы и милы друг с другом. На своих платформах, словно инородное существо, шла она ему навстречу по коридору, со светлыми длинными волосами, с детским личиком, чуточку вульгарным и уверенным в своей власти, не способной воздействовать разве только на Карла, над чем она смеялась так, как смеялась только в детстве, — чистосердечно, с благодарностью, что он отказывается от всяких прав на нее, ничего от нее не требует, а он представлял себе время и людей в этом времени как нечто такое, что хоть и непонятно для него, но все же может пришел к хорошему концу.

Лишь задним числом, как он понял, все складывается в историю, тогда только, когда отступает на расстояние: вот и можно тогда успокоиться. А ему, обладателю грузного тела, удалось раньше времени усвоить этот особый взгляд, увидеть течение дней так, будто смотришь на них, обернувшись назад, увидеть дни как ставшие тесными рубашки и пуловеры (а два месяца назад были впору), без сожаления вынесенные из дома. Такое возможно только на расстоянии.

Потом появился Кобер. Петер Кобер, известный режиссер кино и театра. “Новый клиент, по голосу напористый”, — доложил Макс, ответив на звонок и договорившись о встрече, причем первую беседу по обыкновению следовало провести Карлу с тем, чтобы далее передать дело Максу. *В контору не пойду*, — рявкнул в телефон Кобер за час до назначенного времени. Что ж, они встретились в кафе.

Петер Кобер попросил составить договор, согласно которому ничто из сделанного им с этого момента и впредь — в случае если вопреки твердому своему намерению он все же поставит какой-нибудь фильм или спектакль — не должно считаться созданным им произведением.

— Хватит, и точка, понимаете? — говорил он. — А то буду работать и работать, потому что так хочется моим друзьям, актерам хочется, продюсерам хочется и прессе тоже. Когда выйдет следующий фильм Кобера?! А ведь уже предыдущий — это крах. Фильм непотребный. И ничего больше.

— Я его видел, — возразил Карл, — хороший. Очень хороший фильм.

— Чушь! — голос Кобера почти срывался. — Какая разница, хороший или нет! Это у меня восьмой фильм по счету. Я был бы идиотом, если бы не сумел снять приличный фильм. Я имею в виду — в ремесленном смыс-

ле. Но он не дает ничего нового. Топтание на месте, повторение пройденного. Деньги, суета — и только. Лучше бы я вообще его не снимал.

— Даже если я оформлю для вас договор, — заметил Карл, — ничто не помешает вам его нарушить.

— Что вы имеете в виду?

— Вы предлагаете мне, — объяснил Карл, — составить договор, согласно которому все сделанное вами впредь будет считаться недействительным в том смысле, что вы до известной степени отказываетесь от собственных авторских прав. Но какие санкции возможны в случае, если вы отступите от договора? Не существует инстанции, способной настоять на его исполнении, если вы примете решение снимать следующий фильм. Если вы, нарушив договор, выпустите новый фильм под своим именем, кто предъявит вам иск?

— Вы, разумеется, — ответствовал Кобер. — Послушайте, я в этом не разбираюсь. Но даже если вы не можете предъявить этот договор в суде, то можете все-таки выступить с обвинением или хотя бы этим пригрозить.

— Законной силы это не имеет, — повторял Карл опять и опять.

— Я заплачу́, — настаивал Кобер. — Составляйте договор! Вам-то не все равно? Я прошу вас об этом.

Они встретились снова, и Карл поддался наконец уговорам. Некий текст, пусть его и не назовешь документом, был составлен. Обыкновенно Карл предоставлял Максу обсуждать подготовленный договор с клиентами, а если и появлялся лично, так только в момент подписания. Однако на этот раз он сообщил, что обо всем позаботится сам.

Коберу было около пятидесяти: крепкого сложения человек, вокруг маленького и красивого рта поперечные морщины, брови у переносицы легко изгибаются вверх, что придает лицу то детски удивленное, то сердитое выражение. На редкость непредсказуемое лицо. Карл всякий раз пугался, когда Кобер, врываясь в кафе или ресторан, где они назначили встречу, тут же начинал говорить, говорить, словно боялся в любой миг позабыть свою мысль или начать противоречить самому себе. Он был одержим страхом, что однажды опровергнет самого себя, предаст все, что доныне думал, делал, свои фильмы, последний из которых ненароком, едва ли не вопреки его воле, имел успех, вопреки его воле был сочтен интересным.

— Не существует правовой формы для того, о чем вы просите, — терпеливо разъяснял Карл в который уж раз. — Вы могли бы таким манером составить завещание, но никто не может воспрепятствовать тому, чтобы вы его изменили.

— Отчего же мне нельзя заключить договор с самим собой? — упорствовал Кобер.

— Оттого, что таковой может быть всякий час вами расторгнут, оттого, что не существует взыскания за осуществленные вами личные намеренья. Нет возможности санкций — нет и договора, — заверял Карл. — Договор с самим собой расторгнуть невозможно.

— Что ты так усердствуешь из-за этого психа? — спросил Макс, изумленно констатировав, что Карл встречается с Кобером дважды в неделю и сидит в кабинете над какими-то записями, безосновательными в правовом отношении.

Карл пожал плечами, сам удивленный и сконфуженный тем, что никак не избавится от человека, коему присоветовать можно лишь эмиграцию, исчезновение с концами, новое имя и смену профессии или же са-

моубийство. Прекратите плакаться, мирно говорил Карл, в сотый раз растолковывая, что не мог бы предъявить Коберу иск, буде тот все же решит нарушить договор, заключенный им ради самоуспокоения.

– Не могу больше выносить этого шума! – взъярился Кобер на официанта, отказавшегося приглушить музыку. С тех пор они встречались в кафе "Адлер", недалеко от Чекпойнт-Чарли[1], где музыка не играла. "Вам бы уехать из Берлина", – посоветовал Карл, когда Кобер, приняв в тот день решение более никогда не употреблять алкогольных напитков, заказывал один кофе за другим. Карл пил воду и вино, сидя – по настоянию Кобера – подле него. Четыре мужские руки лежали рядом, у Карла – крупные, пухлые руки и пальцы, у Кобера – широкие, исхудавшие; так продолжалось, покуда Кобер не ухватил Карла за плечо, за рукав, и не начал трясти: в зеркале напротив, когда Карл пытался уклониться или утихомирить своего собеседника, качалась странная разнородная пара: массивная голова Карла с копной детских белокурых волос около коберовой встрепанной шевелюры, похожей на черную птицу, спикировавшую на узкий череп, чтобы похлопать крылами, издавая клич угрозы или тревоги, а потом снова улететь прочь.

Когда Кобер после дня воздержания вновь напивался – бодро, самозабвенно, решительно, – Карл провожал его на такси или пешком до дому. Пешком: от Чекпойнт-Чарли через Потсдамерплац до Гентинерштрассе, где Кобер обитал в залах огромных и пустых, поскольку почти всю мебель сбыл старьевщику. Оттуда Карл пешком направлялся домой: назад к Потсдамерплац, к Бранденбургским воротам, вниз по Унтер-ден-Линден до Александерплац, потом влево по Торштрассе к себе, на Розенталер. Дом все тот же и та же квартира, отремонтированная, заново обставленная, в свое время едва доступная по цене для них с Максом, теперь же донельзя дешевая, причем он, Карл, единственный из съемщиков так тут и живет с тех времен, а прочие – восточные немцы, студенты – не выдержали повышения квартплаты после капитального ремонта. *Совсем не элегантная*, – констатировала Мая, – *однако в хорошем районе*, квартира ныне принадлежала скорее ей, нежели ему, ведь он всякий раз колебался и задумывался, не окажется ли некстати, если заявиться туда во внеурочное время, то есть в рабочие часы, часы ее приема; *ты просто работаешь слишком много*, – говорила Мая, личико детское и круглое, и оба знали, что это пустая формула, такое замечание, замечание из сферы их уговора о совместной жизни, столь же рассчитанной на отсутствие Карла дома, сколь и на еженедельные телефонные разговоры Маи, чьих родителей уже не было в живых, со свекровью и свекром.

Иной раз Коберу взбредало в голову проводить Карла до дома, пешком, *весь путь пешком*. Немыслимо длинный путь, поскольку Карл не хотел появляться у Маи с Кобером, вообще не хотел домой и чтобы они познакомились, хотел гулять по улице, волочил Кобера к себе на работу или водил кругами, покуда тот не начинал возмущаться, *не шутка ли это и куда мы, собственно, идем?* Покуда Кобер не настаивал, что надо бы еще выпить, покуда не начинал подначивать, что Карл, мол, уже проголодался, *и плюнь ты на этих тощих недоумков*, и, случалось, Кобер по дороге заходил в магазин, и они разворачивались, шли к Коберу, и там тот готовил гостю еду.

1. Чекпойнт-Чарли – бывший контрольно-пропускной пункт на границе между Западным и Восточным Берлином, в центре города; ныне музей. (*Прим. перев.*)

Стоял ноябрь. Год как Мая к нему переехала, год как он заметил, что перестал мерзнуть, и доныне так оно и осталось; атавистическое чувство превосходства придавало ему уверенности. Он надевал тонкий плащ, летний плащ, уходя по утрам из дома пешком на работу, уходя по утрам из дома прогуляться перед тем, как идти на работу. По сути, этому и посвящал он свой день: целый день, и пока не наступит вечер, он гулял на улице, а по дороге, в течение прогулки, заглядывал в контору. Раза два-три в неделю он встречался с Кобером. *Твой пациент опять звонил*, — сообщал Макс, едва Карл входил в контору, около девяти, в тонком своем плаще, после часовой, а то и более долгой прогулки, как и каждое утро, благо Мае было приятней (и ему тоже), когда он покидал квартиру прежде, чем она встанет и пойдет в ванную комнату приуготовляться к собственному дню. Карл тут вовсе ей не был нужен, не из тех он мужей, перед кем охота бегать нагишом по квартире, наряжаться, краситься. Друг с другом они ладили, женаты были вот уже полгода, и брак обещал быть прочным, что признавалось и Максом, по крайней мере с юридической точки зрения, таким, какие раньше называли браками по расчету: равноправное соглашение обеих сторон, учтивое и справедливое обхождение друг с другом, поучал он секретаршу, когда та однажды поиронизировала в адрес избегающего постели и предположительно рогатого супруга. Почему бы и нет? — так размышлял он на глазах у этой привлекательной, чуть нахальной секретарши, которая прислонилась к окну и покусывала зубками длинную прядь волос. Почему бы и не так? Для Карла, полагал Макс, наверное, и впрямь роли не играло, спала Мая с другими мужчинами или нет. Выглядел он довольным. После женитьбы он вовсе не похудел, напротив, но вид имел довольный и спокойный, слегка рассеянный, и настораживало в нем только отсутствие интереса к делам консультации, где Макс вот уже месяц являлся равноправным партнером: Фихтен & Винклер.

Как ни пытался Макс растормошить друга, ничего не выходило, ведь у него не имелось в запасе аргументов ни для угрозы, ни для предостережения. Дела идут превосходно, от заказов отбою нет, и довольно было Карлу раз-другой встретиться с клиентами, как те убеждались в правомерности его славы: ничего не забывает и знает, кажется, все.

— Цельности твоей натуры и твоей памяти они доверяют настолько, что становится почти обидно, — как-то заметил Макс, едва Карл проводил до двери успокоенного после такой встречи продюсера и отдал ему, Максу, листок с записями для будущего договора. — Одному Коберу удалось сделать из тебя няньку, — добавил он, вовсе не пытаясь скрыть своего неудовольствия — смеси ревности, подозрительности и беспокойства о Карле. Макс считал, что от человека известного, влиятельного и занудливого, если он с утра до ночи носится с идеей самобичевания или самоубийства, благоразумнее держаться подальше. — И что на тебя нашло, обычно ты невосприимчив к такому лицедейству.

— Лицедейству? Почему ты так говоришь?

— Потому, что он только и ищет, кому бы излить свою душу и кто бы подивился его экзистенциальной тоске, она же экзистенциальная пустота, — ответил Макс.

— Он милый, — проронил Карл и закраснелся.

Макс выкатил глаза:

— Ты не хочешь ли сказать, что влюблен в него?

Но вид у Карла был столь озадаченный, столь удивленный, что Макс немедля отогнал эту мысль:

— Ладно. Но если однажды ты поужинаешь не с ним, а со мной, и заодно объяснишь, что в этом деле увлекательного, я буду тебе очень благодарен.

И Карл дружелюбно закивал, чтобы к высказанной таким образом просьбе — это ведь была просьба — больше не возвращаться. Он был бы рад оказать Максу любую услугу.

Но что тут объяснишь?

Кобер рвался прочь. Умирать, однако, не собирался, как не стремился и к решительным, решающим переменам. Работать режиссером он больше не намерен. Вот если бы про него, реального Кобера, все позабыли, он бы успокоился. Что сделано — то сделано, и он не отказывается от своих работ, за исключением последней, просто хотел бы, чтобы о них перестали говорить и, главное, чтобы ему не напоминали.

В конце концов, это дело прошлое.

Его жизнь цеплялась к нему, как липкие пальчики ребенка. Обидеть такого малыша не хочется, но очень хочется покоя, и чтобы не нести ответственность за эти шустрые грязные ручонки, и не ощущать их ни в своей руке, ни вокруг шеи в ласковом, полном надежд объятии, и не слышать бойкого и чистого голоска: папа, а что дальше?

Карл видел, как он борется с собой. Не допускай, чтобы я злоупотреблял твоим терпением, повторил Кобер, и одному Карлу было ведомо, чего тому стоит звонить раз в два дня, не чаще.

В тот год долго стояла сухая погода. Сухой и солнечный ноябрь, и только в декабре — мелкий слабый дождик. Дня на два, на три похолодало, а потом опять стало теплее, хоть в календаре проверяй, какой месяц, только вот темнело, конечно, рано.

Карл в календарь не смотрел. Утром Макс сообщал ему, в котором часу сегодняшняя встреча, ну и хватит. Он так и ходил в плаще. Перестав мерзнуть, он едва обращал внимание на смену сезонов, отмечал только, что деревья голые, что люди в теплых пальто. Огни, ранняя темень, снова огни, уличные украшения; конечно, ему бы заметить, что близится Рождество, но он бездумно бродил в своем плаще по знакомым улицам и не смотрел кругом. Знал, куда направляется, знал, как там все выглядит, а лампочкой больше или меньше — дела не меняет. Все равно многие дни, да и вообще последние недели, оказывались короткими, ведь к тем редким встречам, которые Макс считал безотлагательными, добавлялись свидания с Кобером, часы в кафе, а то, вечерами, и в пивной (тот порой забывал, что находит музыку непереносимой) или у Кобера дома. Привычное течение времени прерывали лишь гневные Коберовы тирады.

Теперь случалось и так, что Мая вечером оставалась дома и, прикрыв дверь в большую комнату, если еще не убрала за гостями, сидела в джинсах и пуловере Карла на кухне, вроде бы ожидая его возвращения. Вопросов Карл не задавал, но выглядела она удрученно, и, подозревая любовные страдания, он приносил ей цветы, или компакт-диск, или шейный платочек — но только не шоколад, поскольку она пыталась следить за весом и однажды, сильно смущаясь, призналась ему, что соблюдает диету, которая якобы сузит ее лицо. Однако лицо было, как и раньше, по-детски круглым, и губы — две тонкие линии — терялись на нем, если она их не красила. Карл купил ей новые кроссовки. “Ты так добр ко мне”, — прошептала Мая и, чуть подавшись назад, прильнула сбоку к его животу, головой к груди.

Он пригласил ее в суши-ресторан. Дома ему казалось неуместным обсуждать с ней дела (не лучше ли сказать: будущее?), говорить о наследстве, которое она получит, о его доле в семейной собственности, о распределении прибылей. *К чему это ты?* — изумлялась Мая, словно таким способом он хотел сообщить ей о своей неизлечимой болезни и о скорой смерти, а ведь Карл, хотя снова растолстел, выглядел лучше, чем когда-либо. Впервые за долгое время они вместе куда-то вышли и вместе потом вернулись домой, задолго до полуночи, — не то что прежде, когда Мая (скоренько созвонившись с Леони или Саскией) прощалась с ним небрежным поцелуем, убегая на вечеринку, на праздник, к друзьям, убегая на вечеринку со своими друзьями (*ты меня не жди, буду поздно*). Теперь она сидела в такси с ним рядом, и он думал — наверно, вина много выпила; сидела тихонько с ним рядом, склонив голову ему на плечо, такси остановилось. Пока он расплачивался, Мая ждала у подъезда, потом первой поднялась по лестнице, в коридоре нерешительно задержалась — так дети, пришло на ум Карлу, выгадывают время, надеясь не сразу угодить в постель. Не снимая плаща, Карл начал было говорить, что еще прогуляется, и тут Мая спросила, а нельзя ли ей сегодня ночью спать у него в маленькой комнате. И уснула вмиг, а он бодрствовал, лежа смирно, чтоб не разбудить, на расстоянии, которое не мог определить точно и которое казалось ему огромным, и под защитной массой обширного своего тела, в самой его сердцевине, он постепенно отошел ко сну.

Проснулся рано. Рядом беспокойно спит Мая, на стуле ее джинсы, внизу, аккуратно, — новенькие кроссовки. Думал про сестрицу Ле и как от общего их детства ничего не осталось, сравнивал детство с предметом, назначение которого забыто, и теперь предмет этот — не более чем безразличный тебе материал, занимающий в пространстве определенное место. Вероятно, не стоило заводить разговор с Маей, ведь она, глядишь, растревожилась. И все же Карл не захотел ждать ее пробуждения, чтобы успокоить или утешить. Он предпочел тихонько подняться и выйти на прогулку. От прогулок, конечно, не похудеешь, но ожирение нисколько его не волновало. Как он полагал, есть некий установленный порядок, сообразно которому он толст, а сестрица — нет, порядок, сообразно которому он женился на Мае и обеспечивает ее, порядок, где существует Макс, а он сам, счастливый, все дольше гуляет по улицам, не замерзая.

Он вышел, когда еще не рассвело. Что-то его смутило, то ли цветные пятна, то ли какой-то странный запах. Пахло жареным миндалем, а цветными оказались рождественские шары и красная шуба — это Санта-Клаус встал так же рано и направлялся теперь к нему, желая вручить какой-то листок бумаги. Карл торопливо затряс головой, словно хотел оттолкнуть то, что на него надвигалось: Рождество и визит к родителям, упакованные в коричневую бумагу подарки теток, давно уже совсем дряхлых, и смутное, бессильное недовольство из-за отсутствия Ле.

На мгновение ему померещился Кобер, но человек этот вошел в подъезд. Светало. Карл слышал свое дыхание, родное свое сопенье — негромкое, но в известном смысле торжествующее, — подтверждение тому, что ходить надо помедленней, а коли Кобер его и вправду преследует, так все равно не догонит.

Только вошел он в контору, как секретарша позвала к телефону: “Ваша матушка”, — и протянула ему трубку. А что Мая хочет на Рождество, а

когда их ждать, а как надолго? Голос звучал неуверенно. *Так вы приедете к Рождеству?*

Карл потянулся за ножичком для бумаги на Максовом столе. Нет, хотел он сказать, я не приеду. Голос в трубке скрипучий, отец с матерью сдали за этот год, ну да неважно, какое уж теперь сопротивление. Мае — поездку в Нью-Йорк, вот что он предложил, заверив: с двадцать четвертого по двадцать восьмое они точно будут в Хильдесхайме. И подумал, опуская трубку на рычаг, как оно все легко. Но вот Макс, вышедший из своего кабинета, был недоволен.

— Класс, — произнес он язвительно, — четыре дня у родителей. Сначала побудешь примерным сыном и супругом, а уж потом займешься делами в конторе, верно?

Раздался стук. Кобер рванул дверь, встал между ними, *сломленный Мефистофель в роли миротворца,* пронеслось в голове у Макса. Минуту все трое стояли молча, Макс и Кобер смотрели на Карла, а тот побледнел.

— Кончится тем, — нарушил тишину Кобер, — что я останусь тут, в своем городе, в своей квартире, опять начну снимать это проклятое кино и Макс станет защищать мои права. Все пойдет по-прежнему. Только Карла уже не будет.

— Что еще такое? К чему вы клоните? — вспыхнул Макс.

Но Кобер лишь пожал плечами, двинулся к двери, бросил вполоборота Карлу, что ждет его завтра вечером в восемь. Повторил, что в восемь часов, и ушел.

Один из таких вечеров. Сидели в кухне, на столе, горой, — зелень, овощи, ножи, дощечки, в духовке — кусок баранины; *тимьян, свежий чеснок, чуточку паштета из анчоусов,* — перечислял Кобер, поставив перед Карлом бокал вина. Кухонная дверь открыта, и Карл глядел в темный коридор, комнаты по левую и правую руку также были темны, в кухне еще стояли стол и стулья, в одной из комнат, друг на дружке, — коробки книг, в другой — кровать, картонки с одеждой. Кобер ничего не сказал, когда Карл прошелся по комнатам, вернулся в кухню, сел.

Один из таких вечеров. Пили много.

Несправедливо, — заявил Кобер после еды. — *То, чего я хотел, – пустяк: это всего лишь бумажка, которая поможет навести порядок в моей жизни. – Если вы и вправду этого хотите,* – ответил Карл, но в который уж раз? — *вам такая бумажка не нужна. — Никто на свете,* — возразил Кобер, — *всерьез не верит в такую цельность личности, какую ты проповедуешь. — Почему же,* — откликнулся Карл, — *я вот верю. Ты готовил, я теперь сижу и ем. А ты пьешь слишком много. И уж тут ничего не переменить.*

Но вышло по-иному.

— Кобер все же пустился в бега, — сказал Карл Максу через неделю.

— Что ты имеешь в виду?

— Он уже четвертый день не показывается. Его городской телефон не отвечает, сотовый тоже не отвечает. Третьего дня должны были встретиться, а он не пришел.

Кобер никогда не заставлял себя ждать. Макс смотрел недоверчиво:

— Слишком хорошо, чтобы оказаться правдой.

Прошел и этот, и следующий день, но ни вестей, ни звонков, ни писем.

Через три дня Макс встречал Карла на пороге конторы.

— Плохие новости, — предупредил он, протягивая газету: короткое сообщение на первой странице, под ним отсылка к некрологу в разделе культуры.

С газетой в руке Карл развернулся и вышел, не глядя на Макса, а тот крикнул что-то вслед, и еще раз.

Прямо перед Рождеством, повторял про себя Карл со смутным раздражением, словно Кобер сумел его в чем-то опередить. Повторял с таким чувством, словно тот внезапно сорвал верное решение, и пути отрезаны. А ведь так было Карлу покойно. До Рождества всего неделя. Подарков у него ни для Маи, ни для Макса. Мая вчера спрашивала, когда они едут к родителям. Как в прошлом году — стоишь с двумя сумками на перроне, вокруг пассажиры, одни волнуются, другие ворчат, ожидают объявления о прибывающем вот-вот скором.

Краем глаза Карл заметил какое-то колыхание, движение по кривой, и оказалось, это убежала такса в розовой попонке, толстуха, поводок волочится сзади, прохожие уступают дорогу, смеясь, подхватывают свои пакеты, сумки, подарки и движутся дальше. Карл, шагая посредине, вдруг осознал, что он не рассчитывал на приход Рождества. Кобер опередил его. Кобер сначала занялся *празднословием и словоблудием* (язвил Макс), а потом взял и ушел.

— *Только захочешь все наладить, любой ценой, как оно пойдет вкривь и вкось,* — говорил Кобер. — *Вот и уставишься в одну точку на столе, вот и ломаешь голову над решением. А что решать?*

Они оказались соперниками в абсурдном состязании, в розысках архимедовой точки, способной исподволь и бесповоротно преобразить собственную их жизнь. Три дня пролежал Кобер у себя в квартире, и этими тремя днями даже более, чем самой смертью, расстроил и без того нечеткую механику Карлова ухода. Должно быть, звонил телефон, однажды и Карл звонил в дверь, и наконец соседи, что-то заподозрив, дверь взломали. В газете не написано, кто именно его обнаружил. Видно, Кобера это не волновало, а то и развлекало, будто удалась на сей раз детская игра: закроешь глаза — и никто тебя не видит.

Карл встал посреди улицы. Прохожий, случайно задев, обратил внимание на высокого и толстого человека в светлом плаще, с закрытыми глазами, совершенно спокойного.

Потом пошел снег, и какие-то ребята стали лепить снежки, но те на лету распадались. *Эй, жирный!* — крикнул кто-то из детей, прицелившись в Карла. Тот вздрогнул от неожиданности, заметил детей и сумерки. *Эй, жирный!* — снова крикнул мальчишка, расхохотался и убежал вместе с другими. Карл медленно пошел вперед, очень осторожно, чтобы неверным шагом не спугнуть воспоминание, в любой миг готовое исчезнуть: будто кто-то описал ему давнее происшествие, а теперь, раз уж оно пересказано, к нему прилагаются и картинки, частности, детали, вроде чашки на столе или освещения, пятен на оконном стекле или книжки, подробнее Карл разглядеть не сумел, чувствуя, как важно ему научиться понимать, что это воспоминание от него сокрыто. Хотелось есть. Он вспомнил, как часто готовил ему еду Кобер. Остановил такси и велел отвезти его в кафе “Адлер”.

Официантка подошла к столику, молодая и изящная, в черных джинсах, густые темные волосы схвачены резинкой — чтобы не падали гостям в стаканы и тарелки, подумалось Карлу. С такой простотой и ясностью спросила она, чего он желает, словно вопрос о его желаниях

исключительно важен и словно в ее власти исполнить их или нет. Карл рассматривал официантку слишком долго, она наморщила лобик.

— Чего вы желаете? — повторила вопрос и улыбнулась, прочитав в его смущенном взгляде попытку извиниться, от которой он все-таки отказался, чтобы не допустить бестактности. — А ваш друг? — вспомнила она. — Он придет позже?

Карл покачал головой.

— Нет, я поужинаю один. Он умер.

И добавил:

— Я его не жду.

Официантка изумленно глянула ему в лицо, но он, похоже, не рассчитывал на ответ и только смотрел на дверь, словно вот-вот появится его друг, уведет куда-то или присядет рядом.

— Вареники по-швабски, — произнес Карл таким тоном, будто делает заказ для того, кого нет. И снова к ней повернулся: — А еще бутылку троллингера.

Кафе заполнялось публикой, и он задумался, станет ли о нем беспокоиться Мая. Билеты на поезд он не купил. Позже Карл съел вторую порцию вареников, заказал кусок яблочного пирога, потом еще один. И тут наступила полночь, он был последний посетитель. Когда он вышел на улицу, снегопад уже прекратился.

Вольфганг Хильбиг

Книжный дух

Перевод Ю. Шварцман

ЭТО произошло в пятом часу утра в первую же ночь моего пребывания в Берлине: затхлый запах книг достиг моего сознания. Из-за света ли, из-за тепла ли эманации их пришли в движение, и через некоторое время их дух заполнил все пространство высоченной комнаты, стены которой снизу доверху были заставлены огромными книжными стеллажами, а на них, впритык друг к другу, словно кирпичи каменной кладки, наводя жуть, стояли тома старой русской библиотеки, пряча под канонически выгнутыми переплетами нечитаемые завитушки кириллицы — в золоте и в серебре, в благородной величественной рядности, до такой степени слитной, что казалось, будто бесконечные шеренги собраний сочинений породнены неким общим меандром и их бессчетные, давно неотличимые друг от друга тома на веки вечные замуровали собою вход в гробницу. Ужаснувшись при мысли, что в этой комнате не осталось больше ни единого атома кислорода, который еще можно было бы вобрать в легкие, я в холодном поту вынырнул из сна и включил лампу возле кровати... Книжная зыбь расходилась передо мной волнами из освещенного круга, терялась где-то в темноте и вновь возникала, отраженная блестящей черной гладью оконного стекла; а прямо

© 1997 S. Fischer Verlag GmbH, Frankfurt am Main
© Ю. Шварцман. Перевод, 2004

надо мной в головокружительную высь уносились башни книг — неисчислимые, замороженные и вдруг снова оттаявшие компендиумы человеческого духа, светло-зеленые, бледно-розовые или темно-коричневые, словно опиум; и мне почудилось вдруг, что я проснулся на дне самого глубокого небоскребного каньона в каком-то фантастическом Манхэттене, куда провалился в ночном кошмаре, а теперь образ этого каньона неотвязно преследует меня уже наяву.

Я не знал, как давно книги попали в этот город. Они плыли на корабле или летели на самолете под присмотром хилого, затравленного очкарика-интеллигента, который, однако же, дотащил многотонную эссенцию культурных сокровищ своего народа до украшенных лепниной комнат этой квартиры. А здесь, оказавшись внезапно вдали от родины, попросту сошел с ума от своих же неприкаянных сокровищ и — как когда-то помешавшийся на вегетарианстве Толстой — сбежал в мекленбургскую деревеньку к неграмотным коровам и свиньям.

Кто-то передал мне ключи вместе с разрешением пожить недельку в пустующей квартире. Я приехал ближе к вечеру, страшно усталый после бессонной ночи — до рассвета я тщетно бился над несколькими стихотворениями не в силах достичь ожидаемого совершенства, — расставил свои сумки по стульям, отвернул кран, перекрывавший воду, и вентили на батареях отопления. И тут же, так и не сняв пальто, погрузился в дремоту; снаружи в черноте вечера плыли хлопья снега. Чуть позже, хрипя и шмыгая носом, почти целый час я читал со сцены маленького театрика свои стихи и, запинаясь, отвечал на вопросы; около одиннадцати вернулся в такси на ту самую улицу, в тот самый дом, где на верхнем этаже располагалась русская квартира. В комнатах было не продохнуть — я закрутил наполовину вентили отопления, рухнул на заваленный шерстяными одеялами и подушками диван в библиотеке и через несколько минут уже спал.

Засыпая, успел подумать о снеге, без устали заваливавшем улицы. Весь Берлин был в снегу — но особенно, как мне показалось, те плохо освещенные улочки, дворы и переулки района Пренцлауэрберг, где я и остановился на ночлег, — такого снегопада, пожалуй, не было уже много лет... Я вспомнил, как такси, вперяясь в темноту двумя желтыми, тут же наполовину проглатываемыми снежной круговертью пучками света, медленно ползло по утратившему вдруг всякую реальность городу и как водитель буравил напряженным и нервным взглядом лобовое стекло, сплошь, несмотря на постоянно работающие дворники, залепленное белыми хлопьями; рот его был приоткрыт, зубы сжаты, словно от отвращения... Будто он в самом деле боялся, что в следующий миг весь этот сыплющийся сверху снег забьет ему рот.

Над Берлином нависла тишина, всякий из возможных еще в это время звуков раздавался приглушенно, укутываемый чуждой мягкой пеленой, что без устали опускалась на землю из каких-то невидимых высей, — опускалась медленно и сухо, в бликах фонарей и вне этих бликов, в темноте, а пожалуй, и по ту сторону темноты, сквозь матовое сияние светящегося тумана, источаемого стеклами моих окон и таявшего где-то в ночи над кронами деревьев... И мне вдруг подумалось, что все эти мириады снежных хлопьев льнут к моему окну в надежде расшифровать мерцающие завитки кириллических знаков, непрерывной строкой бегущих по матовым корешкам книжных переплетов. Вот уже много недель, грезилось мне, падает этот снег, словно задался целью здесь, в Берлине, стереть с белого лика зимы любое цветовое пятно.

Сейчас я спокойно усну снова, сказал я себе. Можно поспать еще часа три-четыре, сейчас ведь не больше пяти. Потом выйду на улицу, пройдусь по снегу, если только он не растает, а заодно раздобуду себе что-нибудь на завтрак. Внизу по улице проезжали редкие автомобили, хриплое, недужное сопение их моторов доносилось до моего слуха словно через двойной слой ваты. Время от времени в огромном доме подо мной слышались слабые звуки, какие-то тихие, сонные еще шорохи, исподволь начиная противиться мертвой тишине зимней ночи: в этот час во многих квартирах и внизу, в домах напротив, и в соседних квартирах на моем этаже, куда еще не было подведено центральное отопление, на кухнях топились кафельные печи. Да, мне хорошо знаком запах, распространившийся вдруг по комнате: неужто у соседей раньше времени закрыли вьюшку и угар добрался до моей квартиры? Неужто ядовитый дым, поднявшись по лестничной клетке, через незримые щели заползает в мое жилище? В свете настольной лампы я попытался оглядеть комнату — да нет, вроде бы не видно, разве что он какой-то совсем незримый, — как бы там ни было, но, даже включив три лампочки люстры под потолком, я ничего не обнаружил. И все же именно там, под очень высоким потолком, мне померещилась пелена горячего едкого чада, от которого на глазах у меня выступили слезы. Я встал и распахнул оба окна. Улица в четырех или пяти этажах подо мной уже сплошь укрыта плотным снежным покрывалом, без единой прорехи, а снег все идет и идет, кроны деревьев у меня перед глазами до самой крохотной веточки облеплены и оторочены снегом, отчего их контур приобрел черты удивительно живописные и странно призрачные. Редкие машины осторожно скользили по улице, почти беззвучно, словно движимые какой-то потусторонней силой, коварного воздействия которой они всеми правдами и неправдами старались избежать. Иные шли юзом, их разворачивало чуть ли не поперек дороги, другие, тормозя, беспомощно скользили дальше, порождая во тьме, прорезаемой прыгающими столбами света от автомобильных фар, беззвучный и панический сумбур. Снегопад не прекращался ни на минуту, и сонмы снежных хлопьев мгновенно укутывали беспомощные тела обездвиженных машин.

Чувствуя, что начинаю замерзать, я закрыл окна, взял сигарету и присел на диван. Сигарета показалась безвкусной, я вдруг снова ощутил запах, едкий запах гари... нет, не гари, и не едкий, скорее совсем другой — затхлый и тяжелый запах книжных стеллажей: стекая со стен, он постепенно заполнял комнату, грозя укрыть меня с головой.

"Запах смерти..." — осенило вдруг меня. Я знаю, откуда он берется; оказывается, я прекрасно это помню. В свое время, когда я работал истопником в котельной, мне случалось с ним сталкиваться. Когда нам завозили перележавший уголь, соскобленный, вероятно, с самого дна, осклизлого, грязного, где он прел и сырел годами, — вот тогда, стоило бросить уголь в топку, и появлялся этот запах. Жар от топки нехотя и с трудом проникал в недра отсыревшей, набухшей угольной кучи, дымившейся на решетке, и вдруг из нее начинали выходить газы — так называемые швельгазы, желто-зеленого цвета; их хорошо было видно, и, открыв пошире поддувало и как следует орудуя кочергой, их можно было довольно быстро загнать в вытяжную трубу. Однако над топками долго еще витала эта одуряющая, гнилостная, болотная вонь, вобравшая в себя, казалось, все самые мерзкие исчадия трупного разложения.

Казалось, в кусках угля, стоит им распасться в топочном жару, зловонным брожением воскресает призрак некоей давно отмершей жизни. Разгадка тайны делалась явной, едва лишь пламя охватывало черные комья, выложенные на решетке: омоложенные в огненном горниле, из топлива высвобождались остатки накопившейся в нем органической жизни, и дух этой сгоревшей дотла материи устремлялся ввысь, в небесный эфир. Целлюлоза... Не зря в ней слышатся *целые лозы*: напитанные тысячелетиями жизни, органические клетки распадались, охваченные багряным духом огня. Кочегары, стоя перед топками, только и покачивали буйными головами, одуревшими под натиском первобытных мыслей. В сумраке котельной они скользили взглядами по матовым стенкам котлов, прислушиваясь к грозному гудению огня; потом с усмешкой роняли: "Вот таким же в высшей степени простым способом состоится в недалеком будущем и наше собственное unio mystica[1]". И в свете этого пламени все умствования и расчеты мудрых глупцов или глупых мудрецов в их монашеских кельях и ученых кабинетах просто смешны. Потому что мы, люди, сами сжигаем землю, по которой ходим, и сами заставляем ее воспарять в небеса. И для нас всегда было очевидным, что тепло, извлекаемое из черных недр земли, не что иное, как наша собственная энергия. Нам отлично известно, что жизнь, любая, лишь дух, одолженный у поднебесья, и, сжигая что бы то ни было, мы вызываем его вновь. И еще мы знаем, что не успокоимся, пока не обратим всю Землю в серо-голубой ком холодной, ничем не пахнущей золы.

Кочегары смеются таким своим мыслям: кому как не нам, истопникам, искать выход из положения? Но вместо этого мы продолжаем топить, мы заняты добыванием энергии, которой надлежит окутать жизнь приятным, мягким, теплым ароматом. Мы продолжаем топить и, можно сказать, стоим у истоков превращения энергии в благополучную, красивую жизнь. А поскольку охвативший всю планету дух прогресса не имеет никакой иной цели, кроме наведения на всей земле вот этакой косметики, нам приходится изо дня в день подпитывать его энергией – сегодня, завтра и послезавтра, каждый день – новая порция, без косметики никуда, и ее требуется все больше, во все более несметных количествах. На самом деле мы просто скромные участники великого Северо-Атлантического пакта индустрии косметики, цель которого – уберечь человечество от подлинного запаха жизни, но и в запросах тоже не слишком скромничать. Разве не мы сообщаем действенную силу каждому новому шампуню? Это ведь именно мы обеспечиваем конвейерам, производящим шампунь, возможность работать на полную мощность. На полную мощность – так, чтобы каждый гражданин свободного мира ежедневно имел возможность вылить себе на голову как минимум три разных продукта типа шампунь. И мы будем обеспечивать конвейерам по производству шампуня возможность работать на полную мощность, даже когда у человечества выпадут все волосы. Хотя зачем нам тогда все эти прекрасные шампуни? О-о, не скажите, не за горами уже времена, когда нам всем придется питаться шампунями. Ванильный шампунь, ромашковый шампунь, крапивный... Приятного аппетита!

Второй раз за ночь я встал и открыл окна; духота в комнате стала еще нестерпимее. К тому же этот книжный дух, похоже, приводит меня

1. Мистический союз (*лат.*). (*Прим. перев.*)

в какое-то странное состояние: сна ни в одном глазу, я взбудоражен и перевозбужден... И все равно перед глазами какая-то муть, мне чудится, будто в комнате, прямо передо мной, сгущаются плотные подвижные облака, соткавшиеся из серо-черных молекул воздуха... В голове сами собой перелистываются картины воспоминаний, относящиеся, скорее всего, к чему-то давно прочитанному, потому что наяву мне ничего подобного переживать не доводилось. Да, наверное, это образы из книг, которые я когда-то читал или только о них слышал: в моей памяти всплывают бескрайние ландшафты, а истории, что на фоне этих ландшафтов разыгрываются, полны самых многострадальных, непостижимых и фантастических поворотов, которые вдруг превращают происходящее в абсолютно ясную, очевидную и немудрящую безделицу... События, преображаясь, проплывали передо мной, оставляя после себя только одно ощущение: величественной пустыни мрачных равнин, по которой уносится прочь призрак человеческой судьбы. Ландшафты тонули в преломленном свете, прочерченные полосами теней, словно в нескончаемых сумерках, так что границы их — скажем, полоска темного леса на горизонте — были едва различимы. Именно эти ландшафты и были источником странного запаха, заполнявшего мою комнату.

За окнами по-прежнему кружился снег, сыпал и сыпал с ночного неба крупными, легкими, словно пух, хлопьями, белизной проступавшими из темноты, — проплывая в свете окон, эти хлопья превращались в темные тени и потом уже невидимками опускались на белую улицу. Меня потянуло к этой холодной, ажурной, свежей, ничем не пахнущей круговерти, к хлопьям, что падали и падали из снежных закромов мироздания: я высунулся из окна, у меня разом закружилась голова... Я знал, этим кружением охвачен весь город, вдруг показавшийся мне несусветно огромным, — город, где я вконец заблудился, чьи границы засыпал, сравнял с землей снег; теперь этот город шагнул глубже в природу, потерялся на снежных равнинах, как потерялись во вьюге и все другие города в этот час, ибо мело повсюду в Европе, и я чувствовал, сколь самонадеянно и тщетно желание этот снегопад описать. Да, снег идет повсюду, до горных отрогов Азии и далеко за ними, много дней и ночей подряд ползут оттуда сюда неистощимые, свинцовые снежные тучи.

Ничего удивительного, что тщедушный русский интеллигентик, здесь обитавший, решил сбежать из этого погрязшего в сугробах, теряющегося в снежной бескрайности города. Не иначе вспомнил страну, откуда приехал... На небольшом лоскуте стены, что проломом проглядывал в монолите книжной кладки, криво висела вырванная из журнала страница: подпись русскими буквами и расплывчатый фотоснимок вдруг подавшегося назад человека. Отчетливо видны только большие испуганные глаза за чудовищными круглыми стеклами очков: на фотографии, ясное дело, изображен сам квартирант — тонкое, умное, неповторимо беспомощное лицо, какое бывает только у русского интеллигента. С беспредельным отвращением, так, по крайней мере, мне показалось, смотрит он в объектив, в неведомое пространство по ту сторону снимка, что давно стало прошлым и все же, странным образом, перекочевало в настоящее... Как будто он тоже не в силах оторвать взгляд от круговерти за окном, от этих осадков, что мельтешат беспрерывной рябью — то ли прочерками, то ли насечками на черном фоне — и представляются ему мороком, наваждением. В тот миг, когда его осветила вспышка, он был уверен, что видит этот вспенившийся туман черных или серых иероглифов, снегопад букв,

низвергающихся с неба, — густой, точно дым от пожара... Как будто там, наверху, охвачена пламенем некая грандиозная библиотека.

Очень может быть, с ним было то же, что и со мной: приехав в этот непостижимый город, он сперва декламировал перед горсткой незнакомых и растерянных слушателей свои благозвучные слова и строки, потом сквозь снежную бурю добрался до своего пристанища, до этой вот комнаты, а после сумбурной бессонной ночи, когда в доме с урчанием и треском заработало отопление, книги вдруг проснулись и заполнили все вокруг своей натужной одышкой. Да, книги задыхались! Так, наверное, ему почудилось. Одышливое и монотонное, как литания, дыхание деревьев, треск зимнего леса, глухих чащоб, стеною вставших сразу за Москвой, бормотание пузырящихся топей, гудение трясин — это были вздохи, напоенные простором и порывом, словно ветер, что колышет волны степных трав. И не исключено, что пред его недоверчивым взором, взором скептика, стало разгораться жаркое пламя, просвечивая в зазорах между книгами и полыхая все ярче, покуда комната медленно наполнялась незримым и тлетворным духом. "К чему все эти книги..." — возможно, успел подумать он.

А может, выдернул из стеллажа один из тяжеленных кирпичей-фолиантов и осторожно — словно боясь обжечь об него пальцы — раскрыл, припал лицом к страницам, полной грудью вбирая в себя прогорклый аромат плесени и слежавшейся пыли. Невозможно объяснить, чем пахнут книги... Поначалу он ощутил лишь едкий ядовитый запах зеленоватого льняного переплета, горький дух дегтярного клея, скрепившего корешок; потом пахнуло дыханием веков, древностью плотной желтой бумаги — запахом крепким и стойким, словно давняя мозоль на ноге, но все же едва заметно смягченным не то жиром, не то потом. В нем слышалась и чернильная нота, сдобренная отдушкой типографской краски, уже посеревшей, — похоже, этот аромат исходил с самого дна наборного ящика, заполненного угловатыми литерами, чьи отпечатки прихотливым орнаментом впитались в бумагу. И еще, казалось, оттуда, из тины русских словарных глубин, с самого дна, доносится легкая смесь фимиама и нафталина... Да, над волнами этих страниц колыхалось марево тлеющего углеводорода, перехватывая дыхание своим смрадом с примесью аммиака и еще какой-то едва ощутимой добавки — то ли дезинфицирующего средства, то ли спирта. То было курение таинственных благовоний, кадивших под куполами древних русских церквей, а еще пряный травный дух бальзамов, которыми умащивали покойников, и прогорклый запах пшеницы, перележавшей в темных закромах. О, эти сомнительные, опасные, запретные ароматы, о, эти подрывные веяния, идущие прямиком из дарохранительницы русского духа, в мерцающем ореоле лампадных огоньков, в волнах песнопений, что поднимают мертвецов к жизни и упокоивают живых, ошибочно возомнивших себя бессмертными. Не приходится сомневаться: книги потому и впитали этот дух, что у себя на родине были под запретом, считались крамолой, подвергались гонениям.

— Все! Больше никаких книг! — воскликнул он рано утром после первого же своего "эстрадного" литературного выступления в Берлине. — Отныне — никакой черной литерной сыпи! Никаких песнопений! Конец грамоте, конец алфавиту!

Всю ночь в голове у него кружились сонмы фраз, пока не улеглись в перетруженном, воспаленном мозгу беспорядочными напластованиями сугробов и куч, перекрывая всякую возможность выхода из этого мыслитель-

ного сумбура. Снова и снова скользил он тревожным взглядом по обступившим его книжным стеллажам, словно опасаясь, что они вот-вот на него обрушатся.

Да разве имеет смысл добавлять еще хоть что-то к этому потоку строк, и так бесконечному?.. Стоит ли заниматься приумножением добытых из горнила слогов и слов, которых и без того так много на свете, стоит ли шуровать кочергой в пламени времен, дабы ускорить их превращение в серый пепел? Разве подобные попытки описать во всех элементах ту почву, из которой произрастает человеческий дух, не вдохновлены суетным тщеславием и не обречены на заведомую неудачу? Почему бы не оставить дух в покое — там, где ему следует быть? В вавилонском порыве, на башенных высях, ряд за рядом наслаивали мы кладку писания, силясь возвести твердыни мудрости. А что в конечном счете воздвиглось из наших трудов? — Лишь метрополии косметических миражей, подобные сияющему вдали мареву Манхэттена или вот этому, здешнему, — Берлину.

— Как много буковок, — прошептал он, снова распахивая окно, чтобы выпустить чад из комнаты: — Что за диво эти буковки... bukwy, прекрасные bukwy! — Он смотрел в темноту, в кружение снега, все валившего и валившего из недр ночи, в белую свистопляску у самых стекол его очков. В тепле, что потянулось из комнаты, хлопья, казалось, на мгновение замирают и, помешкав, пометавшись немного вверх-вниз, снова отдаются своему неспешному падению — вместе с собратьями-хлопьями и их тенями они окончательно устремлялись вниз, в ненасытную тьму улицы.

Фелицитас Хоппе

Левая туфелька

Перевод Т. Баскаковой

ВСЕ говорят: Потсдамская площадь, Потсдамская площадь... Все о ней говорят, постоянно, но сама я ее никогда не видела. Уже много лет живу я здесь, в этом городе, много раз случалось мне по ночам, под хмельком или непосредственно после, пересекать город во всех направлениях, с севера на юг, с востока на запад, однако площадь я так и не видела — ни разу. Все говорят: увидите ангела, золотого ангела на Триумфальной колонне, и от него идите прямо — но мне, видать, на роду написано бегать по кругу, пока этот самый ангел, устав от того, что на него вечно все глазеют, не решится наконец выступить в роли собственного спасителя и не сбросит надоевший венок на первую попавшуюся голову, например моей сестренки. Мы с ней часто играли в эту игру, когда время клонилось к полуночи и ничего другого не придумывалось. Сестра, качнувшись, доставала с полки какой-нибудь предмет — книгу, вазу с цветами, пустую видеокамеру: ты — ангел, кричала она мне, возьми же свой венок; и я, приподнявшись на цыпочках, держала этот предмет в поднятой руке, а моя сестренка сонно отсчитывала секунды. Меня никогда не хва-

© 2000 by Deutsche Verlags-Anstalt, Stuttgart München
© Т. Баскакова. Перевод, 2004

тало больше чем на три минуты, потом рука моя наливалась свинцом, и сестра смеялась, потому что могла оставаться в таком положении гораздо дольше.

Но она ненавидит этот город. Она приезжает сюда только ради меня, примерно раз в два года, ставит чемодан возле двери и, очевидно не веря в реальное существование города, до самого своего отъезда уже не покидает облюбованного места на тахте. Именно оттуда она наблюдает за мной, как я беспокойно — под хмельком, и после, и до того — днем и ночью ношусь по этому городу и иногда, исключительно от отчаяния, присоединяюсь к туристическим группам, которые под предводительством сведущих говорунов бродят туда-сюда по нашим городским улицам. И всегда-то эти экскурсоводы держат что-то в поднятой руке: обветшавший план города, вымпел, флажок или потрепанный здешней непогодой зонтик, к верхушке которого привязан грязный носовой платок. Я их узнаю издали, но речей их не понимаю, потому что у них жиденькие, как бы истаявшие голоса. И все же, когда раздается смех, я смеюсь вместе со всеми, хотя и не понимая, почему, как те мужчины из группы, что нарочно толкали под ребра спешивших мимо девушек, или те женщины, которые, воспользовавшись передышкой, открывали сумочки, чтобы поднести к лицу карманное зеркальце. Я досконально изучила, как трещат ребра обращаемых в бегство девушек, изучила и стандартное содержимое дамских сумочек, а вот Потсдамскую площадь не видела никогда.

Но я не собираюсь сдаваться. Я по-прежнему издали высматриваю строительные краны и туристские вымпелы, ищу ту единственную надежную группу, которая однажды — прежде, чем я ее вновь потеряю, — приведет меня на Потсдамскую площадь. А теряю я такие группы всегда, потому что выгляжу не как гостья города, а как старожил. Походка у меня чересчур решительная, как если бы я всегда знала, куда иду, и оттого постоянно, везде и всюду, кто-нибудь, ухватив меня сбоку за рукав, шепотом спрашивает, не проходила ли здесь раньше Стена. И хотя я при всем желании не могла бы компетентно ответить на этот вопрос, я немедленно достаю из своей сумочки кусок мела и в очередной раз с решительным видом провожу четкую линию между своими подошвами, левой и правой, с юга на север или с востока на запад, неважно, прямо по мостовой, в точности в том месте, где стоит вопрошающий. И пусть это обман, как понимает, даже не вставая с тахты, моя сестра, я на ее упрек отвечаю: людям такой обман нравится, иначе они не стали бы делиться со мной своими деньгами.

На эти деньги я однажды взяла такси и попросила шофера отвезти меня к Потсдамской площади. Я думала, что уже издали увижу ее, я кричала шоферу и даже махала рукой, однако он никуда не сворачивал, только снова и снова описывал круги и молчал как рыба. Возможно, он был и не шофер вовсе, а бывший экскурсовод, который в один прекрасный день, проводя экскурсию, потерял сначала голос, а после и свою группу, и уже не мог держать в поднятой руке зонтик с привязанным к нему носовым платком. Дело кончилось тем, что шофер подал мне какой-то знак, я расплатилась и вышла из машины. На скамейке возле канавы сидела плачущая женщина. Не очень красивая, потому что ее, потерявшуюся туристку, не красило отсутствие туристической группы и каблука на левой туфле, которую она, будто укоряя кого-то, держала в поднятой руке. Левая ее нога, босая, покачивалась, не касаясь земли, ведь здесь у нас очень грязно и часто идут дожди — потому, как уверяет моя сестра, что

здешние всегда носят неподходящую обувь. Сама сестра предпочитает туфли без каблуков, а сострадание к другим ей вообще несвойственно.

Я же достала из сумочки кусок мела и флягу, которую поднесла к губам женщины. Та немедленно приложилась к фляге и быстро успокоилась, потом даже развеселилась, и я тоже пила, и мне тоже стало весело. Мы с ней рисовали линии улиц и площадей, пока контуры города, рождавшегося на асфальте у нас на глазах, не начали расплываться от окружающей тьмы и сырости. В сгустившихся сумерках все еще покачивалась над асфальтом левая ступня женщины. В одной руке женщина держала туфлю, в другой – флягу, еще и себя заставляла держаться прямо, а я сонным голосом отсчитывала секунды до тех пор, пока жидкость во фляге наконец не иссякла, после чего рука женщины медленно опустилась вниз. И хотя эта история от начала и до конца выдуманная, что тотчас же распознала моя сестра, мне приходится рассказывать ее вновь и вновь, потому что время уже очень позднее и мы с сестренкой слишком устали, чтобы доставать с полки какие-то предметы или вызывать такси и до тех пор кататься на нем по кругу, пока ангел наконец не сжалится и не уронит венок на голову женщины, которая только что, качнувшись, поднялась со скамейки и вышла на залитую светом площадь, держа в поднятой руке одну туфельку. Нам с сестрой все это хорошо известно, мы ведь с ней часто в это играли, играли так: если туфелька – правая, сестренка проигрывает, она берет свой чемодан и уходит. Если же левая, сестра оказывается в двойном выигрыше: ведь это значит, что я должна проводить ее на вокзал, а Потсдамскую площадь как никогда не видела, так не увижу и теперь.

Штеффен Копецкий
Подпись грека

Перевод И. Щербаковой

ПРАВИТЕЛЬСТВА и партийные боссы государств – членов Европейского союза давно, еще в середине 80-х, поняли, что гораздо разумнее не увольнять потерявшего чувство меры чиновника, а переводить его в Брюссель. Никаких компенсаций, никакого скандала – ведь у всякого сколько-нибудь заметного чиновника или функционера, к сожалению, большие связи.

Так вот, когда у начальства лопалось терпение, чиновника отправляли в Брюссель. Это был самый лучший выход. Тогда ЕС платил ему зарплату. Он был далеко. Благодаря расслабляющему образу жизни в европейской столице этот чиновник больше никому не мозолил глаза.

В общем, если кто-то где-то становился совсем уже невыносимым, его отправляли в Брюссель – таким образом эта удивительная конструкция под названием Европейский союз приносила хоть *какую-то* практическую пользу.

© 2001 by Deutsche Verlags-Anstalt, Stuttgart München
© И. Щербакова. Перевод, 2004

Боуэри догадывался обо всем этом. Он и сам был таким "перемещенным лицом", от которого просто избавились без лишнего шума. Неугодным.

Но в Брюсселе он бывал редко и почти никогда – в главном офисе агентства, в самом управлении, а постоянно мотался по делам *ТрансЕвроНочи.*

Сегодня ему впервые предстояло встретиться с главным шефом, директором Спиро Вояцисом. Этот грек несколько лет назад оказал у себя на родине немалую услугу старому студенческому другу, чьи налоговые декларации многие годы служили образцом лаконичности. История выплыла наружу, но для Греции как раз было выделено несколько свободных директорских мест в Брюсселе, и Вояцис, который уже не мыслил себя без персонального служебного автомобиля, вертолета и спортивного самолета, сделался одним из четырех директоров *Европейского железнодорожного агентства, ЕЖА,* организации в полной мере отвечавшей веяниям времени (по крайней мере, внутри союза она считалась образцовой).

Бауэри несколько раз видел директора, правда, мельком. Он почти ничего не знал о Вояцисе, кроме, пожалуй, того, что у него была необыкновенно размашистая и четкая подпись, занимавшая весь левый нижний угол листа. Правда, Бауэри давно уже перестал открывать конверты с почтой ЕЖА, поскольку служебные инструкции, которые эта начальственная подпись украшала, отличались редкой противоречивостью, но росчерки и завитушки грека стояли у него перед глазами. Он нервничал, входя в ЕЖА.

Агентство занимало большое здание второй половины XIX века в старой части Брюсселя на Фельдерхусштраат. Два года назад оно было полностью отреставрировано, потому что одна уборщица, родом из Конго, заметила под облупившейся штукатуркой фрагменты работы известного бельгийского мастера того времени. Агентство пришлось на полгода перевести в Антверпен. Сразу по возвращении в шикарно отделанные офисы маклерам по недвижимости было поручено как можно быстрее найти новое здание, поскольку штат ЕЖА таинственным образом увеличился на 2 директора, 5 руководителей отделов, 9 ассистентов, 13 секретарш и 20 стажеров. Таким образом, число сотрудников достигло 270, и старое здание уже явно трещало по швам.

Когда Бауэри вошел в ЕЖА, у него возникло чувство, как будто он попал в какой-то иной мир, по сравнению с которым мир *ТрансЕвроНочи* казался верхом рациональности. Неправдоподобно блаженные лица чиновников, наблюдающих за работой портье... А ведь это были чиновники самого низкого ранга. Портье – бельгийцы – не входили в число служащих ЕС. Никто не чинил ему препятствий, но обычно истекал не один час, прежде чем Бауэри удавалось найти в этом здании то, что он искал, и поговорить с тем, с кем он хотел поговорить. Иногда он так и уходил ни с чем, потому что сотрудники агентства имели обыкновение, закрыв кабинет прямо посреди рабочего дня, отправляться на какой-нибудь прием.

Встреча с Вояцисом была назначена на четырнадцать часов. Бауэри вошел в здание ЕЖА около десяти и начал, не спеша, двигаться к цели.

Вокруг царила полная неразбериха: кто-то куда-то переезжал, все бегали, суетились.

Кроме того, в то утро *Туристическая организация "Южная Африка"* устраивала прием с фуршетом. Одновременно в парке проходил великолепный ланч по случаю открытия нового здания *представительства провинции Кастилья-Леон.* Спор о том, какое из этих двух важных мероприятий заслуживает внимания, разделил чиновников, во всяком случае тех, кто занимал ответственные посты, на два лагеря, и поэтому работа агентства была практически парализована.

Часы показывали чуть больше половины двенадцатого. Бауэри стоял в дверях офиса *где-то* на втором этаже. Раньше здесь располагалась приемная Вояциса. Два сравнительно молодых, очень хорошо одетых чиновника были поглощены спором: куда им идти обедать, хотя обеденный перерыв уже начался.

– А если пойдет дождь?

– Не будет никакого дождя. Погода прекрасная.

– Ну и что с того, у нас в Стокгольме тоже так отвечают, а потом...

– Черт побери, сколько можно повторять: авильские – это чудо что такое.

– Опять ты про то же. Я думал, мы уже тему бобов закрыли.

– А кто был там с последней делегацией? Я или ты? Вот именно. И бобы – это далеко не все. Там что ни блюдо, то шедевр!

– Право, не знаю, Хольгер, это их испанское вино всегда словно прокисшее, что ли...

– Идиот, это называется "Баррик". Красное вино. Из дубовых бочек! Да, что вы хотели?

– Извините, я ищу приемную директора Вояциса.

– Кого?

– Директора Спиро Вояциса, отдел таможенных правонарушений и нарушений правил свободной торговли на железнодорожном транспорте дальнего следования и координации розыскных мероприятий, – в десятый раз за утро повторил Бауэри. Оба чиновника, швед и немец, посмотрели на него так, словно впервые слышали это имя. Возможно, оно действительно было им незнакомо или, наоборот, знакомо слишком хорошо. В любом случае помощи от них ждать не приходилось. Это ведь строительный отдел. И сейчас они опаздывают на встречу.

– Тогда пей белое вино, если не любишь "Баррик". Или просто шампанское! – продолжал гнуть свою линию немецкий чиновник, когда вместе со шведом покидал свое бюро, оставив там Бауэри.

В Индии Бауэри видел учреждения, в которых люди, не имевшие к ним никакого отношения, ночевали, продавали еду или сдавали в аренду посетителям пишущие машинки, взимая дополнительную плату за цветную ленту.

Больше всего Брюссель напоминал ему Индию. Что-то тут было неприятно родное. Сняв телефонную трубку, Бауэри набрал номер *ЦЕКСЕК – Центральной курьерской службы европейской комиссии* – и заказал *СуперЭкспрессПочту*, СЭП. Взял конверт, вложил туда (в шелковистое бумажное чрево) свою визитную карточку, запечатал и надписал имя и должность Вояциса.

ЦЕКСЕК предпочитала нанимать на работу бывших служащих Иностранного легиона и датских солдат элитных подразделений, оставшихся не у дел после окончания "холодной войны".

СЭП явилась через пятнадцать минут в виде загорелого молодого человека. Он молча забрал письмо и стремительно удалился. Проводив его взглядом, Реджинальд Бауэри отправился на поиски туалета, чтобы поправить галстук, причесаться и почистить ногти. Оценив всю прелесть этого помещения – заново отремонтированного, выдержанного во фландрском стиле середины XVII века, – он побрел вниз. Был ясный солнечный день, Бауэри сел за один из столиков в маленьком бистро на противоположной стороне улицы и заказал, как обычно, горячую воду с молоком. Здание ЕЖА было шестиэтажным, окна блестели на солнце и слепили глаза.

Он вынул темные очки и углубился в научный раздел "Таймс". Где-то на середине статейки о новой методике в челюстно-лицевой ортопедии, разработанной одним немецким врачом, который предложил изготавливать протезы из твердого пенопласта, вернулся курьер. Не прошло и четверти часа. Он сообщил, что взрывотехники уже проверили письмо и теперь ничто не мешает *передать* его директору Вояцису. Реджинальд положил деньги за горячую воду на столик, снял темные очки, сложил газету и последовал за курьером обратно в здание.

***

Через каких-нибудь полтора часа, вдоволь набегавшись по этажам агентства, курьер наконец добрался до бюро директора и вручил ему письмо с визитной карточкой Бауэри. Реджинальд посмотрел на часы. Еще не было двух. Замечательно!

Он наблюдал это торжественное вручение, пребывая наполовину еще в коридоре, а наполовину уже в гигантском кабинете директора. К этому моменту он уже полностью перестал ориентироваться в пространстве. Бауэри понимал, что находится на пятом этаже, но как они добрались сюда, было загадкой. Он следовал за курьером через переполненные приемные, где делались ставки на беговых лошадей и играли в запрещенные компьютерные игры. Через какие-то запасные выходы, пристройки и котельные, набитые словоохотливым техническим персоналом. Через окутанную парами кухню, где китайские повара сообщили Бауэри, что ЕЖА устраивает сегодня в полночь ужин для одного из директоров, переведенного – по причине невозможности дольше терпеть его в ЕС – в ООН. ЕЖА здорово в связи с этим перетряхнуло! Курьер и его спутник, летевший за ним, как Меркурий, пересекали конференц-залы и лекционные помещения, только что оклеенные обоями во французском стиле начала XVIII столетия... Вообще во всем здании чувствовалось – и не только потому, что "*всюду, куда дотягивается ее рука, возникает креативный хаос*" ("Вог", Италия, март 1999), – что в ЕЖА появилась новая дизайнерша! Ее имя Донна Бротлайб, ей 22 года, и она самая настоящая *звезда*, представительница нового звездного молодого поколения нью-йоркских архитекторов по интерьерам. ЕЖА переманило ее у представительства государств Магриба, только что переехавшего в новое здание.

Они проходили через унылые пожарные коридоры, поднимались и спускались по ярко освещенным солнечными лучами парадным лестницам, перила которых, натертые опытной рукой, блестели и так благоухали, что у Реджинальда возникло даже легкое чувство опьянения...

Директор с изумительной легкостью и мастерством расписался в получении, и курьер, словно ракета промчавшись мимо Бауэри, исчез за дверью. Бауэри наблюдал, как Вояцис роскошным — из когтя кенгуру — ножом для разрезания бумаг вскрыл конверт, достал визитную карточку и очень внимательно стал ее изучать. Прочел раз, прочел другой, посмотрел в окно, обвел отсутствующим взглядом комнату и тут вдруг обнаружил Бауэри. В глазах его мелькнул испуг.

Несколько секунд директор теребил визитку, явно пребывая в нерешительности, и вдруг, состроив на лице радостную улыбку, двинулся к Бауэри.

— Реджинальд Бауэри, наш человек в *ЕвроТрансНочи*! Милости прошу. Присаживайтесь. Бренди? С моей родины. Преподнесли неделю назад на приеме. Греческий посол в Бельгии и греческий посол в ЕС устроили его в честь дамы — прекрасный жест, — только что вступившей в должность представителя Греции при штаб-квартире НАТО. Двадцать пять лет.

— Правда, сэр? Это удивительно. Тут все-таки очень важна выдержка. Ну, тридцать лет, я бы еще понял. Но в любом случае снимаю шляпу.

— Выдержка?

— Ну да, она многое определяет. Сколько, вы говорите, лет?

— Хм. — Директор Вояцис вперил взгляд в своего подчиненного. Что этот парень имеет в виду? "Тридцать лет, я бы еще понял..." Хочет ли он таким образом намекнуть, что во французских офисах чиновники получают в подарок бутылки с вином еще большей выдержки? А итальянским директорам вообще дарят "Веччия Романа", которому никак не меньше тридцати лет? — Хм, — повторил он и, улыбнувшись, хитро спросил: — Так вы считаете: главное — это выдержка?

— Ну, не только она. Дело ведь не в годах. Вспоминаю себя в университете. Мне ее явно не хватало. А ведь когда занимаешь такой пост, надо уметь себя контролировать. Должен сказать, я восхищен, сэр!

— Хм, — Вояцис совсем запутался. Что это означает: надо уметь себя контролировать? Откуда мог этот англичанин знать, что он любит пропустить стаканчик у себя в кабинете и что бутылка бренди, которую он получил на том приеме, уже почти пуста? Что вообще такое эта чертова *ТрансЕвроНочь*? Он, Спиро Вояцис, знать о ней ничего не знает. А хоть бы и знал. Он улыбнулся Бауэри. Молодость! Эх, веселая была жизнь! И все пути открыты. — Н-да, — заговорщицки произнес он, — мы все иногда не прочь скинуть лишний груз. Разве нет?

На этот раз задумался Бауэри. Кого же его собеседник *скинул*? Неужели речь идет о *предшественнике нынешнего* греческого представителя в НАТО? Или он намекает на то, что неплохо было бы скинуть эту *новую*, 25-летнюю? Тут Бауэри вспомнил о своем непосредственном начальнике, который всячески ограничивал его самостоятельность. А что.... Неплохо было бы его скинуть. Это точно. Вояцис его просто подбадривает: *Бауэри, вперед, скидывайте своего начальника! Покажите, на что вы способны.* Именно это он и хотел сказать. Без сомнения.

– Да, сэр, имéнно так. Вы абсолютно правы. Неплохо было бы скинуть... В подходящий момент, конечно, – произнес Бауэри.

– Совсем неплохо, мой дорогой, совсем неплохо. И сейчас как раз наступил такой момент.

Вояцис налил ему тройную порцию бренди. Бауэри, который вообще никогда не пил до семи вечера, пришлось ее проглотить. Но он понял: *сейчас как раз наступил такой момент,* и этот стакан бренди был проверкой, он скрепил их союз. Видимо, директор прочитал отчет и понял, что дольше так продолжаться не может. Теперь он прижмет его начальника.

– Большое спасибо, сэр. Ваше здоровье. Я рад, что наши взгляды совпадают.

– Калапасидеос! Давно не пил! – сказал Вояцис, опорожняя свой стакан. Симпатичный парень, этот англичанин! И тост произнес хороший: "Неплохо бы скинуть..." Вот как, значит, британцы говорят. То есть те, кто принадлежат к сливкам общества, как этот малый. Я его не видел никогда, но это не важно. Хорошо, что появился настоящий англичанин, не такой, как все эти занудные педики. Все эти слюнтяи, с их дурацким АЙ-ВОНТ-МАЙ-МАНИ-БЭК. Нет, с этим можно иметь дело. Он, конечно, тоже педик. Но у них хотя бы вкус есть. Новый дизайнер по интерьерам тоже голубой. Похож на девушку. Спиро, будь вежливым, ты же прекрасно знаешь, что он хочет услышать.

– Что я могу вам сказать! Я переехал, Реджи... я ведь могу называть вас так? Ничего не попишешь – мы теперь на пятом этаже. – Его голос звучал мягко, но торжествующе. – Раньше мой офис был на втором. Здесь все совсем по-другому.

– Да, конечно. Я хотел сказать, что мне известно... я знаю, что этот офис...

Спиро Вояцис не ожидал такого ответа.

– Ах, это уже известно. Вы уже знаете... хм.

На его лице промелькнуло выражение глубокой, даже глубочайшей растерянности. Это был слишком расчетливый ответ. Неужели он неправильно оценил Бауэри или просто недооценил? Вояцис, теребя бородку, поднялся и подошел к окну.

– Знаете, Реджи, отсюда даже виден шпиль церкви Сант-Клодетт-Грийе. Правда, только шпиль, но это не важно. Взгляните. – Вояцис повернул голову, как будто хотел показать Бауэри, куда он должен смотреть.

Грек, заложив руки за спину, некоторое время предавался меланхолическому созерцанию шпиля, потом снова подошел к столу, сел и стал внимательно разглядывать его поверхность. Затем он с серьезным видом взглянул на Бауэри.

– Из офиса на втором этаже шпиля не было видно. Правда, летом я мог разглядывать людей, которые сидели за столиками уличного бистро. Я видел их лица, а отсюда это уже невозможно, расстояние большое. Хм. Знаете, Реджи, у меня дома есть театральный бинокль, еще от моей жены остался... она его тогда забыла. Да, что поделаешь, это уже так давно было... Я имею в виду, что театральный бинокль сейчас как раз пригодился бы. Я иногда думаю, неплохо бы принести его в офис. Тогда и вид был бы, и лица можно было бы разглядывать...

Бауэри застыл. Вояцис продолжал смотреть на него, но при этом как будто его не видел. Он выглядел как йог перед погружением в нирвану, когда все внешнее отделяется от сути вещей и все ложные пути обрываются.

– Извините, сэр, что я так прямо спрашиваю. Я хотел бы еще раз вернуться к моей докладной записке, которую вы уже...

– Нет, к сожалению, еще нет, Реджи, еще нет. Я ее еще не успел прочесть.

– Но я же послал ее вам пять недель назад!

– Да, Реджи, меня очень заинтересовала ваша записка. Вы же знаете, сколько от нее зависит.

– Но почему же тогда вы ее не прочитали?

– Переводчик болен. Очень тяжело болен!

– Какой переводчик?

– Переводчик, который должен, когда выздоровеет, перевести ваш доклад на греческий.

– Но постойте. Вы же говорите по-английски, сэр. Мы сейчас говорим по-английски. Доклад ведь тоже написан на английском, а не на санскрите!

– Реджи, Реджи, вы меня удивляете. Вы что, хотите сравнить греческий язык с *санскритом?* Как это можно, сами подумайте? Вспомните Платона и Перикла из Афин, основателя демократии. Такое нельзя забывать!..

– Нет, сэр, я не имел этого в виду, хотя сравнение, конечно...

– Неужели? – спросил директор жестко.

– Сэр, я просто хотел узнать, почему вы не прочитали мою записку по-английски. Вы же прекрасно говорите на этом языке.

– Смею надеяться, что это так. Я семь лет был советником посольства в Австралии. Отличный акцент там, в Сиднее. Аустрэлия. Вы там бывали, Реджи, старик?

– Нет! – с нажимом ответил Бауэри, не выдерживая интеллектуального превосходства Вояциса. С трудом подавляя неуместную вспышку гнева, он спросил: – Вы что, не читали в Австралии английских газет?

– Конечно читал, но откуда вы об этом знаете?

– *Их тоже переводили?*

– Нет, конечно нет. Что вы хотите этим сказать?

– Если вы могли читать австралийские газеты по-английски, почему вы не смогли прочесть мой доклад?

– Господи, теперь я вас понял. – Вояцис засмеялся и в такт своему смеху стучал карандашом по кожаному покрытию стола до тех пор, пока не сломался грифель. Он продолжал посмеиваться, пока снова оттачивал его в сверкающей хромом точилке. Потом усмешка сошла с его лица, и он с холодным видом подул на отточенный кончик карандаша. Разлетелась графитная пыль. – Реджи, мы здесь не в Австралии. Здесь Европа! Очнитесь, приятель!

– Сэр, я не понимаю....

– Европейская интеграция. Вы что, никогда об этом не слышали? Я директор – у меня есть право читать все документы по-гречески, и не только право. Я даже обязан это делать! Это моя обязанность как патриота *и* европейца. Объединенная Европа не станет реальностью, если каждый член большой европейской семьи не сможет внести свой культурный вклад в общий европейский дом! Вы думаете, я не знаю, что здесь про меня говорят, и, кстати, не только в этом здании...

– Да нет, я...

– Да неужели, Бауэри, вы правда думаете, что я не знаю, что обо мне говорят, и этот Штаудахер, и да Сильва, и ваш друг О'Шонесси?

– Мой друг?

– Да, этот англичанин.

– Англичанин? Я не знаком с англичанином по имени О'Шонесси.

– Как же. Неужели вы думаете, что я так глуп? Меня голыми руками не возьмешь. Все они хотят на пятый этаж. Все. Без исключения. А кто в результате оказался здесь? Добрый старый Спиро! *Кто* в результате получил этот офис? А? В этом все дело. С этим им придется смириться.

Бауэри сидел молча, на лбу выступила испарина. В Индии он однажды видел человека, который целый месяц провел в полном одиночестве в холодной пещере. Этот индус неподвижно сидел в темноте (на мертвеце) и медитировал. Его можно было даже посетить. Бауэри, помнится, вошел, постоял, а тот *посмотрел* на него и *улыбнулся*. Бауэри это привело в восторг, и он вышел из пещеры с легким сердцем, почти одухотворенный.

Но с тем, что происходило здесь, он ни разу еще не сталкивался. Они молча сидели друг против друга. Грек смотрел сквозь него и улыбался. Прошло, вероятно, не менее получаса, прежде чем Вояцис поднялся и протянул Бауэри руку.

– Реджи, мой дорогой, я должен идти. Комиссар по транспорту устраивает прием. Какая-то делегация из Чили. Что поделаешь, обязаловка. Замечательно, что мы так откровенно поговорили. Я уверен, эта встреча будет способствовать укреплению наших отношений в будущем. До скорого. Я с нетерпением буду ждать перевода вашей записки.

Уже в дверях Вояцис остановился, взялся рукой за створку и обернулся. Казалось, грек вспомнил что-то важное.

– И пожалуйста, передайте от меня привет О'Шонесси! – сказал он и потом тише, уже в коридоре, добавил: – Я еще должен отыграть у него партию в гольф! Напомните ему об этом. Не забудьте... – Он улыбнулся и подмигнул Бауэри.

***

Только через полчаса какой-то глухой, барабанящий звук заставил Бауэри очнуться. Он вышел из транса, поднялся со стула и попробовал все вспомнить. Но фигура, лицо, голос директора Вояциса расплывались, как это бывает с акварельным рисунком, который рассеянный художник забыл под летним дождем, когда расползаются все контуры и перемешиваются краски, оставляя лишь причудливые знаки...

Бауэри видел, стоя у окна, как ливень загнал последних посетителей бистро, сидевших на улице под зонтиками, внутрь. Он наслаждался стуком дождя по стеклу, который длился пару минут, а потом стих, и вновь показалось голубое небо – только с карниза падали большие капли. Он уже собрался уходить, но любопытство заставило его подойти к столу директора и заглянуть в бумаги. И сразу стало понятно, *чем* был занят директор Вояцис весь этот день. Бауэри застыл, потрясенный.

На бесчисленных листах бумаги не было ничего, кроме многократно повторяющейся роскошной подписи Вояциса.

Михаэль Крюгер
Ш*естеро моих детей*

Перевод Б. Хлебникова

НАМ частенько приходилось внимательно приглядываться к собственным детям. Временами мы чувствовали свою близость, но порой без долгих наблюдений не удавалось понять, что к чему. Так и росли дети на наших глазах, хотя, строго говоря, оставались довольно далекими. Они по-своему отблагодарили нас за эти долгие годы тем, что участвовали в нашей жизни, не слишком обременяя ее. Нельзя не примириться с тем фактом, что и мы унаследовали нечто от собственных родителей, от которых кое-что передалось и нашим детям, хотя моей жене так не кажется. Панические настроения, склонность к таинственности, миссионерский пыл — все это жена приписывала исключительно мне, поскольку, дескать, ее семья освободилась от подобных комплексов несколько поколений тому назад.

Однако с некоторых пор начались перемены, которые вызывают наше беспокойство. Шестеро моих детей движутся в чуждом нам направлении. Все шестеро, как сыновья с односложными именами (Фриц, Франц и Макс), так и дочери с двусложными (Анна, Ханна и Улла), недвусмысленно заявили нам о намерении обойтись в дальнейшей жизни без того, что мы с женой связываем с классическими представлениями о культуре. Поначалу это показалось мне попросту чудачеством, естественной реакцией на засилье в родительском доме той самой культуры, столпами которой у нас всегда считались библиотека и рояль. Однако с тех пор как даже наш младший сын Макс, успешно закончив университет, вдруг сделался книготорговцем, но при этом стал пренебрегать в газетах разделами литературной критики, предпочитая им чисто экономическую информацию, да и самими книгами интересовался уже не с эстетической точки зрения, а лишь в плане рыночной конкурентоспособности и маркетинга, — с тех пор как в изящной словесности его занимает лишь стратегия сбыта книжной продукции, я махнул рукой и на него.

Раньше всего признаки перемен обнаружились у Анны. Прежде она буквально бредила танцевальным театром[1], была его неистовой поклонницей. Сколько раз она прогуливала школу, чтобы добраться автостопом до Вены, Вупперталя или Эссена, где давались очередные премьеры постановок танцевального театра, как рьяно защищала танцевальный театр в противовес так называемому традиционному драматическому театру, репертуару которого — от "Гамлета" до пьес Хорвата — отдавали предпочтение мы.

Анна разражалась саркастическим смехом, когда ее сестра Ханна начинала восторгаться новой постановкой "Торквато Тассо" — с этого спектакля мы с женой сбежали в антракте. А Ханна, делившая комнату с Анной, упросила нас позволить ей переселиться к Улле, поскольку ей до смерти надоели вечные панегирики танцевальному театру; Анна же, которую это переселение только обрадовало — теперь у нее было больше

© 2001 by Deutsche Verlags-Anstalt, Stuttgart München
© Б. Хлебников. Перевод, 2004

1. Речь идет, в частности, о вуппертальском "Театре танца" выдающегося немецкого хореографа Пины Бауш. (*Здесь и далее – прим. перев.*)

свободного пространства, — вернувшись из школы, сразу же принималась изображать нелепые фигуры танцевального театра, что грозило нашей семье новыми конфликтами. Впрочем, несколько месяцев спустя ее увлечение танцевальным театром поугасло, а с тех пор как она переключилась на изучение экономики и менеджмента в сфере культуры, танцевальный театр вспоминался ею исключительно в прошедшем времени.

По мнению моей жены, теперь уже можно считать, что страстная увлеченность нашей дочери танцевальным театром окончательно сошла на нет. Поначалу я обрадовался: когда Анна то судорожно дергалась, то валялась на полу, то дико вскрикивала, даже находясь в метро рядом с незнакомыми людьми, я ужасался возможности, что дочь всецело отдастся этому чудовищному гибриду танца и театра; однако теперь, когда я вижу ее сосредоточенно обдумывающей некие бизнес-планы, которые приходится разрабатывать для занятий по культур-менеджменту, мне хочется вернуть назад времена прежних диких выходок. Во всяком случае, теперь она прекрасно обходится без культуры, уверяя, что настоящему культур-менеджеру непосредственное соприкосновение с культурой только мешает. В этом смысле она солидарна с Максом. Они оба планируют открыть агентство культур-менеджерских проектов, которое годика через три превратится в акционерное общество, выйдет на биржу, а сами они смогут до конца дней прожигать жизнь на каком-нибудь средиземноморском острове. Триста поэтов в Эрфурте. Хоровой конкурс в Зульцбахе. Биеннале "Тело и культура" в Тюбингене. Моей жене, усвоившей классические представления о культуре, подобные проекты и разговоры внушают ужас. Почему их тянет именно на острова? — спрашивает она меня. — Почему им не сидится на континенте?

Улетучилась и любовь Ханны к драматическому театру. Еще недавно во всем мире для нее не существовало ничего важнее Гамлета и Тассо, Ричарда и Лира, страстей и пафоса, культуры сценической речи, морали и иллюзий, мизансцен, световой режиссуры, борьбы с индивидуалистическими попытками актеров перетянуть одеяло на себя, отчего у моей жены зародилось обоснованное подозрение, что наша дочь собирается стать актрисой. То, как Ханна хихикала, возясь с косметическими — гримировальными — принадлежностями, манера откидывать прядь волос со лба в подражание Винни[1], жест, которым она отодвигала за обедом тарелку, — все свидетельствовало о том, что через некоторое время мы, вероятно, увидим ее на сцене. Возможно, даже голой, ворчала жена, голой Дездемоной[2].

Но прошло несколько месяцев, и театр для Ханны умер, поскольку, по ее собственным словам, у театра иссякли новаторские силы. Теперь она решила стать рекрутером, консультирующим людей при поступлении на работу. Актерские навыки, дескать, пригодятся, при этом совершенно не обязательно связывать себя с самим театром, омертвевшим искусством. Главное, уметь подать и продать себя, произвести нужное впечатление, убедительно сыграть свою роль. Ханна решила поступить на учебное отделение кадрового менеджмента, обещавшего весьма перспективную специальность. Хотя моя жена толком не понимает, что такое рекрутер, она несколько успокоилась — по крайней мере на такой работе ее дочери не придется раздеваться.

1. Речь, видимо, идет о популярной актрисе Винни Маркус (1921—2001), сыгравшей множество ролей в театре, кино и телесериалах.
2. Намек на скандальную постановку "Отелло" в Берлинском театре "Фрайе фолькcбюне" (1977).

Улла, наша младшенькая, всегда была особой проблемой для нашей семьи. Интровертная и молчаливая, она ела мало и спала мало, зато ее организму требовалось много жидкости. Школы для нее практически не существовало. Она часами просиживала над своими рисунками. Ее увлекала причудливая эротика сюрреализма. В некоторых акварелях моей жене чудились акты совокупления, хотя фигуры располагались вверх ногами; однако чем дольше мы вертели листы так и сяк, тем ощутимее росла наша неуверенность. "Зарождающееся и бренное" — так называлась ее работа, которая особенно нравилась мне и до сих пор представляется довольно интересной, хотя что там, собственно, изображено, мы до сих пор не сумели понять. "Изображено изображение", — ответила на наши расспросы дочь, что моя жена сочла откровенной дерзостью.

Улла была трудновоспитуемым ребенком, зато она умела завязывать нужные знакомства. Прошлой весной ее выгнали из гимназии, однако уже в мае приняли в Академию художеств, поскольку ее академический наставник профессор Карш, просмотрев эротические акварели моей дочери, судя по всему, заинтересовался ею. "Продолжай в том же духе", — этой репликой он ограничился до конца ноября, так как собственные выставочные проекты не оставляли ему времени для занятий с учениками. В начале декабря Улла удостоилась чести помогать профессору организовывать его выставку в Регенсбурге, то есть насыпать песок красивыми кучками по углам галереи. Песок прибыл из сейсмоопасных районов Перу, а поскольку за время транспортировки до Регенсбурга он сделался комковатым, его пришлось просеять. В каталоге выставки Уллу упомянули и даже выразили ей благодарность. Однако к Рождеству моя дочь распрощалась с Академией художеств, теперь она работает ассистенткой у одной аристократки, владелицы арт-менеджерского агентства, которое обслуживает крупные фирмы, продавая им произведения искусства для украшения голых стен. Зарабатывает дочь вдвое больше, чем я. Жена счастлива. Песок, оставшийся после выставки в Регенсбурге, дочь ухитрилась продать одному солидному фирмачу, машиностроителю, который рассыпал его по углам своего конференц-зала, оградив плексигласом от любопытных рук членов наблюдательного совета фирмы. Удивительно, какую тягу к современному искусству проявляют ныне крупные предприниматели. А Улла помогает им в этом, для чего ей теперь даже пальчики не надо пачкать.

Остаются Фриц и Франц, которые также воротят нос от культуры. Фриц занимался философией, Франц — музыкой. Фриц слыл в нашей семье гением. Когда его однокашники еще увлекались комиксами с Микки-Маусом, он уже заявлял, что изучает "Феноменологию духа". Гимназия окончена с отличием. За этим последовали стипендии "Фонда немецкого народа", "Немецкого общества им. Фрауенгофера", пребывание в Гарварде по студенческому обмену, рецензии и статьи в философских журналах. И все-таки что-то с Фрицем было не совсем в порядке. Жена заподозрила недоброе, когда он начал использовать в качестве черновиков оборотную сторону листов своей незаконченной докторской диссертации "Конец философии истории". Наконец однажды вечером он пришел в гостиную и объявил, что упустил "лингвистический поворот"[1].

"Как такое могло случиться?" — сокрушалась моя жена. Случилось, причем бесповоротно. Впрочем, нет худа без добра. За последний месяц

1. Речь идет об антологии американского философа Ричарда Рорти (р. 1931) "Лингвистический поворот" (1967), положившей начало целому философскому течению.

Фриц обзавелся в Интернете собственным сайтом, с помощью которого дает теперь консультации по житейским проблемам. Никаких теорий, честная и конкретная работа, – успокоилась моя жена. К тому же Фриц получает теперь денег втрое больше, чем университетский профессор, который специализируется на "лингвистическом повороте". Фриц проводит дни и ночи в своем чате, давая советы людям, утратившим смысл жизни. Мы его почти не видим, лишь пощелкивание компьютерной клавиатуры сигнализирует нам, что сын еще жив. По ночам он иногда вскрикивает, но мы надеемся привыкнуть и к этому.

Франц всегда казался нам типичным представителем богемы. Длинные волосы, тощая фигура, острый взгляд, неизменное черное пальто. Его музыкальное сочинение для трубы и двух фортепьяно было отмечено призом в Бари, а в Лейпциге состоялась премьера "Композиций I–XII", исполненных позднее и в Нюрнберге. Он сам стоял за дирижерским пультом. В "Композиции IX" по большому барабану скакала игрушечная заводная утка, из-за чего Франца упрекали в погоне за дешевыми эффектами, однако он не считал нужным отказываться от собственных творческих замыслов. Он жил искусством. По его словам, музыка является единственным искусством, способным сделать слышимым непостижимое. Каждая нота – дар тишины. Подобными сентенциями Франц повергал нас в изумление. Но полтора месяца назад случилось действительно непостижимое. За завтраком он заявил нам, что того, кто сочинит хотя бы одну музыкальную ноту, следует признать сумасшедшим. Пока моя жена давилась слезами, не в силах произнести ни слова, он вышел из гостиной, а потом продал свои инструменты, остриг длинные волосы, купил костюм от Армани и часы "ролекс". Франц устроился на частный телевизионный канал руководителем музыкальной редакции. Заведует "музыкальными консервами". Сейчас, когда я пишу эти строки, идет его программа "Голоса мира", где четырехлетний малыш с плюшевым мишкой поет на радость моей жене "Ave Maria".

На Рождество мы собрались все вместе, за исключением Фрица, у которого именно в эти дни было особенно много хлопот с его чатом. На стол подали гуся. Потом все прильнули к своим портативным компьютерам. Одни переписывались по электронной почте с друзьями и знакомыми, другие совершали мелкие покупки. Жизнь продолжалась. В промежутке между Рождеством и Новым годом мы вышли из книжного клуба, который радовал нас на протяжении тридцати лет интересными литературными новинками. По мнению детей, сейчас выгоднее пользоваться системой "books on demand". Доставка заказанных книг на дом бесплатная. От абонемента на филармонические концерты мы также отказались – после того как Франц научил нас "скачивать" музыку с помощью компьютера.

О театре лучше вообще забыть, внушала нам Ханна, а на Анну напал приступ безудержного смеха, когда мы спросили, не стоит ли нам поинтересоваться развитием танцевального театра. Улла порекомендовала нам украсить стену видеопроекцией с цифровой репродукции Базелица[1], которую при желании можно просто выключить, а бледный и исхудавший Фриц, появившийся только к десерту, предложил свои консультации на случай кризисной ситуации, которая может наступить из-за нехватки привычной культурной пищи. Дети заботятся о нас, снабжая

1. Георг Базелиц (р. 1938) – современный немецкий художник.

всем необходимым, хотя жена продолжает жаловаться, что ей чего-то недостает. Пусть так. Вечерами я сажусь за пианино, она подыгрывает мне на флейте, порою мы поем вместе. Мы вновь общаемся друг с другом. И часто подолгу размышляем о наших детях.

Штефани Менцингер
Здравствуй, Запад

Перевод И. Городинского

В один из осенних дней на рассвете Арвидс Бернштайнбах нашел куклу, которую прибило к берегу. Ночью штормило, дул сильный ветер; флотилия получила предписание ждать, то есть до полудня на берегу сидеть, вот что это значило. В такие дни Арвидс обычно чуть свет отправлялся на берег. Рыбаки либо клевали носом, либо тихо переговаривались, и он незаметно для них закрывал за собой парадную дверь. Иногда он рассказывал о своей прогулке учителю, так, между прочим, если ему доводилось увидеть корабль под иностранным флагом или если чайка какая-нибудь особенно пришлась по душе. Он влезал на памятник и разглядывал оттуда широкую полосу водорослей на берегу. Отличить сверху куклу от водорослей невооруженным глазом было невозможно. Если бы он вопреки обыкновению не спустился с гладкой бетонной плиты по песчаному откосу к воде, куклу увидел бы кто-нибудь другой, сказал он в тот вечер учителю. Может, морской патруль объявился бы. Или это, ну, как его. Он-то сначала за утопленницу ее принял. Из черных спутавшихся в клубок водорослей и отполированных вороньих костей смотрели на него широко раскрытые девчачьи глаза. И рот разинутый, словно вот-вот закричит. Бедра куклы придавил обломок бревна, скорее всего он соскользнул во время ночного шторма с какой-то лесовозной баржи. Арвидс тут же вспомнил, как видел по телевизору засыпанных жертв землетрясения. Ему показалось, добавил он, будто девушка, словно те, похороненные заживо, протягивает к нему руки. Красивая кукла несомненно пыталась выбраться наверх из-под водорослей. Солнце, которое поднималось в этот момент позади тонущих в тумане крыш, почти не освещало его и куклу. Но он все равно увидел, что губы у нее, несмотря на соленую воду, все еще были красные, красивые такие губы. Арвидс наклонился. Губы у девушки, как красная каемочка, а во рту шевелились три угренка. Я хотел было поцеловать девушку, признался Арвидс учителю — потом, позже. Но угрята, усмехнулся он, опередили меня, вечного двоечника. Он сунул "соперников" в карман штормовки. И в таком виде, с шевелящимися карманами и молоденькой девушкой под мышкой, вернулся в свою комнату на Улиаштрассе.

В тот осенний вечер, после холодного ветреного дня, который они просидели в полном безделье в кают-компании, ожидая предписания от метеостанции, Арвидс сначала убил дергавшихся в закрытой посудине угрят, хладнокровно содрал с них светлую отливающую желтизной кожу

© 2000 by Deutsche Verlags-Anstalt, Stuttgart München
© И. Городинский. Перевод, 2004

и сварил себе вкусный суп. В общей кухне стояла необычная тишина. Только шипело синее пламя газовой горелки, да мокрые ветви липы громко стучали снаружи в оконное стекло. В конце коридора была приоткрыта дверь в самую большую комнату, и там кто-то непрерывно стучал по столу, наверное, кулаком, и раздавался хохот. Кастрюльку, тарелку и ложку Арвидс взял с собой в комнату.

Девушка стояла с утра в нише между стеной и шкафом. Он протянул руку, туда, в темноту, осторожно, словно в чужом помещении, которое ему не принадлежит. Девушка была цела и невредима. Кожа у нее на ощупь оказалась соленая и шершавая, рассказывал Арвидс учителю, ну совершенно не манила она меня — слишком уж неприступная, холодная... Но какая разница, подумаешь, громко несколько раз повторил Арвидс, отвернувшись к деревянной стенке и глотая горячий суп.

И в самом деле, какая разница, повторяет сегодня учитель. Чуть позже, когда хохот утих, Арвидс осторожно перенес куклу в ванную комнату. Озябшая нагая кукла взволновала его. Интересно, почему, спрашивал он себя, кто-то расстался с ней. Он мыл ее долго и бережно. Не забыл и едва заметные углубления между пальцами на ногах. Его предшественник не разъединил там пластмассу, хотя было просто необходимо тщательно отделить от других каждый розовый палец. Он сосчитал отверстия. Ему показалось, что их больше, чем надо. Над некоторыми он вплоть до сегодняшнего вечера просто не задумывался; да, теперь-то ясно, какой он молодой и неопытный. Он подозревал, что, мóя девушку, сможет узнать много нового, и тихо радовался. Пока он отмывал эти дырочки от песка и мусора, прошло много времени. От горячей воды шел пар. Он начал потеть. И спина заболела. Только теперь он увидел, что у девушки нет волос и что ресницы были нарисованные. Чего-то ему явно не хватало, но особо печалиться он не стал. В поисках волос он наткнулся под левой голой подмышкой на название фабрики. Похоже было, что она родом из Швеции. Он разволновался. Никто из его приятелей-рыбаков никогда не видел шведки. Суверенитет государства — дело нешуточное. Это ясно. Рыболовный катер государственную границу блюдет неукоснительно.

Арвидс вытер девушку. Он хотел раздобыть для нее волосы. Он надел на нее свои старые брюки и свитер и снова поставил ее в нишу. Перед тем как уснуть, вспомнил своего младшего брата. Тот тоже носил его старые вещи.

До неожиданной смерти Арвидса он и учитель время от времени встречались, чтобы вместе пропустить по рюмочке. Они выпивали, рассказывал учитель: иногда мы выпивали вместе. Во время одной из таких встреч, хотя, выпивая, они обычно почти не разговаривали друг с другом, Арвидс Бернштайнбах и рассказал ему, учителю, о “своей девушке”. Арвидс прикрыл телефон подушкой, учитель посчитал это совершенно излишним: “Я так Арвидсу и сказал”, а тот в это время ходил взад-вперед по комнате и рассказывал о ней.

Тогда учитель жил еще не в новом доме у Чертовых болот, а в последнем доме на Курмайясштрассе, в том самом месте, где начинается парк, около выгоревшей несколько лет назад халупы; как раз на той улице, сказал учитель, по которой Арвидс упомянутым ноябрьским вечером нес куклу под мышкой в свою комнату. Арвидс тогда посмотрел вверх, на мое еще не освещенное окно. Но я, сказал учитель, я еще спал. Только позднее, когда учитель встал и посмотрел, какая погода, он подумал об Ар-

видсе, этого учитель еще не забыл. Для ловли рыбы погода была совсем неподходящая.

После бутылки шнапса и нескольких бутылок пива Арвидс, как обычно, попрощался с учителем и поплелся к себе домой. Он не стал зажигать свет и спокойно разделся при тусклом свете уличного фонаря. Над ним по доскам потолка бегали мыши. Иногда по ночам ему казалось, что он слышит, как они скребутся. Даже когда он вставал среди ночи, чтобы пойти в порт, мыши еще не спали. Он клал девушку к себе в постель. При этом у него всегда начинало колотиться сердце, в тот вечер, часа за два до ухода, он рассказал об этом учителю. Девушка относилась к нему с неизменным тихим участием, так что у него захватывало дух. Он был благодарен ей за долготерпение. Шло время, и ее тело становилось все более гибким и податливым. Руками девушки он щупал у себя между ног. Смеялся. Долго тыкался взад-вперед в пластиковой пещере и, не получив удовлетворения, засыпал.

"От этого вечера до ранней неожиданной смерти ему оставалось еще десять ночей", – учитель цедил слова сквозь зубы. Его лицо раскраснелось от мороза, который в последние два дня сковал город.

Цветы на могилу Арвидса Бернштайнбаха мы возложили вместе. Закутанные до ушей люди встречались нам на дороге через дюны, расчищенной на скорую руку от снега. Могила Арвидса Бернштайнбаха находилась очень близко от моря. "С видом на чаек", – сказал учитель и замолчал. Возвращаясь, мы видели детей, катавшихся на коньках по замерзшему каналу, который связывает море с большим озером в западной части города. Они держались в стороне от неподвижных любителей зимней рыбалки, словно кто-то твердой рукой прочертил на льду линию, через которую они не смели переезжать. В лавке "Морской берег" мы купили пиво, шнапс, ржаной хлеб и огурец. Женщина перед нами сметала наружу через порог грязные, смерзшиеся комья снега. Уже смеркалось, когда мы вышли на улицу – навьюченные, со слезящимися глазами, моргая от яркого неонового света. Мы перешли улицу, которая вдруг оказалась вся запружена транспортом, встали на остановке "Морской берег" и стали ждать автобус, "четверку", рассказывал учитель. Арвидс Бернштайнбах умер давно, в далекие прежние времена. Тогда кукла считалась драгоценностью. "Как весточка с далекой планеты", – сказал учитель позавчера. Я раздумывал об этом, когда мы укрылись под едва выступающей крышей газетного ларька, потому что снова повалил снег, и хлопья были величиной с детскую ладонь. Что побудило Арвидса Бернштайнбаха выбрать в тот вечер едва знакомого учителя, чтобы рассказать ему, какое сокровище он нашел? Была ли какая-то связь между его внезапной смертью и этим вечером? Учитель явно хотел убедить меня в этом. Маленькие десятиместные автобусы ходили теперь довольно часто. Мы молча покачивались в быстро сгущавшихся сумерках. Я смотрел сквозь головы вперед на лобовое стекло, на которое густой вздрагивающей массой набрасывались снежные хлопья. Рядом со мной молча сидел учитель, держа на коленях сумку с напитками. Он крепко прижимал поврежденную часть лица к холодному запотевшему окну, словно опасаясь взглядов из встречного транспорта или взглядов шофера, сверкавших, как я заметил, время от времени в боковом зеркале, когда автомобиль позади нас ехал к нам впритык. Об Арвидсе Бернштайнбахе я не знал ничего, кроме имени. Он не подарил мне

ни одной фотографии. “А вы его знали?” — спросил меня учитель в начале нашего разговора. Естественно, нет. Учитель не понимал, зачем надо об этом рассказывать. Я тоже точно не знал зачем. Когда Арвидс Бернштайнбах умер, мне как раз исполнилось десять лет, и я жил в другом городе в тысяче километров отсюда. Я услышал эту историю от Сармиты Пфаннкухен, сказал я учителю. Для начала этого хватило.

В квартире учителя, когда мы вошли, было тепло и уютно. Топить в этом году начали очень поздно. Квартиры еще не прогрелись. А комнаты, у которых окна выходят на море, вряд ли прогреются даже к концу зимы. Учитель откупорил бутылку со шнапсом, порезал хлеб и огурец. “Арвидс в последние дни перед смертью был в каком-то странном приподнятом настроении”, — начал он. Голос учителя из-за алкоголя был немного хрипловат. “Ребята, приятели Арвидса, мне потом об этом говорили. Он хотел, чтобы его обязательно похоронили на берегу... Всегда хотел, — быстро продолжил учитель, прежде чем я успел задать вопрос. — Нет, море он любил. Дело не в этом. Он, видно, просто боялся, что его бросят рыбам, как мясо, зашитое в мешок”. Учитель говорил медленно, между двумя фразами поднимал стакан и пил. Он явно хотел напиться. Но я не понимал, какая роль предназначалась при этом мне. Он помаргивал. Веки у него были черные, как грязные ногти.

Он чихал так, что у него выступили слезы и вместе со шнапсом и слюной капали с уголков рта. На самом деле он и Арвидс за последние годы выпивали вместе раз пять, не больше. Первый раз они встретились случайно. Арвидс Бернштайнбах во время ранней прогулки мочился на памятник, защищенный от ветра цоколем. Он считал, что его никто не видит, и, по свидетельству учителя, вздрогнул, когда отвернулся от памятника и посмотрел в его, учителя, вытаращенные глаза. При этом ширинка у Арвидса Бернштайнбаха была все еще расстегнута, приоткрыта — учителю она напомнила испуганные рты нашкодивших детей.

Никогда — и даже теперь — не разрешалось справлять нужду на памятник. Правда, на всю округу это было единственное защищенное от ветра место. Ну и что. “Как-никак мать моряков все-таки”, — рыгнул учитель и вытер слюну с подбородка. Розоватая раненая половина его лица подергивалась, когда учитель жевал черствую горбушку. А тогда, на глазах у не такого уж юного и незнакомого ему человека он тоже совершенно спокойно расстегнул брюки и подошел поближе к памятнику. Он, учитель! Там, на удивление самому себе — ведь в тот момент, когда он ухватился за брюки, ему казалось, что его мочевой пузырь пуст, — он облегчился золотисто-желтой струей. Вскоре после этого Арвидс Бернштайнбах впервые пришел на квартиру к учителю.

Меня мутило. После завтрака я целый день ничего не ел. Я глотнул шнапса, и мне показалось, что по желудку ударили чем-то горячим и тяжелым. Потом я с облегчением заметил, что жжение мало-помалу уменьшается и глохнет. Я отпивал помалу и не торопился. Не в пример мне учитель пил быстро; для него это был пустяк, своего рода привычка, руки делали свое дело быстро и весело. Он ловко подливал шнапс в стаканы, не давая мне опомниться, закрывал бутылку, и отодвигал ее, и подносил ко рту свой неполный стакан, качая при этом головой. Иногда он небрежно тянулся за куском хлеба или ломтиком соленого огурца. Такая трапеза его вполне устраивала, казалась ему достаточно обильной. И все шире и шире разливалось на неодинаковых половинках его лица выражение сытости.

Было ли такое же у Арвидса Бернштайнбаха?.. “Он все время сидел в этом кресле”, – сказал учитель сразу же, как только мы вошли в комнату, и показал на старое, потертое, когда-то красное кресло с потрепанными подлокотниками. Посчитав его слова приглашением, я плюхнулся между подлокотниками и положил ладони на холодное шершавое дерево, на котором, как я предположил, когда-то лежали и руки Арвидса Бернштайнбаха. Потолки в старой квартире были выше и планировка другая. Но мебель стоит почти так же. “Кресло раскладывается; но Арвидс не хотел оставаться ночевать. Ни разу не ночевал”. Далекий голос учителя звучит в моих ушах до сих пор.

С огромным трудом, словно какая-то сила, глубоко спрятанная в обивке, крепко удерживала меня, я медленно поднялся и побрел, надеясь, что покачиваюсь едва заметно, между низеньким столом и задранными ногами учителя, к выходу. В коридоре было темно.

Некоторое время я на ощупь искал на стене выключатель, причем учитель и не подумал мне помочь. Болел желудок, раздираемый алкоголем. В темноте я нашел кухню и слева, рядом с дверью, на липком кафеле – выключатель. Роясь в шкафах, я нашел совсем немного: почти израсходованный кулек с макаронами, которым на вид было лет сто, два яйца и, слава богу, немного маргарина. Я принялся за работу. Арвидс Берштайнбах в тот самый вечер, когда спас куклу, сварил себе рыбный суп. Сквозь заставленное цветочными горшками окно я посмотрел во двор, освещенный слабым светом единственного фонаря. Дома одинаковой планировки стояли квадратом, окружая заросшую чахлыми кустиками, плоскую заснеженную площадку. Во многих кухнях горел свет. Арвидсу Бернштайнбаху нравилась липа, которая росла перед домом. Этим он отличался от своих приятелей-рыбаков, которые замечали все, только когда выходили в море. Я решил спросить у учителя, где сейчас находится кукла. Интересно, эти цветы в горшках прямо с тех пор тут растут? Вряд ли. Я вернулся к плите, разбил яйца и смешал их с горсточкой лапши. Я ел стоя, прямо из сковородки, макал куски хлеба в маргарин на дне, потом вернулся в большую комнату. Теперь мне стало лучше.

“Нашли что-нибудь?” – спросил учитель себе под нос, не глядя на меня. В бутылке еще осталось шнапса на палец. Что ж, если на кухне я тарелку не брал и ел макароны прямо со сковородки, то и теперь решил обойтись без стакана – опустошил бутылку прямо из горлышка, маленькими торопливыми глотками. На мой живот тут же будто легли теплые руки. Мне показалось, что у меня под свитером вздулся пупок. Я хотел посмотреть. Но постеснялся учителя. Он положил на язык ломтик огурца и то засовывал его в рот, то высовывал. “Это вроде как часы с кукушкой”, – сказал я громко и рассмеялся, давясь. “Ку-ку”, – прокуковал учитель. Его широкий лоб был покрыт бисеринками пота, они сидели плотными рядами на нем, а также на черных мешках под глазами, на вздернутой нижней губе и на шее, словно вши. В сумерках при скудном освещении негостеприимного жилья он, наверное, больше чем когда-либо походил на того мужчину, который был на двадцать лет моложе и пять или шесть вечеров пил вместе с Арвидсом Бернштайнбахом. Уверенным шагом, двигаясь прямо-таки элегантно, он выскользнул из моего поля зрения туда и, в отличие от детей, которых мы видели сегодня, “пересек черту”.

Я спросил его насчет волос. “Вы сказали, он хотел достать волосы для куклы...” – заторопился я вслед беглецу. Он перестал забавляться с кружком огурца, который, как большая таблетка, лежал у него на языке,

и посмотрел на меня. "Возможно и так", — прошепелявил он. "Что же случилось с куклой? — спросил я, не дав ему опомниться. — Потом, когда Арвидса уже не было в живых?" Учитель потряс головой, словно хотел показать, что она сидит на его шее свободно, как на палке. Передо мной балансировала половина его лица, чудом спасшаяся от огня. Подумалось ли учителю при этом, как хорошо, что пострадал он сам, а не его собутыльник? Может быть, сказал я тихо самому себе и заметил, что, словно откуда-то из потаенного уголка моей души, пришло отвращение. Что я здесь делаю? Каким образом перед нами на столе оказались две бутылки пива, к которым по очереди прикладывался учитель? Кожа вокруг его губ выглядела грязной и влажной, но, несмотря на это, я, не колеблясь, поднес одну из бутылок к губам. Слыша, как учитель шумно пьет, я приложился к горлышку бутылки, касаясь ее с другой стороны.

"Волосы он хотел обязательно светлые, — нарушил молчание учитель, — как у шведок, чтобы прикрывали жирное вымя". — "Это что, э-э, Арвидс вам так сказал?" — "Так он примерно выразился". Учитель снова погрузился в молчание. Я видел, как он ускользает от меня, все глубже утопая в шерстяных подушках тахты. Пиво было горьким. Я всосал из бутылки воздух и почувствовал, как ее теплое, круглое открытое горло прижалось к моим губам. Я выдохнул и отодвинул бутылку. Неужели на бутылке осталась губная помада? У меня закружилась голова. Но это была просто кровь. Треснула верхняя губа. Я поискал в карманах носовой платок. Наверное, я его где-то потерял, днем. Я посмотрел на часы. Они, должно быть, остановились; к стеклу из пластика снизу прилипли капельки воды, как маленькие сосущие рты. Арвидсу Бернштайнбаху вовсе не требовался автобус, вспомнил я. В то время от квартиры учителя до маленькой комнаты Арвидса на Улиаштрассе не было и десяти минут ходу. Мне надо не торопясь собираться, если я вообще хочу уйти отсюда. При слове "собираться" я посмотрел на учителя. Его голова упала на валик. Он спал, причем поврежденная левая часть лица была открыта. Врачи поставили ему кусок кожи с другого места, как заплатку на ковер. Чудом уцелевший глаз был полуоткрыт. Он словно смотрел на меня. Но глаз спал. Учитель не видел, как я медленно встал, поднялся, наперекор сопротивлению кресла. На тарелку с огурцами я положил монету. Когда я тихо притворил за собой дверь, мне на мгновение показалось, что я вроде бы понял, почему Арвидс Берштайнбах умер. Только история с волосами так и осталась для меня загадкой.

Моника Марон

В *сущности, мы хорошие*

Перевод Л. Есаковой

ЕСЛИ бы жители города Берлина были иностранцами, то о них никто и никогда бы не осмелился сказать ни слова из того, что говорят о них по всей Германии, от Пассау до Фленсбурга. Но они-

© S. Fischer Verlag GmbH, Frankfurt am Main, 2003
© Л. Есакова. Перевод, 2004

то как раз не иностранцы, а самые что ни на есть свои, местные, и как жители столицы, пожалуй, даже еще более местные, чем все остальные, так что любые нелицеприятные высказывания в их адрес не считаются дискриминацией или оскорблением национального меньшинства, а наоборот, воспринимаются как правомерные и справедливые.

Не так давно, возвращаясь поездом из Ульма в Берлин, во время восьмичасовой поездки я разговорилась в купе с мужчиной, которому, к счастью, еще ни разу не доводилось бывать в Берлине и который теперь только ради того, чтобы повидать там сына-студента, впервые решился на это малопривлекательное для него путешествие.

Попутчику моему на вид не исполнилось еще и пятидесяти. На нем был жакет в мелкую клеточку, коричневые брюки и коричневые ботинки. На крючке возле двери висела легкая куртка на трикотажной подкладке.

До объединения он в Берлин не ездил из принципа, хотя бы уж из-за гэдээровских пограничников, ну и еще потому, что все они там корчат из себя великих героев. Берлинцы-то ему лично вообще никогда не были симпатичны. А уж он их на своем веку повидал! Ведь отдыхать те едут не куда-нибудь, а к нему на родину, в южную Германию.

— Да все отдыхающие, наверное, не ангелы, — заметила я.

— Может быть, может быть, — ответил он, — только вот берлинцы среди них почему-то хуже всех. Горластые, шумные, грубые — пруссаки, одно слово.

— Да, наверно, вы правы, — согласилась я. — Во всяком случае, так все говорят.

— Но главное, только, пожалуйста, поймите меня правильно, — продолжал мой попутчик, — главное, все они страшно вульгарные, неотесанные — натуральные плебсы, как сказал бы мой сын. Но учиться он все равно поехал в Берлин. А какое у них самомнение! Слышали анекдот о берлинском мальчишке, который впервые попал в Альпы? Горы ему, видите ли, показались слишком плоскими! А когда ему говорят, что, мол, у вас в Берлине и таких нет, он отвечает: “Да, но если бы у нас были горы, они были бы гораздо выше этих”. Каково! А?

— Но это же просто шутка, — осторожно заметила я.

— А это как посмотреть, — ответил попутчик. — Ну шутка так шутка, пускай. Только сдается мне, сказано это было совершенно серьезно. Что-то я до сих пор не замечал у берлинцев их знаменитого чувства юмора.

Все это постепенно начинало выводить меня из себя. Мне, жительнице Берлина, конечно, не привыкать выслушивать такое, а то, что мы не особенно вежливые, так это мы и сами прекрасно знаем и говорим о себе, что мы грубые, но душевные, именно потому, что не питаем на свой счет никаких иллюзий. Но если каждый швабский умник начнет упрекать нас в отсутствии чувства юмора — это уж слишком! Не хватало еще вспомнить о диалекте, подумала я и как в воду смотрела.

— ...а как коверкают слова, — говорил мой попутчик. — Вместо “сейчас” (сам сказал “шшас”) у них “счас”, вместо “еще” (сказал “ишшо”) у них “исчё”, вместо “что” (“шо”) — “чё”.

— И чао вместо адью, — продолжила я, взяла пальто и направилась к двери, чтобы сменить купе.

— О нет, пожалуйста, — вскочил он. — Куда же вы? Неужели я вас так напугал? Останьтесь!

С этими словами он схватил мое пальто, повесил его обратно на вешалку и усадил меня на прежнее место.

— Вот видите, что я вам говорил: у берлинцев совершенно отсутствует чувство юмора, — сказал он.

— Что же такого смешного вы сказали? — спросила я.

От радости он даже захлопал в ладоши.

— Что я говорил, что я говорил — ни чувства юмора, ни умения посмеяться над собой.

Метнув исподлобья злобный взгляд, я заметила, что у него от смеха выступили слезы.

— Вы ведь тоже смеетесь не над собой, а надо мной, — парировала я.

— Если бы вы только знали, как я умею посмеяться над собой, ха, искренне и от всей души. Спросите мою жену. У нас на юге совсем другая культура, а вы, берлинцы, себя уж больно жалеете. Еще бы, привыкли к дотациям, в 1989-м за квартиру платили столько же, сколько мы в Ульме в шестидесятые. А теперь еще плачетесь.

— Кто плачется?

— Да вы, берлинцы, кто же еще.

— Ну хватит, — взорвалась я, успев уже порядочно устать от собственного смиренного долготерпения. — Довольно, теперь послушайте меня, — сказала я, — сейчас мы с вами в Ганновере, и теперь всю оставшуюся дорогу до "Цоо" вам придется слушать меня. Так же вежливо, как это делала я. Отсутствие чувства юмора я вам тоже прощу. Итак, если бы десять лет назад жителям Ульма, или Мюнхена, или Хайдельберга объявили, что весь остаток жизни им придется провести на стройке, что бы они, по-вашему, сделали? Наверное, пожали бы плечами и сказали: "Что поделаешь, уж лучше так. Гораздо хуже, когда вообще ничего не происходит"? Навряд ли!

А берлинцы сказали и теперь каждый божий день ищут новые объездные пути вокруг центра — он у нас побольше будет, чем весь ваш Ульм, — как всегда жутко недовольные, но не более недовольные, чем обычно. А если какой-нибудь русский мафиози случайно заедет в город Ульм, то местным газетенкам хватит материала недели на три, не меньше, и для продавцов систем безопасности настанут золотые деньки. А нам, кроме русской мафии, приходится терпеть еще и вьетнамскую, и румынскую, и албанскую, и, кто знает, может быть, даже польскую и болгарскую, утешаясь одной лишь скромной надеждой, что монгольская до нас еще, может быть, не успела дойти. Думаете, раз швабы на каждое слово навешивают уменьшительные суффиксы, то они от этого душевнее, чем все остальные, как будто бульдог превратится в ручного мопса, стоит только назвать его собачкой. Вот берлинцы, те и в самом деле душевные, а то, что вы называете отсутствием чувства юмора, есть не что иное, как проявление их детской непосредственности. Дети ведь не понимают иронии. Но когда берлинцам говорят: "Мы перекопаем весь ваш город, а для вас устроим отличную смотровую площадку, чтобы оттуда удобнее было любоваться ямами да канавами", они все дружно лезут наверх и глазеют оттуда на всю эту разруху, умудряясь получать удовольствие даже от такого зрелища. А если берлинцам говорят: "Восстановлен купол рейхстага, и теперь можно на него поглядеть", они на следующий же день три часа стоят в очереди, потом долго ходят вокруг купола в полном восторге, что он вообще существует. А когда берлинские музеи начинают пускать посетителей по ночам, потому что так интереснее, берлинцы послушно идут туда ночью и радуются, встретив там кого-нибудь из знакомых. А если берлинцы услышат, сказала я господину из Уль-

ма, что завтра пройдет самый сильный дождь за последние пять, а может быть, и последующие десять лет, то все они как один в резиновых сапогах и с зонтиками в руках выйдут на улицы, чтобы не пропустить это знаменательное событие; некоторые, возможно, придут даже босиком и без зонтиков — вот так!

Я говорила и говорила. Попутчик мой боязливо притих, вжался в мягкую спинку кресла второго класса и с удивлением молча таращился на меня, пока я высказывала ему все то, чем обыкновенно успокаиваю себя, когда начинаю раздражаться от необходимости общения с теми грубыми, неотесанными, вечно брюзжащими типами, к которым принадлежу и сама.

— А еще, — сказала я господину из Ульма, — берлинцы всегда готовы уступить свой центр музыкантам, бегунам, велосипедистам, детям и протестующим всех цветов и мастей и, уж конечно, швабам в национальных костюмах тоже, потому что берлинцы на самом деле душевные, — добавила я и замолчала на мгновение, вспоминая, как часто проклинаю берлинский сенат, который торгует центром направо и налево, точно трактирщик комнатами на постоялом дворе.

Попутчику моему, как видно, уже изрядно надоело выслушивать мои хвалебные речи, так как выражение негодования, с каждой минутой все более и более омрачавшее его лицо, сменилось вдруг злорадной улыбкой. Мою нечаянную паузу он тут же использовал, хотя мы еще не доехали до окраин Берлина, чтобы снова перехватить инициативу.

— Не это ли гостеприимство берлинцев в свое время так ценили нацисты и коммунисты, — сказал он, потом глубоко вздохнул, раздул ноздри и вдруг заорал истошным, срывающимся голосом: — Нет Великой Германии, нет диктатуре!

— Ага, — сказала я, — и это вы говорите мне как учитель, вы ведь учитель, не так ли? У Гитлера в Берлине никогда не было большинства голосов, это вам должно быть прекрасно известно. А коммунистам, чтобы добиться перевеса, пришлось населить город саксами. И демонстрации в Лейпциге никогда не стали бы тем, чем они стали, если б только берлинцы не приняли в них активного участия.

Последнюю фразу я, правда, сказала без особой уверенности, но вполне вероятно, что так оно и было.

— А если хотите завести разговор о Пруссии и Старом Фрице, — продолжала я, — подумайте сначала, что наш Фридрих (так и сказала: "наш Фридрих") был близким другом Вольтера, завез в страну картофель и предоставил защиту евреям.

На этом месте моей пламенной речи поезд подъехал к станции "Берлин—Ваннзее". Попутчик мой, явно охладевший к беседе, с любопытством поглядывал в окно. Пора было переходить к финалу.

— Так вот, к чему я все это говорю, — сказала я, — в сущности, мы хорошие. Нас не надо бояться. А если вам кто-нибудь нагрубит, например водитель грузовика, у которого вы окажетесь на пути, или продавщица, решившая, будто вы слишком долго соображаете, что вам взять, попробуйте не обижаться и не поднимать из-за этого шум, а просто спокойно спросите: "Чего вы ругаетесь?"

— Вот еще, — фыркнул он.

— А вы попробуйте. И тогда, возможно, услышите в ответ: "Э-э-э, друг, знал бы ты сколько раз такое случается за день. Нет, ты посмотри, только посмотри, опять заглохла, будь она неладна, а ты говоришь, и так

по сто раз на дню. Я ведь, считай, почти двадцать годков как за рулем, был у меня, знаешь, такой случай...” И тут он расскажет вам этот случай, а под конец еще добавит: “Вот так, а ты говоришь. Ну, бывай, старик, и помни, что я сказал”. С продавщицей, скорее всего, будет то же самое. Так вам откроется не одна история жизни. Ведь за недовольством чаще всего стоит обычное желание поделиться, поверьте мне, я это знаю. Хотя можете, конечно, продолжать вести себя в том же духе, и тогда, скорее всего, найдете в этих людях подтверждение всем своим предрассудкам; “самореализовавшаяся идея” — вот что это будет такое. Но, в сущности, мы хорошие, это правда. Правда, хотя, не исключено, что нарветесь и на такого, кто в точности соответствует вашему представлению о берлинцах, с которыми, как вам известно, хоть спрашивай, хоть не спрашивай, каши не сваришь. Но тогда, значит, это уже не берлинец, а бранденбуржец. Нас с ними, к сожалению, частенько путают. А бранденбуржцы, те и правда такие, как вы говорите.

— Да что вы, — отозвался мой попутчик, и в интонации его послышались ехидные нотки. Мы как раз проезжали площадь Савиньи, впереди маячило ожидаемое с минуты на минуту прибытие на вокзал “Банхоф Цоо”.

— Меня встретит сын, — сообщил мне попутчик и, схватив пальто и чемодан, бросился к выходу. Уже в дверях раскланялся, поблагодарив за весьма поучительную и занятную беседу. “Ну и фрукт”, — улыбнулась про себя я и в свою очередь пожелала ему наиприятнейшего времяпрепровождения в Берлине.

— Не стесняйтесь переходить улицу на красный свет, — крикнула я ему вслед, но он, скорее всего, меня уже не слышал.

Терезия Мора

Португалия, или Любовь у следопытов

Перевод И. Щербаковой

— Так нельзя жить, вот и все, — говорит мальчик. Они сначала целыми днями не разговаривают. Потом вдруг начинают орать. Из-за чего, понять невозможно. Они и сами не знают. Они вообще ничего не знают.

Мужчина вжимается ноющей спиной в спинку сиденья. Бедра как будто стянуты обручем, а полностью вытянуть ноги в машине невозможно. Когда он на секунду закрывает глаза, в темноте становятся почти осязаемыми волны головной боли, ударяющие в виски. Давит так, будто сейчас прорежутся рога. Если бы они вдруг выросли...

“О, — сказал бы мальчик. — У тебя рога. Можно потрогать?”

© 2003 by Deutsche Verlags-Anstalt, München
© И. Щербакова. Перевод, 2004

Он бы кивнул, мальчик осторожно взялся бы за них. Они как раз поместились бы в его ладони.

"Больно?"

Было бы немного щекотно или вообще никак. Он бы покачал головой. Рога.

Как *булавка с круглой головкой* — эта мысль мелькнула в голове у мужчины двумя днями раньше, когда они только отправлялись в путь. Он опоздал, не сильно, но все-таки, на так называемые *решающие* минуты. Объяснения этому нет, выехал вовремя, по дороге тоже не произошло ничего особенного: разок ему посигналили, когда он, на кругу, чуть было не пропустил свой поворот к вокзалу и слишком резко забрал вправо.

Мальчик стоит на самом солнцепеке и жмурится. Как *булавка с круглой головкой.* Можно было бы отойти в тень, но он стоит прямо у проезжей части, как будто его наказали.

— Извини, — бормочет мужчина, — я опоздал.

— Ничего, — говорит мальчик и медленно прикрывает дверь автомобиля. Он просто хотел, чтобы мужчина сразу его заметил.

Некоторое время они едут молча. Снова тот же круг, только выезжать теперь надо в другую сторону, на этот раз все проходит гладко. Мальчик уселся, может быть, чуть глубже, чем обычно, но его голова все же на уровне окна — он и прячется, и нет. Когда они наконец доезжают до индустриальных окраин, он садится нормально, с шумом выдыхает воздух, уфф, как будто все это время задерживал дыхание. Проводит рукой по волосам, осматривается, опускает стекло, смотрит в боковое зеркало, с помощью ручки поворачивает его туда, обратно.

На съезде с автострады — светофор. Мужчина резко выворачивает руль вправо, мальчик, все еще занятый боковым зеркалом, стукается головой о раму. Бум.

— Извини, — говорит мужчина, — зеленый неожиданно загорелся.

Мальчик, усмехаясь, трет ухо.

— Ты можешь вернуть зеркало в прежнее положение?

— Конечно.

Он до конца закрывает окно, садится аккуратно, чтобы не стукнуться еще раз головой.

Поля, деревья, высаженные вдоль дороги, потом леса. Никаких указателей.

— Раз нету никаких указателей, то указателем будешь ты, — говорит мужчина. — Будешь мне говорить, куда ехать.

Позже:

— Но если ты все время будешь говорить "налево", мы рано или поздно начнем ездить по кругу.

Мальчик смеется.

— Тогда поехали в Португалию.

В Португалию. Всякий раз, когда они подъезжают к перекрестку, еще до того, как мужчина успевает нажать на тормоз:

— Португалия.

Потом мальчик начинает говорить у каждого поворота:

— Португалия, Португалия.

Проселочная дорога вся в рытвинах.

– Португалия.

Он заливается смехом.

Потом он прекращает эту игру, они едут молча. Мальчик прижимается носом и лбом к стеклу, смотрит на пейзаж, как будто никогда ничего подобного не видел. Поля залиты водой, издалека может показаться, что машина едет прямо по воде. Беззвучно крутятся лопасти выстроившихся в ряд ветряных мельниц. Только что высаженная аллея, молодые деревца отбрасывают тоненькие, как спички, тени. "Социальное обеспечение" – написано на фронтоне одного из зданий – полустертая, расплывшаяся надпись. Стальной мост через полноводную реку. Поселки, бетонные коробки, корм для уток в треугольном резервуаре. Потом опять поля и лес.

– Мы уже за границей?

– Нет, – говорит мужчина.

Они долго едут по маленьким улочкам, следуя какой-то невидимой линии. Руки мальчика зажаты между коленками.

– Мы уже за границей?

– Нет.

– А сейчас? А сей...

– Теперь да, – говорит мужчина.

Мальчик открывает рот, чтобы засмеяться, а может, наоборот, чтобы щелкнуть зубами.

Мужчина усмехается.

Его глаза – разноцветные, как стеклышки в калейдоскопе: зеленые, голубые, серые, желтые. Впечатление, будто в них что-то все время движется. Вообще-то в нем нет ничего особенного. Волосы русые или темно-русые, рост и телосложение нормальные. Обыкновенный мальчик. Плачет и смеется, может быть, чуть чаще, чем другие в его возрасте.

Мужчина вчетверо старше, волосы черные, проглядывает первая седина, загорелый, глаза карие, намечающийся животик, от которого, видимо, уже не избавиться. Он не помнит, когда последний раз плакал. Иногда, даже часто, мальчик заставляет его смеяться.

В рюкзаке у мальчика: нижнее белье, бутылочка лимонада, початая пачка печенья. Паспорта у него нет. Неважно. До Португалии и так доберемся.

– Научишь меня водить? Когда ты научишь меня водить? Я должен научиться водить, тогда мы сможем вести машину по очереди. Потом вкатим прямо на ней на корабль и поплывем. В Бразилию. Там говорят не по-испански, а по-португальски. Я должен выучить португальский. Когда приедем в Португалию? А я бы смог за год выучить португальский? За год можно выучить. Я бы получил новые документы. Ты тоже. Изменили бы наши имена. Как мы себя назовем? Возьмем общую фамилию. А имя какое?

– Чем тебя теперешнее не устраивает? – спрашивает мужчина.

– Я ведь тогда буду другим человеком, – говорит мальчик. – Понимаешь?

Эмиль, Джеймс, Кевин, Феликс, Себастиан, Бен.

Они избегают больших дорог, едут, петляя между деревнями, мальчик болтает без умолку. То он говорит о домике в лесу, то о гасиенде. И все время примеряет новые имена:

— Оливер. Или я уже его называл? Исаак. А потом будем валяться в затасканных белых шмотках на веранде, где-нибудь на Карибах. Только мы и с нами слуга — маленький, черный, уже немолодой, по имени Антонио Депресса. Он будет молчать и никогда не будет спать — ни разговаривать, ни спать, — зато всегда будет рядом. Утром, едва глаза продерем, и вечером, перед сном, он будет приносить нам все, что нужно. А сами мы ничего делать не будем. Только лопать дыни. Как в кино. Так и будем жить. Ты станешь толстым, — говорит он и смеется. На его зубах, просачиваясь сквозь ветви деревьев, блестит солнце. — И я тоже. Два толстых белых человека на Карибах, вот кем мы станем. — Смеется.

Так проходит первый день.

Во время каникул найти в деревне гостиницу не просто, особенно в выходные. Семьи выезжают на природу, везде все забито. Мужчина не рассчитывал столкнуться с такой проблемой. Мальчика это мало беспокоит. Он прилип к окну. Будь его воля, можно и вообще не останавливаться.

— Я устал, — говорит мужчина.

Он целый день за рулем. Ноют запястья, плечи затекли, он устало ими передергивает. Мальчик с сочувствием на него смотрит и тоже выпрямляет спину.

Сумерки, какая-то деревня, забегаловка — допустим, "У старой кузни".

— Десять, — говорит старый хозяин. — В порядке исключения комната для господина и его племянника будет стоить десятку, но не жалуйтесь, если ночью будет шумно. — Он делает широкий жест рукой, показывая на столы, выставленные буквой П во дворе: — Деревенский праздник.

— Что это? — спрашивает мальчик, имея в виду рисунок на плакате.

— Автомат, выбрасывающий зефирки в шоколаде.

— ???

— Ав-то-мат-вы-бра-сы-ваю-щий-зефир.

Мужчина переводит. Мальчик смеется.

— Вообще-то он не работает, — говорит хозяин. — Что-то сломалось. Но зато есть бесплатное пиво. — Он снова показывает рукой на столы. — Все уже оплачено.

— Здорово, если бы автомат вместо зефира выбрасывал бутылки с пивом. Представляешь, пивная битком набита людьми, и у каждого на лбу шишки. Бац! Фильм мог бы называться "Летающие бутылки".

Комната номер один — а всего их две — абсолютно в стиле семидесятых годов. Обои, жалюзи, затертый линолеум, на продавленной двуспальной кровати пестрое одеяло — цветовая гамма от охры до ярко-оранжевого. Окно выходит на задний двор, видны сарай и маленький загончик. В нем белая лошадь.

— Лошадь, — говорит мужчина, подойдя к окну. — У них здесь лошадь.

— Что? — кричит мальчик. Он прыгает на кровати и — бац! — падает, как будто в него попала пролетающая мимо бутылка. Матрас скрипит и прогибается. Бац! Он снова вскакивает. Мужчина некоторое время наб-

людает за ним, потом, схватив мальчика за щиколотки, валит, бросается на него. Они борются. Мальчик захлебывается от смеха.

Потом они лежат рядом на все еще пружинящем матрасе, "как две дохлые рыбы в озере", только волны здесь не плещутся, а скрипят. В другом месте за номер с водяным матрасом пришлось бы заплатить кучу денег. Они лежат, ждут, пока стихнет качка, потом мальчик дергает плавником, и волны поднимаются снова. Это каждый раз вызывает смех.

Шум снаружи постепенно нарастает и перекрывает скрип матраса. В пивной, как обычно, собралась вся деревня: двигают столы, звенит посуда, слышен стук каблуков, кто-то проверяет микрофон. Мальчика так и тянет вниз, мужчина предпочел бы остаться в комнате. Магнитофон играет *Living next door to Alice, The Rivers of Babylon*[1] и, наконец, *Non, je ne regrette rien*[2]. Кто-то запел на две октавы ниже, чем нужно. Они смеются.

— Наааааа, на-на-на, — передразнивает мальчик.

Ложиться спать еще рано, да и бессмысленно: слишком шумно. Но чем же здесь заняться? Разве что пройтись по деревенской улице мимо палисадников. На звезды посмотреть.

— Ну, ладно, — говорит мужчина.

Лестница находится за барной стойкой, хозяин, пропуская их, прижимается к бочке с пивом. В пивной мужчины с кружками, во дворе женщины танцуют.

Одна идет им навстречу. Рыжая. Ее зовут Кармен. Мужчина не сразу понимает, что ей нужно.

— Хэлло, — говорит она, слишком старательно выговаривая иностранные слова, — ты хотеть танцевать?

С вежливой усмешкой он качает головой, легкий кивок в сторону ребенка. Все понятно.

Мальчик серьезно смотрит на женщину.

Она, улыбаясь, спрашивает, как его зовут.

Мальчик отворачивается и выходит на улицу. Мужчина идет за ним.

Издалека доносится *The power of love.* Каждый раз, когда они проходят мимо ворот, начинают лаять собаки. Наверное, они все кусаются. Доска объявлений ("Интересно, что там написано?"), телефонная будка (мальчик хватает трубку — гудок есть), колонка (мальчик пьет — вода на вкус сладковатая). Больше ничего интересного. На небе пара звезд, но луны нет. Темень.

За околицей кладбище. Черные железные ворота. Мальчик толкает створку: открыто.

Он складывает губы трубочкой — уууу.

Белые надгробия мерцают в темноте, черных не видно вовсе. Имена выбиты золотыми буквами, поблескивают. Уууу. То ли гравий скрипит под ногами, то ли трещат ветки. Доносится музыка из пивной, но что за песня, уже не разобрать. Уууу.

Мужчина поднимает несколько камешков и бросает их. Дробный стук: гравий ударяется о могильные плиты, только не видно, куда он падает.

1. "По-соседству с Элис" (*англ.*) — популярная песня ансамбля "Смоуки" (1976); "На реках вавилонских" (*англ.*) — песня ансамбля "Бони М" (1978).
2. "Нет, я не жалею ни о чем" (*франц.*) — знаменитая песня (1960) из репертуара Эдит Пиаф (1915–1963).

— Оо, — говорит мальчик.

Мужчина подкрадывается к нему.

У мальчика тело, как ветка плакучей ивы. Гладкое, светло-коричневое, тонкое, гибкое. Он пронзительно визжит, вырывается, убегает, потом все-таки возвращается. А ну поймай! Они носятся друг за другом между могилами.

В конце кладбища, у стены, где пахнет гнилью от сваленных в кучу венков, мужчине все-таки удается настигнуть мальчика. Одной рукой он зажимает ему рот, другой крепко держит, обхватив за живот. Шепчет хрипло:

— Я Смеерть!

Его дыхание щекочет мальчику ухо, холодный кончик носа касается щеки. На несколько секунд мальчик перестает дышать. Потом делает вдох. "Ик, — в темноте, через руку. — Ик". Мужчина смеется, отпускает мальчика. Мальчик тоже смеется. Смеется и икает одновременно. На обратном пути он то и дело задерживает дыхание, и каждый раз оба заливаются смехом. Прежде чем они засыпают, мальчик последний раз икает в темноте.

На следующее утро мальчик — в чистых носках и трусах. Сидит, насупившись, на краешке кровати и смотрит строго.

— Где ты был?

— Внизу, в пивной.

— Зачем ты ходил туда?

— Кофе выпить. Там есть пирожные.

— По этому телефону можно звонить за границу? — спрашивает мальчик хозяина.

— Что он сказал?

Мужчина переводит.

Хозяин некоторое время думает.

— Только в экстренных случаях. — И смотрит на них — он не уверен, что их случай как раз такой.

— Что он сказал? — спрашивает мальчик.

— Кому ты хочешь позвонить?

— Я — никому. А ты?

— Кому ты хочешь, чтобы я позвонил?

— Никому, — говорит мальчик.

Что-то не так? Мужчина не задает этого вопроса. Он платит за завтрак, и они едут дальше.

Второй день. Ничего особенного не происходит. У мужчины болят: голова, плечи, вся спина целиком. Мальчик перестал ворочаться и разговаривать во сне только под утро, мужчина не спал совсем, лежал неподвижно рядом, боялся, что мальчик проснется от скрипа пружин. Теперь его тело как будто деревянное. Немного саднит горло. Он вздыхает, открывает бардачок. Крышка падает мальчику на колени.

— Извини, — говорит мужчина.

Шарит там в поисках таблетки для горла.

Через некоторое время:

— Смотри — озеро.

Потом:

— Олень.

Мальчик только кивает.

Они сворачивают на лесную дорогу и устраивают пикник.

Некоторое время жуют молча, потом мальчик говорит:

– Ты научишь меня водить?

– Что, прямо сейчас, здесь?

– Сейчас. Здесь.

Мужчина уже жалеет, что они свернули на эту дорогу. С другой стороны, здесь полно следов от велосипедных и автомобильных шин – это кратчайший путь до соседней деревни.

– Ну, хорошо, – говорит мужчина. – Медленно отпускай сцепление.

Несколько раз мотор глохнет, но в общем мальчик справляется. Не спешит, слишком сильно не жмет на газ, как будто боится нарушить тишину леса.

Дорога все ухабистей, сужается на глазах, мужчина упирает руку в потолок, чтобы не удариться головой. Он все хочет что-то сказать, но не может решиться, а потом становится не до того. Деревья почти не пропускают солнечный свет, трава, серебристая от росы, канава слева, канава справа. Развернуться нечего и думать.

– Остановись, – говорит мужчина.

Мальчик как будто оглох.

– Остановись, – говорит мужчина.

Никакой реакции.

– Ты слышал, что я тебе сказал?

Он пытается перехватить руль, машина ныряет носом в кювет, мальчик от испуга жмет на газ, каждый крутит руль в свою сторону, влево, вправо, ветки скребут по стеклу, мохнатая еловая лапа: мокрый след на стекле.

– Ногу с газа убери! – кричит мужчина.

Оттеснив мальчика от руля, дергает на себя ручной тормоз. Так они и сидят некоторое время, стиснутые, как сельди в бочке, между рулем и сиденьем. Ловят ртом воздух.

– Перелезай, – говорит мужчина. Протискивается к правой дверце, пробирается сквозь мокрые ветки, садится за руль. Мальчик поспешно перелезает на правое сиденье.

Задний ход, и они кое-как молча выбираются на дорогу.

– Ты сердишься? – спрашивает мальчик.

– Нет. А ты?

– Мне-то на что?

– Где мы сейчас? – спрашивает мальчик.

– Карта у тебя.

Карта крошечная. Совсем не все деревни, которые они проезжали, на ней обозначены. Заметил ли мальчик, что они уже давно едут не на запад, а – по кругу – на юг, восток, север, снова на запад? Если заметит, придется сказать, что не нарочно. Так получилось. Знаешь, стоит один раз неправильно свернуть... Когда они во второй раз оказываются на том же перекрестке, он косится на мальчика, но тот разглядывает себя в боковом зеркале и, по всей видимости, ничего не замечает. Мужчина опять сворачивает на юг.

Он совершенно разбит, все тело ноет. Почти не может сосредоточиться на дороге. Наступает вечер. Люди возвращаются в город, целыми семь-

ями, почти все машины набиты битком. Лучи заходящего солнца, отражаясь от лобовых стекол встречных машин, иглами вонзаются в глаза.

Насекомое, наколотое на булавку, вот кто я.

– Почему мы едем по автостраде? – спрашивает мальчик.

– Я устал, – говорит мужчина.

За деревьями видна стоянка. Заезжают на нее, останавливаются. Темные ели, одна-единственная акация, крапива. Синица. Идут в писсуар, который оказывается просто дыркой в цементном полу, потом покупают себе сосиски в палатке на колесах. Мужчину все еще преследует вонь мочи.

Мальчик:

– Опять сосиски?

– Ничего другого нет.

Мальчик морщит нос. Сейчас ему одиннадцать. Какой станет эта складка на его переносице в четырнадцать, в семнадцать?

– Послушай, – говорит мужчина.

Мальчик внимательно на него смотрит. Глаза как разноцветные стеклышки в калейдоскопе. Он улыбается.

– Дальше так продолжаться не может.

– Почему?

– Не может – и все.

– Почему?

Ветер качает деревья, подхватывает и гонит по асфальту салфетки, брошенные у палатки. Мимо проносятся машины.

Мужчина пытается объяснить. Ему-то все равно. Ему сорок пять, он конченый человек. А у мальчика все впереди. Школа...

Плевать ему на школу. Мальчик сдвигает брови.

– Как ты вообще себе все это представляешь? Как ты думаешь, что они со мной сделают, если мы сейчас вернемся? – Конечно, ему небось все равно, ему-то ничего не будет. Ему не придется отдуваться. Уедет куда-нибудь, и все дела.

– Лучше я умру, – говорит мальчик.

Мужчина, шепотом:

– Что ты вообще об этом знаешь...

– Я?!! – орет мальчик. – Да уж знаю кое-что! Дерьмо! Трус! Ненавижу тебя! – В бешенстве он уже не кричит – воет что-то нечленораздельное, как зверь: – А-о-а! е!

Бросает недоеденную сосиску, бежит. Парковка отгорожена от леса проволочной сеткой. Мальчик мчится к этому забору.

Мужчина стоит и смотрит ему вслед.

Что он задумал: прорвать сетку, перелезть, повалить забор? Глухой пружинящий удар по сетке, нога застревает в ячейке, и мальчик падает.

– Что ваш парень, черт побери, тут вытворяет?

Продавец сосисок выбежал из своей палатки. Мальчик лежит под забором, нога все еще в сетке, он дергается, вокруг комья черной земли.

– Все в порядке, – говорит мужчина. Идет к мальчику.

– Вы за это заплатите! – кричит продавец. – Этот забор стоит недешево.

Мальчик, слегка перепуганный, сидит под забором. Мужчина бережно высвобождает ногу, берет его на руки, несет к машине. Словно тяжелобольного. Прислоняет к машине, открывает дверь, снова берет на руки, сажает на сиденье, пристегивает, осторожно закрывает дверь.

Обходит машину, садится за руль.

— Ты единственный, кто меня понимает, — говорит мальчик.

Молчание.

— Так нельзя жить, — говорит мальчик.

Мужчина вжимается ноющей спиной в сиденье.

Молча трогается с места.

Потом, уже после поворота, мальчик все-таки начинает плакать.

— Не надо, — просит мужчина.

Мальчик всхлипывает.

— Не надо, — говорит мужчина.

— Я люблю тебя. — Всхлипывает. — Люблю тебя. Люблю тебя.

Мужчина молчит.

Мальчик, похоже, совсем измотан. Он откидывается на спинку сиденья, поворачивается спиной к мужчине. Так они и едут. Мужчина ведет машину, ребенок лежит, свернувшись калачиком — непонятно, плачет он или нет. Та же автострада, только в другом направлении, слышен только шум вентилятора, как будто в него попал сухой лист, этот шум перекрывает все другие звуки. Непонятно, плачет мальчик или нет. Опять саднит горло, но мужчина не решается потянуться к бардачку, достать оттуда таблетку.

Они останавливаются уже за полночь, в машине по-прежнему тихо. Может быть, мальчик заснул.

— Мы приехали, — говорит мужчина. Мягко трогает мальчика за плечо. Тот не реагирует. Мужчина трясет сильнее. Мальчик как будто окаменел, ладони зажаты между колен, его невозможно сдвинуть с места.

Мужчина поднимает мальчика с сиденья, несет в дом, вверх по лестнице, кладет на кровать. Спускается вниз, запирает все двери. Возвращается, садится на край кровати. Мальчик обхватывает его руками и ногами, как обезьянка.

— Ну, хорошо, — говорит мужчина. — Сегодня ночью будешь спать здесь.

Мальчика словно подменили. Он быстро раздевается, ныряет под одеяло, сидит в кровати, глаза горят. Его вещи свалены в кучу рядом, на полу. Носки — двумя комочками.

— Пойду приму душ, — говорит мужчина. Он не спрашивает, хочет ли и мальчик под душ.

Мальчик так и сидит в кровати.

Долгое стояние под струей. Горячая вода и боль в спине.

Сосиски — комом в желудке.

Когда мужчина возвращается, мальчик уже не сидит, он лежит у самой стенки. Мужчина садится к нему, гладит по спине. Теплая, сухая кожа. Мальчик вздыхает, потягивается, перебирается ближе к середине кровати. Мужчина прямо в халате ложится под одеяло. Мальчик поворачивается, прижимается к нему, кладет голову в раскрытый вырез халата. Пар от разгоряченного тела оседает мелкими каплями на детском лице. Так они и лежат. Время от времени мужчина гладит мальчика по волосам.

— Это твое сердце, — говорит мальчик и поднимает голову. — Оно так громко бьется. Я не смогу заснуть.

— Ложись на подушку.

Мальчик снова кладет голову мужчине на грудь. Прислушивается. Хихикает.

— Бум-бум-бум. Мое так же громко бьется?

— Нет, твое как у птички.

Углы рта у мальчика опускаются вниз.

— Я не хочу.

Мужчина кусает нижнюю губу.

— Я не хочу! — кричит мальчик. — Ты слышишь, я не хочу! Не хочу!

— А я хочу, хочу, хочу!

Мужчина выскакивает из кровати.

— Нет! — кричит мальчик. — Я лучше...

У мужчины комок подступает к горлу.

— Что? Лучше — что? Что?!

Пауза...

— Три, два... Отмашка на "один" или на "ноль"?

— Не плачь, — говорит мальчик. — Смотри, я же не плачу.

Александр Озанг
Кукла

Перевод Г. Окуловой

ЗАПЛАКАЛ ребенок, и я проснулся. В первое мгновение голос его кажется мне незнакомым. Должно быть, Йонас — других детей у нас дома нет. Я у себя дома, это точно. Голова ватная, Великий пост позади. Шесть недель без спиртного. Если мне не изменяет память, в Страстную пятницу мы ели рыбу, да, барабульку, запеченную в соли. Уже десять лет к причастию не ходил. И Йонас у нас некрещеный. Во рту все горит от принесенной Штефаном марихуаны. Еще не открыв глаза, понимаю, что лежу на полу. Судя по тому, что пол твердый и холодный, видимо, на кафельном. Перед глазами что-то желтеет — макаронина такая в форме бабочки, их еще Штеффи Граф рекламировала, самые у Йонаса любимые. Мы с Андре Агасси ровесники, а выгляжу я даже моложе, хотя сейчас по мне этого не скажешь. Хорошо бы они еще раз в Париже в паре сыграли. Каждый из них в отдельности никогда у меня особых восторгов не вызывал, он уж точно, но вдвоем они отлично смотрятся. По краям макаронина темно-желтая, почти коричневая. Кафель у нас светло-серый. Я лежу на кухне, утренний свет пробивается даже сюда, под стол. Макаронная бабочка лежит здесь уже давно, по части уборки Мария не слишком усердна. Это наша домработница, из Белоруссии, приходится защищать ее от Жанетт, та с недавних пор ее невзлюбила, впрочем, как вообще всю женскую прислугу. Няни, садовницы, секретарши — все, кто избавляет ее от части забот, — рано или поздно начинают ей мешать. Не доверяет им до конца. А мне это все улаживать приходится. Не стану говорить ей об этой макаронине. Мария наверня-

© S. Fischer Verlag GmbH, Frankfurt am Main, 2003
© Г. Окулова. Перевод, 2004

ка католичка. Я стал гораздо лучше относиться к Папе Римскому. Рядом с макарониной валяется глаз — стеклянный глаз. Карий. За время поста я разучился пить, а травки раньше, почитай, что и не курил вовсе.

Йонас плачет. Ему пять лет, и это зрелище — отец, обретающийся после Пасхи под столом, — навеки отпечатается в его памяти. Перед смертью — ему будет тогда под семьдесят или под восемьдесят — та же нелепая картина снова всплывет в мелькающей перед его глазами цепочке образов. Наверное, скоро я появлюсь и на одном из его пестрых детсадовских рисунков.

— Йонас, тут из-под стола чьи-то ноги торчат, — скажет воспитательница.

— Это папа, — ответит Йонас.

Воспитательница поговорит с другой воспитательницей, и вот уже Йонас стоит с ними в кабинете продленного дня, на столе лежит его рисунок.

— Итак, Йонас, повтори: почему твой папа под столом?

А потом в один прекрасный день в дверях окажутся две дамы из отдела защиты несовершеннолетних, разглядывая меня и едва сдерживая негодование, а у Жанетт застынет в глазах вопрос.

Надеюсь, она еще спит.

Йонас всхлипывает, я вижу его ножку в синем сандалике и белом гольфе — Жанетт вчера ему подарила. В ее понимании Пасха — это белые носочки, зайчики, корзиночки... Ни страданий, ни крови. Я протягиваю к нему руку из-под стола. Наверно, нам стоило бы сходить сегодня в церковь — ведь уже понедельник. Йонаса мы не крестили, я сам два года как порвал с церковной общиной, но тем не менее.

Глаз. Карий глаз.

— Они никогда даже не думали о том, что будут делать дальше, — говорил Штефан.

— Фотографии из багдадских больниц — просто кошмар. — Это Катрин.

— А ведь мы еще далеко не все видели. — Снова Штефан.

— Они сейчас хотят на Ливию напасть, — произнесла Жанетт.

— На Сирию, солнышко, — отозвался Камульский.

— И на Сирию.

— Все одно: марионеточные государства, — примирительно сказал Камульский.

— Весь арабский мир поднялся. — После этих слов Штефан хотел было откинуться назад, но с высокими спинками белых стульев, которыми Жанетт обзавелась в период ее увлечения белым цветом, такой номер не проходит.

— За исключением Кувейта, — откликнулся Камульский, приводивший у кухонной стойки в порядок остатки закусок.

— Кувейт, — презрительно хмыкнула Жанетт и повторила: — Кувейт.

— Все-таки хорошо, что Европа начинает сейчас говорить в полный голос. Хватит уже, насмотрелись!

Камульский прислушивался вполуха, выуживая с тарелки с сырами пару сморщенных виноградин и размышляя, убирать ли семгу, посеревшую по краям, но явно вполне еще съедобную. Если да, тогда нужно убирать и хрен, который остался свежим в мисочке с ледяной водой. "Голос Европы"! Катрин говорит прямо как Штефан, ее муж, хотя, наверное,

они с Жанетт тоже не такие уж и разные. Камульскому-хозяину нравилось это уютное гудение хорошо отлаженной беседы. Вопросы и ответы цепляются друг за друга, словно зубчики шестеренки. Механизм дружбы. На душе у него было легко — как во время последнего чемпионата мира, когда жены вдруг тоже решили смотреть с ними футбол, или во время концертов суперзвезд, когда они все вместе сидели перед телевизором.

— Они там каждый день готовят новых террористов тысячами, — сказала Жанетт.

Камульский сосредоточил свое внимание на бутылке красного вина. Штефан и Катрин на Рождество подарили им новый ярко-красный пластиковый штопор, при взгляде на который казалось, что потяни слишком сильно — и он сломается. Он состоял из двух частей, их нужно было вставлять одну в другую. Сегодня Камульский впервые решил им воспользоваться.

Пасхальный обед затянулся уже на семь часов, дети утихомирились полтора часа назад — их увела на второй этаж Доротея, няня. Салями снова приобрела нормальный вид, а то днем вся сочилась жиром. Все-таки погода наладилась. До чего же зима выдалась долгая. Война точно окончена. Семь часов назад Камульский выпил первый бокал шампанского, оно сразу же ударило ему в виски, кончики пальцев на руках и ногах, он выждал три часа, потом в теньке выпил стакан пива. Погода стояла теплая, и он решил быть поосторожней, отвык от спиртного за время поста. Шесть недель — это долго. Французский батон подсох под корочкой, его разламываешь — а он крошится. Шея у Жанетт пошла красными пятнами, Штефан вещал тем тоном государственного мужа, который он часто напускал на себя к вечеру. Ему впору бы сигару закурить. Сыр выглядит пока прилично.

— Канцлер еще испугается собственной смелости, — сказал Штефан и вновь откинулся на неподатливую спинку стула.

— Думаешь? — спросила Жанетт.

Камульский надеялся, что она не натворит глупостей, ведь скоро пора уже будет расходиться. Штопор вошел в пробку наискосок, Камульский снова установил его, но штопор выбрал тот же путь. Камульский рискнул — к тому же все равно никто на него не смотрел. Он медленно потянул пробку, пробка треснула посередине и начала крошиться, хоть и не сильно.

Жанетт, по счастью, молчала.

— Канцлеру ничего не остается, смотрите, вот вам два примера, — продолжал Штефан.

Он выдержал паузу, а Камульский вспомнил, что забыл подать маслины с оливками. У него было по фунту тех и других. Штефан открыл было рот, чтобы рассказать о канцлере, но ему помешала Доротея. Она стояла в дверях, держа за руку сонного Йеремиаса. Йеремиас Кунтце. Сын Штефана и Катрин. Все глядели на няню.

— Йонас уснул, а Йеремиаса я отвезу домой, — сказала Доротея.

Катрин несколько неуверенно поднялась из-за стола и потрепала трехлетнего сынишку по голове. Штефан остался сидеть. Потом и Жанетт встала, она смотрела на Камульского, словно ждала от него чего-то, чего — непонятно. Он разобрал штопор и положил его в ящик к другим штопорам, открывалкам для бутылок, консервным ключам, ножам для устриц, прессам для чеснока, теркам для мускатного ореха и ножичкам

для чистки спаржи, скопившимся за последние годы. Деревянные ложки, мутовки, картофелечистки и венчики для взбивания сливок лежали в соседнем ящике. Это его мастерская. У него было три сырных ножа, которыми он еще ни разу не пользовался.

— Деньги? — прошептала Жанетт.

Штефан легонько кивнул, одними губами произнеся свое любимое: "Ноу проблем".

Камульский задумался, с чего это Йеремиас не останется спать здесь, они ведь предлагали. Хотя вообще-то это даже хорошо, что Доротея увезла его, — для порядку. Наверное, Штефан с Катрин тоже так считали. Он решил пока с маслинами подождать.

— Я выйду с тобой, — обратилась Жанетт к Доротее.

Камульский разлил вино по бокалам, хлопнула дверца машины, послышался шум мотора, потом закрылась входная дверь, Жанетт вернулась со словами:

— Она просто сокровище, — и, сияя, взглянула на Катрин. Катрин кивнула, хотя стопроцентной уверенности в ее кивке не чувствовалось. Доротея была на десять лет моложе их всех, частенько ходила без лифчика и постоянно носила низко сидящие на бедрах брючки. Когда она нагибалась к ребенку, виднелись ее глубоко вырезанные изящные трусики. Камульский посмотрел на Штефана, но тот, казалось, задумался о чем-то своем.

— Ну, Йеремиас ее любит, — сказала Катрин.

Обернувшись, Камульский задел плечом узкий кухонный шкаф, где хранились вещи, которые не принято выставлять на всеобщее обозрение. Счета, полиэтиленовые пакеты, жевательная резинка, лампочки и рулоны бумажных полотенец. После поста его слегка пошатывало во время ходьбы.

— Привет! — послышалось из шкафа. — Я Коко, давай поболтаем.

Все переглянулись. Штефан ухмыльнулся.

— Коко? — спросила Катрин.

— Да, — ответил Камульский, — говорящая кукла. Пришлось запереть ее в шкаф, потому что трещит без перерыва. Реагирует на малейшее движение. Молчит, только если темно и тихо. Это Жанетт купила.

— Он милашка, — сказала Жанетт.

— С чего ты решила, что это "он"? — осведомилась Катрин.

— Ну, мне так кажется, — отвечала Жанетт.

— Жанетт обожает такие штучки, — вставил Камульский.

— Я купила его для Йонаса, твоего сына, — продолжала Жанетт чуть резковато, как показалось Камульскому, видимо, она еще на нервах после споров о канцлере.

— Жанетт и Йонасу Коко нравится, — Камульский успокаивающе подмигнул жене и открыл шкаф. Среди пакетов стояла большеглазая черная с голубым фигурка, чем-то похожая на сову, но позабавней. — Да и мне он нравится, — сказал Камульский.

— Пощекочи меня, давай поиграем, — Коко захлопал глазами. У него были карие глаза с огромными веками.

Все глядели в шкаф. Коко шевельнул ушами. "Он еще танцевать умеет", — вспомнилось Камульскому.

— Ну как такого выбросить, это ж все равно что человека убить.

— Кажется, сейчас самое время слегка курнуть, — Штефан достал уже скрученный косяк из нагрудного кармана своей джинсовой куртки —

темно-синей Levi's — и усмехнулся. — Не против? — спросил Штефан. Ему тридцать шесть лет.

Катрин смущенно улыбнулась.

— Ясно дело. — Жанетт встала и закрыла шкаф.

Камульский взглянул на нее — иногда он просто не узнавал жену. "Ясно дело". Ну и выражения. Нужно будет потом поговорить с ней об этом. Кивнул — все-таки он здесь хозяин, хоть и на три года моложе Штефана. Он как раз недавно подумывал, не купить ли ему джинсовую куртку, черную, от "Cerrutti", она и на джинсовую-то куртку едва ли походила, однако так и не купил. Можно сейчас предложить всем по чашечке эспрессо, как он изначально и собирался сделать. У них была новая кофеварка, а в холодильнике оставался лимонный сливочный крем, он хотел украсить его листочками росшей в горшке мяты.

— У вас пепельница найдется? — спросил Штефан.

— Да, — ответила Жанетт. Камульский покачал головой.

Они оба вот уже шесть лет как не курили — бросили, когда решили завести ребенка. Но Жанетт сразу же отыскала пепельницу — зеленую стеклянную пепельницу, которую, по ее словам, забыли у них дома маляры. Пепельница стояла в том же узком кухонном шкафу между полиэтиленовыми пакетами, рядом с карликом.

— Давай потанцуем, давай потанцуем, — восклицал Коко. Штефан чиркнул спичкой.

Они уставились на меня, словно ждут ответа, но я не помню вопроса. То ли про детей, то ли про войну. Война уже окончена. Забыта. Если смотреть отсюда, то это скорей Жанетт со Штефаном кажутся семейной парой, но вот представить Катрин своей женой я не могу, она похожа на домработницу.

"Катрин — на самом деле Мария", — думаю я и едва не произношу этого вслух, до того мне смешно. Еще бы Штефану быть садовником, тогда вообще замечательно. Моим садовником. Наверное, еще пива выпью; от лимонного крема почти ничего не осталось. Про мяту-то я и забыл.

— Что здесь смешного? — Жанетт обращается ко мне, но глядит на Штефана. Наверное, он знает ответ — у Штефана есть ответы на все вопросы.

— Мы опять о войне говорили? — задаю вопрос. Идиотская говорящая кукла стоит на столе.

— Я тебя спрашиваю, купил ли ты хоть раз Йонасу подарок.

Однажды я купил ему плюшевого крокодила, припоминаю я, и мяч с подписями всей гандбольной команды Магдебурга. Но мне почему-то не хочется заниматься сведением счетов, да и Йонас пока еще слишком мал, чтобы играть в гандбол, он оценит мой подарок позже.

Штефан почему-то смеется. Он снова подносит спичку к косяку — хорошая мысль. Я облизываю палец, проведя им по опустевшему блюду с лимонным кремом, и делаю еще одну затяжку. Щелкаю по говорящей кукле.

— Ооо, привет, меня зовут Коко, давай поиграем. — Кукла хлопает глазами. Мы смотрим на нее, пока она не замолкает. Катрин клюет носом.

— А с чего, собственно, вы назвали своего сына Йеремиасом? — спрашиваю я непонятно зачем. Катрин, побледнев, бросает на меня пристальный взгляд.

— Это отлично сочетается с именем "Йонас", — Жанетт смеется, вслед за ней Штефан, я тоже смеюсь, хотя не уверен, смеемся ли мы все над одним и тем же. Я смеюсь над сочетанием "Йеремиас Кунтце" — оно так подходит к непомерному самомнению Штефана.

— Йеремиас Кунтце! — вырывается у меня. Катрин бросается прочь из комнаты. Сил моих больше нет.

— Йонас Камульский! — хохочет Штефан. Верхняя губа у него по-кроличьи поднимается, обнажая зубы.

Последний раз мы так хохотали, когда смотрели выступление Гуильдо Хорна[1] в финале Евровидения, Штефан в тот раз тоже принес марихуану.

— Йеремиас Кунтце — так прямо и слышу: "Я глава отдела закупок торгового центра при Восточном вокзале и сейчас приведу вам два доказательства тому, что канцлер передергивает". — На мгновение мне показалось, что я сейчас напущу в штаны со смеху.

Они растерянно глядят на меня, слышно, как Катрин душат спазмы. Хорошо еще, ее тошнит в туалете гостевой комнаты. Судя по всему, она даже не потрудилась прикрыть за собой дверь.

— Голос Европы, — показываю я сквозь слезы в сторону туалета, Жанетт заливается вместе со мной.

И только Штефан серьезен, словно задумался о чем-то. Он же такой умник, знает, что все взаимосвязано. Мир на планете, чемпионат по футболу, финал Евровидения. В памяти всплывает сцена: мы с детьми на массовой демонстрации в защиту мира на Александерплац, держимся все вместе за руки. Мы — одно целое, мы друзья.

— По мне, Дональд Рамсфельд — он как Гуильдо Хорн, — говорю я. Теперь и Жанетт перестает смеяться. Штефан встает и медленно направляется к туалету гостевой комнаты, Жанетт вскакивает, хватает Штефана за локоть, но он стряхивает ее руку.

— Нет, ну это же логично, сами посудите. — Но пока я произношу эти слова, нить моих мыслей обрывается.

Жанетт смотрит на меня. Если б я хуже ее знал, решил бы, что она в ярости. Я улыбаюсь ей.

В голове пусто, но настроение отличное.

К трем часа утра к Камульскому снова начало возвращаться чувство времени. Посудомоечная машина покончила с первой партией посуды. Царила мертвая тишина, Жанетт спала, Штефан увез Катрин домой, никто не проронил больше ни слова. Но напряжения никакого не чувствовалось, скорее, это просто усталость, думал Камульский. Долгий выдался обед. Катрин грустно взглянула на него, он поцеловал ее на прощание, не обращая внимания на кисловатый запах. Они ведь друзья. Он убрал остатки еды, срезал посеревшие краешки с семги, завернул их в алюминиевую фольгу, потом в пакет и вынес в мусорный бак перед домом. Вымыл большие блюда, сунул окурок принесенного Штефаном косяка в закрывающийся пакетик, а тот — в ящик с сырными ножами, куда никто никогда не заглядывал. Убрался в туалете гостевой комнаты, хотя Катрин там не напачкала.

Кухня снова приобрела нормальный вид, цифры на табло электрической духовки светились зеленым — 03.05, с делами покончено. Ка-

1. Популярный немецкий певец-комик. (*Прим. перев.*)

мульский достал себе пива из холодильника, его все еще мучила жажда. Он уставился на зеленые часы. Красивый цвет, прохладный и успокаивающий. В какой-то момент проснулся Коко.

– Привет, меня зовут Коко, погладь меня, – сказал карлик.

Камульский глотнул пива, взглянул на лестницу и погладил куклу по животу – мягкому, словно у морской свинки.

– Оооо, вот так, еще, еще!

Камульский засмеялся. Он снова погладил Коко по животу, еще раз глянул на лестницу. Абсурд.

– Ноу проблем!

Шелестела вентиляция посудомоечной машины. Камульский прекратил щекотать кукле живот. Он смотрел на Коко. Что-то здесь не так. "Ноу проблем" – любимое выражение Штефана. Перед глазами возникла рука Жанетт на плече Штефана, грустный взгляд Катрин. Зеленая пепельница.

– *Почему вы назвали сына Йеремиасом?*

– *Это отлично сочетается с именем Йонас.*

Механизм дружбы дал сбой. Они ушли, в кухне снова прибрано, но порядок нарушен.

– Давай поговорим.

– Что?

– Давай поговорим, Мулли, – произнесла кукла.

Камульский уставился на нее. Его со школьных времен никто так не называл – Мулли.

– Ну давай же: расскажи про прогулку на Пасху или определение классовой теории, назови мне формулу окружности или номер телефона, по которому чаще всего звонят из твоего дома.

Взгляд Камульского был прикован к кукле.

– Ну и? – Коко широко распахнул глаза.

Камульский подумал, не достать ли ему марихуану из ящика с сырными ножами. Он глядел на черную с синим фигурку, на табло духовки. Он не мог рассмотреть, сколько сейчас времени, но час явно поздний. Все спали. Коко качнул головой.

– Ну и как тебе сегодняшний вечер, Мулли?

– Было забавно. Давно так не смеялся, – вполголоса отозвался Камульский. Он разговаривал с куклой.

– И над чем смеялся?

– Да не знаю, имя показалось смешным – "Йеремиас Кунтце".

– А ты в курсе, что Йонас и Йеремиас – это из Ветхого Завета, пророки Иона и Иеремия?

– Иону проглотил кит, а потом выплюнул обратно.

– Угу. И ты поэтому так сына назвал?

– Как знать.

– Мулли, не пудри мне мозги. Ты подсмотрел это в словаре личных имен уже после того, как Йонас стал Йонасом.

– Я хотел назвать его Конрадом. Вообще, так должны были назвать при рождении меня, но отец не сумел тогда настоять на своем.

– И ты продолжил семейную традицию.

– Да, Жанетт терпеть не может аллитераций.

– Она так и сказала: аллитерация?

– Кажется, да.

— Мулли, ты идеализируешь свою жену. Жанетт не знает даже, что такое составное имя существительное. Конрад Камульский — звучит прямо как Дональд Дак, так она сказала?

— Откуда ты знаешь?

— Это ведь она меня нашла. Я же купленный ею подарок, забыл, что ли? Всем, что есть во мне, я обязан ей. Например, я умею говорить "Ноу проблем", "Ясно дело" и "Ненавижу Камульского". Когда Штефан предложил тогда имя Йонас, мы оба сразу с ним согласились. Я — ее копия.

Камульский встал и направился к ящику с сырными ножами.

— Ты куда, Мулли? Еще травки захотел?

— А почему бы и нет — скоро четыре утра, я сижу на кухне и спорю с куклой.

— Ты просто под кайфом.

— Именно, — сказал Камульский и закурил остаток косяка, принесенного Штефаном. Глубоко вдохнул дым. Вернулся к столу, сделал еще затяжку и снова подсел к Коко. — Так кто же ты? Зачем моя жена создала тебя?

— Я — твой двойник.

— Ты карлик двадцати сантиметров ростом, которого засунули в шкаф.

— Я не всегда жил в шкафу. Это ты меня туда запер, потому что боишься.

— А чего мне бояться?

— Движение, свет, риск, мнение — откуда мне знать?

Камульский глубоко затянулся и задержал дыхание. Штефан объяснял, что это усиливает эффект. Сейчас бы снова вернуться в состояние дурацкой эйфории, но не вышло. Нить оборвалась. Все было взаимосвязано — и потому все вдруг рассыпалось. Жанетт и Штефан, пророки Иона и Иеремия, тоскливые глаза Катрин, зеленая пепельница. Его предали — и кто, друзья! Еще пару часов назад он переживал по поводу неудавшегося эспрессо, а теперь борется за собственную жизнь... с куклой.

— Ты знаешь, почему тебя в школе прозвали Мулли?

— Это второй слог моей фамилии.

— Можно было и первый взять. Муллимуллимуллимулли.

Когда Камульский потерял над собой контроль, часы показывали четыре.

Я трогаю его за белый гольфик, и Йонас прекращает всхлипывать. Он поднимает с пола глаз. Я медленно выползаю из-под стола, встаю, чувствую себя вроде неплохо. На столе лежит разломанная кукла. День чудесный, пожалуй, сходим с парнишкой в церковь одни, если верить часам на духовке, уже почти девять утра, но ничего, мы еще успеем на торжественную мессу или подождем до следующей недели. Утренний свет преломляется в карем стеклянном глазу, который протягивает мне Йонас. Взяв глаз, я вдавливаю его в пустую глазницу лежащего на столе Коко, чья голова почти оторвана от короткого тельца. Коко медленно опускает правое веко и поднимает его, левый глаз неотступно следит за мной. Он жив.

— Оооо, — говорит Коко, — еще, еще. Вот так.

Слезы наворачиваются мне на глаза. Я осторожно беру куклу на руки, воссоединяю голову с телом и кладу обратно в шкаф — к пакетам, же-

вательной резинке и всем тем вещам, которые не принято выставлять напоказ. Плотно прикрываю дверцу. Глажу Йонаса по голове и жду. Спустя полминуты кукла умолкает. Я улыбаюсь Йонасу, он улыбается мне — чуть грустновато, но это скоро пройдет. Я наклоняюсь, подбираю бабочку-макаронину и незаметно опускаю ее в мусорное ведро. Так-то лучше.

На завтрак сделаю яичницу с помидорами. Мы обожаем яичницу с помидорами.

Буркхард Шпиннен

В*ыбрав даму сердца*

Перевод Е. Соколовой

В мае Хастенрат находит женщину. Она стоит перед ним в очереди у кассы. Снаружи светит солнце, она нервно постукивает пальцами по ручке тележки с покупками.

Хастенрат видит ее сзади через плечо. Ей тридцать с небольшим; рост средний, светлые волосы, не замужем. Сыну восемь лет. Целыми днями, пока она на работе, — а она помощник адвоката, — за сыном присматривает подруга. Женщина стройна, ценит хороший интерьер и качественную одежду. И еще — интересуется Востоком, Азией; один раз была в Таиланде, один раз — в Бирме, на будущий год собирается в Японию.

Хастенрат покупает кое-что из мелочей, ничего существенного: даже решетчатое дно тележки закрыто не полностью. *Камуфляж*, думает он весело. *Просто предлог.* Хотя уже знает, чем это чревато. Недавно в похожих обстоятельствах он купил пакет молока и в результате — можно сказать, по недосмотру — пристрастился к молоку. После того как столько лет не пил молока вообще! *Нет*, говорит он себе, *больше ни слова. Молоко – это молоко.*

Женщина, как ему кажется, совершала покупки обдуманно. Продукты длительного хранения, никакой ерунды. Ничего удивительного, конечно, но все же — хороший знак. Расплачиваясь, она протягивает банкноту и быстро набирает нужную сумму мелочью. Серая матерчатая сумка у нее с собой. Она укладывает покупки, и Хастенрат снова замечает, что она очень торопится. Совершенно естественно при двойной-то нагрузке: работа и ребенок. К выходу едва не бегом.

Очередь Хастенрата. Поразмыслив немного, он принимает решение вновь встретить эту женщину дня через два. Утром, по пути на работу — в автобусе. Она и в самом деле сидит внутри — там, где два сиденья друг против друга. Хастенрат устраивается напротив и внимательно изучает ее, пока она смотрит в окно. Похоже, все-таки ей ближе к тридцати пяти, светлые волосы почти до плеч — отдельные пряди с рыжинкой, — зеленоватые глаза. На правой щеке небольшой шрам; нет, не шрам, едва заметный след от тонкого светлого шрамика. В первые недели ее жизни родители забыли спрятать под одеяльцем ее кулачки, и она ноготками расцарапала кожу.

© 2001 by Deutsche Verlags-Anstalt, Stuttgart München
© Е. Соколова. Перевод, 2004

Какое-то время Хастенрат не знает, как к этому отнестись. Потом решает, что это не важно. *Все мы*, думает он, *уже не дети. И не раз наталкивались на стену. Вполне достаточно, чтобы научиться не обращать внимания на такие вещи.*

Женщина встает и нажимает на кнопку, предупреждая водителя, что собирается выйти на следующей остановке. *Все равно, на сегодня достаточно*, думает Хастенрат. *Главное – не переборщить поначалу. Не спугнуть чуда! Слишком быстро нагнетая давление, можно все разрушить. Это известно каждому.*

Вечером Хастенрат идет в пивную неподалеку от дома. Женщина, естественно, проводит вечер у себя. Сыну ведь и так приходится целыми днями оставаться с чужим человеком, и им хотя бы вечером нужно побыть вместе. Они играют в "Сумасшедший лабиринт", потом она читает вслух, хотя он и сам уже умеет читать. Про девочку из леса, в котором бесчинствуют всякие чудны́е существа. У девочки есть друг. Сын никогда не засыпает, пока она не закончит читать.

В пивной Хастенрат проводит ровно два часа, выпивает три поллитровых кружки пива, съедает багет с ветчиной и сыром. Дома смотрит ночные новости и ложится. Он думает о ней. Помощнику адвоката едва ли стоит рассчитывать на успешную карьеру. Не исключено, что она так всю жизнь и просидит на одном месте. Но и жаловаться смысла особого нет: в конце концов, жизнь ее во многом сложилась удачно и течет как по маслу. Она часто говорит себе: у других дела намного хуже.

На следующей неделе во вторник вечером она отправляется с подругой в кино, сын ночует у школьного приятеля. Хастенрат тоже заказывает себе билет, перед выходом из дома принимает душ, снова бреется. В кино много народу, фильм очень длинный: через полтора часа небольшой перерыв. В фойе Хастенрат сразу замечает обеих женщин, медленно к ним подходит: тут очень тесно, каждый стремится побыстрее добраться до напитков, и ему легко удается завязать разговор.

Разумеется, они обсуждают фильм. Женщина немного смущена, Хастенрат это чувствует, прямо-таки физически ощущает; но ведь все скоро и в самом деле станет серьезно. К тому же у нее новая прическа — а каждому ведь ясно, что это значит! Во время перерыва Хастенрат успевает еще спросить, нет ли у нее желания после фильма зайти куда-нибудь ненадолго. Женщина отвечает "да", и он не сомневается, что уловил в ее голосе радость. К сожалению, фильм заканчивается очень печально. Практически молча они втроем идут по пустой пешеходной улице в сторону рынка, и в кафе, едва заняв место, женщина смотрит на часы и говорит, обращаясь к подруге: "Надолго у меня не получится".

Хастенрат в отчаянии. Должно произойти что-нибудь немыслимое: пусть ворвется банда хулиганов, начнется пожар, обвалится крыша — все равно, лишь бы хоть как-то оживить ситуацию. Заказывают напитки, она просит принести чаю. И тут Хастенрата осеняет. Он заговаривает об Азии. О Японии. Разве это не ее мечта?

— Япония? — произносит женщина, словно не понимает, о чем речь.

— Ну да, Япония! — подтверждает Хастенрат; в кафе шумно, он почти кричит.

— Ах, Япония, — говорит женщина. Да, мол, в Японию и правда неплохо бы съездить. И лучше бы сразу недели на две.

Ну вот! Хастенрату удается поддерживать разговор. Пусть даже немного отклоняясь от темы, это уже ничего не меняет. Сначала он рассме-

шил подругу, потом и ее саму. Она смотрит на него; если бы не подруга, ему, возможно, удалось бы взять ее за руку. К сожалению, не получится. *Кто знает*, думает Хастенрат, *может, это и к лучшему.*

Женщины уходят, а он остается в кафе. Здесь почти так же, как там, рядом с домом, он заказывает большую кружку пива и багет. Домой возвращается вскоре после полуночи. *В эту ночь чувствуется, что май уже наступил*, думает он, *даже летом ночь редко бывает более летней.* — Этот аромат, — произносит он вслух, — доносится, наверное, с лугов и полей городских предместий. Ну и, конечно, из лесов... Войдя в подъезд, он закрывает за собой дверь, включает на лестнице свет, а войдя в квартиру, решается ненадолго открыть окно. *Осторожно*, говорит он себе, *весной по утрам бывает довольно холодно.*

Потом снова думает о женщине. Послезавтра у нее трудный день. Из-за срочного дела придется допоздна задержаться в конторе. Сын останется на ночь у подруги. Зато она сама заберет его утром и отведет в школу. Хотя это большой крюк. Но чему быть, того не миновать. А для него очередной знак: пора настраиваться на серьезные отношения. С этой мыслью он засыпает.

Через два дня около полудня он уже стоит возле школы. Звенит звонок, дети выходят на улицу; подруга, как обычно, опаздывает. Хастенрат сразу узнает мальчика. Точная копия матери. Он стоит на тротуаре, Хастенрат направляется к нему. Он начнет так: *Твоя мама попросила меня забрать тебя. Сегодня мы придумаем что-нибудь интересное. Втроем. И тебе решать, что именно*, добавит в конце.

Мальчик, наверное, захочет пойти в зоопарк. *Хорошо*, скажет Хастенрат. *Отлично. Так и сделаем.* От возбуждения мальчик даже забудет спросить, где же мама. *Мы встретимся с ней у входа*, объяснит Хастенрат и повторит еще раз, хотя мальчик ни о чем его больше не спросит: *Не волнуйся, твоя мама будет ждать нас у входа.*

Внезапно Хастенрата охватывают сомнения. Возможно, им даже удастся провести какое-то время наедине, ему и ей. Поговорить. Может быть, обняться. Время пришло. И тут в самом деле звонит его телефон! Конечно, это она. — Вчерашнее дело все еще тянется, — говорит она. — И непонятно, сколько еще это продлится. — Ей, мол, ужасно жаль.

— Как глупо, — говорит Хастенрат. И, помолчав немного: — Может быть, в выходные?

— Да, если ничего не изменится.

Хастенрат возвращается домой. *Вступление смазано*, думает он. А ведь он все так здорово придумал. Без мальчика ничего не получится, это ясно. Что есть, то есть. Тут ничего не изменишь. Все-таки это из-за него, это он все испортил. Этот вечер Хастенрат проводит дома. Спускается в подвал и делает там генеральную уборку. Бутылки складывает в большой ящик, старую одежду — в мешок. Берет с собой мобильный телефон — на всякий случай.

В последующие дни Хастенрат недоволен собой и окружающим миром. Несколько раз порывается поступить необдуманно. С работы приходится ехать прямиком домой, чтобы не наделать глупостей. В конце концов ему все-таки удается с собой справиться. Рано утром в среду он пишет ей письмо.

Мне тяжело об этом думать, пишет он, *но так дальше у нас с тобой продолжаться не может. Я имею в виду – наши какие-то робкие, экспериментальные, ни к чему не обязывающие отношения.* И он предлагает ей вместе про-

вести отпуск или хотя бы уехать куда-нибудь на выходные. Дает на выбор три конкретных варианта: море, горы или одну из европейских столиц. Потом сам бросает письмо в ее почтовый ящик и идет на работу. Поскольку мобильный телефон весь день был выключен, он прослушивает сообщения вечером. Очень волнуется.

И есть отчего! Она выбрала европейскую столицу, и теперь ему решать, какую именно. *Вот оно!* – думает Хастенрат. И развивает бешеную деятельность; остаток недели проходит в ожидании, а утром в субботу он уже стоит там, где должен остановиться скорый поезд на Париж. У ног его небольшой чемоданчик, купленный специально для недолгих поездок.

Время прибытия поезда приближается; простояв три минуты, поезд отправится дальше. Уже дважды Хастенрату казалось, что он видит ее в толпе на перроне, но это была не она. Он не обманывает себя: он нервничает.

А ведь самое важное сейчас — и ему это прекрасно известно — сохранять полнейшее спокойствие. Ведь в первые же минуты пути решается, будет ли путешествие удачным. Пока ищешь место, раскладываешь по полкам багаж, пытаешься сориентироваться, далеко ли вагон-ресторан, и размышляешь, что лучше: выпить кофе прямо сейчас или подождать, пока немного отпустит дорожная лихорадка.

Потом подходит поезд, а ее по-прежнему нет. Хастенрат заходит в восьмой вагон, он в отчаянии и совершенно не в состоянии думать. Чемоданом толкает дверь, наклоняет спинку кресла. Его место свободно — а напротив сидит она! Неужели и вправду она? На мгновение Хастенрат застывает: не знает, что сказать, что сделать. У нее опять новая прическа, волосы кажутся более темными, наверное, краска, и шрама не видно под макияжем. Она улыбается ему. Он в ответ тоже улыбается, потом поднимает свой чемоданчик, кладет на багажную полку, и поезд трогается.

Они едут молча. Почти все время смотрят в окно. Вскоре граница уже позади, поезд, если верить световому табло над дверью, набрал почти максимальную скорость. В самом деле, ландшафт проносится мимо с быстротой молнии. Небольшие городки, не успев начаться, через несколько секунд заканчиваются; совершенно непонятно, что они уже во Франции. Хастенрат что-то говорит по этому поводу, женщина поднимает на него глаза, кивает и снова отворачивается. Ничего не стоит истолковать ее молчание как знак согласия.

Незадолго до Парижа между ними завязывается разговор, на этот раз без всякого напряжения. — Май в самом разгаре, — говорит Хастенрат, — и это дает надежду.

Женщина кивает. Небольшая гостиница на Монмартре, весна в Булонском лесу, в Люксембургском саду. Хастенрат называет имена знаменитых людей: певцов, художников, композиторов. Женщина смеется, что-то он и вправду размечтался!

И вдруг: вот он! — взгляд, которого он ждал, выражение лица, тон голоса. Особенное движение. Только что, — у него никаких сомнений, — решение принято в его пользу. Дальше все просто; слова польются одно за другим. *Париж*, думает Хастенрат, *единственно верное решение*! — они как раз подъезжают к вокзалу.

— Париж, — говорит Хастенрат, — это ведь город влюбленных. — Он встает, берется за свой чемоданчик.

— Ах, — отвечает она, — ну если вы так считаете... — Он берет ее багаж, и они выходят из поезда. Небо над привокзальной площадью совершенно безоблачное. Они идут мимо аркады, женщина впереди, Хастенрат за ней, как можно ближе. На первом же перекрестке она оглядывается, улыбается ему. Он в совершенном восторге.

Ханс-Ульрих Трайхель

О *половой жизни туземцев*

Перевод С. Ромашко

РОЩА была их прибежищем. Отсюда, с возвышенности, они могли смотреть на спальные корпуса, на столовую и внутренний двор с колоколом, подвешенным к похожей на виселицу деревянной конструкции, их же при этом не видел никто. Поскольку мальчикам и девочкам запрещали встречаться в спальных корпусах, ему и Катарине не оставалось ничего другого, как отправляться, когда колокол возвещал свободное время, в рощу. Катарина приехала из Южной Германии. Ее родители были мебельными фабрикантами, уже в нескольких поколениях, у них была вилла в Вюрцбурге и летний дом в Испании. Его родители были из депортированных, после войны им пришлось спешно перебираться из восточных земель на север Германии, прихватив с собой только кое-какие пожитки. Сначала они попробовали организовать библиотеку, потом — заняться торговлей напитками и в конце концов завели мясную лавочку. Благодаря ей они добились кое-какого достатка, и это позволило им послать сына в интернат. Интернат был недорогой, самый дешевый, какой только смогли найти его родители. Здесь не было даже теннисного корта, только стол для настольного тенниса. А вместо верховой езды или парусного спорта ребята занимались полевыми работами на принадлежавшем школе огороде. Тем не менее большинство учеников происходили из состоятельных семей. Их послали сюда, чтобы они познали простую жизнь, прежде чем вступят в права наследства.

Интернат был дешев, однако Альберт знал, что расходы на него для родителей жертва и он должен быть им благодарен. Дома он был трудным и непослушным учеником, с грехом пополам закончившим среднюю ступень обучения, после чего ему пришлось покинуть родную гимназию. Он курил, пил и пробовал разные наркотики. Он отрастил длинные волосы и по-прежнему носил черную грязно-косматую шубу, которую выторговал на так называемой барахолке в Бетеле. В довершение ко всему он принялся за чтение Вильгельма Райха, Кропоткина и Маркузе. "Разбейте синтаксис", — прочел он в "Опыте освобождения" Маркузе, что не слишком пошло на пользу его достижениям в таком предмете, как немецкий язык. Из книг Кропоткина он раздобыл "Воспоминания революционера". Прочитал всего пару страниц, но постоянно таскал книгу с собой, выкладывая дома на письменный стол, а в школе на пар-

© 2001 by Deutsche Verlags-Anstalt, Stuttgart München
© С. Ромашко. Перевод, 2004

ту. Больше всего его впечатлил Вильгельм Райх. Его книги "Сексуальная революция" и "Функция оргазма". Если бы Альберт не держал на столе или на парте "Воспоминания революционера", он бы щеголял "Функцией оргазма". Хотя понять эту книгу было не всегда легко.

"Функция оргазма" оказалась гораздо более сложной книгой, чем обещало заглавие. В ней содержалось множество графиков, рисунков и статистических таблиц, в которых сравнивались, например, реактивное поведение невротического характера и сексуально-экономическое поведение генитального характера. Не меньше озадачила его и так называемая панцирная структура, выглядевшая как сплетенная из стрелок паутина. Возможно, однако, трудности, которые Альберт испытывал в общении с этой книгой, объяснялись не графиками, рисунками и статистическими таблицами, а тем обстоятельством, что ему не хватало соответствующего опыта.

Он рассчитывал, что книга поможет ему продвинуться и в практических делах. Однако единственным реальным результатом знакомства с нею оказалась ссора с отцом. Уже Кропоткин вызывал у отца большое раздражение. Кропоткин, как ни крути, был русским. А русских, сказал отец, он в своем доме не потерпит. Когда же отец увидел на письменном столе Альберта "Функцию оргазма", он просто впал в ярость. И Альберту пришлось выслушать, что отец в своем доме и оргазма не потерпит. Разумеется, отец не употреблял слово "оргазм". Человек деревенский, традиционного протестантского воспитания, он таких слов никогда не произносил. Он только прокричал: "Мерзость" — и ткнул пальцем в книгу. После этого выбежал из комнаты, но вернулся опять, еще раз ткнул в книгу и прокричал: "Русская мерзость!" — и еще: "В моем доме!"

Тогда Альберт стал прятать "Функцию оргазма" от отца. И от матери тоже, которая, правда, в ярость не впадала, но становилась печальной и пристыженной, когда видела, чем занимается ее сын. Пристыженность матери передавалась Альберту. У него появлялось чувство, будто он обижает мать, когда читает Кропоткина или Вильгельма Райха. Обижать мать он не хотел. Поэтому лучшим выходом для него было уехать в интернат. Здесь его никто не стыдился. Зато пришлось стыдиться ему самому, и немало.

Уже в первый вечер после приезда один из старших учеников пригласил его к себе на чай. Этот ученик жил в отдельной комнате и был коридорным старостой. Он встретил Альберта в халате. Он якобы только что принимал душ. И пока он наливал чай, он встал так, что пояс его халата развязался и перед лицом Альберта неожиданно оказался напряженный член старосты. Только потом до Альберта дошло, что это была попытка совращения. Тогда же он просто вскочил и вылетел из комнаты, словно спасаясь от заразной болезни или опасного припадка старосты. Эта красная, налившаяся кровью часть тела и в самом деле показалась ему большой и опасной. Он не хотел никаких контактов с нею. Как и с коридорным старостой, который, как он вскоре заметил, частенько приглашал новичков на чай, да к тому же еще носил галстуки. Любитель галстуков и совратитель мальчиков — это возмущало Альберта и разжигало в нем ненависть против коридорных старост и любителей галстуков вообще. Ему нужно было готовиться к борьбе, и он решил еще приналечь на чтение Маркузе, Кропоткина и Вильгельма Райха.

К счастью, он смог объединиться с некоторыми другими ребятами, которые тоже ненавидели любителей галстуков, мечтали о сексуальной революции и, так же как и Альберт, еще ни разу не спали с девочками.

То, что Альберт даже не открыл для себя возможность самоудовлетворения, другим было невдомек. Он в некотором роде и сам этого еще не знал, до того дня, когда в роще Катарина помогла ему сначала нежными, а потом довольно энергичными прикосновениями постичь совершенно неведомое ощущение счастья. В тот день он потерял свою невинность. Она хоть и не спала с ним, однако он все же вернулся в интернат в почти эйфорическом состоянии.

А вскоре она с ним и переспала, и они стали частенько наведываться в ту рощу. Там они лежали голыми под деревьями, предавались запретному и посматривали вниз, на интернат. Вот оно! — думал иногда Альберт. Это и есть сексуальная революция! Это и есть функция оргазма! Когда они лежали так в траве, он то и дело чувствовал себя обитателем Тробрианских островов, одним из сексуально раскрепощенных аборигенов, описанных Малиновским, о которых он впервые узнал из книги Вильгельма Райха. А однажды он даже вскочил и как был, голышом, сначала протанцевал вокруг Катарины неизвестный танец, а потом с дикими воплями носился среди деревьев, пока Катарина не догнала его и не привела в чувство.

Альберт был счастлив с Катариной, прямо счастливый обитатель джунглей Восточного Гессена, тробрианец приграничных земель, — до тех холодных осенних выходных, когда они уже не могли уйти в рощу и Альберт решил пробраться к Катарине в спальный корпус для девочек. В интернате оставалось всего несколько учеников, большинство разъехалось по домам, дежурный воспитатель тоже весь день не показывался. Их ожидал спокойный вечер, и Альберта угнетала мысль о необходимости провести его с Катариной в застекленном вестибюле главного здания, единственном, кроме столовой, месте, где мальчикам и девочкам разрешалось находиться вместе. Они просидели там много вечеров, на креслах для посетителей, обитых искусственной кожей, между кадками с растениями, под урчание автоматов, продающих напитки. Вестибюль просматривался с трех сторон и вел к административной части, а еще он служил курительной комнатой. Альберту больше не хотелось там сидеть. Он полагал, что у него есть человеческое право на личную жизнь. К тому же визиты в рощу нравились ему больше, чем Катарине. На нее там часто нападал страх, она вздрагивала при каждом звуке и в своей девической наготе под открытым небом порой казалась пронзительно беззащитной.

Этот вечер, похоже, обещал удачу, и Альберт, убедившись еще раз в том, что дежурного воспитателя нигде не видно, прошел в спальный корпус для девочек и скрылся в комнате Катарины. Но не успел он перекинуться с Катариной и парой слов, как воспитатель, по-видимому следивший за ним, тоже вошел в комнату и потребовал, чтобы Альберт проследовал за ним в административную часть. Там мальчику было объявлено, что он должен немедленно, в течение двадцати четырех часов, покинуть интернат. Нарушение правил поведения влечет за собой немедленное исключение. Такая строгость, объяснили ему, необходима потому, что, не будь ее, родители не стали бы доверять воспитателям своих детей.

На следующий день, это было воскресенье, Альберт позвонил родителям и сообщил им о своем исключении. Родители сначала впали в ужас, но Альберт несколько успокоил их, пояснив, что выдворение из интерната вовсе не означает исключения из школы, поскольку школа не была частной и в нее ходили не только воспитанники интерната. Родители сог-

ласились, чтобы он снял комнату в городке и продолжал ходить в ту же школу.

Уже на следующий день Альберт оставил интернат. Несколько раз он переночевал у товарища по классу, а потом снял комнату у владельца местного туристического бюро.

Катарину он какое-то время не видел. Она сказалась больной и уехала к родителям. Когда он встретил ее вновь, она рассказала ему, что руководство интерната согласно не исключать ее только при условии, что она прекратит с ним всякие отношения. В противном случае ей придется покинуть интернат, а ее родители не разрешат ей снимать комнату в городке. Так что у нее нет выбора. Альберт предложил только делать вид, будто они не общаются. В конце концов, положение у них лучше, чем прежде. У него есть свое жилье, и теперь они могли бы встречаться у него.

"Я не могу", – сказала Катарина. На последовавший раздраженный вопрос Альберта, не может она или не хочет, она только ответила: "Я обещала родителям".

Альберт увидел, что по щекам Катарины текут слезы. Он обхватил ее голову руками, поцеловал и пошел со школьного двора. Он мог уходить из школы, когда ему захочется. Он жил один и сам себе писал объяснительные за пропущенные уроки. Альберт покинул школьный двор с чувством, что может прожить и без Катарины. Однако не успел он выйти за школьную территорию, как у него так сдавило виски, что он вернулся и предложил Катарине поговорить с ее родителями. Он хотел поехать к ее родителям и познакомиться с ними. И Катарина пообещала попросить родителей принять Альберта.

Уже через две недели, туманным ноябрьским воскресеньем, он сидел в поезде, идущем в Вюрцбург. Катарина уехала днем раньше. Ее родители пригласили его на кофе во второй половине дня. В дорогу он взял с собой "Половую жизнь туземцев Северо-Западной Меланезии" Малиновского и "Импульсивный характер" Вильгельма Райха. Книгу Малиновского он только немного полистал, посмотрел на фотографии гологрудых меланезийских женщин и вычитал в главе о детской сексуальности, что дети на Тробрианских островах дарят друг другу кокосы или бетель, после чего играют в *kayta*, то есть в половой акт, и что у девочек эта игра начинается уже в возрасте четырех-пяти лет, как только они надевают короткую лубяную юбочку. Он очень хотел бы как-нибудь увидеть Катарину в лубяной юбочке, там, в рощице, на холме, и поиграть с ней в *kayta*. Но об этом в тот момент нечего было и думать. Вскоре он снова отложил Малиновского. Идея с лубяной юбочкой продолжала бередить ему душу. Тогда он взялся за Вильгельма Райха. Там лубяных юбочек не было. Там автор сравнивал закомплексованный характер невротика с характером человека раскрепощенных инстинктов в такой научной манере, что Альберт стал клевать носом. Только перед самым Вюрцбургом он пробудился ото сна, в котором над его родительским домом летел самолет и тянул за собой транспарант с надписью "Генитальная дискриминация". Выражение было в духе книги Райха, однако Альберт не помнил, чтобы оно ему там попадалось. Он выскочил из поезда, решив подумать об этом выражении на обратном пути, и сел в такси. Он не знал Вюрцбурга, а опаздывать совсем не хотел.

Вилла родителей Катарины находилась за городом, на холме, с которого были видны Майн и дворец архиепископа. Он вышел в начале улицы. У него еще оставалось немного времени, и он хотел составить

себе какое-то представление об этом месте. Это был район особняков, в котором виллы столетней давности перемежались с современными загородными домами. От Катарины он знал, что ее родители живут на вилле. Больше он ничего не знал. Она не часто говорила о своих родителях. Он тоже не много рассказывал о своем доме. Им хватало друг друга в то короткое время, когда они оказывались вдвоем. Если они о чем и говорили, так это о книгах, которые читали, и о музыке, которую слушали. Он рассказывал ей о Тробрианских островах, о Вильгельме Райхе, а еще о Зигмунде Фрейде, о котором, как ему казалось, он кое-что знал, хотя читал только его ксерокопированную статью "Сдерживающие факторы, симптом и страх". Все прочее он позаимствовал из популярной биографии, опубликованной в карманном формате. Катарина предпочитала французов, читала Бальзака, Бодлера и Флобера, и то, что она все это читала, представлялось ему интересным и даже в некотором роде поразительным. Она рассказывала ему о "Путешествии на Восток" Флобера, о шакалах, которые по ночам бродят у пирамид, чтобы на следующее утро быть подстреленными французским писателем, и о нубийских невольницах, которых за мелкую монету предоставляют в распоряжение белого путешественника на час. Она рассказывала все это так, будто речь шла об описании природных явлений, восхода солнца или горного ландшафта. Альберт же реагировал с возмущением, порой между ними возникали перепалки, и тогда он обзывал ее декадентствующим отпрыском южнонемецких мебельных фабрикантов, а она его — стыдливым северонемецким пуританином, хотя он-то видел себя анархистом. Сейчас же анархист направлялся в дом южнонемецкого мебельного фабриканта и чувствовал, что во рту у него пересыхает, а сердце бьется чаще.

Он шел вверх по улице, вдоль решетчатых ворот и засаженных розами палисадников, пока не добрался до дома родителей Катарины, располагавшегося в конце улицы, на самом верху. Перед домом тоже были решетчатые ворота, а кроме того, дом окружала высокая кованая ограда. Сквозь решетку виднелся тщательно ухоженный сад, он видел дорожки, посыпанные гравием, и порядком обветшавший фонтан, в котором плавали кувшинки. Альберт был впечатлен, особенно кувшинками, которые, что еще больше удивило его, в это время года еще цвели вовсю. Альберт представил себе, что Катарина провела детство в окружении кувшинок. Отсюда, должно быть, ее пристрастие к французским авторам и ее амональная позиция, когда речь шла об отстреле шакалов и сексуальной эксплуатации нубийских невольниц. Когда Альберт нажал кнопку звонка у закрытых ворот, он чувствовал себя так, словно приглашен на чай в семью французских аристократов. Кропоткин звонит у ворот парижского графа, подумал Альберт. В этом был стиль, и такое сочетание казалось эффектным. Правда, Кропоткин сам принадлежал к княжескому роду. И тут Альберт почувствовал уверенность, что это была хорошая идея — побывать у родителей Катарины — и нечего так волноваться, словно ему предстоит выйти на сцену. Он позвонил еще раз, и опять ничего не произошло. Но когда он, подождав еще несколько минут, собирался позвонить в третий раз, вдруг прозвучал зуммер и ворота открылись.

Альберт прошел сквозь похожую на лоджию пристройку, украшенную охотничьими трофеями, рогами и черепами животных, и оказался перед дверью в дом. Он надеялся, что у входа его будет ждать Катарина. Но Катарина его не ждала. Никто его не ждал. Дверь была закрыта, и вок-

руг ни души. Альберт почувствовал себя крайне неприятно из-за того, что ему и здесь пришлось звонить. Но ему не оставалось ничего другого. Он подождал некоторое время, пока не убедился, что никто не собирается ему открывать. Тогда он позвонил – неуверенно и совсем коротко, – но не успел снять палец с кнопки звонка, как дверь резко распахнулась, и женщина, должно быть мать Катарины, сказала: "Не надо ломиться, молодой человек". Альберт ничего не ответил. Он злился, что не проявил хладнокровия и не подождал подольше. Весь этот трезвон был недостоин образа Кропоткина. Как и то, что теперь он торчал на пороге и краснел от смущения. Женщина проговорила: "Вы, должно быть, Альберт" – и предложила ему войти. Альберт ответил: "Да!", а еще: "Большое спасибо" – и пошел за женщиной по коридору. "Если хотите, можете оставить здесь шубу", – предложила она, на что Альберт отреагировал кратким: "Нет, спасибо, не надо". Он хотел как можно меньше обращать на себя внимание и потому старался избежать какой-либо возни с одеждой. К тому же на нем была черная шуба с барахолки, шуба, с которой он всегда расставался с большой неохотой. Эта шкура придавала ему уверенность, в особенности на чужой территории. Она стала для него, с того времени как он ее выторговал, своего рода раковиной. Альберт вспомнил, как они с Катариной холодным и дождливым днем в конце лета там, в рощице, сначала разделись, а потом завернулись в шубу. В тот момент они в прямом смысле слова слились воедино: обросшее шерстью животное, время от времени двигавшееся и издававшее урчащие звуки.

Мать Катарины совершенно спокойно приняла к сведению, что он остался в шубе, и пригласила его в гостиную, продолжая, однако, идти впереди. Она была низкорослой и плотной женщиной, в которой Альберт не усматривал никакого сходства с Катариной. Разве что светлые, слегка рыжеватые волосы напоминали о Катарине. У Катарины волосы лежали свободно, а у этой женщины были стянуты в пучок. Кроме того, на ней было что-то вроде народного костюма. Жакет с шитой каймой и серебряными пуговицами, юбка, украшенная бархатными лентами. Южная Германия, подумал Альберт. Гостиная, куда привела его женщина, вполне соответствовала ее наряду. Альберт не знал, что это за стиль, но мебель явно была какого-то стиля. В сельском духе, однако облагороженная. Тяжелая мягкая мебель с темно-зеленой обивкой, шкаф с инкрустацией в народном духе, стол с резьбой, и повсюду – бархатные покрывала с кружевной отделкой.

Альберту стало не по себе. Он еще никогда не бывал в гостях у людей, носивших такую одежду и живших среди такой мебели. Наверное, ему надо было все-таки снять свою вонючую шкуру. Мгновение он раздумывал, не заговорить ли об этом с женщиной, но не успел ничего ей сказать прежде, чем она предложила ему сесть в одно из темно-зеленых кресел.

Он сел, и в ту же секунду появился отец Катарины, его было видно сквозь стеклянную дверь, которая вела на террасу, а оттуда в сад. Этот человек не сразу вошел в гостиную, он был занят чем-то на террасе. Через какое-то время мать Катарины крикнула ему: "Приятель Катарины пришел!", от чего Альберт вздрогнул. Мужчина, тут же вошедший в гостиную, был одет как охотник, держал в руке ружье и вел на поводке коричневую охотничью собаку, которая стала рычать и рвать поводок. "Спокойно", – сказал мужчина и подтянул собаку поближе к себе. "Это, стало быть, Альберт", – проговорил он вполне дружелюбным тоном. Он

хотел было подойти к Альберту и подать ему руку, но собака не успокаивалась, снова зарычала и стала рваться еще сильнее.

Она, должно быть, ведет себя так из-за шубы, подумал Альберт, и ему стало досадно, что он вовремя не разделся. "Вам бы надо снять вашу медвежью шкуру, — проговорил мужчина в ту же секунду, с абсолютно спокойным лицом. — А я пока выведу собаку". И он исчез. Альберт снял шубу, ему и так уже было жарко, мать Катарины растопырила пальцы, чтобы принять ее. Но шкура оказалась слишком тяжелая, чтобы держать ее на кончиках пальцев. Женщина слегка качнулась под тяжестью шубы и была вынуждена перекинуть ее через руку.

Когда женщина вышла, Альберт вновь услышал собаку, она сначала зарычала, потом начала лаять как сумасшедшая и наконец умолкла. Через некоторое время родители Катарины вернулись в гостиную. Отец заметил, что ему пришлось вывести собаку, потому что иначе ее никак нельзя было успокоить, а мать пригласила Альберта к столу. Катарина придет попозже, сказала она и предложила ему пока выпить кофе и перекусить.

Альберт взял кусок яблочного торта, отец тоже, а мать, у которой явно были проблемы с весом, к торту не притронулась и только пила кофе. Потом отец сказал, что Катарина им кое-что рассказала, что он рад познакомиться с Альбертом и не собирается долго вести разговоры вокруг да около, а потому хотел бы сразу дать понять, что, как надеются они с женой, Альберт, против которого он лично ничего не имеет, больше не будет поддерживать с Катариной никаких отношений, чтобы не подвергать риску ее школьную учебу и профессиональное будущее. Он произнес это на одном дыхании и притом таким спокойным и благожелательным голосом, словно речь шла о рецепте яблочного торта.

Альберт не сказал ничего. Торта ему тоже уже не хотелось. Вдруг в его голове снова всплыла схема из книги Вильгельма Райха. Схема панцирной структуры. У него такого панциря не было, и он почувствовал дрожь. Вынув из кармана пачку табака, он начал сворачивать сигарету. Он курил табак марки "Самсон". Самсон был силачом, который мог голыми руками разорвать пасть льву. Альберту захотелось стать таким силачом. Ему хотелось свернуть шею охотничей собаке.

Пока он прикуривал сигарету, мать поднялась и открыла одно из окон. Потом она вышла из комнаты и вернулась с пепельницей, которую молча поставила на стол перед Альбертом. Альберт поблагодарил и вновь замолчал. Он вспомнил об Испании и о том, что там борцов с фашизмом казнили с помощью железной удавки. Он чувствовал железную тяжесть на своем горле. Железные тиски были уже наготове. И с каждой минутой они сдавливали его все сильнее. Он понимал, что это критический момент. Речь шла о его достоинстве. Но как может побитый молью князь Кропоткин сохранить свое достоинство за столом вюрцбургского мебельного фабриканта, дочери которого он желает. Альберт подумал о коротких лубяных юбочках. И о белых блузках Катарины, скроенных как мужские рубашки; в теплые дни она застегивала их кое-как. Чтобы избавиться от продолжения этих мыслей, он сконцентрировался на своей сигарете. К его верхней губе прилипли табачные крошки. Мать Катарины, разумеется, их уже заметила. Она все это время только тем и занималась, что следила за движениями курящего Альберта. Ее взгляд, в котором смешались отвращение, настороженность и готовность к действию, неотступно следовал за Альбертом, когда тот сворачивал си-

гарету и потом курил. Словно в руках у него была не сигарета, а граната. Теперь же она следила за тем, как он снял с губы табачные крошки, покатал их между большим и указательным пальцами и бросил в пепельницу. Альберт мог бы стряхнуть крошки и на ковер. Но на это — он ясно чувствовал — у него уже не хватало духу.

Майке Ветцель
Свидетели

Перевод Е. Ботовой

А под конец и вообще невесть что стало твориться. Куда-то подевалось лето, а потом и осень. Просто сразу сделалась вдруг зима. Деревья, еще недавно в цвету, разом сбросили листья, а в магазинах остались только парниковые овощи. Другие, правда, утверждали, что лето было, но я ничего такого не заметила. Не иначе какой-то массовый гипноз. А на меня почему-то не подействовал. Впрочем, мне от этого не легче. Я бродила по городу, руками размахивала и все на голые ветки показывала. Только никому до этого не было никакого дела. Люди расступались, пропуская меня, расходились при моем приближении в сторону, как автоматические двери в супермаркете. Я, впрочем, и не пробовала ни с кем заговорить. Я все думала о том трупе.

Там, в лесу, в темноте, я чуть не упала, когда споткнулась о что-то мягкое среди опавших листьев, споткнулась и чуть не наступила. Только когда Марсель чиркнул зажигалкой, стало что-то видно. Перед нами, прямо на земле, лежал парень. Лицо неестественно-серое и страшное. Широко распахнутые глаза уставились в никуда, карие радужки застыли в молочной белизне белков. И хотя лежал он совершенно неподвижно, все равно почему-то казалось, что волосы у него топорщатся, ну вроде как встали дыбом. Я и прикоснуться-то к нему не решилась, не то что оказать первую помощь. Марсель тоже его не трогал. Дескать, все равно наверняка уже мертвый. Даже представить невозможно, что какую-то минуту назад это был живой человек. Хотя именно так все и было. Минуту назад он сидел за рулем черного "форда", несущегося по шоссе. А теперь от машины осталась только груда металла. Ее кузов сплющило гармошкой, стекла вдребезги. С переднего сиденья слышались стоны. Там, тряпичной куклой повиснув на ремне безопасности, стонала девушка с крашеными фиолетовыми волосами. Помочь мы ей ничем не могли, до нее было не добраться. Дверцу не открыть — заклинило. А на заднем сиденье застыла парочка, девушка и парень. Прильнули друг к другу, словно голубки. Лица спокойные, юные, только бледные очень. Ни дать ни взять уснули. Потом я узнала: они погибли мгновенно.

Марсель вызвал полицию. Телефон-автомат нашелся в соседней деревне. Аварии мы не видели, только слышали удар. Машину Марсель оста-

© S. Fischer Verlag GmbH, 2003
© Е. Ботова. Перевод, 2004

вил на лесной дороге. Сами мы были неподалеку, под деревом, в стороне от шоссе, когда за спиной у нас этот "форд" на полном ходу в дерево врезался. От удара машину развернуло, и она, подпрыгнув, встала под прямым углом, носом к шоссе. Водитель пробил головой лобовое стекло и вылетел из машины. Ему было девятнадцать. Это я потом в газете прочитала. Полиция разыскивала очевидцев, предполагалось, что по встречной полосе двигалась еще одна машина. Но мы слиняли. Марсель, когда звонил, назвался чужим именем. Теперь никому и в голову не придет, что мы как-то связаны с этим черным "фордом", модель "корса".

Мы и там в полицию не пошли показания давать. Хотя бояться нам нечего, мы точно знаем, что не виноваты. На шоссе нас в ту секунду не было. На шоссе вообще никого не было. Не было там никакой встречной машины, и в том, что случилось, никто не виноват. И удирать нам вообще-то никакого резона не было. Марсель потом говорил: когда дежурная на том конце провода спросила его фамилию, он почему-то совершенно непроизвольно ответил: "Йенс Фирвальд". Это я ему такое прозвище придумала. Вот оно самой собой у него с языка и соскочило. В итоге вышло, что мы вроде как сбежали с места происшествия, а это уже само по себе подозрительно. И наши запоздалые показания наверняка бы ни к чему хорошему не привели. Мы вообще не хотели засвечиваться: фамилии свои называть, про семьи рассказывать, про друзей. Никто ведь не знал, что мы встречаемся. Пусть и дальше никто не знает. Потом, много лет спустя, я рассказала Лауренцу. Он только спросил: ты любила его, ну, этого Марселя, с которым в тот день была. Я ответила "нет". Хотя это неправда, но ведь не станешь же ему объяснять, дескать, я не знаю, как назвать странное чувство, которое нас связывало, меня и Марселя. Оно часто казалось мне низким и неискренним, но оно было, и никуда от этого не денешься. Лауренц в жизни бы не понял, что это и было счастье. Поэтому я сказала только, что раньше я Марселя любила, совсем чуть-чуть. А после той аварии разлюбила. Но Лауренц все равно сделал такое лицо, будто я бог весть какое преступление совершила. Я сказала: да не было между нами ничего серьезного.

Марсель прижал меня к стволу дерева. После того как догнал — мы с ним часто в догонялки играли. Спиной я ощущала шершавую кору. Наши лица были совсем близко, но еще не соприкоснулись. Я уже залезла руками ему под футболку и вдруг обнаружила у него на груди царапины. Я точно знала — это не от моих коготков. Понятно, чем он занимался прошлой ночью, тут и особой фантазии не требуется. Опять у своей подружки был. Я в шутку пообещала его поколотить, если он еще раз ко мне вот этак явится, весь исполосованный, да еще и не мной. Он только ухмыльнулся и спросил: точно поколотишь? И тон у него был такой, как будто он очень даже не прочь, чтобы его поколотили. И сразу полез ко мне, но я увернулась и, чтобы еще больше его распалить, обозвала "изменщиком". Ну, тут он меня за руки схватил и к дереву притиснул.

А я и не сопротивлялась уже. И когда он головой чуть ли не в живот мне уткнулся, увидела свет от фар подъезжающего автомобиля. Они были еще далеко. Но на ровной темной дороге фары издалека видно. Так что я их сквозь деревья очень ясно различала. Только напрягаться из-за этого не стала. Подумаешь, ну машина... Марсель уже возился с пряжкой моего ремня, я закрыла глаза. И тут машина врезалась в дерево, раздал-

ся удар, даже не очень громкий, скорее глухой. И сразу все стихло. И фары погасли.

— Мы и понятия не имели, что там могло случиться, — сказала я.

Лауренц молчал.

— Ты лжешь, — проговорил он наконец.

Казалось, моя неискренность его уже не удивляет. Он открыл холодильник, лампочка под морозилкой освещала его лицо снизу. Его взгляд неспешно блуждал по полкам. Он и так прекрасно знает, что у нас в холодильнике. Ветчина, томатная паста, лук-порей. Незачем было и открывать. Просто он не хочет смотреть на меня.

— Ладно, — говорю, — расскажу тебе всю историю от начала и до конца.

Парня на черном "форде" звали Арслан. Он жил в соседней деревне. Я еще на школьных соревнованиях, в спортзале его приметила, глаз на него положила, а как следует разглядела на вечеринке в крепости на Рейне. Коренастый, он оказался на удивление крепким, прямо как настоящий борец. Я сразу почувствовала, когда в толкучке плечом его задела. На нем была красная футболка с Джеймсом Бондом. И спина волосатая, курчавая шерсть из-под воротника лезет. Глаза круглые и темные, мне показалось, что вовсе без белков. Эти глаза смотрели на меня с удивлением и любопытством. Нос короткий и прямой, без малейшего намека на переносицу. Очень открытое лицо, тоже выражающее любопытство, да еще эта медвежья мощь во всем теле. Когда мы столкнулись, от него шибануло потом, должно быть, он уже не первый час здесь парился. Запашок тот еще. Я налетела на него во время танца. Такое тут каждую минуту случается, зальчик маленький, не развернешься. Я даже внимания не обратила, но Арслан придержал меня за локоть и извинился — хотя это ведь я в него врезалась. И мы оба прекрасно знали, что я виновата, но он сделал вид, будто страшно переживает из-за своей неловкости. И угостил меня дайкири. Я вознаградила его улыбкой, но потом снова повернулась спиной. Он танцевал вплотную ко мне. Вытянув губы, я как ни в чем не бывало посасывала через соломинку красную полузамерзшую земляничную массу. А задом как бы невзначай касалась молнии на его джинсах. Покачивая головой в такт музыке, я смотрела на танцующих так, будто ни до какого Арслана мне дела нет. Я улыбалась. Вечер мне определенно нравился. Тут Арслан провел пальцем по моему оголенному плечу. Я и на это ноль внимания — покачиваясь под музыку, двинулась в сторонку и вскоре уже танцевала далеко от него.

Вечеринка закончилась в шесть утра. Устроители упаковывали юпитеры. Диджей оказался Катиным знакомым, и мы все вместе поехали в чей-то загородный дом. Арслан увязался за нами просто так, за компанию. У цейлонца, продавца роз, он оптом за бесценок купил весь оставшийся товар и подарил розы нам с Катей. Мои цветы лежали на сиденье сзади. Я вела машину. В зеркальце я видела, как Катя осторожно, кончиком пальца, трогает шипы. Арслан сидел рядом со мной. Мы включили радио. Теперь диджей с Катей слышать нас не могли. Арслан сказал: ты красивая, выглядишь на миллион долларов. Я удивилась: почему долларов? Все это в шутку, я его вообще всерьез не воспринимала. Арслан сказал, ну, "марок" вроде как звучит глупо. Я кивнула. Тут Арслан признался, что этот комплимент он не сам придумал. Вычитал где-то. Я говорю: слыхала комплименты и получше. Он открыл было рот, чтобы что-то мне ответить, но передумал. Мы выехали на перекресток. Дид-

жей крикнул, чтобы я поворачивала направо. Рука его лежала у Кати на ляжке.

Сад при загородном доме оказался изрядно замусорен: повсюду валялись окурки и использованные пластиковые стаканчики из-под красного вина. На вечнозеленых ветках падуба болтался шерстяной чулок. Чей — неизвестно. Входная дверь была нараспашку. Казалось, дом состоит из одного-единственного огромного помещения. Впрочем, остатки перегородок указывали, что прежде комнат здесь было больше. Теперь проломы в стенах скалились зубами кирпичной кладки. Ее не стали заделывать, зато с торцов наклеили простые белые обои. Над тремя проигрывателями колдовал тип в наушниках, на всех трех вертелись пластинки. Он миксовал, музыка гремела в пустой гостиной. Клубная музычка для топтодрома, громкая до одурения. На стенах — репродукции Шагала в рамках. Парень не обратил на нас ни малейшего внимания. Катя с диджеем и я уселись на диван прямо перед ним. Музыка била по перепонкам, в комнате воняло застоявшимся табачным дымом и прокисшим вином. Катин диджей старался запоминать биты. От напряжения у него даже желваки заходили. А парню в наушниках на вид не больше шестнадцати было. Он с головой ушел в свои пластинки. Арслан после нашего разговора в машине молчал. Сел на кожаный пуфик и что-то принялся записывать. Да так старательно, словно напоказ. На секунду я поймала себя на мысли, будто мы для него — подопытные кролики. Я усмехнулась про себя. Немного погодя он встал и вышел на террасу. Сквозь огромные панорамные окна мы хорошо его видели. Он просто стоял на террасе и неотрывно смотрел на Рейн. Утро выдалось туманное. Казалось, мы отрезаны от всего на свете. Река была неузнаваемой и чужой. Как всегда, мы ждали — должно же наконец произойти хоть что-то. Последние в крепости, последние здесь. Должно же хоть что-то исполниться.

Катя посоветовала мне пойти к Арслану. Диджей рассеянно гладил ее ноги в блестящих колготках. Я помотала головой. Что я там забыла, спрашиваю. Не было у меня ни малейшего желания торчать рядом с этим умником-борцом, уставясь в туманную муть. Я была почти уверена — Арслан скоро сам вернется в комнату. Угнездившись на бежевом диване, я наблюдала за мальчиком с пластинками. Диджей сообщил: у парня вышло уже шесть альбомов, некоторые продаются даже в Англии. Мне-то лично его миксы напоминали автомастерскую, такой же грохот и стук, мелодий почти вовсе нет. Но я молчала, только кивала с видом знатока. А еще через какое-то время нагрянула полиция, и мы ушли. Соседи на громкую музыку пожаловались. Арслан не сказал больше ни слова. Все это время он простоял один на террасе. От тумана его лицо стало мокрым.

Я решила ехать проселочными дорогами. В ста метрах от машины уже ничего не было видно, сплошное туманное месиво. Сперва вышли диджей и Катя. Оказалось, диджей снимает здесь вместе с четырьмя приятелями какую-то хибару возле плексигласовой фабрики. Катя знакома с ним давно, но на ночь у него еще никогда не оставалась. Выходя из машины, она мне подмигнула. Арслан жил со своими родителями в трехэтажном доме в районе новостроек. На прощанье он небрежно пнул ногой по закрылку заднего колеса. Я как раз заводила мотор и, увидев его движение, врубила задний ход и поехала прямо на него. Арслан, выругавшись, отскочил в сторону. Я еще раз глянула в зеркальце заднего вида и только потом рванула с места.

Сегодня ночью мне приснился сон. Будто я выиграла конкурс, в котором не участвовала. Главный приз — поездка на слоне. У слона воняло изо рта, а глаза были, как у Арслана. Мне совсем не улыбалось лезть к нему на спину. Но в итоге я все-таки очутилась на соломенной циновке, которая была вместо седла. Точь-в-точь такая же циновка, как моя пляжная. На спине у слона она ездила туда-сюда. Я знала, что в любой момент могу грохнуться. Было страшно. Слон неторопливо шагал, а я изо всех сил стискивала его спину коленями, пытаясь удержаться. Ухватиться хоть за что-нибудь руками мне почему-то в голову не пришло.

— Ты узнала Арслана? — спросил Лауренц.

— Да нет, как его было узнать, когда он через лобовое стекло вылетел? — ответила я. — И света было мало, а он так изменился, я и не знала, что смерть так меняет человека.

Лауренц наморщил нос — так он поправлял сползшие очки.

— Ты еще многого не знаешь, — сказал он. — А что стало с тем типом, как его, ну, твоим провожатым.

— Марсель, — сказала я. — Его звали Марсель.

Лауренц и этому не верил. Никогда он такого имени от меня не слышал. Впрочем, сказал он, можешь называть этого типа как хочешь, если будешь придерживаться фактов во всем остальном. Я на это ответила, мол, все равно я могу рассказать только то, что сама думаю и что слышала. А он мне: только не надо умничать. Я просто хочу знать, что произошло. А у самого шея вытянута, подбородок торчит, сразу видно — этот и вправду хочет получить ответ. Только совсем на другие вопросы. На те, которых не задает.

После той вечеринки в крепости я три месяца провела в Америке. Поездка по обмену была давно запланирована. Я уехала подальше от Рейна, прокуренных загородных вилл и деревенских проселков. Арслана в школьную группу, отправлявшуюся в Штаты, не взяли. Когда на Пасху я вернулась домой, то обнаружила его фамилию в репортажах с чемпионата по легкой атлетике. Оказывается, он победил в барьерном беге. Вспомнив о том, как он пытался пнуть крыло моей машины, я, коротая время с друзьями за чашкой кофе, рассказала, что вот этот бегун, да-да, вот этот, на фотке, с медалью на шее, разбил мне как-то мигалку ни с того ни с сего. Просто так, после того как я его по дружбе до дому подбросила. Да еще меня же обозвал "нацистской свиньей". Все сочувственно закивали, мол, "типичный случай", со временем я даже сама поверила.

И Марселю с его подружкой я эту историю тоже рассказала. К тому времени я давно была знакома с обоими. Подруга у Марселя была девица хоть куда: красивая, яркая, но — непростая штучка. Голосок мягкий, вкрадчивый. Была в ней какая-то обманчивая уступчивость. Обманчивая, потому что уступать Марселю она как раз не соглашалась. Она и себе самой уступить не могла, вконец себя замучила. Мне даже было жалко ее. Я знала, она бы за эту жалость возненавидела меня, как и за то, что мы с Марселем ее обманываем. Но она ни о том, ни о другом не догадывалась. "Если ты и дальше будешь носить платья с таким глубоким вырезом, я за себя не ручаюсь", — шепнул мне как-то Марсель у нее за спиной. Но мы тогда уже год как спали вместе. Прежде-то лишь тискались по углам. Иногда втроем в кино ходили. Марсель, его подружка и я. Марсель посередке садился.

И Арслан к моему возвращению из Америки обзавелся подружкой, ее звали Мирьям. Оказалось, они встретились всего две недели спустя

после того, как я высадила Арслана ранним утром перед его домом, а он попытался пнуть мою машину. Мирьям ходила в ту же школу, что и я. После поездки в Штаты я часто видела их во дворе на переменке. У нее были короткие густые волосы, она их каждое утро укладывала феном под "пажа". Росточку невысокого, еле доставала Арслану до подбородка. Тоненькая, с плоской грудью, зато бедра шикарные. Этот странный контраст бросался в глаза, было в нем что-то зазывное. Мы с подружками пялились на них с Арсланом, когда они уединялись на переменках. Они дольше других парочек ходили, взявшись за руки, балдея от своего любовного счастья и обжимаясь у ограды школьного двора. Про них трепали всякую фигню. Что Арслан уже пять месяцев возит Мирьям на репетиции оркестра, что Мирьям уже пять месяцев на других парней не смотрит. Однажды я курила в кустах. Эти двое вдруг подошли с другой стороны. Сквозь ветки я все видела. И слышала. Как они шептали друг другу всякие нежности. И как он тихонько вскрикнул, когда она полезла ему под рубашку, если не в брюки. Он жаловался, что у нее руки холодные, начал греть их в своих. А потом я слышала только шорох одежды, вздохи, чмоканье и все такое. Пришлось потихоньку смыться. На похороны Арслана Мирьям не пришла. Лежала в больнице. Она одна только и выжила после той аварии. Это ее фиолетовые волосы видели мы с Марселем на переднем сиденье. Фиолетово-красные. Оттенок "баклажан" называется.

Это правда, что я не узнала Арслана после того, как он пробил головой лобовое стекло. А вот машину узнала. Машину эту он купил у друга моей сестры. Плюшевые, под зебру, самодельные чехлы на сиденьях, а на боковом стекле гринписовский стикер. Так что я прекрасно знала, кто водитель. Я тупо смотрела на Арслана, на его пепельно-серое искаженное лицо. И пыталась понять, что же тут произошло. Все вокруг было вроде как взаправду — лес, темень, опавшая листва, изуродованное тело у нас под ногами. Меня затошнило. Марсель потащил меня в сторону. Я упиралась, и тут меня вырвало. В своей блевотине я даже успела различить кусочки лайма из выпитой мной накануне бразильской кайпириньи. Мы сели в машину Марселя, подняли стекла и дали деру. Меня мучила изжога. Полосатые черно-белые придорожные столбы пролетали мимо, посверкивая в темноте кошачьими глазками своих отражателей. Взгляд у Марселя был неподвижный, казалось, он ведет машину на автопилоте. Ночь была на диво ясная.

Я вспоминала утренний туман, когда Арслан сидел рядом со мной в машине. Ни Марселю, ни друзьям в кафе я не стала рассказывать, что после того, как Катя с диджеем вылезли из "опеля", я поехала сперва отнюдь не к дому Арслана. Катина мать думала, что та заночевала у меня. Но уже в понедельник она узнала правду. Ведь наши матери в один фитнес-клуб ходят. Так что у Кати были неприятности. Но это уже потом.

Арслан сидел возле меня на переднем сиденье, закинув ноги на панель приборов, и молчал. Как только Катя с диджеем отчалили, я повернулась к нему и пропела сладким голоском, что, мол, спать ложиться все равно уже поздно, не смотаться ли куда-нибудь? Сначала он как будто опешил, потом насупился и, наконец, поразмыслив, дал свое гортанное согласие. Мы заехали в какую-то придорожную забегаловку. Нас разделяла только серебристая столешница, и я не знала, что на меня такое нашло и как мне опять привести себя в чувство. Я болтала без умолку. Рассказывала Арслану все, что на ум взбредет. О своей тетке-алкоголичке, о ее

больном сыне, в болезнях которого все тетку винят, хотя никто не может припомнить, пила ли она уже тогда или еще нет. А ее сыну, моему брату, сейчас тридцать пять. Он ни слова не говорит и, кроме жратвы и магнитофона, ничем не интересуется. Я рассказала Арслану, что была без памяти влюблена в одного типа, а тот оказался сущей тряпкой, и как сильно меня это достало. Я даже не знала точно, про кого говорю, про Марселя или про другого парня, с которым незадолго до Марселя встречалась. Мне нравились глаза Арслана, его участливое лицо. Вернувшись из туалета, я плюхнулась на обтянутое искусственной кожей сиденье, теперь уже рядом с ним. Положила голову к нему на плечо, ну а потом официант попросил нас на выход. К тому времени я успела изучить добрую половину татуировок Арслана, его футболка задралась выше пупка, моя юбка тоже съехала набок.

В машине, по дороге, мы продолжали тискаться, до самого его дома. Когда я остановилась, он сказал "пойдем". А я давай ломаться. Да нет, лучше не надо. Арслан настаивал, его комната прямо за дверью, меня и не увидит никто. А я на это: пообещай мне кое-что. Он говорит, ладно, и я тогда сказала: мол, пойду, если пообещаешь не причинять мне боль. Мне уже столько раз разбивали сердце, еще одно разочарование — и будет полный финиш. Он посмотрел на меня и спросил: в каком смысле? А я сказала со значением: в этом самом. Финиш. Проехали. Все. При каждом новом "прощай навсегда" от меня как будто кусок отваливается. Я этого больше не выдержу, разобьюсь. В следующий раз. Арслан скривил губы. Какую-то долю секунды я боялась, что он скажет, мол, не болтай ерунду. Но он обнял меня, прижал мою голову к своей груди, стал нежно гладить меня по спине, ну, тут со мной и началось. Во мне все прямо дрожало и булькало, и я никак не могла остановиться. Спустя какое-то время и Арслан заметил, что я вовсе не плачу. Он оттолкнул меня, и я вытерла слезы — это были слезы от смеха. В следующий миг он пулей выскочил из машины. Я завела мотор, а он пнул ногой по закрылку. Я резко подала назад, он, ругнувшись, отскочил в сторону. Я ухмыльнулась и рванула с места. Проехав метров двадцать, притормозила и вышвырнула его бумажник. Мелочь рассыпалась и покатилась в канаву. Я помахала ему в зеркальце.

После этого я видела Арслана только издали, он все время был с Мирьям. А меня в упор не замечал. И я с ним никогда не здоровалась. То, что мы с ним когда-то целовались, казалось мне вроде как сном. Я в это больше не верила. До той минуты, пока не обнаружила его в лесу у своих ног, мертвого. Я чуть не наступила на него в темноте. В тот миг я сильно перепугалась, хотя мне вроде бы ничто и не угрожало. Но все равно меня прямо замутило от страха.

Я то и дело терла себе виски, пока рассказывала все это Лауренцу. Я ведь точно знаю, почему не пошла тогда с Арсланом, почему не захотела, как Мирьям, бродить с ним по школьному двору, почему вдруг расхохоталась в самый критический момент. Расхохоталась, потому что не могла иначе, потому что он сам меня к этому подтолкнул. И все-таки при виде трупа на земле и дымящейся груды железа вместо машины я испытала, наверное, угрызения совести.

— Ты не виновата в смерти Арслана, — сказал Лауренц. — Виноваты гололед, алкоголь, баловство за рулем, а может, им просто не повезло.

— Нет, — возразила я. — Это все не то.

Его голос зазвучал раздраженно.

— Тогда что? Масло на асфальте? Олень на дорогу выскочил? Тормоза отказали? Водитель вырубился?

Я попыталась вспомнить все, что мне рассказывали друзья Арслана. Впрочем, я не особенно их расспрашивала, они ведь могли что-то заподозрить.

В ту ночь они ездили в клуб. Арслан, Мирьям и парочка с заднего сиденья. Арслан смотрел, как танцует Мирьям, наверное, так же, как год назад в крепости смотрел на меня. От искусственного дыма щипало глаза. Арслан пил пиво, кружку за кружкой. В конце он уже без разбора хватал даже чужие бутылки. Ну, не мог опьянеть человек. Неделю назад Мирьям его бросила. И теперь они в первый раз после ссоры встретились. Всю неделю Арслан не ел ничего, кроме галет и шоколада, запивая все это водой. И плакал, как ненормальный, часами. Он тысячу раз все взвесил, прежде чем позвонить Мирьям. Они договорились пойти на танцы. Арслан весь вечер изображал равнодушие. А она избегала его взгляда.

Не знаю точно, что потом произошло в машине. Некоторые думают, Мирьям что-то такое сказала, Арслан выпустил руль, то ли от ярости, то ли для понту, то ли просто от злости, и они даже вроде как подрались. Я лично в это не верю. "Форд" несся прямо на дерево. Я видела свет от фар из-за спины Марселя. Тормозного пути вообще не нашли. Наверное, это было мгновенное решение. Просто Арслан не захотел, чтобы Мирьям вышла из его машины. Хотел, чтобы боль, его боль, прекратилась в один миг. Быть может, и сама эта мысль со всею силой завладела им всего лишь на мгновение. Мгновение, когда он снова схватился за руль и до отказа вдавил в пол педаль акселератора. А в итоге единственный человек, который должен был умереть вместе с ним, выжил. Мирьям получила тяжелые увечья, Арслан погиб на месте, и те двое на заднем сиденье, Феликс и Иллеана, — тоже. Они-то в машине оказались вообще случайно. Попросили подвезти. Наверное, Арслан в тот миг даже и не помнил, что они сидят сзади.

Зрелище той аварии и ее жертв стоило мне целого лета, а потом и осени. Вот сколько времени я, сама не замечая, ни о чем другом думать не могла. Отцвели подсолнухи, на День благодарения привезли аттракционы, отец сломал руку. Все эти события, не успев толком произойти, уже казались мне воспоминаниями. Я бродила по городу, вокруг меня кружили тучи мошкары, под ногами ворохами ложились листья, а я ничего не видела. Исчез и Марсель. Это было странное, безвоздушное время. Я рада, что оно прошло. Только с наступлением зимы мне удалось прогнать из головы мертвецов. А потом, спустя много лет, я рассказала эту историю Лауренцу.

Я схватила его за руку и заставила взглянуть мне в глаза. Я сказала: ты первый, кому я это рассказываю, больше никто об этом не знает. На самом деле однажды я уже рассказала эту историю, шепотом. Мирьям еще лежала в коме, когда я ее навестила. Она не могла меня услышать, я говорила очень тихо. Аппараты в реанимации заглушили мой голос. Но Лауренцу я не стала об этом говорить. Он закрыл глаза и глубоко вздохнул.

Юли Цее
Подаренный час

Перевод Р. Эйвадиса

Амели Знидарич посвящается

ГДЕ-ТО под Магдебургом машину начинает бросать с одной полосы на другую, как будто она стала невесомой. Судорожно вцепившись в рулевое колесо, как в перекладину турника, я всем телом ощущаю свою смертность. Дождь и брызги из-под колес несущихся передо мной машин превратили автобан в мутный поток бушующей пены, в котором пляшут слабые красные огоньки габаритных огней.

Наконец дорожный указатель сообщает мне, что я покидаю зону "thueringen.de", и вскоре после баварской границы дождь прекращается. В правом окне я краем глаза вижу последние минуты дня: позолоченное снизу небо. Гроза осталась позади, а если она меня и догонит, то я к тому времени уже буду лежать в постели и ничего не услышу. Если, конечно, смогу уснуть.

Быстро опускается темнота, деревья смыкаются, по черному небу на юг ползут тучи. Когда мои фары на повороте выхватывают из мрака опушку леса, над верхушками деревьев дробью рассыпается стайка птиц. Время от времени на дорогу передо мной падают, как трассирующие пули, горящие окурки. Я вообще люблю движущиеся ночные огни — машины, поезда, самолеты, трамваи; главное, чтобы было темно и чтобы они двигались.

Когда я приступала к новой работе, мой предшественник предостерегал меня, мол, это большой минус — разъезды, особенно для женщины. Я только посмеялась. Это было легко — не верить ему, ведь у него семья. Интересно, что же было вначале — путешествия или одиночество? Бывают дни, когда я в ответ на любые вопросы могу сослаться только на себя саму.

Я каждый раз удивляюсь, увидев город целым и невредимым. Он раскинулся в воронке от метеорита, на плоском дне этого кратера, в обрамлении холмов, равномерно расположенных по периметру. Днем с автобана видно, что этот ландшафт напоминает поверхность воды, в которую только что упал камень, моментальный снимок, сделанный прежде, чем края воронки сомкнулись, — несколько маленьких брызг посредине и первые концентрические круги "волн". Ночью, когда я возвращаюсь откуда-нибудь, я каждый раз боюсь, что края кратера уже сомкнулись. Что холмы разошлись концентрическими кругами и земля разгладилась над городом, встроенным прямо в этот космический всплеск материи. Увидев в долине огни города, я вздыхаю с облегчением. Хотя он так и остался для меня чужим, как просто какой-то один из множества городов планеты.

На тротуарах полно людей. Не все же они собираются на встречу с ГК? Целый день только и слышно было по радио: знаменитый писатель-

© 2002 by Deutsche Verlags-Anstalt, Stuttgart München
© Р. Эйвадис. Перевод, 2004

призрак — мужчина, женщина или авторский коллектив — впервые намерен выступить перед общественностью. К тому же в своем родном городе. Может, это событие уже вылилось в общегородской праздник? Люди беззаботно движутся в свете фонарей и не обращают никакого внимания на тьму, повисшую над крышами; все черно, как будто уже наступила полночь, время, когда полагается не разглядывать мир, а лежать в постели с закрытыми глазами. "Сегодня ночью, — то и дело от самого Магдебурга напоминает радио, — стрелки часов переводятся на час назад".

Передо мной едет какая-то парочка, которая перед каждым светофором целуется и не сразу трогается на зеленый свет. Мы тащимся еле-еле.

Прямо перед моим капотом дорогу переходит девушка в белом топике, с голыми плечами, руками и шеей, в то время как другие прохожие идут с поднятыми воротниками и кутаются в пальто. Все в ней какое-то крепкое, сочное — цвет кожи в лучах моих фар, ее раскинутые в стороны руки, не говоря уже о размашистой походке; и тут она вдруг, прямо посреди дороги, берет небольшой разгон, подавшись всем корпусом вперед. Я только теперь замечаю у нее в руках скейтборд. Она бросает его на тротуар, запрыгивает на него и ловко маневрирует, объезжая прохожих, словно это специально для нее расставленные столбики на слаломной трассе. Я вижу татуировку у нее на спине, какие-то крылья — не то ангела, не то орла, — распростертые между лопаток; под майкой они, наверное, доходят до самого кончика. С таким декором кожа, наверное, ощущается как своего рода белье; это скорее подкладка окружающей среды, чем внешняя оболочка тела.

Красный сигнал светофора сменился зеленым, девушка исчезла в толпе, сзади раздается нетерпеливое бибиканье. Я подъезжаю к тротуару и медлю с решением отправиться вслед за ней до тех пор, пока не убеждаюсь, что ее уже не догнать. Я включаю аварийную сигнализацию, выхожу из машины и бегу по старой Кёнигсштрассе в направлении рынка. В пешеходной зоне тихо, значит, цель этого столпотворения где-то в другом месте. Я отчетливо слышу свое дыхание, такое громкое, как будто втягиваю воздух не ртом или носом, а ушами. Пора уже подумать о том, где и когда остановиться, чтобы повернуть обратно. Местами асфальт скользкий из-за гниющих листьев.

Я замечаю смутно белеющее пятно ее майки рядом с мусорными контейнерами в одной из прилегающих улиц. Она упала. На мой зов она не реагирует. Я опускаюсь на колени рядом с ней. Ее лицо не имеет ничего общего с теми лицами, которые чем-то напоминают вялое рукопожатие. У нее даже без сознания такой вид, как будто она собирается что-то сказать.

Не будь этой глупой погони, она, вполне возможно, пролежала бы без сознания здесь, на холоде, до утра; прохожие, не видя откатившегося скейтборда, думали бы, что она пьяна. Теперь получается, что я специально пришла, чтобы спасти ее. Я хочу сказать ей это, но сначала ее нужно привести в сознание. Я довольно сильно шлепаю ее по щеке. Она тихо стонет.

— Где моя доска? — спрашивает она, еще даже не успев открыть глаза.

Она лежит на заднем сиденье, упершись ногами в окно.

— Я никогда не падаю, — говорит она. — Это все из-за "Крика Пиано". Мне не надо было возвращаться.

— Из-за чего?

— Мне было плохо, уже когда я въезжала в город. Все на месте, замок стоит себе на холме, где ему и положено быть. Река, у которой я играла ребенком. Дом моей няни и церковь, в которой меня на Рождество всегда заставляли играть ангела, из-за моих волос, хотя мне хотелось быть волом или осликом.

Мне видно в зеркале, как она обеими руками массирует себе виски.

— Наверное, я надеялась, что все уже исчезло — дома стерты с лица земли, ручей вышел из берегов и разлился или, наоборот, пересох, а луга забетонированы. Я бы чувствовала себя уверенней.

Может, ее все-таки нужно отвезти в больницу? Район, который она мне назвала, находится на самой окраине города; не знаю, что она там забыла. Она беззвучно шевелит губами, по-видимому, хочет еще что-то сказать.

— Мне стало плохо совсем не оттого, что я упала. Скорее, оттого, что все это продолжается и никто ничего против этого не предпринимает.

— Что продолжается?

— Жизнь. Город.

— А что такое "Крик Пиано"?

Наши взгляды встречаются в зеркале.

— Ты что, приезжая?

— Как сказать. Да.

— Но при этом любопытна, как сто щенят.

— А *как* они любопытны — щенята?

— Как сто котят, которые опять же любопытны, как сто пожилых дворняг.

— А ежи? — спрашиваю я.

Она отвечает не сразу.

— Ежи, пожалуй, самые нелюбопытные животные. Когда ты в последний раз видела ежа?

Наверняка ведь видела, не могла не видеть в последние десять лет — у матери в саду, у какого-нибудь забора или на дороге, раздавленного машиной.

— Вряд ли я когда-нибудь по-настоящему его рассматривала.

Мы улыбаемся друг другу в зеркало.

— У светофора поверни направо.

— Как ты себя чувствуешь?

— Хорошо. Легко. Очень хорошо.

Она просит остановить у какого-то перекрестка, за железнодорожным мостом. От всякой дальнейшей помощи отказывается. Хотя я никогда здесь не была, место мне кажется знакомым. Опершись одной рукой на крышу машины, она протягивает мне через правое окно какой-то билет.

— Сходи за меня. Все равно мне это уже не в кайф. Мне, наверное, надо было сразу сдохнуть у этих мусорных контейнеров, уже сегодня, а тут — ты, встряла, как какое-то инородное тело. Когда будешь говорить с ГК, — она еще раз протянула мне билет, — передай ему, что мы переоценили себя.

— А как тебя, собственно, зовут?

— Когда мы встретимся на небе, ты что, вспомнишь, как меня зовут?

— Вопрос скорее в том, узнаю ли я тебя посреди облаков. Но думаю, что узнаю.

Она уже отвернулась, несколько секунд ее татуировка маячит перед моим окном.

— Амели.

Она уходит прочь, осторожно, медленно, как пьяная. Я смотрю ей вслед и вдруг вспоминаю, где мы находимся. На краю пустующего поля видны плоские корпуса заброшенной железнодорожной товарной станции — сходящиеся и расходящиеся веером рельсы, блестящий и ржавый металл, а над ними сложный узор переплетенных кабелей и проводов. Здесь несколько лет назад девочка со своей собакой нашла отрезанную мужскую голову; тело обнаружили почти сразу же после этого на другой стороне дельты стальных артерий. Девочка была дочерью погибшего. Этот случай стал темой всех телевизионных программ. Амели в то время, судя по всему, была ровесницей той девочки.

Она вдруг исчезла из вида. Поле совершенно пусто — не иначе она просто улетела. Если я не хочу прозевать "Крик Пиано", мне надо поторопиться. Лишь проехав два светофора на красный сигнал, я вдруг замечаю ее скейтборд на заднем сиденье.

Прямо у меня перед глазами, как большой пятипалый лист, висит рука. Я ищу свои собственные руки — шевелю пальцами и прислушиваюсь, где шуршит. Ладонь перед моими глазами остается при этом неподвижной, и я тихонько лежу и наблюдаю, как во мне поднимается ощущение счастья, счастья исполнения давнишнего заветного желания: у меня во сне выросла третья рука.

Включаются остальные чувства, а вместе с ними и память. Я слышу рядом дыхание ГК и чувствую его запах. Кажется, будто в тех местах, где наши тела соприкасаются, выросли маленькие соединительные трубки и через них в меня течет какое-то новое чувство, которое ширится, клубится и окрашивает меня изнутри голубым цветом, цветом безграничного удивления.

Он нравится мне, хотя и спит. Вообще-то я терпеть не могу спящих людей, их близость для меня почти так же малоприятна, как смертельно больной или труп в моей постели. Как и все остальные, ГК некрасив во сне, от него крепко пахнет, его тело кажется вдвое тяжелей, а из полуоткрытого рта вырываются хрипловато-сипящие звуки. И все же я вот уже почти целый час лежу рядом с ним, и чувство удивления все трудней отличить от ощущения счастья по поводу третьей руки.

Собака испуганно встрепенулась: я чуть не наступила на нее. Из положения на боку Пиано отпрыгивает чуть ли не в самый угол комнаты. Я ощущаю босыми ногами тепло нагретого им пола у кровати. Он, как мне показалось, с первой минуты чувствовал себя в моей квартире неуютно. Во всяком случае, передвигался только вдоль стен. Он смотрит на меня из угла; когда ему на морду падает луч света из прихожей, глаза его вспыхивают желтым мутным огнем.

В соседней комнате крутится на автоповторе "Сила судьбы"; музыка звучит так тихо, что сопрано певицы кажется хныканьем запертого в комнате ребенка.

Остатки туши на ресницах и теней на веках придают моим глазам сходство с темными пещерами, помада на губах расползлась в какое-то продолговатое, вытянутое вправо пятно. Я иду в туалет и на минутку застываю перед окном. Снаружи отовсюду капает, деревья кажутся тоньше

и ниже, чем обычно. Только река не становится мокрой от дождя. Я так до сих пор и не знаю, в какую сторону она течет. Я так рада, что лето кончилось.

На обратном пути я прохожу через гостиную, задуваю пламя свечи посреди лужи воска на столе и вызволяю Верди из бесконечного плена автоповтора. В этой квартире тишина всегда кажется какой-то молитвенной, красота помещений пугает меня, как в первый день. Каждый раз, когда я возвращаюсь сюда, принося с собой в одежде запах гостиничных номеров, я удивляюсь, что квартира еще на месте. Как будто кто-то в мое отсутствие мог выставить на улицу мою мебель и незаметно смыться. Обычно я сразу же включаю радио. С тех пор как я сюда въехала, у меня появилась странная привычка: я стараюсь расслышать в текстах шлягеров какие-то зашифрованные послания, адресованные мне.

В открытой папке я вижу книгу, черное тисненое название: "Крик Пиано". Рядом торчит субботний выпуск местной газеты, громогласно, на всю первую страницу возвещающий материализацию призрака. На последней странице в маленькой рамке – уведомление: "Не забудьте сегодня ночью перевести стрелки ваших часов".

В этом есть что-то напоминающее инфляцию – в один день привести в чувство сразу двух человек, потерявших сознание. С билетом Амели я прошла мимо длинной очереди желающих попасть в зрительный зал и была со всеми почестями усажена в первом ряду, прямо напротив пульта чтеца. В зале собралось несколько сотен человек, я наверняка была единственной, кто оказался здесь случайно, и чувствовала себя не в своей тарелке. Ничего особенного я не испытывала, когда началось чудо. Один из зрителей отделился от стены – это был он, ГК, – поднялся на подиум и пошел к своему месту. Никто не хлопал, не кричал и не фотографировал. Я видела, как репортеры вскинули свои фотоаппараты, но тут же опустили их. В зале распространилось какое-то странное оцепенение, какое-то напряженное ожидание, как в минуты полного затмения солнца. Каблуки ГК стучали по деревянному полу невыносимо громко. У него были широко расставленные глаза, он был строен и моложе, чем я предполагала. Без единого слова приветствия он начал читать, спокойно и как бы сам для себя. С первых же звуков его язык ошеломил меня и подчинил себе, как неожиданно напавший сзади противник, перед которым я оказалась совершенно беззащитной.

– "Крик Пиано". – Он повторил название еще раз, и я почувствовала внезапную слабость еще до того, как он начал читать текст.

ГК читал о смерти. Его родители неслись по ночному автобану, отец почти приник к ветровому стеклу, судорожно вглядываясь в темноту, – они так и не доехали до больницы, в которой сестра ГК только что потеряла ребенка, и сгорели в искореженном автомобиле на поле с гниющей капустой. Вскоре после этого его мертвая сестра ездила голой, под сиденьем пустой электрички метро, от кольца до кольца. Ее мужу эта же самая электричка сломала бедро и шею.

Место, где описывается убийство его брата, ГК не дочитал до конца. По территории заброшенной железнодорожной товарной станции, между головой и мертвым телом своего хозяина, туда-сюда в растерянности бегала собака, не зная, с какой его частью прощаться и где остаться, чтобы скорбеть. ГК коснулся века, легко, как будто ему просто попала в глаз ресница, и пролистнул несколько страниц. Его возлюбленная

умерла от спазма сосуда головного мозга, лучшего друга отняло море на корм рыбам. Потом стали умирать даже дальние знакомые, все шло в нарастающем темпе. Некоторые умирали по несколько раз – например, булочник или служащая банка, – каждый раз по-другому. В зале становилось неспокойно.

– Счастье и несчастье, – читал ГК, – могут возникать, как хронические заболевания, и распространяться, как эпидемия. Счастье и несчастье неизлечимы.

ГК знал последние мысли людей.

– Кто сегодня еще живет, – продолжал ГК, – тот делает это без удовольствия.

Он не знал лишь причину этих смертей.

– О случайности мы говорим, когда боги мыслят сложнее, чем человек, – читал ГК. – Если это продолжается какое-то время, мы говорим о судьбе.

Я думала: интересно, для меня он тоже нашел бы последнюю мысль? Он читал только для меня. Каждый раз, когда он в конце страницы на секунду поднимал глаза, наши взгляды встречались.

– Если человек хочет играть в судьбу, он должен мыслить сложнее, чем боги.

Когда он соскользнул со стула и ударился головой о деревянный подиум, еще громче, раскатистей, чем звук его шагов, я первой оказалась рядом с ним.

Его рука тяжело лежала на моем плече, в другой он держал папку. Никто не последовал за нами.

Собаку я заметила, лишь когда отпирала дверцу машины. Это был большой, как волк, пес с острой мохнатой мордой и матово-черной шерстью. Его нос касался бедра ГК, как будто приклеился к ткани брюк. Скейтборд я убрала в ноги, чтобы освободить место для ГК. Когда мы поехали, он положил его себе на колени.

Я сую газету обратно в папку, при этом наталкиваюсь на "Крик Пиано". Я сразу же нахожу главу, которую читал ГК, и ищу место, где он потерял сознание. Следующий абзац.

"Конечно, им хотелось бы, чтобы мы не долго печалились, а были бы счастливы. Чтобы мы целый день кричали от счастья в угоду этому бесчисленному множеству мертвых. Но кто же еще отомстит за мертвых, если не живые? Однажды придет ночь, когда Пиано закричит".

Я нечаянно захлопнула книгу чуть громче, чем хотела, квартира откликнулась эхом, и я вздрогнула. Я сую книгу в папку, а папку под диван и думаю о наступлении зимы. Сильный ветер сыплет дождевые капли в оконное стекло, как будто кто-то бросает в него пригоршни песка.

Я никогда не любила собак. Я к ним равнодушна, как и к остальным животным, и они платят мне тем же. Наши пути редко пересекаются. Ни у кого из моих знакомых нет рыбок в аквариуме, ни одна соседская кошка не намывает себе ляжки на моем коврике перед дверью, на моих балконах никогда не гнездились голуби, и по углам комнаты у меня не расселяются пауки.

Пиано смотрит так, словно знает что-то важное для меня, ответ на вопрос, который я еще даже не сформулировала. Его голова тяжело лежит на полу, как будто он хочет спать, но глаза открыты и неотступно

следуют за мной повсюду. На секунду представив себе, что он вдруг возьмет и заговорит низким голосом в этой мертвой тишине, я вся покрываюсь гусиной кожей.

ГК, опершись на локоть, в ожидании смотрит на дверь, в которую я вышла из комнаты, а я вхожу через гостиную и прислоняюсь к стене. Я не могу попросить его не спать, пока не усну я. Час ночи. Пол подо мной тихонько скрипнул, он повернулся в мою сторону.

— Дождь еще идет?

Это звучит так, как будто он ждет, когда кончится дождь, чтобы встать и уйти. Мы долго молчим, я чувствую себя голой, несмотря на то что на мне халат, — как орех, вынутый из своей скорлупы. В том, что он здесь, есть по крайней мере один плюс: мне не хотелось бы провести это возвращенное мне время — этот час, который никому по-настоящему не принадлежит и свободен, как никакой другой час в году, — одной.

— Это оттого, что я нервничал, — говорит он. — Со мной такое редко бывает.

Надеюсь, моя улыбка похожа на улыбку, несмотря на размазанную помаду. У всех умных мужчин проблемы с потенцией. Меня это не очень огорчает, я их не утешаю и не упрекаю. Мои мысли тоже часто лезут мне в голову, когда их не просишь, и кружат надо мной неотвязно, как осы на балконе, когда ешь дыню. Когда мужчины заговаривают об этом, я отвечаю им улыбкой, которая ничего не говорит. Благодарность бывает важней, чем любовь.

— То, что сегодня ночью все получается, — говорит он, — это твоя счастливая рука. Красивой тебя, пожалуй, не назовешь, но ты — настоящая женщина.

Я сажусь на край кровати и кладу ему на лоб ладонь, ту самую, в которую ГК кончил, после того как он у него несколько раз опадал, как осенний лист, — то у меня между ног, то под моим языком. Мысли нельзя почувствовать рукой, как удары сердца. Голова человека на ощупь кажется мертвой. Мне нравится прикасаться к ГК, приятнее всего — прижиматься лицом к его мышцам на спине, на груди, на животе. Может, я и некрасива, зато он, без всяких сомнений, — красивый мужчина, и если ему уже сорок, то выглядит он моложе. Мне холодно. Он приподнимает край одеяла, приглашая меня лечь.

— А почему Амели так и не появилась?

Я уже почти сплю, уткнувшись головой в сгиб его руки.

— Скажи мне. Я не буду сердиться.

— С ней произошел маленький несчастный случай.

Все его тело напрягается, словно он не лежит, а стоит рядом со мной, а матрас — это стена, к которой мы с ним прислонились. Я жду его выдоха или вдоха, но его грудь неподвижна.

— Ничего страшного, — говорю я. — Она упала со своего скейтборда. После этого ей было нехорошо.

ГК выпускает воздух из легких, я придвигаюсь ближе, стараясь, чтобы моя голова заняла прежнее место.

— Она просила передать тебе, что вы себя переоценили.

Я не вижу его лица, но знаю, что он улыбается. Может, улыбку тоже можно слышать?

— Вы что, родственники? — спрашиваю я.

— А ты разве не знаешь?

Я качаю головой, при этом мой нос трется о его предплечье, потрескивая хрящом.

– Она моя племянница, – отвечает он медленно.

Значит, в "Крике Пиано" речь идет об отце Амели. А Амели, наверное, и есть та самая девочка, которая нашла голову своего отца между рельсов. В мое сознание откуда-то проникает сигнал тревоги – настойчивое ощущение, что происходит что-то не то. Что мне нужно привести в порядок свои мысли и вышвырнуть из квартиры этого человека. Я вглядываюсь в цифровое табло моего радиобудильника, оно показывает половину второго. Я хочу спать. Я не могу придумать лучшего применения подаренному часу, чем первый раз в жизни спокойно поспать под боком другого человека.

– Ты ведь хорошо знаешь Амели, верно? – спрашивает ГК недоверчиво. – Скажи мне, о чем вы говорите друг с другом?

Зачем он спрашивает? Лучше бы просто говорил себе что-нибудь, чтобы звуки его речи заставляли тихо вибрировать его грудную клетку и эта вибрация как бы обволакивала меня и уносила вдаль.

– О щенятах и их чувствах, – отвечаю я.

Это был правильный ответ, ГК тихо смеется и долго молча кивает головой.

– Молодые собаки любят опавшие листья, – говорит он. – И первый снег.

– А старые?

– Старые собаки любят запах прелой листвы, а еще больше – запах тающего снега на их шерсти перед теплой батареей.

– А ежи?

– Ежи? – Он какое-то время молчит. – Ежи никого не любят. Поэтому и живут уже миллионы лет. Они научились прятаться.

– Почему ты вдруг решил показаться людям?

– Ты хочешь сказать – почему именно сейчас?

Я киваю, чтобы он продолжал, наши тела вместе производят оптимальное тепло, именно такое, какое нужно, мне никогда еще не было так уютно в собственной постели.

– Для ошибочного решения все равно не бывает подходящего момента.

– И что это за решение? В чем его суть?

– В том, что последний из нас, кто останется, принимает на себя всю вину. Ни Амели, ни я не готовы к этому.

Сердце ГК бьется прямо под моей левой щекой; за закрытыми глазами я вижу цвета и формы, они ритмично, в такт, дрожат, набухают и съеживаются.

– После вечера он покажется, – тихо говорит ГК. – Мы опять здесь. Это нельзя не заметить.

Мы молчим, и через какое-то время молчание становится так же приятно, как звуки речи.

– Ты не могла бы лечь как-нибудь по-другому? – просит ГК. – Я терпеть не могу слышать свое собственное сердце.

ГК по-прежнему лежит на спине и крепко спит, как больной, а я наблюдаю монотонную смену цифр-секунд на табло будильника. Буря за окном дергает ставни. Один час пятьдесят девять минут и пятьдесят семь секунд. Пятьдесят восемь, пятьдесят девять. Возникает что-то вроде корот-

кого замешательства, и цифровой указатель прыгает назад — на табло вновь один час и две секунды. Я откидываю одеяло в сторону. Теперь они лишние, эти следующие шестьдесят минут, я могу делать с ними что хочу.

Присев на корточки, я вытаскиваю папку из-под дивана и раскрываю ее. Потом поднимаю глаза и вижу Пиано; огромный и черный, он стоит на пороге, зад в спальне, у ГК, передние лапы и голова у меня в гостиной. Я замираю и не шевелюсь, пока не убеждаюсь, что он не собирается защищать папку хозяина. Он просто внимательно смотрит на меня, в каком-то странном "молчании", хотя собаки всегда молчат. Я вынимаю из папки "Крик Пиано", газету и еще две книги ГК: "Северо-западный ветер" и "Яйцо Кровь Какао". Потом мне на глаза попадается какой-то план. На трех скрепленных вместе страницах, с виду совершенно безобидный и неуклюже оформленный план с разной величины абзацами, начинающимися с тире, похожий на программу воскресной загородной поездки.

Несколько адресов, место и время встречи ГК с читателями, его обморок, адрес больницы, номер палаты, отделение интенсивной терапии — все напечатано одно под другим человеком, не умеющим форматировать. Я не знаю, как должен выглядеть профессионально составленный план — спутниковые фотографии, миллиметровая бумага, перечень страниц Интернета? *Этот* план показался мне "камерным". Частным. Чем-то, что касается и меня. ГК и Амели вдруг сразу придвинулись на невыносимо близкое расстояние. То, что он спокойно спит в соседней комнате, можно объяснить лишь незапланированной травмой головы.

Я заставляю себя разжать пальцы, и страницы падают на пол. Откинув голову, я смотрю на потолок. Мне никак не отделаться от ощущения, что это все выдумала для меня моя квартира. Из мести за мое равнодушие.

Когда я снимаю с вешалки и надеваю пальто, собака опять стоит на пороге, на этот раз между гостиной и прихожей. Мы смотрим друг другу в глаза, она выходит из квартиры вместе со мной. Закрыв за собой дверь, я дважды поворачиваю ключ в замочной скважине, на всякий случай.

На улице никого, кроме ветра, который задувает мне под пальто, покрывая все тело гусиной кожей, и студит голые ноги. Собака не отстает. Я на ходу стираю с лица остатки макияжа.

Больница расположена недалеко, в нескольких кварталах, на краю городского парка. Я не удивляюсь, увидев там Амели, сидящую на скамейке в свете фонаря и дрожащую от холода. На голове у нее белая марлевая повязка, которая ей очень идет, она все еще в своем топике — ни пуловера, ни куртки. Сидит скрючившись, обхватив туловище обеими руками, покачивается взад-вперед и неотрывно смотрит на свои туфли. Она замечает меня, лишь когда я подхожу к ней вплотную.

— Привет, Еж, — говорит она. — Где ты пропадала?

Ветер развевает наши волосы в одном направлении. Я мерзну так же, как она, под пальто у меня ничего нет, и кажется, что мы с ней знакомы уже сто лет. Из подаренного часа не прошло и двадцати минут.

— Амели, что ты здесь делаешь? — спрашиваю я.

Она склоняет голову набок, словно прислушиваясь.

— Ничего, — отвечает она удивленно. — Я ничего не делаю. Даже не жду.

В больнице освещены только окна нижнего этажа, в нескольких темных окнах брезжит зеленоватый дежурный свет. Ветер лязгает металлическими флагштоками. Группа деревьев на лугу кланяется на юго-восток, синхронно опуская и поднимая верхушки, вновь и вновь. Если конец света наступит сегодня ночью, он наверняка придет именно оттуда. Мои зубы стучат так, что я с трудом выговариваю слова.

– Если не секрет – все сорвалось? – спрашиваю я.

– Я никогда не думала, что есть что-то, против чего мы можем бороться, – отвечает Амели. – Но ГК говорит, что Вселенной нужен виновный. Искусство состоит в том, чтобы найти человека, который взял бы на себя вину. А кроме того, нельзя же вечно сидеть сложа руки.

– Похоже, он прав.

– По расчетам ГК, следующая – я. Или он сам.

Она смотрит на меня снизу вверх и кажется меньше, чем вечером, словно съежилась на холоде. Ее глаза стали плоскими – жетоны в проигрышной игре.

– Когда ты меня высадила, я пошла через товарную станцию. Как будто что-то искала и не находила. Меня подобрал какой-то таксист и отвез в больницу, хотя мне надо было на вокзал. Я вдруг оказалась здесь.

– Как по плану.

– Мы ничего не определяем! Даже тот момент, когда хотим выйти из игры. И потому продолжаем играть. Они перевязали мне голову, и вот я жду, когда привезут ГК. Это его голову они должны были замотать, а утром мы собирались выписать ему свидетельство о смерти. У тебя нет сигареты?

– Нет, – отвечаю я и нахожу пачку сигарет во внутреннем кармане.

Чтобы прикурить, я широко распахиваю пальто и отгораживаю нас обеих от ветра. Амели прикуривает сразу две сигареты, для себя и для меня, прямо перед моей голой грудью, так что я чувствую тепло от огня зажигалки.

– Какого черта ГК не настоял, чтобы его привезли сюда? – спрашивает она.

Наши сигареты курим не столько мы, сколько ветер – через три затяжки я могу выбрасывать свою.

– Это не так просто, – говорю я. – Когда он увидел твой скейтборд в моей машине, он, наверное, решил, что о дальнейшем мы договорились. Он не стал ничего спрашивать.

Она пытается улыбнуться, но ее посиневшие от холода губы не слушаются ее.

– Мы с тобой подхватим воспаление легких и умрем, – говорю я.

– Это у нас семейное. Еж!..

Следующий порыв ветра оказался таким сильным, что ей пришлось замолчать. У нас у обеих нет сил кричать против ветра.

– Меня не покидает ощущение, что ты все испортила! – кричит она.

Меня тоже не покидает это ощущение. Может, мне следовало рассказать ей, что я спала с ГК, несмотря на крик Пиано, несмотря на его – ГК – травму. Что я при этом думала о своем диване, потому что так было легче, о своем диване, на котором обычно услаждаю себя одна. Может, мне зачтется, что я хотела сделать ему приятное. Что я и представления не имела ни о чем. Я беру Амели за руку и пытаюсь поднять ее со скамейки.

– Пошли, – говорю я.

Она сопротивляется, вцепившись свободной рукой в спинку. Я упираюсь ногой в скамейку и изо всех сил тяну Амели на себя; справа на нас обрушивается порыв ветра, я, покачнувшись, чуть не падаю. Над нашими головами вдруг как будто что-то взрывается или как будто раздалась серия выстрелов. Затем короткая тишина — и громкое шуршание. Окоченевшие от холода пальцы Амели отрываются от скамейки, она невольно наваливается на меня, и мы делаем несколько неверных шагов в сторону, чтобы не потерять равновесие. На скамейку падает ветка толщиной с бревно, несколько раз подпрыгивает, медленно, как в замедленной съемке, и погребает скамейку под своими длиннопалыми листьями. Я прижимаю Амели к себе и укутываю ее в свое пальто.

— Ты знаешь, кто или что это? — шепотом спрашиваю я.

— Нет.

— А ГК знает, кто это?

— Нет.

Ее плечи судорожно подрагивают, губы почти касаются моей ключицы. Я обнимаю ее и кладу ей руки на спину, туда, где крылья. Я почему-то думала, что татуировку можно найти на ощупь. Но там ничего нет. Может, у меня просто пальцы онемели от холода.

— Если это вообще кто-то знает, то разве что... — говорит она.

Наконец-то. Наконец-то я поняла. Я совершенно забыла про него. Я поворачиваю голову туда, где видела его в последний раз, — он все еще стоит на прежнем месте, на лугу, чуть в стороне от освещенной дорожки, черный и неподвижный. Молча. Может, он и здесь стоит на пороге, на границе между пространствами, о которых никто ничего не знает.

— Пиано, — говорю я.

Это, наверное, и есть его крик, его месть. Очень просто. Амели вырывается из моих объятий и смотрит туда же, куда и я.

— Еж, — говорит она, — вот же он. Почему он не поздоровался со мной? Пиано!

Он с места срывается в галоп, траектория его длинных прыжков над лугом напоминает волнистую линию; за несколько секунд он очутился рядом с нами. Амели подалась вперед и протянула к нему руки, приветствуя его. Я делаю шаг назад. Пиано перепрыгивает через обрушившуюся ветку, обнаженная древесина которой в месте перелома смутно белеет в темноте. Я отчетливо воспринимаю множество мелких деталей: шуршание его шерсти по листве, которую он задевает в прыжке, блеск его оскаленных, как в улыбке, клыков, свою собственную застывшую улыбку, свои потрескавшиеся губы. Вот он прыгает, его тело — как огромное бесформенное пятно над белым топиком Амели. Они падают на посыпанную галькой дорожку. Я отворачиваюсь и изо всех сил зажимаю руками уши, как будто хочу раздавить голову в ладонях. Я уже успела отбежать на приличное расстояние, когда вдруг почувствовала его за спиной. Он быстро приближается, длинными ровными прыжками. Наконец он поравнялся со мной. Его длинный язык болтается, как тряпка, и бьется о нижнюю челюсть.

После перехода на зимнее время я несколько дней нахожусь в каком-то смятении, никак не могу приноровиться к собственной жизни. Мир, в котором вдруг стало резко темнеть в пять часов дня, мне кажется чужим. Люди тоже изменились. Нет ничего, что осталось бы прежним. По утрам я просыпаюсь с таким чувством, как будто у меня есть причина быть

счастливой, но никак не могу припомнить эту причину. Такое чувство я испытывала только в детстве, рождественским утром.

Заметив, что у меня открыты глаза, Пиано стучит хвостом по полу. На паркете, на том месте, где лежала его голова, большое темное пятно.

Посинев от холода и потеряв надежду еще когда-нибудь согреться, я сидела перед кроватью и ждала, когда будильник второй раз за эту ночь покажет два часа. Пятьдесят восемь, пятьдесят девять. Указатель табло на этот раз не прыгнул назад, на час, а погнал секунды дальше: два часа одна секунда, две секунды, три...

Я залезла под одеяло к ГК. Он в полусне стал гладить меня, одним и тем же движением, как будто моя кожа — плохо сидящее платье, которое никак не разгладить. Потом мы опять любили друг друга, на этот раз удачно, хотя и без особой страсти. Только после этого я наконец согрелась. ГК крепко обнимал меня. Он знает, как миновать эти зорко охраняемые ворота между бодрствованием и сном, которые я ночь за ночью штурмовала, он знает потайную дверь. Никто не пытался задержать нас, когда мы, обнявшись, закрыли глаза и уснули. Просто уснули, и все.

Петер Хэртлинг

Учиться жить.

Воспоминания

Отрывок из книги

Перевод Н. Федоровой

У всякой местности свое время, освещающее и омрачающее ее. Сюда же относятся и люди, которые движутся в этом времени и нередко с ним вместе исчезают. Десятилетие способно сформировать облик, определить взгляды и манеру выражения, но тем не менее отпущенный им на волю личный состав, нисколько не упираясь, находит себе дело в новой эпохе, приноравливается к ней.

Кемниц, город, в котором я родился и которого в глаза не видел, потому что родители переехали в деревню, в расположенный по соседству Хартмансдорф, – Кемниц так никогда и не обрел для меня четких очертаний. Позднее я слышал, что он неприглядный, серый, сплошные фабрики да заводы. Таким он мне и виделся: высоченные фабричные трубы и тучи густого черного дыма над улицами и переулками.

В Хартмансдорфе, в большом доме своих родителей на Лейпцигерштрассе, мой отец оборудовал себе первую контору. И с самого начала были сады. Я входил туда маленьким тонконогим мальчонкой. Поначалу с мамой, иногда таща за собой сестренку Лору, младше меня на три года. Но больше всего я любил одинокие исследовательские экспедиции, причем в обоих садах – и у бабушки с дедом, и за нашим домом на Бургштедтерштрассе – меня особенно притягивали сараи; в этих хибарках я строил пещеры из ящиков и садового инвентаря; в щелки меж досок проникал скудный свет, пахло землей, травой и машинным маслом. Одной лишь силой моего воображения хибарка превращалась в корабль, в поезд, в автомобиль. Наконец-то никто вокруг меня не суетился, я был сам по себе и мог мысленно унестись куда угодно.

Один только раз мне вправду удалось отправиться в путь-дорогу, как заманчиво гласит поговорка. Мальчишки постарше – они состояли в юнгфольке[1], носили форму, и оттого я им в подметки не годился – позвали меня в палаточный лагерь, к пруду по дороге на Пениг. Почему они взяли с собой именно меня, худенького, вечно возбужденного, изнеженного мальца, я объяснить не могу. Вероятно, им нужен был кто-то послабее, чтобы командовать, шпынять, запугивать, дразнить. Мне же этот поход давал возможность продемонстрировать свое упрямство, свою "силу", которую взрослые упорно не желали признавать.

© 2003 Verlag Kiepenheuer & Witsch, Köln
© Н. Федорова. Перевод, 2004

1. Юнгфольк – детская организация в рамках гитлерюгенд, в которую входили мальчики 10–14 лет. (*Здесь и далее – прим. перев.*)

Поход будет с ночевкой. Наверно, я должен спроситься у родителей? Каждая их фраза разжигала во мне страх и усиливала упрямство. Мы, как говорили учителя, находились в состоянии войны, будто состояние это возникло само собой, как боль в животе или температура. Один из наших учителей уже погиб в Польше, и мы тогда приспускали флаг. Я успел свыкнуться со страхом. Он был при мне не все время. Иногда я чувствовал его вкус во рту, иногда он сдавливал меня и подхлестывал.

И вот во второй половине дня я вместе с мальчишками двинулся в путь, курсом на Пениг, а поскольку мне пришлось тащить тележку с палатками и провиантом, по сторонам я глядел редко. Но несколько картин в памяти остались, они окаймляют дорогу в неведомое, запретное. Длинные волоски из конских грив и хвостов на колючей проволоке, окружавшей выгон для лошадей. Деревья, ковылявшие со мной рядом. И наконец, болотистая ложбина, словно ворота туда, где мальчики становятся мужчинами. Я во всем подражал мальчишкам. Смеялся, когда смеялись они. Затихал, когда они молчали. Бегал с ними вместе, исполнял их приказы: Оттащи-ка к палатке эту картонку! Натягивай веревку! Не стой как пень!

Расположились мы под деревьями, на берегу пруда, посреди которого возвышался заросший кустарником островок. Дело было наверняка летом. Мы купались. От воды пахло болотом. На коже оседали крохотные зеленые чешуйки. Ребятам вздумалось устроить мне проверку на храбрость. Сплавай-ка до острова и обратно! Я запротестовал. Но они наседали: иначе мне тут с ними делать нечего. Так уж полагается: хочешь дружить — пройди проверку на храбрость. А если гайка слаба — скатертью дорога.

Наверно, это было летом сорок первого, по радио тогда передавали специальные сообщения, а когда началась война, мама в слезах разбудила меня, восьмилетнего мальчишку. Неизвестно, что теперь будет, сказала она, будто уже знала, сколько лиха нам предстоит хлебнуть.

Я поплыл через пруд, ведь от будущего солдата можно потребовать любой проверки на храбрость. С каждой секундой вода все больше густела, руки едва слушались. Но злость гнала слабость прочь. Я чувствовал себя прямо-таки невесомым, вода сама несла меня вперед, островок словно бы плыл мне навстречу. Водные растения поднимались к поверхности, норовили меня удержать. Если я утону, то по их вине, говорил я себе. Придется им тогда рассказать родителям, что случилось, что́ они со мной сделали, и в конце концов их, гадов, посадят, а папа наверняка не станет их защищать.

Эти фразы мне придумывать не нужно, они сами вспоминаются, вопреки всему, чего я натерпелся в Хартмансдорфе, в краю моего детства, где, впрочем, бывали и просветы. Осенние дни на сжатом поле у дороги на Бургштедт, мы с ребятами запускали там воздушных змеев, посылая вверх по нитке травяные колечки-депеши. Или время, проведенное с дедушкой у него в оранжерее. Или теплые, дивно пахнущие убежища в садовых сарайчиках. Или долгая болезнь, приковавшая меня к постели, возле которой сидела веселая медсестра — тетя Зуза, папина сводная сестра, — и рассказывала мне сказки-перевертыши, как она их называла; в этих сказках принцы вели себя по-дурацки, а злые ведьмы оказывались спасительницами. Ну а папа, изредка заходивший ко мне, ставил мир сказок тети Зузы с головы на ноги, читая мне “Короля-лягушонка”, свою любимую сказку, ведь там есть Верный Генрих. Или еще раньше, до войны, когда я на трехколесном велике — временами за спи-

ной сидела Лора и крепко за меня держалась – совершал дальние поездки, чуть не до самого Бургштедта. Или два лета с мамой и Лорой в плавательном бассейне, мне тогда казалось, будто Хартмансдорф, папа и дедушка с бабушкой существуют только по вечерам.

Берега у островка не было, я подтянулся на какой-то коряге, пошатываясь побрел в заросли. Дышал учащенно и шумно, словно наверстывал то, на что не решался в воде. С берега кто-то крикнул: Давай назад! Передышка запрещена! Считаю до трех – и чтоб в воду! Я подчинился.

Они стояли плечом к плечу, обнаженные до пояса, в черных спортивных штанах, – и здорово меня озадачили. Вдруг подобрели, обходились со мной по-дружески, чуть ли не заботливо, помогли обсушиться, закутали в колючее одеяло. Одну из песен, которые мы пели у костра, я запомнил с первого раза, очень уж странно она звучала, и помню до сих пор: "За долиной их шатры стояли"[1]. Вместе с мелодией сцена проясняется. Я вижу себя – но это уже преувеличение. Я представляю себе себя и уступаю притяжению песни: переношусь в эти шатры за долиной, прочь от мальчишек, которые после проверки на храбрость обращаются со мной вполне дружелюбно, однако ж не стоят и мизинца тех, что за долиной. Те родом из другого времени и принадлежат моей фантазии.

На ночь мне разрешили устроиться в ногах у троих мальчишек. Ночные шорохи, которых я не мог себе объяснить, внушали тревогу. Самые жуткие звуки издавал пруд. Чавкал, булькал, журчал.

То, что я расскажу сейчас, известно мне по рассказам. Память сохранила их вместе с голосами родителей. Только вот фразы успели отделиться от голосов, стали эхом предания. Ближе к вечеру родители начали меня искать. Никто ничего не знал, никто меня не видел. Я будто сквозь землю провалился. Отец связался с бургомистром, который в свою очередь известил полицию. Ты представляешь себе, какие ужасы приходили нам в голову? – твердил он позднее, но в подробности не вдавался. Еще он говорил: Ты очень огорчил маму. Мне кажется странным, что никто нас не видал, ведь собирались мы посреди деревни, на Лейпцигерштрассе. К тому же родители мальчишек наверняка были в курсе.

В конце концов они все выяснили. Помчались на двух машинах по пенигской дороге, отыскали палатки и ворвались в крепкий мальчишечий сон; папа выволок меня наружу, встряхнул, выбранил, пригрозил страшными карами, а мама заключила в объятия, и напоследок я успел заметить, как ребята, сбившись в кучку, скалили зубы, насмехались надо мной, над ребенком, совершившим недозволенный поступок. И наказанным двумя неделями домашнего ареста.

А ведь я-то в этом походе хотел прогнать один свой страх другим. С первого дня во втором классе меня преследовала компания "гадких" мальчишек, которые мне житья не давали. Кое-кто из них учился в моем классе; они хихикали, когда я наизусть декламировал стихи, брали меня "в коробочку", когда играли в лапту, хоть играл я в той же команде, после уроков гнались за мной по пятам, а я сломя голову мчался домой, ничего вокруг не видя от страха. И однажды с разбегу налетел на фонарный столб, раскроил себе лоб и заработал сотрясение мозга. Шрам остался до сих пор. Дотронусь до него пальцем и сразу вспоминаю страхи своего хартмансдорфского детства.

1. Старинная немецкая народная песня.

В 1941-м мы уехали из Хартмансдорфа, и вновь я увидел его в 1983-м, правда мельком. Я был приглашен выступить с чтениями в ГДР и в сопровождении Ханса Альтенхайна, моего западногерманского издателя, совершал поездку по стране. По дороге из Берлина в Лейпциг он и предложил заехать в Хартмансдорф. Скоростной "БМВ" словно обгонял мой трехколесный велик. Мы были уже в Бургштедте, а я все еще высматривал "наш дом" на Бургштедтерштрассе.

Родные места я увидел другими глазами. Все сократилось в размерах. Дом деда и бабушки по-прежнему укрывал своим массивным фасадом одичавший сад, сарайчик или беседку у ручья. Зайти в дом я не решился. Бетонное здание напротив я тоже узнал. Там партия заседала, сказал я Альтенхайну. А какой-то старик мимоходом тихо, но отчетливо обронил: И до сих пор заседает. Подкинул нам тему для обсуждения: что некоторые здания притягивают к себе вполне определенных обитателей и что, когда политика меняется, обитателям этим опять же не обязательно съезжать оттуда, достаточно просто "перекраситься", а уж соответствующая партия добавит последние мелкие штрихи, завершив метаморфозу убеждений.

В Дрезден мы ездили регулярно. Это был мамин город. И дрезденские квартиры я помню намного отчетливее, чем хартмансдорфские. Туда я приезжал в гости, совершал там разведочные экспедиции, тамошние шорохи оставались для меня зловещими, особенно на Борсбергштрассе, где я ночевал. Вечером мама отвозила меня на эту квартиру, к дяде Вильгельму и тете Зузе, старшей сводной сестре отца. Ростом оба они не вышли, почти лилипуты, однако дядя Вильгельм "сделал карьеру". Он даже Мучмана не боится, уважительно говорил папа. Мучман, гаулейтер Саксонии, выглядел в его высказываниях, а особенно в проклятиях бабушки Хенчель настоящим злодеем.

В квартире дяди Вильгельма вполне могло бы висеть расписание одного из трамвайных маршрутов. Его вагоны периодически проезжали прямо под окнами, со звоном и скрежетом сворачивая за поворот. Поэтому тетя Зуза укладывала меня спать, только когда интервалы между рейсами удлинялись. Дядя Вильгельм собирал книги. Нигде я до сих пор не видал такой уймы книг на стеллажах и в шкафах. Он любил красивые томики в кожаных переплетах. И знал писателей, словно вечерами ходил то с одним, то с другим прогуляться или в кафе. Думаю, это помогало ему работать на гаулейтера Мучмана инженером по лесному хозяйству, помогало притворяться. В 1949-м — они с тетей Зузой уцелели в огненном дрезденском урагане — дядя, к ужасу бабушки Хэртлинг, связался с коммунистами, был повышен до ведущего инженера, а по главной своей должности остался читателем: на пятнадцатилетие он подарил мне Готфрида Келлера, социально-критический роман "Мартин Заландер".

Другое дрезденское жилище огорчало маму — как плачевный финал блистательной семейной карьеры. Бабушка Хенчель занимала всего две комнаты в бывшей конторе предприятий "Комбелла", которые дедушка Хенчель — он хотя и не был создателем огуречного молочка, зато изрядно улучшил это косметическое средство — учредил, расширил и потерял. Дедушку я знал только по рассказам. Роста он был маленького, как дядя Вильгельм, по словам тети Зузы, этакий "сердцеед-недомерок", и, когда я писал "Женщину", он все время стоял у меня перед глазами — хитроумный бабник, хвастун и щедрый коммерсант.

Перед тем как я шел спать и последний трамвай скрежеща заворачивал за угол, тетя Зуза совала мне в руку серебряный колокольчик, чтобы в случае чего я мог разбудить и позвать ее или дядю Вильгельма. Я звонил слишком часто. Тетя отобрала колокольчик, пришлось мне справляться со своими фантазиями в одиночку.

Две комнаты бабушки Хенчель находились в конце замечательной истории – убогая, банальная глава, оживляемая порывистыми движениями старой дамы, которая мерным совочком насыпала в разноцветные кульки птичий корм. С нею, с мамой и Лорой, в Дрездене ни на шаг не отходившей от мамы, мы стояли у ограды, за которой в саду, похожем на парк, находилась похожая на замок вилла, одной маминой фразой превращенная в недосягаемый рай: Когда-то все это принадлежало нам. Писатель Вольфганг Хегевальд сообщил мне, что в этом доме, играющем столь важную роль в моей "Женщине", он появился на свет. Долгое время там размещалась акушерская клиника.

На прогулочном колесном пароходе мы ездили в Бад-Шандау, мама рассказывала о своих неугомонных братьях, дяде Гюнтере и дяде Хельмуте, о сестре Элле, которая утонула во время увеселительной поездки с молодыми господами из Хеллерау, поэтами и офицерами. Эти подонки спьяну заехали в речку, сами кое-как выбрались из тонущего автомобиля, а про Эллу попросту забыли. В квартире бабушки Хенчель о тете Элле напоминали следы от сигарет на непомерно громоздком серванте.

В картинной галерее мама всякий раз останавливала меня возле рафаэлевских ангелов, но у меня они не вызывали такого восторга, как у нее. Я ждал, когда мы наконец выйдем из музея и можно будет бегом припустить к большому фонтану, к каменному дельфину и к Ариону, поэту, которого спасает эта большая рыба.

После 1942-го мы в Дрезден уже не ездили. Бабушка Хенчель уцелела, и другие родственники тоже остались в живых. Бабушка, как мы узнали впоследствии, не один час бродила по горящему городу, пока ее не задержали. Кто это сделал и что это означало, мы так и не выяснили.

В Хартмансдорфе умер дедушка Хэртлинг. Сахар, как мне представлялось, наполнил его изнутри и задушил.

По дороге в школу я обнаружил стену, утыканную поверху битым зеленым стеклом. Не для красоты, а для защиты от непрошеных гостей. Интересно, от каких? Я пробовал представить себе обитателей дома за этой стеной со стеклами. Безуспешно. Едва схоронили дедушку, едва он навсегда покинул дом на Лейпцигерштрассе, как отца потянуло прочь. И не только его. Тетя Кэте и бабушка жаловались, что тоже чувствуют себя одинокими и заброшенными. Видно, только дедушка и привязывал их всех к Хартмансдорфу. Хотя сам он почти всю жизнь прожил в Брюнне[1], лучший на всю округу красильщик, мастер по индиго, а в Хартмансдорфе поселился, когда отошел от дел, ведь он и родился неподалеку, в Глаухау, и – об этом тетки рассказали мне позже и довольно неохотно – из-за Гитлера надумал непременно вернуться в "старый рейх"[2]. Очевидно, из-за Гитлера же папа из Хартмансдорфа уехал. Люди из партийного дома напротив житья ему не давали. Это я тоже узнал после, от теток. Его тянуло домой, в Брюнн. Там жила тогда одна из его сестер, тетя Лотта, которая была замужем за чехом. Там он провел детство и юность,

1. Ныне г. Брно (Чехия).
2. Так называли Германию в границах 1937 г.

учился сперва в Праге, потом в Лейпциге, потому что в "старом рейхе" богемское право не признавали.

Папа выступал в нескольких ролях. Но не в роли отца. Когда в Ольмюце[1] он попробовал наверстать упущенное, времени у него оставалось в обрез, и завоевать Лору ему было неизмеримо легче, нежели меня. Он не питал доверия ни ко мне, ни к моим друзьям, ни к моим юнгфольковским вожакам, которых звал трепачами, ни даже к моим учителям. Если нам случалось поспорить, он обзывал меня вруном и хвастунишкой. Стоило нам сойтись чуточку поближе, когда он, к примеру, заводил со мной серьезный разговор или брал к себе в контору, где я помогал его секретарше, г-же Спачек, расставлять дела в алфавитном порядке или, если звонили в дверь, впускал клиентов и провожал в приемную, – стоило нам сойтись поближе, как я сразу чувствовал замешательство, что-то такое, чего словами не выскажешь. А когда он, качая головой, говорил "ах ты паршивец", я воспринимал этот легкий укор как ласку.

Старый чех-адвокат, уступивший отцу свою ольмюцкую контору, медлил с передачей. Мы задержались в Брюнне дольше, чем рассчитывали, почти на три месяца, и я имел возможность открыть для себя этот город, придумать, увидеть по-новому. Тут хватало и помощников, и провожатых. Брюнн обернулся территорией многоликой и переменчивой – тут и переулки-ущелья, глубже и темнее дрезденских, и крепость на Шпильберге, раскрывавшая после осмотра печальные истории своих узников, и парки, в первую очередь Аугартен, и запах церковных облаток из пекарни неподалеку, и змей под сводами ратуши, о котором никто не мог мне сказать, настоящее ли это чучело или просто подделка, и зеленной рынок с горластыми торговками, и четыре квартиры, по которым упорядочивалась городская топография, – собственно говоря, три, ведь в маленькой гостинице по соседству с виллой "Добродетель", чей архитектор, Мис ван дер Роэ[2], был вынужден, по словам дяди Беппо, бежать в Америку, потому что фюрер не любит бетонных коробок, – в этой маленькой гостинице мы устроились временно и днем, а то и вечером разбегались оттуда по квартирам. Гостиницу мое детское "я" забыло. Вспомнил я про нее, только когда писал "Божену" и спросил себя, откуда у нас взялся щенок, который в корзинке отправился с нами с Ольмюц. Пекинес. Черненький зверек размером в две ладони, по кличке Маврик.

В моей памяти эти три квартиры связаны с самим городом, а не только с его обитателями, они упорядочивают и разделяют, вычерчивают линии и обозначают подспудные центры тяжести. Меня – и ребенка, и вспоминающего старика – первым делом тянет в квартиру тети Лотты, что на Черных Полях. Она маленькая, битком набитая удивительными невозможностями. Переполненная всем тем, что в ту пору казалось мне неожиданным и немыслимым. У нее был филиал, в четверти часа ходу, на Ам-Бергль, то бишь на Горке, но права́ на сей филиал держал дядя Беппо, поскольку там, в любое время дня и ночи, его принимал закадычный дружок Вальдханс. Дядя Беппо, по милости немецких оккупантов оставшийся без работы, соблюдал твердый распорядок дня, который определял всю жизнь в квартире, а в конечном счете и жизнь тети Лотты. Состояла квартира из гостиной, спальни, ванной, кухни и балкона-галереи, поэтому дядя Беппо и тетя Лотта разграничили рабо-

1. Ныне г. Оломоуц (Чехия).
2. Людвиг Мис ван дер Роэ (1886–1969) – немецко-американский архитектор, один из лидеров функционализма; с 1937 г. жил в США.

чие места. Он занимал гостиную, она – кухню. Дядя писал миниатюры. Красавиц эпохи рококо и животных, на пластиночках слоновой кости. В одном глазу он зажимал лупу, от которой, когда он ее вынимал, оставался красный кольцевой след. Если не рисовал, дядя писал письма, а если не писал, сидел у патефона и слушал музыку, преимущественно Дворжака, Сметану и Яначека. Тетя Лотта распоряжалась на кухне, звонила в передней по телефону, планировала приглашения, разговаривала с другом Вальдхансом, с тетей Маней, с моим отцом, с тетей Женкой, наблюдала за вялой жизнью карпов, форелей или раков в ванне, ощипывала фазанов, фаршировала голубей. Хотя все это доставалось тете Лотте отнюдь не по карточкам, ей незачем было тревожиться по поводу запретного изобилия. Его обеспечивали дядя Беппо и Вальдханс: по меньшей мере трижды в месяц они ездили на озеро, которое дядя Беппо взял в аренду и поблизости от которого у него была хижина. Стрелять он права не имел, немцы запретили. Но иной раз, объяснял дядя, птица сама падает с неба. Чего я боялся, так это дядиных настроений. У него чахотка, предупреждала тетя Кэте, станет обнимать, прижмись лицом к его груди и старайся, чтобы он на тебя не дышал, ну и поцелуев его избегай. Впрочем, дядя Беппо ничего такого и не делал. В горячности он обращался ко мне по-чешски, а когда говорил по-немецки, никто и подумать не мог, что он чех. Тетя Лотта говорила на брюннском наречии. Германский вермахт, СС, моя юнгфольковская форма, немецкая школа на Черных Полях, которую я одно время посещал, вызывали у дяди Беппо брезгливость, а у Вальдханса – возмущение. Тетя Лотта от оценок воздерживалась. Почему дядя Беппо ко мне благоволил, почему сделал меня "своим Петром", я себе объяснить не мог, но своим исключительным положением пользовался.

Вторая квартира, где жили бабушка Хэртлинг и тетя Кэте, располагалась по дороге в город, довольно близко от нового района Черные Поля, на крутой, застроенной невероятно шикарными домами улочке под названием Ам-Бергль. В моей памяти эта квартира предстает неизмеримо более роскошной и просторной, чем та, что на Черных Полях. Сейчас уже не проверить, насколько верны мои тогдашние представления, я могу в них только усомниться. Скорей всего, комнаты там были выше, а передняя – больше. В гостиной властвовала массивная темная мебель, знакомая мне по Хартмансдорфу и еще тогда наводившая на меня страх. Довершали обстановку тяжелые маисово-желтые драпировки со шнурами и бомбошками. Был и эркер, как в Хартмансдорфе, только побольше, так что хватало места для стола и двух стульев. Я отдавал предпочтение комнате тети Кэте. Она была намного меньше, темный паркет прятался под толстым светлым ковром, на котором я любил устроиться с книжкой. Тетя Кэте усиленно расписывала мне достоинства своего бройеровского[1] кресла, где я сидеть не мог, зато лежать – сколько угодно. Много чего было прочитано на этом ковре, но одна книга запомнилась мне на всю жизнь. Правда, тетя Кэте считала, что я до нее не дорос. "Тебе от меня" – так называлась эта книжка, любовная история, увлекшая меня благодаря необычному оформлению – вклеенным письмам и открыткам, киношным и проездным билетам и даже "настоящим" отпечаткам губной помады. Бабушкина квартира разом изменилась в начале 1945-го, когда не то

1. Марсель Бройер (1902–1981) – американский архитектор и дизайнер, уроженец Венгрии, с 1937 г. жил в США.

англичане, не то американцы стали бомбить Брюнн. Мы перебрались в подвал, а в промежутках от отбоя до следующей тревоги нас выпускали только на задний двор, но не наверх, где бабушка спешно готовила картофельный гуляш или густой гороховый суп. Когда по соседству разорвалась бомба, мы ходили смотреть, что она натворила. В бабушкиной квартире вылетели все стекла, осколки утыкали всю мебель. Мне они напомнили зеленые куски битых бутылок на стене в Хартмансдорфе.

Путь с Горки, с Ам-Бергль, на Крёну вел наискось через весь город, о котором мне снова и снова рассказывали дядя Беппо, Бабичка[1], тетя Маня и папа. Это был чешский Брюнн, который отнюдь не прятался под немецкими названиями вроде Немецкий дом, Немецкий театр. Город сохранял свое особенное парящее равновесие — парки, бульвары, узкие улочки Старого города, где дядя Беппо наперечет знал все винные погребки, ратушная площадь, зеленной рынок, а над ними громада крепости, в которой "при Габсбургах томился" борец за свободу Италии Сильвио Пеллико, герой дяди Беппо.

Иные из этих фраз словно девизы над воображаемыми картинами. Когда в 2000-м я выступал в Брненском университете, а на другой день с опаской отправился в город, он как бы ушел в себя, остался чужим, хоть я узнавал иные уличные перекрестки и дома, а прежде всего Шпильберг. Недоставало голосов.

Я вполне могу представить себе дома на Черных Полях и Ам-Бергль, "увидеть" их. А вот с домом на Крёне, с Бабичкиной цитаделью, ничего не получается. Думаю, он ускользал от моего взгляда. Подавлял меня своей громадой. Но лестничную клетку, каменные извивы маршей, слишком высокие для меня перила и площадки, где вдору разыгрывать театральные спектакли, сцену за сценой, снизу вверх до шестого этажа, до самой крыши, — это восходящее пространство память сохранила. Если я поднимаюсь вверх по ступенькам к Бабичкиной квартире, значит, уже позвонил внизу, у больших ворот; врезанная в них калитка обычно была открыта. На эмалированной табличке тонкими буквами выведено: "Главка". От тети Лотты я знаю, что "главка" означает "кочешок салата". Всех тамошних комнат я так и не видел. В коридорах обнаруживались новые и новые двери, передних и тех было две, а уж пугающих темных углов и вовсе не счесть. Чуть не на каждом шагу из выходящих во двор окон потоком вливался свет. И всякий мало-мальски продолжительный путь из одной комнаты в другую состоял из чередований света и тьмы. Впрочем, когда горели лампы, коридоры приобретали заманчивость, и, подталкиваемый любопытством, я уступал ей. Меня, конечно, тревожила всегдашняя неизвестность, куда и от чего придется спасаться бегством. Пока я был уверен в безопасности пути на кухню, то есть к Бабичке, шумы, внезапно доносившиеся из-за дверей, или скрипы паркета не слишком меня пугали. Только вот великое множество звуков было загадочно и необъяснимо, словно в комнатах и чуланах обитала целая колония громадных птиц, которые беспрерывно между собой переговаривались тихим воркованием, стрекотом, жужжанием. Иногда слышалась и музыка, точно дядя Беппо за дверью ходит со своим патефоном туда-сюда, — то громче, то совсем тихо. Но каждый раз — тут меня не обманешь — музыка была его, богемская. Я так и не выяснил (да и впоследствии спросить не решился), где жили тетя Женка и ее муж Карел, долговязый, худой мужчина, на кото-

1. Бабушка (*чешск.*).

ром любой костюм висел мешком, с маленькой головой на тонкой шее и таким здоровенным кадыком, каких я никогда в жизни не видал, — здесь же, среди этих коридоров или этажом выше. Дядю Карела все вообще игнорировали, и никто с ним не заговаривал. Роняя какое-нибудь замечание, он тоже ни к кому не обращался.

Каждую из трех квартир я даже сейчас смог бы определить по запаху. На Черных Полях вечно пахло кухней, чуточку рыбой и прудовой водой, а в гостиной — красками дяди Беппо. На Ам-Бергль — духами тети Кэте и бабушкиной пудрой. Квартиру на Крёне запахи делили надвое: поблизости от кухни пахло пряной зеленью, чаще всего укропом, а чем дальше я проникал в лабиринт коридоров, тем удивительней смешивались запахи — пыль, кожа, всякие духи. В сущности, думал я тогда, Бабичке вовсе не нужна эта обширная квартира, тревожащая меня своими секретами. Теперь я, напротив, вижу ее суверенной хранительницей секретов, хитроумным и одновременно добродушным режиссером спектакля, в котором играли все здешние жильцы, тетя Маня, тетя Женка, дядя Карел, да и я, не понимая этого спектакля, тоже в нем участвовал. Вечерами, перед тем как мне идти спать (сколько раз я ночевал на Крёне? Вряд ли так уж часто. До переезда в гостиницу? И, конечно, в последний приезд в конце лета 1945-го), все собирались в столовой, ужинали за большим столом. Они говорили, говорили. О чем — осталось для меня загадкой. Говорили обиняками, называли людей, которых я наверняка знал, другими именами. Или переходили на чешский, полностью от меня отгораживаясь. Эта путаная игра делала их чужими, отдаляла. Когда я рассказывал о школе, о встрече с удачливым летчиком-истребителем вроде Мёльдерса[1], они кивали и смеялись, не слушая. А сами говорили о бывших обитателях дома, об исчезнувших друзьях, которых, как выражался дядя Беппо, забрали. О Рибашах, чьи ценности они хранили, на случай, если те все-таки вернутся. Я понимал, что Рибашей, еврейскую семью, немцы отправили в Терезиенштадт[2].

Немцы. Мы с Лорой принадлежали к их числу, папа с мамой тоже. Бабичка и дядя Беппо не слушали меня, потому что я рассказывал немецкие истории. Вот если б мне говорить по-чешски, как папа! — думал я. Мама молчала, если Бабичка сама с нею не заговаривала. А тогда со стороны казалось, будто они репетируют какой-то давний диалог.

Больше всего я любил сидеть на кухне и смотреть, как Бабичка работает. Места там хватало. Кухня была просторнее столовой. Посредине чуть не до потолка возвышалась плита, этакий цветастый сине-белый паровоз, сплошь из кафеля. Бабичкин голос я не забыл. Глуховатый, негромкий, похожий на голубиное воркование. Иногда и голуби во дворе ворковали вместе с ней. На Крёне все говорили на брюннском диалекте. Однажды, в летние каникулы 1943 года, мне довелось воочию увидеть Бабичкину неукротимую страсть к изобилию. Она занималась консервированием. Горы крыжовника, который она называла агрестом, и поречек, которые я теперь называю смородиной, корзинки с земляникой, со сливами дожидались, когда ягоды вычистят, вымоют, отожмут, отварят, превратят в джем, варенье или желе. Кастрюли надсадно пыхтели, испуская душистые, жаркие пары. Бабичка без умолку говорила, объясняла мне, что она делает, что происходит, что будет дальше, вытирала передником

1. Вернер Мёльдерс (1913—1941) — немецкий летчик.
2. Терезиенштадт (Терезин) — гитлеровский концлагерь на территории Чехословакии.

руки, а в условленное время появилась тетя Маня, пришла помогать и заодно полакомиться. Мама считала тетю Маню красавицей, и с полным основанием. Она была на полголовы выше Бабички и на целую голову выше мамы, а черная ее грива блестела как лакированная. Глаза тети Мани магнитом притягивали меня, снова и снова я невольно в них заглядывал, нисколько не смущаясь: они были огромные, слегка навыкате, с большими черными зрачками в озерах глубокой синевы. Тетя Маня перекладывала джем в банки. Бабичка говорила, что для нее это возможность испытать свое терпение. В такие послеполуденные часы моя чешская бабушка порой присаживалась то на один, то на другой из восьми-десяти белых лакированных стульев, расставленных возле шкафов и в нишах. И хотя бы раз она непременно обнимала меня, порывисто и крепко, и произносила ту фразу, которая при таких оказиях служила для нее формулой пожелания и заклинания, а бывало, и напутствием: Бог милостив! Это единственная фраза, напрямую связывающая меня с нею и теперь помогающая понять мою любимую Бабичку, в ту пору далеко не старую (она просто *казалась* мне очень старой), и, быть может, даже объяснить ее притягательность. Она призывает небеса к себе на землю, не без богобоязненного лукавства, но и не без ироничного свободомыслия ожидая отблеска божественного разума в нашем близком и далеком будущем. Только, как показывает мой опыт, будущего мы так и не дождались.

Бабичка, желавшая мне всей на свете защиты, способствовала и тому, что я открыл в себе чувства, совершенно в них запутался и начал не доверять взрослым. Как-то раз, когда она не в меру энергично меня обнимала, я вообразил, будто нагишом лежу в объятиях тети Мани. Маме я опрометчиво посоветовал накрасить губы как у чешской тетушки. Чем по недомыслию обидел ее.

Однажды я без дела слонялся по какому-то из коридоров, временами нажимал на дверные ручки, но не распахивал двери, только чуть приоткрывал, вдыхая тамошние запахи, и вдруг увидел в щелку живую картину, абсолютно невозможную и до того меня напугавшую, что дыхание перехватило и я едва не задохнулся: посреди комнаты, тесно прижавшись друг к другу, стояли папа и тетя Маня, они целовались, и этому не было конца. Что я тогда почувствовал — стыд? злость? Так или иначе, я, посвященный в их тайну, молчал и приобрел больше власти, бессмысленной и мучительной.

В середине 1945-го, когда мы с тетей Кэте в последний раз приезжали на Крёну, я был возмущен растерянностью взрослых, одна лишь Бабичка еще говорила по-немецки, а дядя Бепо уже умер, — в середине 1945-го моя чешская бабушка, по которой я до сих пор тоскую, простилась со мною все той же сакраментальной фразой, заключавшей в себе ее сомнения: Бог милостив!

Встречи с Ольмюцем я ждал, сгорая от нетерпения. Встречи с моим городом на высоких холмах. Там я повзрослел, там мое "я" изменилось. По возвращении, спустя пять десятков лет, мне не пришлось заново узнавать ни улицы, ни дома, ни парки. Я, конечно, догадывался, что именно отсюда, из этого города на реке Мораве, я унес с собой и сохранил куда больше, чем из всех других мест. Но как ни странно, я тоже запечатлелся в его памяти — вот что меня поразило. На всем свете не найти города или поселка, чья архитектура и топография так глубоко запали бы мне в душу. Шагая по ольмюцким улицам, я вспоминаю себя. То бишь город, который разделял мои детские чувства, приумножал их, подтверждал

или поглощал. В котором я растворялся будто в многоязыком существе. Ольмюц моей старости красив и своей стариной. В епископском, в университетском кварталах камень словно бы сделался невесомым, окрашенный в тот желтый имперский цвет, что присущ множеству городов от Брюнна до Загреба, а в чем тут дело, давным-давно поведали Йозеф Рот, Музиль и Гофмансталь. Именно здесь обрушивались на меня громкие фразы нацистов, здесь я важничал, здесь изведал коварные чувственные соблазны, здесь Бабичка не могла вмешаться, и я обнаружил, что моя мама предавала и нас с сестрой, и отца, здесь, на этой невероятно богатой игровой площадке, я, возбужденный, крикливый, якобы сильный, уже уходил из родительской сферы, словно угадывал, что скоро она все равно исчезнет. Это "я", обиженное и одновременно счастливое, вырвалось из куколки детской наивности.

Жили мы над пассажем. Еще в Брюнне меня привлекали пассажи, эти стеклянные, крытые, полные магазинов проходы меж домами. Мне казалось, будто продавцы и пешеходы существуют здесь в каком-то особом напряжении. Ночами, как только магазинчики закрывались и кинотеатр выпускал свою публику, пассаж жил собственной загадочной жизнью, ненасытно впитывая все, что случалось за день, собирая в кучку, точно пестрый мусор возле фруктовой лавки.

С самого начала Ольмюц дразнил мою фантазию. Дом на Вассергассе (теперь такой улицы нет) стоит по-прежнему. Запрокинув голову, я взглянул на балкон, полукругом обнимающий детскую, и увидел, как мы с Лорой слушаем маму, которая очень серьезно предупреждает, чтобы мы ни под каким видом ничего на улицу не бросали. Ведь можно попасть в человека и убить его. Я слышу ее голос, слышу так, как все голоса из того времени, с того света, заметно искаженные, с множеством обертонов и без глубины, словно потерявшие опору. Эту квартиру отыскал папа. Я описал ее в "Дани любви". За двадцать лет она стала еще больше, в воспоминании просто до нелепости огромной, ведь в 1943-м, через год после переезда сюда, отцу запретили заниматься адвокатской практикой и, хотя он был освобожден от военной службы (из-за больного сердца), призвали его в вермахт и отправили в Валлахиш-Мезерич[1]. Кабинет, где он раз-другой сажал меня в большое посетительское кресло, устраивал нагоняи, использовался так же редко, как и столовая. Обитаемым островком были мамин салон, в котором царила непомерно огромная для этой комнаты зеленая кафельная печь, гостиная, заменявшая нам столовую, и детская — полукруглая, опоясанная лентой окон, на удивление светлая комната, соединенная с передней отдельным коридором. Комната для прислуги и родительская спальня выходили в коридор за кухней. Спустя полвека, стоя у дверей этой квартиры, я думал: наверняка ее разделили, только вот где вторая дверь? Нет, мне не хотелось, чтобы открыли даже и одну дверь. Нынешние жильцы, инженер с семьей, ничем не связаны с моими воспоминаниями, разве что вопросом, который все беженцы оставляли своим преемникам: Кто они были, как жили? Вопрос с приглушенным эхом. Лифт, поначалу для нас, детей, запретный, действует до сих пор. Кинотеатра внизу, в пассаже, где я смотрел "Алькасар" и "Молодых орлов"[2] и от-

1. Ныне г. Валашске-Мезиржичи (Чехия).
2. "Осада Алькасара" (1940) — итальянско-испанский фильм режиссера Аугусто Генина о гражданской войне в Испании, образец фашистской пропаганды; "Молодые орлы" (1944) — немецкий фильм для подростков, режиссер Альфред Вейдеман.

куда каждый раз выходил на свет героем, теперь нет. Что до этих фильмов, то мне не пришлось спрашивать у мамы разрешения пойти после обеда в кино; и "Алькасар", и "Молодых орлов" я смотрел вместе с ребятами из юнгфольковского отряда, а после сеанса мы все собирались в сумерках на маленькой площади возле Театергассе. Отрядный вожатый пересказывал фильм, разъяснял нам, что означает, когда франкистский генерал жертвует сыном, которого большевики взяли в плен, намереваясь сделать его орудием шантажа. Пожертвовать жизнью ради великого дела, говорил он, совершенно естественно.

Летний вечер 1944 года. Меня обуревает безумство, ребячливый задор — быть свободным, умереть за фюрера.

Неужели это был я? Ребенок не тратит время на раздумья. Он его проживает, со всеми возникающими противодействиями и существующими страхами.

Где находилась народная школа, я уже не помню. Там, несоразмерно огромный, царил старший учитель Кёглер, возвышался над нами как на котурнах, держал нас в робости и униженном смирении, в восьмом классе вместо выпускного сочинения велел писать биографию Геринга и целый учебный год рассказывал с продолжениями о том, как Адольф Гитлер и Конрад Генлейн[1] спасли судетских немцев от притязаний чехов.

Папа отвел меня в гимназию. Мы шли наискось через спортплощадку к школьному зданию. Я спрашивал себя, почему он выбрал эту дорогу. Теперь спортплощадки нет. Всякий раз, вспоминая исчезнувшие места, я испытываю ощущение, будто пишу о другой, незримой жизни, которая уже вырвана из своей реальности, а в моей памяти (как в памяти утопающего) уцелела. Я чувствую рядом большого, сумрачного человека. Он что-то настойчиво мне говорит. Что? Напутствует меня добрыми советами? Или старается умерить мой восторг перед юнгфольком? Он никогда не говорил сухо и четко, обычно намеками, образами. Часто я его не понимал. Возможно, он боялся, что я проболтаюсь, скомпрометирую его перед моими "вожаками", предам. Я слишком мало знал о его работе, и от этого мне тоже было не по себе. Я слушаю его. Но все, что он говорил мне по дороге через спортплощадку, я начисто забыл.

Тогда он еще каждый день ходил в контору на Шульгассе, ольмюцкую "вторую квартиру". Там его ждала г-жа Спачек, чешка-секретарша. Даже в последний военный год, когда "служба" в юнгфольке отнимала у меня массу времени, я порой забегал в контору, где на полках пылились папки с делами, тем не менее бережно хранимые г-жой Спачек. Она не сомневалась, что "г-н доктор" вернется. Как-то раз она сказала: Когда война кончится... — и громко рассмеялась, пытаясь истребить эту фразу. Я симпатизировал г-же Спачек. И многое ей позволял, к примеру читать мне нотации и одергивать, потому что с таким уважением об отце, о благодетельности его работы не говорил никто, даже мама. В 1943-м, незадолго перед тем как его призвали под ружье, я в юнгфольковской форме стоял однажды вечером в строю перед ратушей на Адольф-Гитлер-плац — мы присягали фюреру, народу и отечеству. Горели факелы. Баннфюрер произнес речь о германской нации, о жертвенной смерти. Многие родители пришли посмотреть на церемонию. Мои нет. На

1 Конрад Генлейн (1898–1945) — основатель (1933) и лидер (до 1938) фашистской Судето-немецкой партии в Чехословакии; в 1939–1945 гг. — наместник в оккупированной Германией Судетской области; покончил жизнь самоубийством.

дежурства мы собирались в бараке, болтали о девчонках, которые несли службу одновременно с нами, только на другой половине. Нас просвещали насчет расовых типов, нордического, альпийского, динарского. Читали обстоятельные лекции о нечистых расах, об их низости и опасности для арийской крови. Теория сменялась практикой. Мы доказывали свою отвагу, прыгая с трехметровых стен или проплывая двадцать пять метров под водой. Кто выныривал раньше, тому объявляли бойкот.

Чем чаще по радио сообщали, что "наши войска с честью отступают", тем более разнузданной и падкой до развлечений выглядела в моих глазах жизнь взрослых. Возник даже лозунг, ставший своего рода девизом нашей гонки в ад: "Наслаждайся войной, мир будет ужасен". Квартиры превратились в танцплощадки, пивные — в места сборищ "героев" тыла, запуганных солдат-отпускников и безмужних женщин. Я и мой дружок Гюнтер Бруннбауэр забросили свои мальчишечьи шалости и занялись до той поры незнакомым литературным жанром — кабацкими виршами. Они щекотали нам нервишки, поскольку были "под запретом". Запретная похабщина. Изменившая мои сны. Чешка Богумила, в первые два года наша служанка, а позднее мамина подруга, так допекала меня своей высоко подоткнутой юбкой и полурасстегнутой кофточкой, что просыпался я тяжело дыша, а когда она приходила в гости, старательно ее избегал. Думал о тете Мане в папиных объятиях и нисколько не сомневался, что каждый раз, как он ездил по судебным делам в Брюнн, эта сцена повторялась. Маминого любовника, Т., владельца большой булочной, мне и вычислять не пришлось. Время от времени мама брала нас, детей, с собой в булочную, где отводила на кондитерский склад, к засахаренным фруктам, а сама вместе с маленьким, бурно жестикулирующим хозяином исчезала за какой-то дверью. Мои мысли обрастали грязной коркой. Позднее тетя Кэте передала мне тогдашние письма родителей, доставшиеся ей в наследство от мамы: сплошные крики о помощи и устремленные в будущее клятвы.

Взбудораженный, переполненный неизведанными и несбывшимися словами, я, впервые без родителей, сел в поезд особого назначения как участник так называемого "вывоза детей в лагеря". Путь наш лежал через Вену, где мы заночевали, и дальше через Земмеринг и Юденбург в Мурау. Эти станции хорошо мне запомнились. Наверняка я неотрывно смотрел в окно. А в Мурау начался долгий, нудный пеший поход в горы. На большой лесной поляне нас поджидали лагерные домики. Первые дни я очень скучал по дому, ночами плакал, проклинал маму, которая бессердечно оставила меня на растерзание этой ужасной орде. Но мало-помалу успокоился, успешно разыгрывал этакого гордого одиночку, собирал вокруг себя приверженцев, слонялся по окрестностям. Мне открывались места, которые не просто привлекали своей многоликостью — от густых лесов и обрывистых утесов до похожей на амфитеатр ложбины, — но и бросали вызов моей фантазии.

Запретные мысли опять заворочались в голове. На райской лесной поляне один из старших мальчиков продемонстрировал нам, как надо теребить свой член, чтобы из него в конце концов брызнул густой сок. Младшие под крики и хихиканье тщетно пытались добиться желанного эффекта. Мне было стыдно, я и не помышлял выставлять себя на посмешище. В свободное время я читал. Захватил с собой "Битву за Рим" Феликса Дана. Эта книга, в которую я впоследствии никогда не заглядывал,

способствовала моему триумфу. Время от времени приятели просили меня что-нибудь рассказать, и вожатые это заметили. Как-то раз во второй половине дня, когда отряды устраивали в ложбине общие игры, одна из вожатых попросила меня выступить перед всеми ребятами. Я не стал возражать, сделал вид, будто ничего другого и не ожидал. Вокруг сомкнулось кольцо настороженного интереса. Я глянул на небо, увидел плывущие облака, улегся на спину, прислушался к ветру, к настороженности ребят. Облака стали моими актерами, мгновенно преображаясь, следуя зачастую преувеличенной театральности, сначала гигантские, потом всего лишь летучие клочья тумана. Я рассказывал о Теодорихе, о Дитрихе Бернском, об Аларихе, воздвигал до небес — куда смелее, чем Дан, — город Равенну, город темниц, башен, пыточных подземелий, дуэльных площадей и любовных гнездышек. Стремительные облака побуждали меня придавать моим героям все новый и новый облик. Впервые я очутился в центре такого внимания, впервые испытывал такое наслаждение словами. Теодорих погиб в бою... тающее облако у склона горы... Смотрите! — крикнул я. Вправду крикнул? Мне чудится, будто я и сейчас слышу далекое эхо своего голоса, тоненького, звонкого. Аплодисменты подняли меня на ноги. Я выбежал из круга, помчался на маленькую поляну. Неожиданно глаза наполнились слезами, тоска по дому, на время утихшая, навалилась с новой силой. Одна из вожатых пошла за мной. Как и все остальные, она носила национальное платье — дирндль, но была единственной, кто не сыпал бесконечными приказами, не грозил наказаниями. Она подошла ко мне, обняла, чему я слегка воспротивился, опахнула запахом пудры и пота, похвалила, не выпуская из рук, потянула в траву, стала настойчивее в движениях, засмеялась, учащенно дыша, привлекла меня еще ближе, прижала лицом к ложбинке между грудей, которые как бы сами собой выпростались из выреза, тихонько баюкала. Иногда выгибала спину, покачивалась вверх-вниз. Юбку она поддернула кверху, теперь я утыкался головой ей в живот, а она, не давая мне шевельнуться, то напрягала его, то расслабляла во все более неистовом ритме, потом вдруг замерла, и с губ у нее сорвался жалобный стон, здорово меня напугавший. Вы ушиблись? — спросил я. Она засмеялась, встала, подняла на ноги меня, отряхнула нас обоих, велела мне ни слова об этом не говорить, ни слова, и сказала, что пойдет обратно первой, а уж потом я, через минуту. Избегать друг друга мы не стали. Иной раз сталкивались, и я гордился, что у нас с ней общая тайна.

Однажды утром весь лагерь созвали на линейку. Мы выстроились на плацу, над нами развевался флаг со свастикой, все вожатые вышли на крыльцо и стали плечом к плечу, будто приготовились отразить атаку. "Моя" вожатая заговорила. О том, что на фюрера совершено покушение. Что участвовала в этом целая банда гнусных изменников. Что Адольф Гитлер уже выступил с обращением к народу и заверил, что продолжит борьбу до победного конца. Она вскинула руку, крикнула "зиг-хайль". И расплакалась. Нам было велено спеть "Германия превыше всего" и "Хорст Вессель". Пока мы пели, у меня в голове молнией мелькнуло, что запретная любовь и покушение, чего доброго, взаимосвязаны. Правда, почему — я себе объяснить не мог. Может, потому, что нам приказали благодарить Провидение за спасение Адольфа Гитлера.

Что до внутренних помещений уютного дома в горах, то мне вспоминаются только три, да и рассказывать о них подробно неохота: дортуар с рядами двухъярусных коек, столовая, где шесть недель кряду пахло ка-

пустой, хотя кормили нас большей частью гороховым или перловым супом, на первое и второе сразу, и душевая, которая наводила на меня ужас, поскольку стоки вечно засорялись. Воспоминания о вожатой в дирндле сопровождали меня до дома. Некоторое время, глядя на женщин, я каждый раз думал о тех удивительных и жутковатых прикосновениях и шептал, вслух или про себя, неподобающие слова.

Я подлаживался к охваченному спешкой, напрочь выбитому из колеи окружению. Ни моя форма, ни дежурства, ни призывы нашего фенляйнфюрера сохранять выдержку, ни мамины страхи, ни насмешки, которые во время визитов в Брюнн доставались мне от дяди Беппо, не могли уберечь меня от этого. Я взрослел раньше срока. Важничал и бахвалился преждевременным знанием, которое подпитывалось все новыми словами. Женщина из Мурау заполонила мои сны. В глазах товарищей я здорово вырос, ведь они принимали мои россказни за чистую монету. Мы слонялись возле колонны Св. Троицы на Адольф-Гитлер-плац, с жаром расписывая друг другу, как в решающем, последнем бою мы, "вервольфы"[1], отбросим русских.

Мы играли в войну в Михайловых Садах, защищенном могучими деревьями парке меж рукавом Моравы и городской стеной, карабкались по "скалам", отвалившимся от стены глыбам, в кровь обдирали коленки. Высоко над нами — резиденция епископа, она же — санаторий, где мне вырезали аппендикс, "в последнюю минуту". Спустя полвека я сразу нашел это здание и удивился, в какой жемчужине меня оперировали — домто оформлен Климтом[2].

Летом, последним летом, мы с мамой и Лорой ходили в бассейн, и я обнаружил, что моя мама — самая красивая из всех женщин. Часто я приходил домой поздно вечером, после дежурства. Чуя опасность, мы, мальчишки, сбивались в стаю. О женщинах теперь почти не разговаривали. Фронт подступал все ближе. Мы практиковались во владении оружием на муляжах. И, шагая с карманным фонариком домой через пустырь, я уже чувствовал себя чужаком, словно город, мой город, отвергал меня.

В 1995-м я читаю перед камерой Западногерманского телевидения стихи о годах в Ольмюце, написанные в 1962-м. Местом чтения я выбрал Соборную гору, площадку, словно созданную давно забытым великим декоратором, с мощеной дорожкой к Собору, к музею Пржемысловичей[3] и к газону, возле которого почти всегда есть одна-две свободные лавочки, потому что этот городской район зовет прогуляться, от церковного портала к часовне, к воротам бывшей епископской резиденции, где маленький Моцарт, заболев оспой, поневоле прервал свое долгое путешествие. Об этом напоминает табличка. Нет, две таблички; одну, деревянную, я читал до 1945-го, другую, каменную, читаю теперь, вернее, вспоминаю немецкие фразы, как бы расположенные под чешскими, правда лишь в моей памяти. Сюда мне хочется приходить снова и снова. Маленькая гостиница, где я останавливаюсь на ночь, находится буквально в полусотне шагов.

"Река обращается в камень". Какой далекий голос подсказал мне эту строчку. Ведь перед глазами у меня стояла улица Вассергассе, каменная

1. "Вервольф" — созданные весной 1945 г. из членов гитлерюгенд, беженцев и авантюристов вооруженные группы, которые должны были действовать в тылу противника, а также название членов таких групп.
2. Густав Климт (1862–1918) — австрийский художник, дизайнер, представитель венского модерна, один из основателей и президент объединения "Венский Сецессион".
3. Пржемысловичи — династия чешских королей.

стенка, окаймлявшая рукав Моравы, на этой стенке мы загорали или узкими дорожками рассыпáли черный порох, который вспыхивал как молния. С балкона детской я смотрел на эту площадку, дожидаясь, когда там соберутся мои товарищи.

Через пятьдесят лет я отправился в город без колебаний, мне не понадобилось приводить в порядок давние картины. Лишь здесь, где улицу разделяла Морава, я запутался. Река исчезла под асфальтом. Кто начал первым? Кто оказался быстрее — градостроители или я со своими стихами? Стихи я подарил епископу. О моем пророчестве он не сказал ни слова. Но профессор Вацлавек, сведущий провожатый по настоящему времени, в котором мне только предстояло разобраться, знал, в чем дело: Возможно, это вроде как второе зрение. Почему бы и нет?

Под защиту каменной епископской митры я в конце 1944-го податься уже не мог. Страх обострился до неотвязной лихорадочной тревоги, привел нас в движение. Фронт подступал все ближе. Матери незачем было говорить мне об этом. Я и так слышал это повсюду. Наша англичанка, как сообщил учащимся первого класса гимназии г-н директор, испарилась, струсила. Именно она, красивая и открытая, предмет наших неистовых фантазий. Кстати, из гимназии я не уходил. Просто занятия в тот год так и не начались. Брюннцы, в первую очередь бабушка и тетя Лотта, наседали на маму, уговаривая переехать к ним. Сообща легче пережить конец. И мы внезапно снялись с места. Еще раз мне представился случай посидеть рядом с дядей Беппо, посмотреть, как ловко он орудует тонюсенькими кисточками, послушать с ним вместе Дворжака, хлебнуть "неподобающий" глоток его самодельной сливовицы, пройти следом за Бабичкой по загадочному лабиринту квартиры на Крёне, уже угадывая в ее объятиях разлуку. Она-то и посоветовала нам — вместе с тетей Кэте бабушка приезжала к нам в Ольмюц — для начала отправиться в Мэриш-Трюбау[1], к знакомым немцам, зажиточным крестьянам, они наверняка приютят нас на время, а там мы, глядишь, сумеем пробиться в Дрезден. Маме эти соображения казались убедительными, даже когда бомбежки превратили Дрезден в руины. По дороге нам стоило большого труда держаться вместе. Каждый не глядя орудовал локтями и раздавал пинки. Яростная злоба проступила наружу, как пот. В Мэриш-Трюбау мы легко отыскали нужную усадьбу, получили пристанище, правда в сарае, уже занятом десятками людей, которые твердили, что приехали раньше и прав у них больше, в том числе и на еду — селедку в томате и картофельное пюре. Я все вытошнил, пустой желудок отказался принимать жирную рыбу. Меня по сей день мутит, когда я вижу селедку в томате и чую ее запах. Слухи, с короткими промежутками доходившие до нас, вели собственные баталии, множили поражения и вновь подгоняли нас к бегству: домой, назад, домой.

Перед отъездом (поезда пока ходили более-менее регулярно) меня еще несколько раз стошнило, пока в желудке совершенно ничего не осталось. Мы пешком прошагали вокруг пруда, где бабушка широким жестом порвала с фюрером: с размаху швырнула в воду свой Материнский крест[2]. К моему удивлению, поехали мы не в Брюнн, а в Ольмюц. Вероятно, так подсказало бабушке седьмое чувство. Ведь там нас ждал папа, приехавший за нами по поддельному увольнительному билету, им же,

1. Ныне г. Ческа-Тржебова (Чехия).
2. Орден, которым в гитлеровской Германии награждали многодетных матерей.

"канцелярской крысой", и изготовленному. Прочь от русских, к американцам. Бабушка торжествовала. Она так и знала!

С той поры квартиры стали всего лишь временными пристанищами. Кто будет жить у нас? Я слышу голос Лоры, тихий и ломкий. Старый беженский вопрос.

Теперь я мог бы проводить себя взглядом: вот мы с отцом тащим груженную нашими пожитками тележку по улицам города, который желает нас забыть. Какое из моих "я" там исчезает? Пока еще важничает, трепыхается, внезапно снова ищет защиты у взрослых, хотя совсем недавно настаивало на новых свободах? Или у него другая свобода, чье имя — одиночество? Я. Я. Как бы то ни было, родители не выдержали своей измены, они опять вместе. Только я, глядящий себе вслед, все помнящий и многое забывший, рассказывающий о себе и способный заплутать в собственном "я", — только я знаю, что их время истекает.

В пражских гостиницах для нас места не нашлось. Один день мы провели в кафе на Венцельсплац[1], и, когда папа хотел расплатиться рейхсмарками, официант потребовал кроны. Бабушка сочла это наглостью, папа — началом конца. Парень-то прав, решил он.

Поезда, видимо, по расписанию уже не ходили. Повсюду на вокзале теснились ожидающие. Для бабушки мы отыскали свободный уголок скамейки. И сами тоже устроились вокруг нее. Обороняли теперь не комнату, а клочок пространства. Хотя папа все время твердил, чтобы я оставался рядом, я бродил тут и там, нырял в беспокойно клубящуюся толпу. Офицера-эсэсовца, схватившего меня за рукав, я вижу таким, каким уже не раз описывал его — и в "Дани любви", и в "Цветле". Это устоявшаяся картина. Что тебе здесь нужно? — спросил он. Или он сказал: Погоди-ка. Говорит он с акцентом и поясняет: Я валлон. Знаешь, откуда я родом? Обращается ко мне так, будто я не способен его понять. Но мне понятно каждое слово. И что он из бельгийско-валлонской дивизии СС "Дегрель", мне тоже известно. Ты боишься? Он называет меня маленьким пимпфом[2], что действует мне на нервы. Тебе нечего бояться. Русские далеко не пройдут. Адольф Гитлер применит оружие, о котором никто из нас пока что понятия не имеет, пострашней Фау-два. Я ему верил. Поверил, тогда. Вероятно, потому, что этот человек, давным-давно ставший отщепенцем, сам верил своему пророчеству. Ступай домой, сказал он. Разгоряченный пылкой надеждой эсэсовца, я вырвался, побежал к нашему островку, рассказал новость отцу и, чего я уж никак не ожидал, был беспощадно лишен всех и всяческих надежд. Обеспамятев от ярости, отец вцепился в меня мертвой хваткой. Притиснул к себе, бил по голове, по спине, рвал мою форменную куртку, будто норовил раздеть и голышом прогнать по всему вокзалу: Хватит этих игр в герои и в солдаты, хватит болтовни о чудо-оружии, всё, точка, конец, и горлопаны эти исчезнут, сдохнут. Он схватил меня за черные форменные штаны, отодвинул от себя, после столь болезненной близости, и, подковырнув ногтем, сорвал с моего рукава шеврон, знак отличия звеньевого, поднимавший меня над другими. Боль и обида. В ту минуту на пражском вокзале я готов был убить отца.

В Цветле мы опять сидели перед станционным зданием, правда без какой бы то ни было компании, ждали папу, который пошел к своим

1. Ныне Вацлавская площадь в Праге.
2. Пимпф — член юнгфолька.

друзьям Нойнтойфелям спросить, не приютят ли они нас. Двадцать пять лет назад в этом провинциальном городке австрийского Вальдфиртеля я собирал материал для книги, расспрашивал об отце, который в июле 1945 года умер в русском лагере для военнопленных на армейском полигоне Дёллерсхайм; благодаря схематическому плану, начерченному лагерным врачом, местоположение его могилы известно, но в ходе эксгумаций, перезахоронений, бюрократических розысков она попросту исчезла. Могила — на бумаге и в воздухе.

Номера постоялого двора "Нойнтойфель" заняты или по-прежнему реквизированы немецкими офицерами. Нас размещают на верхотуре, в бывшей конторе Союза скотоводов. Это на деревянной галерее, опоясывающей второй этаж и нависающей над двором.

Впервые за много недель нам опять рады. И старики Нойнтойфели, и их взрослые дети, Мими и Вальтер, встречают нас сердечно, вечером обещан горячий ужин. От голода и ожидания у меня слюнки текут. Мими провожает нас в нашу "берлогу". Это слово, в оправе изумления, застряло у меня в голове. (Странно, что удивляющие меня слова существуют не все разом, зачастую они на время исчезают. В ранних воспоминаниях о Цветле это слово до сих пор не возникало.) Мы поднимаемся по ступенькам на галерею, нам с Лорой это так нравится, что мы дважды пробегаем вверх-вниз. А потом через открытую дверь с недоумением заглядываем в контору. Где, впрочем, многообещающе возвышается и двухэтажная койка.

Еще до вечера, до обещанного ужина, мы и вправду успели там расположиться. Письменные столы сдвинули, положили на них матрацы, одеяла и подушки; освободилось даже место для довольно большого стола и стульев, которые, когда в них не было нужды, стояли у стены. Возле двухэтажной койки нашлось местечко и для шкафа. Кому где спать, решали бабушка и папа, с учетом двухэтажной койки. Мама, тетя Кэте, Лора и я поделили матрацы на письменных столах. Клецки с подливкой, наш ужин, импровизированную версию знаменитых "вальдфиртельских", папа одобрительно назвал бомбами. Они лежали в желудке как камни, однако никоим образом не мешали нашему сну.

Днем мы на первых порах обретались в трактирном зале, этаком караван-сарае, где мама с папой изображали писарей, усердно скрипели перьями. Из канцелярии в Дёллерсхайме папа прихватил неиссякаемый запас бланков увольнительных билетов, которые теперь пригодились всем, кто хотел смыться, исчезнуть, уехать домой. Папа заполнял формуляры, мама подписывала их от имени командира роты. При этом разговоры не прекращались ни на секунду — возбужденные реплики, вопросы, не требовавшие ответов: Неужели русские все-таки придут раньше американцев? По слухам, американцы остановились на Энсе. Но в этом нет смысла. Смысла? Папа садился за пианино, стоявшее в нише, и играл шлягеры, а женщины и солдаты подпевали, кто громко, кто тихо. "Все пройдет и все минует"[1], "Танцуя, мы поднимемся на небо"[2], "На волжском берегу стоит солдат...", "Забыла ль ты меня?"[3]. Их сантименты выгоняли меня на улицу.

1. Немецкая солдатская песня, популярная в годы Второй мировой войны, ее исполняла Лале Андерсен.
2. Шлягер 1937 г., песня из фильма "Семь оплеух", которую исполняли Лилиан Харвей и Вилли Фритч.
3. Популярная ария из оперетты Франца Легара "Царевич" (1927).

Я сажусь на угловой выступ возле подворотни: весь мир в движении, никому не сидится дома. Пешком, на грузовиках, на мотоциклах они тянутся нескончаемым потоком: простые солдаты, офицеры, эсэсовцы, молодые женщины, работавшие в разных армейских службах. Все они стремятся к американцам, только бы не угодить в лапы красноармейцев. И в первую очередь этого не хотят русские в черных мундирах, власовцы, воевавшие "на нашей стороне". Не присоединяются они и к нашим войскам, которые день и ночь шагают, идут, ковыляют, бредут, едут, плетутся через Цветль – всегда на запад. Власовцы исчезают в темных лесах, куда так или иначе никто сунуться не смеет.

Тут есть одна коротенькая фраза, что ходит в башмаках с протертыми подметками. На некоторое время она выпала из моего лексикона. А теперь сама собой возникает вновь: Я линяю. Иначе говоря, смываюсь, бросаю свои воинские обязанности. Но чего ради линять? Мужчин, которые линяли, уже не спросишь. Может, ради свободы, ради своей прежней или новой жизни. Многие из тех, кого в нойнтойфелевском трактире уволили из вермахта мама с папой, из тех, что группами по пять человек уходили прочь по Главной улице, а я некоторое время бежал с ними рядом, из тех, кого я по поручению старика Нойнтойфеля обеспечивал водой и кто подсмеивался надо мной, мальчишкой в юнгфольковской форме, – многие из них возвращались обратно, втроем, вчетвером, впятером, измученные, больные, без всякой надежды; американцы на Энсе их не пропустили, отдали на произвол Советов. Они попали "не в тот плен", исчезли в глубине России, в сибирских лагерях, но кое-кто сумел вернуться, много позже, когда мы уже вновь нашли себе квартиру.

"Жить по-человечески" – постоянная тема разговоров в галерейной комнатенке. Бабушка уже через несколько дней принялась перечислять, чего нам недостает, или сравнивала наше убожество с роскошью наших непосредственных соседок по галерее, барышни Линчи и ее сестры, которые вдвоем растопырились в двух комнатах, правда, в уборную, как и мы, ходили на первый этаж, потому что находилась она в прихожей. И водопровода у них тоже не было. Для вечернего и утреннего умывания кувшин наполняли по нескольку раз. Раз в неделю этим занимался я. Когда бабушка одевалась или раздевалась, мне полагалось выйти за дверь, когда она умывалась, понятное дело, тоже.

По-видимому, я воспринимал галерейную комнату как убежище, как безопасный приют, потому что все картины, все сцены, которые я с нею связываю, создают собственную, тесную общность и тепло: стая сплотилась. Ночевка вчетвером на письменных столах не вызывала у меня ни беспокойства, ни возражений. Поскольку каждый мог завернуться в собственное одеяло, оставалось только удержать свое место.

Бабушка ныла с таким упорством, что в конце концов папа предложил ей пустующую виллу, на которую его кто-то навел – не иначе как из чистейшего коварства. Я спрашиваю себя, почему Нойнтойфели его не предостерегли. Они что же, не ждали прихода русских? Все еще питали какие-то нелепые надежды?

Мы переехали. Жильцы – мы заняли только квартиру в нижнем этаже – съехали, по всей видимости, крайне поспешно. Стол на кухне остался не убран. Кто стряпал? Бабушка или мама? Мы вообще ели? Многокомнатное жилье походило на крестьянский музей. Сплошь мебель ручной работы и росписи, огромные шкафы, кровати как корабли – отдельная была не у каждого. Лора спала в щелке между тетей Кэте и мамой. Папа про-

топил колонку в ванной. И через некоторое время действительно пошла горячая вода. Щедро, но недостаточно: мы с Лорой мылись в одной воде.

Любопытно, это первая из всех квартир, которую я помню в мельчайших подробностях, вижу как на картинке, намного отчетливее, чем ольмюцкую. Я словно с широко открытыми глазами медленно ходил по комнатам, по запретным местам. Пытаясь пройти по своим следам, ощутить, как двигался в этих комнатах, я даже теперь, спустя столько лет, замечаю, что готов убежать, исчезнуть. Я тосковал по тесноте и духоте галерейной комнатушки, по голосам старух-соседок и бабушкиным предостережениям: Тише, Линчи умирает. Эту Линчи мы ни разу не видели, только иногда встречали на галерее ее дряхлую сестру, когда она выплескивала во двор грязную воду, а из кухни тотчас выскакивал старик Нойнтойфель и кричал, что отучит ее от этого свинства. Здешние комнаты, стынувшие в своей дремоте, нас отвергали.

Папа решил остаться. Даже когда Красная Армия вступила в город. Хотя вступлением это назвать нельзя. Артиллерийский и автоматный огонь уже некоторое время молчал. И внезапно появились они. Несчетные крестьянские телеги загромыхали по дороге мимо дома, вниз к реке, к мосту. Солдаты, правившие лошадьми, стояли на ногах, приплясывали, их товарищи сидели ссутулясь, теснясь друг к другу. Они не смеялись. Не угрожали. Некоторые настороженно сжимали автоматы. Эсэсовцы, собиравшиеся оборонять Цветль от Советов, бесследно исчезли. Мама стояла у закрытого окна, отец держался в глубине комнаты. В своей детской памяти я натыкаюсь на слова, которые и тогда, и теперь не очень-то много значат, но почему-то запомнились. Мама говорит, что, когда солдаты туго затягивают ремень поверх длинной форменной рубахи, кажется, будто они в юбочках. Так оно и было. В Цветле, я понял это много позже, а в детстве и в юности, скорей всего, понять просто не мог, — в Цветле была минута, когда я разом постарел на годы, от страха. От страха, который распространялся будто газ над самой землей. Я боролся с ним, я, мальчик, который уже отходит от взрослых, ничего больше слушать не хочет, потому что им больше нечего сказать. Не ходи на улицу, просила мама. Но я все-таки удрал, гордый, что иду на риск. Стоял на обочине, смотрел, как мимо трясутся телеги, и остолбенел от неожиданности, когда какой-то солдат бросил мне буханку хлеба. Мама отругала меня, однако добыче обрадовалась. Подобные противоречия меня уже не смущали. Я давно научился нарушать запреты.

Следующую ночь я много раз заново вызывал в памяти, пересказывал ее события, пока не затвердил эти фразы наизусть, а может, мне нужно было удостовериться в нежданной близости к отцу — ведь я снова нашел его, нет, он снова нашел меня. Никакого драматизма, речь не о блудном сыне двенадцати лет от роду, а просто об отдалившемся ребенке.

Красноармейцы ворвались силой. Сперва высадили дверь дома, потом дверь квартиры. Воспользовались нашим испугом. Бабушка от ужаса даже присвистнула, правда-правда. Я настаиваю, хотя тетя Кэте всю жизнь это отрицала: На такое мама была неспособна.

Как мы спали? Где? Вероятно, все в спальне. Может быть, папа — это уже новая версия той истории — сидел рядом, на огромной угловой лавке. Так или иначе, он был одет. Когда красноармейцы ворвались в дом и зажегся свет, он стоял в своем сером двубортном костюме, подняв руки над головой. Офицер говорил по-немецки. Но папа все равно бы его понял. Он знал не только чешский, но вполне прилично владел и русским.

Папа несколько раз повторил, чтобы я не вставал.

Офицер тоже велел нам оставаться в кроватях.

Потом спросил у папы, здесь ли мы живем.

Папа ответил тихим "да". Он сказал правду: мы заняли эту квартиру, поскольку она пустовала.

Тогда вы наверняка хорошо ориентируетесь в доме? — спросил офицер.

Нет, ответил папа.

Как же так?

Мы совсем недавно тут поселились.

И я должен поверить?

Да, пожалуйста.

Вот такие диалоги я придумываю. И реальные диалоги наверняка были похожими. Только у них нет голоса.

Офицер приказал папе показать ему дом. От подвала до чердака. Возможно, здесь спрятано оружие.

Не знаю я, да и не могу знать.

Но ведь вы тут живете.

Офицер засмеялся. Солдаты вывели отца из комнаты.

Все, в том числе и бабушка, встали. Лучше бы нам остаться в галерейной комнатушке, посетовал кто-то из женщин.

Молодой красноармеец, которого оставили караулить нас, не выпускать из квартиры, дружелюбно называл бабушку по-русски — "бабуля". Сейчас он сидел, как и мы, ожидая, когда что-то произойдет, послышатся громкие голоса. Но все было тихо, тишина затягивалась.

Кому вообще пришла в голову идея переехать сюда?

Руди.

Но кто-то должен был ему сказать, кто-то из местных.

Возможно, молодой Нойнтойфель.

Наш караульный, не понимая ни слова, вздернул плечи и смущенно улыбался.

Замечаем ли мы тот миг, когда страх скачком становится смертельным? И смертельный ли это страх, когда боишься смерти другого — отца?

Они привели его обратно, большого, сумрачного, бледного. Глаза — крошечные за стеклами очков. Ничего страшного, сказал офицер, недоразумение. Он все объяснит. И обернувшись к отцу: Вы сами виноваты.

Сплошь загадочные солдатские фразы. Я стал рядом с папой, прижался к нему, схватил за руку. Ладонь была мокрая от пота, он весь дрожал. Мы разделили свой страх. Ни до ни после я никогда не чувствовал такой тесной связи с ним.

Обозвав себя ослом, папа открыл нам секрет этой виллы. Кто раньше жил в наших комнатах, я не выяснил, вероятно тоже какой-то партийный чинуша, а вот второй этаж занимал гаулейтер Нижней Австрии д-р Юри, один из самых высокопоставленных павлинов "Восточной марки"[1]. В противоположность нашему недобровольному благодетелю, он не смылся, а пустил себе пулю в лоб. И так и лежит при полном параде возле своего огромного письменного стола.

Когда мы рано утром уходили из этого дома — мне запомнилось, что мы крались на цыпочках, — двое работяг как раз выносили гаулейтера.

1. Восточная марка (Остмарк) — наименование Австрии после аншлюса на жаргоне немецких фашистов.

Прежде чем забросить труп на тачку, они наподдали его ногой. И папа сказал: эти пнут каждого, кто не шевелится.

Мы вернулись в галерейную комнату. С той разницей, что немецкие солдаты, уволенные моими родителями, исчезли, а в большом дворе под галереей красноармейцы раскинули бесшабашный, шумный лагерь. Грузовики, телеги вокруг неугасимого костра. Мама не пускала меня вниз. Она и тетя Кэте на галерее не появлялись, волосы не мыли, головы заматывали платками, чтобы не дразнить солдат. Папа скрылся в одной из комнат переднего дома и носа оттуда не казал. Собираясь в нойнтойфелевской кухне поесть, мы обменивались новейшими, весьма жуткими новостями, г-н Нойнтойфель называл их ужасами: почти все магазины и квартиры были разграблены; женщин любого возраста насиловали; особенно эти парни зарятся на часы, аккордеоны и хорошие фортепиано. Армейское командование на две недели разрешило им мародерство, потом все опять будет нормально.

Как только взрослые заговаривали о будущем, непременно звучало это словечко — "нормально", от которого будто исходили какие-то чары. Что значило — нормально? В какую сторону нормализовался истерзанный, слетевший с катушек мир? Мое детское "я" притерпелось к тревоге, научилось обуздывать страхи, чувствовало свое превосходство над взрослыми, потому что могло кочевать меж друзьями и врагами, двигаться по обе стороны и обходило опасности, грозившие старшим.

Хотя двухнедельный срок, отведенный на мародерство, истек, женщины пока не решались выйти из галерейной комнатушки. Лору тоже не выпускали. И моих исчезновений толком никто не замечал. Вечерами, правда, я пригождался. Читал всем вслух. Книги, сплошь любовные и героические истории, вероятно, брали у Мими Нойнтойфель. После каждого чтения бабушка пророчила мне прекрасную актерскую карьеру.

Территория моя расширялась. Поначалу я слонялся во дворе среди молоденьких солдат, которые часто уже с утра вдрызг напивались, без конца пели заунывные песни, сперва запевала, потом хор, под аккомпанемент неизменной гармошки. Чтобы порадовать маму, сетовавшую на отсутствие табака для сигарет, я таскал из кабин грузовиков, из боковых карманов на дверцах, виргинские сигары, а после мелко их рубил.

Нойнтойфелевская усадьба располагалась над городской стеной, а пониже ее находился огородик, границей которого служил ручей. Там росла морковь, и временами я выдергивал одну, мыл в ручье и жадно съедал. Как-то раз молодой Нойнтойфель застукал меня за этим занятием и здорово поколотил.

Я вообще его недолюбливал, ведь он бросил папу в беде. Недели через три-четыре после прихода Красной Армии по всему городу были расклеены объявления, извещавшие, что всем мужчинам от 16 до 65 лет надлежит явиться в комендатуру. Новость эту принес молодой Нойнтойфель и тотчас решил: он слиняет, не хватало только теперь, когда все кончилось, загреметь в плен. Папа высказался согласно принципу, который я хорошо знал и которому безропотно подчинялся. Для него невозможно сразу же нарушать новые законы. Вдобавок он уверен, русские вряд ли задержат их надолго, вероятно, зарегистрируют, и только. Все начали его отговаривать, упрашивать. Женщины расплакались; мне их мольбы показались недостойными. Он пошел, с чистой совестью. Но он был болен. Уже который день его мучила дизентерия.

Массы людей бесконечным потоком шли через городок, ставший ареной человеческого горя. Иногда я пробегаю несколько шагов следом за этими бедолагами и их историей. Иногда то один, то другой выступает из туманного, размытого фона. К примеру, фельдфебель с мотоциклом, стоявший на перекрестке возле чумной колонны[1], артист, дирижировавший потоками людей, машин и телег, он метался туда-сюда, останавливал автомобили, заступал дорогу лошадям, указывал направление заплутавшим солдатам, выкрикивал названия населенных пунктов, на миг подхватывал под руки падающих от слабости девушек-связисток, словно по волшебству вливая в них силы. На мотоцикл он вскочил, только когда перекресток опустел, когда из переулков никто больше не появлялся, ни маленькие, ни большие группы, посланные в дорогу незримым помощником. Он исчез и все-таки остался. Вероятно, американцы отправили его назад, к русским.

Папа ко мне не вышел. Замешался среди других военнопленных, которых никто в плен не брал, которые, как и он, явились сами. Мама дала мне пачку таблеток от дизентерии и велела обязательно передать ему. Я сидел на ступеньках чумной колонны. Я уже писал все то, что пишу сейчас, и чем чаще я возвращаюсь на это место, повторяю сцену, нет, повторяю себя, тем дальше отступает в нереальное пространство та реальность, к которой я пытаюсь приблизиться. Мой отец жил, шагал среди своих товарищей и все-таки уже был мертв. Лекарства уже не могли помочь. Да я и не сумел бросить ему таблетки, молодой красноармеец оттолкнул меня прикладом автомата. Никс, нельзя. Я подчинился, а потом в нойнтойфелевском сарае засунул таблетки поглубже в трухлявое сено. Ты видел его? Лекарство отдал? Не помню, что́ я ответил и ответил ли.

В те дни, когда пропал мой отец, ночи в Цветле и его окрестностях были шумными. Опять стреляли, хотя и вдалеке. Слышались крики. Русские с пристрастием допрашивали своих соотечественников, солдат-власовцев, потому что они воевали не на той стороне, за немцев.

Я был по горло сыт и Цветлем, и галерейной комнатушкой, хотя места у нас стало побольше. Линчи умерла, и бабушка перебралась к ее сестре; мне было невмоготу, хоть я и не видел, как бабушка чуть не умерла от тифа, а маму изнасиловали, — мы с тетей Кэте ездили тогда в Брюнн за документами и драгоценностями. Вместе с тетей Кэте я спрашивал себя: Чем мы виноваты, что все это не кончается? И с облегчением узнал, что мы поедем в Вену, а оттуда нас отправят в “старый рейх”.

Венская квартира по сравнению с галерейной комнатушкой сущий дворец, просторная, с укромными уголками, а главное, с чистыми белыми постелями для нас; распоряжалась там Бронка. Фамилию ее я так и не узнал, она представлялась мне посланницей другого, более изобильного и человечного мира, но прошла Освенцим, и на предплечье у нее синела цепочка цифр. Кто знал и рекомендовал нам этого ангела-спасителя, эту охочую до объятий согревательницу душ? Может, тетя Кэте была знакома с нею еще по Брюнну, может, она была из Рибашей? Из еврейских друзей? В разрушенной Вене она чувствовала себя как рыба в воде. Прекрасно ориентировалась в городе, знала, где в развалинах еще теплится жизнь, еще есть приют. Иногда она брала меня с собой. Мы вместе чита-

1. Такие колонны воздвигались в Европе в XVII–XVIII вв. по случаю окончания чумных эпидемий.

ли записки: люди искали друг друга. Будто чудовищный взрыв разметал нас во все стороны, говорила она. Однажды, когда мы карабкались через груду камней, перед нами вдруг вырос красноармеец. Широко улыбаясь, он сунул мне книжку, видимо найденную здесь, под обломками, — "Эмиль и детективы" Кестнера.

В честь нашего приезда Бронка приготовила вкуснейшую штуку, которую я бы с радостью ел хоть каждый день, — салат из мясистых бобов, сдобренный репчатым луком, чесноком и перцем. Это блюдо превосходило и мамин "картофельный гуляш с экстренными новостями", и "вальфиртельские клецки", которыми г-жа Нойнтойфель угостила нас на прощание вместо "бомб".

Бронка посоветовала мне поездить на трамвае. Так я узнал Вену. Вену и черный рынок. Вену и солдат четырех союзных держав. Вену и многообещающе красивых, обвеянных крепкими духáми женщин, которые имели привычку трепать мальчишек вроде меня за подбородок. Кому принадлежал девятый район — французам? Неохота мне ни проверять, ни спрашивать. Кроме меня и Лоры, никого уже нет в живых. Стало быть, пускай будет девятый район, район Шуберта и Додерера[1], и теперь я уверен, что уже видел все это, в 1946-м, юными и неиспорченными глазами: Химмельпфортгрунд, дом Шуберта, лихтентальскую церковь, штрудельхофскую лестницу, додереровский винный погребок, чье название я не хочу выдавать и оттого постоянно забываю. Эта Вена первого послевоенного года, каменистая, серая, оборачивается беспримерной сценической площадкой, населенной персонажами, которые сплошь не в себе, сплошь играют чужие роли. Они исчезнут, но не бесследно.

Развалины давно разобраны, руины уступили место непримечательным новостройкам, старые дворцы на Ринге, на Грабене отремонтировали, навели на них лоск. В "Гавелке" я в 1970-м встречался с Фридрихом Торбергом[2]. Он тогда с увлечением писал роман о единственном еврейском миннезингере, Зюскинде из Тримборна, всерьез, всей душой погрузился в эту работу и задействовал меня в качестве редактора.

В 1946 году я слушал другого человека, который у Торберга, при его-то взыскательности, вызвал бы разве что сочувствие, — Хуго Марию Крица, точнее Крицковского, автора печатавшихся в журнальчике "Хёр-цу"[3] романов, вроде "Головин идет по городу" или "Признание наедине". На свидание с ним тетя Кэте пошла вместе со мной. В "Гавелку"? Кафе, погребки все походили один на другой — уже своими посетителями, которые торговали друг с другом, угощали друг друга затрещинами, но свято верили, что скоро заживут лучше. Война, от которой они ждали удовольствий, осталась позади, а мир, хоть и был ужасен, сулил больше: всякий уже заново пересказывал свою историю, число участников Сопротивления против Гитлера множилось, всякий рассчитывал на умышленную забывчивость другого, а кто кое-что знал о другом, шантажировал его тем, что знает.

Среди этих мошенников и лжецов, стремящихся любой ценой спасти свою шкуру, Хуго Мария Криц выглядел сущим аристократом. Не то чтобы я им восхищался, наоборот, скорее он вызывал у меня недоверие. Сочинителей своих любимых книг — Купера, Мариэта, Дину Нелькен,

1. Хаймито фон Додерер (1896—1966) — австрийский писатель.
2. Фридрих Торберг (1908—1979) — австрийский писатель.
3. Еженедельник радиопрограмм.

Эйхендорфа – я представлял себе не такими спесивыми и надутыми. Они безропотно пускались в любые авантюры, пересекали моря, исследовали неведомые острова. Милый Хуго, как его называла тетя Кэте, делил свои произведения согласно ходу времени: Мой последний фильм перед "крахом", мой первый роман после него. Ему не приходилось, как большинству, внушать себе иллюзию счастливого будущего и успехов. Конечно, Торбергу он в подметки не годился, но на расплывчатых картинках моей детской Вены неизменно присутствовал. Спустя десятилетия – мы тогда договорились встретиться в "Бристоле" на Курфюрстендамм[1] – он внес коррективы в то представление, какое сложилось у меня после венской беседы: высокий, хрупкий, безупречно одетый, очень старый господин, уроженец богемского Юнгбунцлау[2] и все же вполне подходящий как персонаж торберговской "Тетушки Йоллеш", хотя бы и второстепенный. Денди, образованный и меланхоличный, по-прежнему зарабатывавший на жизнь, продавая читателям банальности под видом судьбы. Я говорю ему, что он был первым писателем в моей жизни. Возможно, я вас и заразил, ответил он. Я не стал возражать. И узнал от него, что Бронка с кучей детей эмигрировала в Израиль. Еврейских детей-сирот, родители которых сгинули в концлагерях и которых она временно определила в приют. Теперь я понял, что значит это "временно".

В дебатах между тетей Кэте и мамой Бронка никогда не участвовала. Ей было безразлично, что́ они планировали, куда их тянуло. В Брюнн ли, в Дрезден ли. Что тетя Кэте считала полным абсурдом. Город-то больше не существует.

Думаю, Бронка подготовила наш переезд, добыла у французов нужные бумаги, а главное – позаботилась перевезти наш скарб к месту отправления, к товарной железнодорожной ветке возле Дуная. Мы добрались туда на фиакре. Вереница вагонов-телятников на рельсах. Бабушка не поверила, что мы поедем в них. Бронка рассмеялась: Почему это вам должно быть лучше, чем евреям! – и помогла нам зарезервировать в одном из вагонов место для семьи. Кто знает, как долго придется ехать. Я крепко прижался к Бронке, когда она меня обняла. Маленькая, ростом не больше меня. Волосы душистые, шелестящие. Тоска по ней захлестнула меня спустя годы, когда я писал "Цветль". Может, я любил ее, сам того не зная?

Мы обосновались в нашем первом и единственном жилье на колесах. Через два дня прицепили паровоз, а перед этим французские солдаты раздали продовольственные пайки. И детям, и взрослым одинаковые. Там было две пачки "Де труп" – сигарет из крепкого черного табака, соленые галеты, сухое молоко, яичный порошок, сухой джем, который у людей чувствительных вызывал расстройство желудка. В том числе у меня. И на каждую семью по буханке хлеба.

Свою первую сигарету я выкурил еще в Вене. И настоял, чтобы хоть одна пачка осталась у меня. Тем более что она из моего собственного пайка.

И вот начался долгий путь.

Эшелон то и дело останавливался, словно ему трудно покинуть Вену, выйти на незащищенные или защищаемые другими земли. В любом слу-

1. Улица в центре Берлина.
2. Ныне г. Млада-Болеслав (Чехия).

чае наш маршрут проходил через советскую зону. Что до предела обострило все мыслимые опасения: Русские нас задержат. Ссадят с поезда. А тогда мы окажемся аккурат там, где быть не хотим. Эшелон контролировали, все до единого вагоны, но красноармейцев всегда сопровождали французы, наши новые защитники.

Все говорили без умолку, но ни к кому не обращаясь. Сетовали на нарушения границ чужого мирка, жаловались на вонь и утрату хороших манер, на голод и жажду, на то, что порядочному человеку невозможно справить нужду, пока поезд едет. Кое-кто выражался куда грубее: посрать и поссать. Сухой джем из ежедневного железного рациона обеспечивал всем жидкий стул, даже опытные женщины из сербской Бачки лишь с напряжением всех сил ухитрялись при открытой двери вагона, задрав юбки и вцепившись в поручень, выставить наружу голый зад. Всякий раз, когда пузырь переполнялся, меня охватывала паника. Существовали твердые правила: писать по ветру. Одна рука на поручне, другая направляет струю куда надо. Справлять нужду только на прямых перегонах. Для малышей возле двери стояло ведро. Ночью, зачастую от страха, любую нужду справляли в штаны, и вонь стояла несусветная. Тем не менее холод заставлял нас жаться друг к другу.

В феврале 1946-го нас пять недель кряду перегоняли с одного запасного пути на другой, сперва в Австрии, которую большинство по-прежнему называло Восточной маркой, потом в Германии, и слухи, точно отравные миазмы, клубились вокруг вагонных сообществ. Небось французы все-таки отдадут нас русским. Да, из русской зоны мы выбрались, но это вовсе не означает, что нам позволят остаться во французской зоне. Эшелонное начальство объявило, что на границе, в Пассау, католиков и протестантов якобы разделят и определят по разным местам.

Мама прямо зациклилась на Дрездене. Больше никуда ехать не хотела. Бабушка безучастно соглашалась с любым решением. Она занимала значительную долю нашего "отсека". Большей частью сидела, подложив под спину свернутое одеяло, прислонясь к стенке вагона, и взглядами, руками, носовыми платками оборонялась от атакующей грязи. Если на станции раздавали суп или кашу, она единственная расстилала на коленях салфетку и пользовалась столовым прибором, не в пример чавкающей, оголодавшей орде прочих дикарей. Такой я вижу ее до сих пор. И позднее она всегда оставалась верна себе — дама, которой любой хаос нипочем. По сей день я вижу во сне и престарелую пару: тесно прижавшись друг к другу, они сидели под одеялом, которое, как шапка, спускалось им на лоб. Или женщину, которая вдруг подняла своего младенца над головой и долго не переставая кричала: Он умер. Умер. Мы его убили.

Мужчина на костылях вышел из ступора, только когда мы миновали Пассау, когда граница осталась позади. Раньше он сидел неподалеку от двери, которую не открывали из-за ледяного ветра. Он чуточку отодвигал ее, если кому-то нужно было пописать. Когда эшелон останавливался, инвалид пинком уцелевшей ноги распахивал дверь, и все кидались наружу.

В начале пути я большей частью держался возле мамы. Она укрощала неуверенность, беспорядок. Смеялась, разговаривала с другими, расспрашивала их. Поэтому я первый и заметил, как она, забыв о себе, нет, вернее о нас, обратила все свое внимание на некоего мужчину, который был мне крайне несимпатичен. Тетя Кэте назовет его пролетарием. И скажет: Он не нашего круга. Но к тому времени мама давно уже была с ним.

Из Цветля я захватил с собой игрушку, тряпичный мешочек, набитый мякиной, нечто среднее между человечком и зверьком. Сшила игрушку и придала ей форму Мими Нойнтойфель. Игрушка прекрасно умещалась в брючном кармане (я по-прежнему носил юнгфольковскую форму, с которой папа сорвал все "регалии") или под курткой. Ночью, когда все громко сопели, храпели, разговаривали во сне, я выпускал игрушку из заточения. Гладил ее, шептался с ней, прижимал к себе. Как-то раз тетя Кэте застала меня за этим занятием и посчитала, что я веду себя ненормально.

С каждым днем я все больше боялся чесотки. Прошел слух, что больных будут снимать с поезда.

А как я завидовал Лоре, ее естественной близости к маме. Она и новую мамину любовь, похоже, не замечала. Мала еще, говорил я себе.

Возможно, я примкнул к Костылю и его детской банде, чтобы не мешать маме и ее хахалю. Костыль собрал всю эшелонную ребятню. Сумел даже уговорить взрослых в вагоне немножко потесниться, когда мы усаживались вокруг нарисованного от руки поля для игры в уголки. Если мы слишком шумели, Костыль утихомиривал нас своим костылем. А когда мы во время очередной остановки мчались на поле, чтобы хорошенько размять затекшие от сидения и стояния руки и ноги, Костылю полагалось оставаться впереди. Он двигался ловко и быстро, а голос его гремел как труба. Эшелон к нам привык, и родители испытывали к Костылю благодарность. Он и недоверия не вызывал, не то что другие мужчины, и гадостей про него не говорили. Будь он раньше хоть эсэсовцем — потеряв ногу, он все "искупил" и больше ничего натворить не сможет.

До поры до времени эта простенькая мораль не вызывала у меня сомнений. Но уже через несколько месяцев после переезда, летом 1946-го, я заметил, что на подмостках Великой Германии явно орудовали только Гитлер, Геббельс, Геринг и максимум еще тысячи три других важных и неважных фюреров, а вот все остальные были в Сопротивлении, конечно же молчаливом, ведь иначе могла бы возникнуть опасность для жизни. Нет, Костыль был не из их числа. Он запрещал нам играть в войну, предпочитал рассказывать про свою левую ногу, которую хирург в России отрезал и швырнул в мусорное ведро, а она стала фантомной, призрачной ногой, сгнившей в России, невидимой и все-таки существующей, да еще и обзавелась дурацкой привычкой иной раз бежать быстрее, чем здоровая, а не то наливаться в постели свинцовой тяжестью. Он рассказывал так красочно, что порой я видел эту его автономную ногу во сне и изрядно удивился, столкнувшись с нею в 1949 году на выставке Джакометти[1] в Цюрихе. Без всякой ссылки на Костыля в каталоге.

В Пассау нас приняли американцы. Бабушка возмущалась, что солдаты заподозрили, будто у нее есть вши. И вели они себя непристойно. Приказали расстегнуть рубашки, оттянуть резинки трусов и с помощью специальных аппаратов вдували туда белый порошок. Тетя Кэте сумела сломить бабушкино сопротивление, напомнив ей про чесотку. Эшелон двинулся дальше, под охраной американцев. Эшелонное начальство сменилось. Кое-кто из пассажиров нашего вагона исчез, прежде всего "ненадежная публика", как их называла мама, но и престарелая пара тоже. Они и жили-то через силу, сказала мама. В вагоне стало чуть посвободнее. Семейные "отсеки" расширились. Американцы с бóльшим пони-

1. Альберто Джакометти (1901—1966) — швейцарский скульптор.

манием относились к нашим "человеческим потребностям", чем переубедили бабушку. Эшелон чаще делал короткие остановки, необходимость в отчаянных маневрах у двери почти отпала. Мы разбегались по близлежащей местности, и со стороны все это, должно быть, напоминало этакую брейгелевскую картину — стоящие, сидящие на корточках, согнутые в три погибели фигуры. Получив в Пассау суп и пакет со жратвой, мы, минуя несчетное количество стрелок, въехали в американскую зону.

На ландсхутском вокзале, в необозримом пустынном лабиринте рельсов и бомбовых воронок, эшелон застрял надолго. После исчезновения паровоза мы разбили лагерь возле вагонов. Наконец-то не опасаясь паровозного свистка, загоняющего всех в эшелон. Какая была погода — холодная или теплая? Мы сидели вокруг костров — значит, ночами было свежо, — а в кострах жгли шпалы, искореженные и переломанные бомбами. Они долго давали жар.

Костыль ходил с нами, мальчишками, на разведку, мы обследовали привокзальную территорию. Искали дрова, в одном месте там был песок, мы ложились на спину и показывали друг другу созвездия. Несколько раз я брал с собой и Лору, тетя Кэте ее подзадоривала: Не бойся, Петер тут все знает. Что не соответствовало действительности. Многие уголки и закоулки я обходил стороной, домишки, будки между путями, явно обитаемые, потому что иной раз в этих привокзальных лабиринтах мелькали какие-то пригнувшиеся фигуры.

Ландсхут сделался для меня особенным, потому что с ним связаны минуты, полные тоски и отрешенности. Ландсхут не город, а состояние. Однажды вечером, когда мои "три женщины" уже ушли спать в вагон, я заметил вдали, за путями, освещенное окно. Долго смотрел на него, потом, уступив соблазну, встал и, точно в трансе, пошел на свет, к этому постепенно увеличивающемуся окну. В конце концов я очутился с ним рядом — оно находилось в нижнем этаже незаметного дома, — оперся руками о стену и стал на цыпочки. Увиденное дышало таким покоем и цельностью, что показалось мне совершенно нереальным. Хотя это была та самая реальность, по которой я тосковал. Две женщины, старая и молодая, сидели друг против друга за столом, пили чай. Они разговаривали. Но я их не слышал. Временами молодая поглядывала на окно, и я отпрядывал в сторону. Впрочем, я мог и ошибаться. Всем своим существом я стремился внутрь, в этот покой и свет. Примут ли они меня? Не прогонят ли? И такое возможно. А какой шум поднимут бабушка и тетя Кэте, если я вовремя не вернусь к эшелону. Молодая женщина встала, отнесла чашку в раковину и вышла из кухни. Старая подперла голову ладонями и замерла. Словно задремала. Меня вдруг захлестнуло чувство, что я мешаю. Покой, так притягивавший меня, теперь отталкивал.

В дороге мы провели больше месяца. Целых пять недель. Тетя Кэте точно знала. Сам я этого утверждать не мог. Эшелон двигался вне времени. Старый детский вопрос "Когда мы приедем?" мы не задавали, ведь никто не мог назвать нам пункт назначения.

Потом мы все ж таки оставили свое жилье на колесах, перебрались в бараки с бесконечными рядами нар. На сей раз нам не удалось отвоевать себе "семейную территорию". Мне отвели место вдали от бабушки, тети Кэте, мамы и Лоры. Почувствовал ли я тогда на миг растерянность? Если мне что и вспоминается, то собственное упорство, решимость наперекор всему справиться с неразберихой. В этой долгой дороге я при-

обрел и развил кой-какие качества: любознательность, осмотрительность, недоверчивость. Усвоил, что взрослые, в первую очередь мужчины, часто были совсем не такими, как на самом деле. Единственный, насчет кого я был уверен, что он в этих играх не участвовал, был отец. "Разжаловавший" меня на пражском вокзале. Вообще говоря, я понятия не имел, как он, адвокат, действовал и думал при Гитлере. Рисовал его себе антигероем. В 1992-м, когда впервые побывал в Ольмюце, я был ошеломлен: люди с уважением вспоминали адвоката, который до 1943 года защищал не только немцев, но также чехов и евреев.

В лагере Вассеральфинген у нас наконец опять появилась возможность помыться и принять душ. Нам выдали мыло и полотенца. Женщины и мужчины мылись раздельно. Дети — вместе с женщинами. Я в первый раз увидел маму раздетой среди голых женщин. Чувствовал ли я стыд? По-моему, мама была красивее других. Я гордился ею, любил ее. Как-то раз я видел, как медсестра из Красного Креста брила молодой толстухе волосы на лобке, сперва намыливала, взбивая густую пену, а потом снимала бритвой эту пену вместе с волосами. У нее вши, площицы, пояснила она. Во время одной из немногих ночей в Вассеральфингене у меня во сне случилась первая поллюция. Я упорно не желал вставать, надеялся, что все высохнет, не оставив следа.

Стоило бы спросить теток, когда, в какое время года нас везли из Вены в Вассеральфинген. Но их нет в живых. А сохранились ли где-нибудь в архиве транспортные документы, это еще вопрос. Кому полагалось об этом позаботиться? Американцам? Французам? Немецким властям? В моих воспоминаниях эшелон идет через два времени года. От Вены до Вассеральфингена (или только до Пассау) кругом холод конца зимы. Но на место он прибывает летом. Кажется, уже поспели черешни. Во главе с проворно скачущим Костылем мы высыпали на лужайку, поросшую фруктовыми деревьями, набивали полный рот сладкими ягодами, глотали мякоть, выплевывая косточки. Из-за сарая, будто нарочно нас поджидали, выскочили двое мужчин, замахали косами, чужие и грозные, как из другой эпохи. Однако они недооценили нашего вожака. Он оперся на один костыль, поднял второй и как начал на них орать: обзывал спекулянтами, "тыловыми героями", крохоборами, которые удавятся, но ни одной ягодки голодным детям не дадут. Мужики оробели от его крика.

И снова мы штурмом брали вагоны — летом, да, точно летом, знать не зная, куда нас повезут, по распоряжению какой-то далекой власти. Молва перебирала названия населенных пунктов. Эшелон доставил нас в Бад-Канштатт и остановился напротив шоколадной фабрики "ЭСЦЕТ". У нас слюнки потекли. Костыль намечал совершить с нами, детьми, разбойный набег, но до этого не дошло: эшелон переформировали, три вагона, в том числе и наш, отцепили, и мы отправились дальше, правда недалеко: в Нюртингене путешествие закончилось на запасном пути.

Кристоф Хайн

Два размышления о странствиях и изгнании[1]

Перевод Б. Хлебникова

1

Изначальный смысл слов "эмиграция" и "миграция" подразумевал нечто дружелюбное, приятное, открытое всему миру, они говорили о путешествиях и возвращении из путешествий, о своего рода туризме, благодаря которому достигается желанная, свободно избранная цель, — о занятии весьма жизнерадостном, которому посвящались специально сочиняемые по этому случаю песни. Такой путешественник или странник берет с собою провиант, чтобы подкрепиться в пути, а вовсе не для того, чтобы обеспечить свое существование до конца дней. И посох в руке странника призван лишь облегчить пешее продвижение, а не служить оружием, средством защиты его безопасности, свободы и самой жизни.

Странствие — таково было изначальное значение упомянутых выше слов, однако, похоже, это их значение теперь накрепко забыто. Эмигрант и мигрант вызывают ныне совсем иные ассоциации, нежели образ путника, спокойно шагающего лесною дорогой. Эмигранты и мигранты прочно связались в нашем сознании с представлениями об изгнанничестве. Это люди, спасающиеся бегством в неизвестность от опасностей, которыми грозит судьба, — они изгнаны из родных палестин и нежелательны в наших краях. В их дорожных котомках недостаточно припасов, чтобы добраться до цели, у них слишком мало денег, чтобы стать дорогими гостями на новом месте. Но главное — у них не те бумаги: не хватает официальных документов, способных обосновать пребывание у нас, а справки, имеющиеся в наличии, наверняка просрочены, отчего пришельцу надлежит следующим же утром, собрав пожитки, отправляться дальше, поскольку "наша лодка" и без того полна, а все места за столом давно заняты. Вместо бумаг правильных и необходимых, вместо подписанных властными лицами и снабженных государственной печатью документов, вместо ценнейшего в любой стране вида на жительство — денежной банкноты, у этих пришельцев есть только бумаги, предъявляемые в качестве свиде-

© Suhrkamp Verlag Frankfurt am Main, 2003
© Б. Хлебников. Перевод, 2004

1. Речь, произнесенная на Форуме иммигрантской литературы, который состоялся 28 сентября 2000 г. в Евангелической академии Берлина. А спустя всего несколько дней, 4 октября, был совершен поджог синагоги в Дюссельдорфе. Ранее, 27 июля того же года, на одном из вокзалов Дюссельдорфа был устроен взрыв, от которого пострадали девять евреев-переселенцев из России. Всего же Федеральное ведомство по охране конституции зарегистрировало за 2000 г. около 16 тысяч правоэкстремистских преступлений, направленных прежде всего против иммигрантов и евреев, что почти на 60 % превышает количество аналогичных преступлений за предшествующий год (рост преступлений антисемитского характера составил почти 70 %).
Поджог синагоги в Дюссельдорфе вызвал волну общественного протеста по всей Германии. Прозвучали требования запретить неонацистскую партию НПД.
6 октября 2000 г. еженедельник "Фрайтаг" опубликовал статью Кристофа Хайна с текстом его выступления на Форуме иммигрантской литературы.

тельств о грозящих опасностях, преследованиях, о нетерпимости и ненависти, об убийствах и массовом уничтожении людей. Вместо требуемых властями бумаг они извлекают никем не прошенные листочки и настаивают на нашем ознакомлении с этими свидетельствами их бед, настаивают на том, чтобы данные свидетельства признавались в качестве официального удостоверения личности.

Эти бумаги бывают неразборчивы, их тексты тягостны, нам не хочется в них вникать, да и понять их почти невозможно, поскольку содержание таких бумаг отдает архаикой, они кажутся давно устаревшими, не имеющими ничего общего с нашим современным уровнем культурного развития, где тексты, чтобы быть читабельными, должны носить занимательный и развлекательный характер. Книги должны забавлять, иначе они отправляются в макулатуру. Наша культура стала чистой забавой, мы не готовы этим поступиться; поэтому предлагаемые свидетельства бед смущают нас, сбивают с толку, и мы оберегаем себя от них, попросту отказываясь воспринимать их всерьез. Предлагаемые свидетельства не вызывают сомнения в их подлинности и важности, запечатленные в них судьбы бесспорно драматичны и заслуживают всяческого уважения, которое и надлежит оказать, однако сверх того это не должно нас обременять, тем более — излишне занимать наше внимание и время.

Можно даже говорить, что мы проявляем известную чуткость по отношению к пострадавшим и свидетельствам их бед, ибо некоторое время тому назад, в том прошлом, о котором сохраняются лишь смутные воспоминания, кое-кто из наших соплеменников тоже оказывался в подобных ситуациях, однако эти соплеменники уже тогда были нам обременительны. Зато теперь у нас демократия, она считается стабильной и достаточно прочной, а наш образ жизни — вполне современным. Мы застраховали себя от неприятностей со стороны соседей, со стороны природы, даже со стороны нашей собственной природы, к судьбе мы относимся как к полному интересных приключений и даже несколько рискованному каникулярному путешествию, призванному оттенить достигнутый уровень безопасности нашего существования. Да, смерть пока не отменена, как и некоторые из хворей, еще предстоит кое-что расшифровать в человеческом геноме, прежде чем мы сможем совершенно беззаботно предаваться бесконечным удовольствиям. Но покуда мы еще смертны, мы предпочитаем лучше до смерти навеселиться[1], нежели умирать со скуки. А беженцы и свидетельства их бед нагоняют скуку. Наверняка это хорошие люди и смелые бойцы, им многое пришлось пережить и еще предстоит пережить, они испытывали удары судьбы, но все это недостаточно занимательно, чтобы привлечь наш интерес.

Эмигранты и мигранты не являются странниками или путешественниками, то бишь туристами, с которыми мы не прочь поболтать за кружкой пива. Их скитания отмечены печатью изгнания, они ищут убежища, что затрудняет наше взаимопонимание, ибо наше бытие настроено на иную тональность. Мы уважаем этих людей, готовы воздать им почести, но в остальном было бы желательно, чтобы они не вторгались в нашу жизнь. Наконец, мы согласны оказать им финансовую помощь — ведь мы же не злодеи, — переведя некоторую денежную сумму на указанный счет. Однако даже от изъявления благодарности — увольте. Изгнанничество — это стигма, а не пригласительный билет. Нам хватает собственных проблем, справиться с ними непросто, еще сложнее добиться успеха, поэтому мы располагаем только крайне ограниченной возможностью заботиться о других, да и то лишь в том случае, если нам не грозит опасность пострадать самим.

Двадцатый век явил нам различные жизненные принципы и мировоззрения, большинство из которых потерпели крах и вызывают сегодня разве что улыбку. Отсюда извлечен единственный прочно усвоенный урок: на всех не хватит. Милостыня и подаяния — это крохи от того пирога, вокруг которого толпится множество едоков, ожидающих своей доли.

1. Намек на популярную книгу социолога Нила Постмена (Neil Postman. Amusing Ourselves to Death, 1985).

В случае серьезного кризиса на всех не хватит даже крох.

Эти скитальцы ищут пристанища, они нуждаются в убежище, но у нас им его не найти. Мы укажем им какую-нибудь надежную третью страну, где скитальцам придется вновь извлекать свои бесполезные бумаги. Так что не стоит питать иллюзий: на самом деле так называемой надежной третьей страны не существует в природе, как нет и пресловутого "третьего пути"[1], а страну "Утопия" можно найти только с компасом, который работает на "принципе надежды"[2]. Цель скитальцев – убежище, путь – их судьба.

2

Где и когда начинается эмиграция?

Найденное пристанище – ее конец, а начинается она во вполне обыденной жизни, в обычном городе с обычными людьми, и происходит это явно и недвусмысленно в тот день, когда кто-то говорит "Вот он!", показывая пальцем на некоего человека, а другие подхватывают этот клич, и человек подвергается остракизму за то, что он "не такой, как все", по расовым, религиозным и идеологическим причинам или по причинам культурного характера.

"Когда школьники дерутся, это вполне нормально, – сказал однажды Иван Нагель[3], – но когда два-три одноклассника ежедневно избивают тебя за то, что ты еврей, само это слово ранит больнее любых ударов". От ссоры на школьном дворе, в которой так трудно разграничить дурное ребяческое настроение и углубляющуюся иррациональную ненависть, ведет прямая дорога к убийству и геноциду, прямой путь к вражде, живой по сей день, к кровопролитию и физическому истреблению людей.

Но прежде чем кто-то протянет руку, чтобы вытолкнуть из своего круга одного человека или целую группу лиц, подвергнув их остракизму или объявив париями, должна найтись определенная причина, основание или мотив. Конечно, речь идет о тех, кто не вполне счастлив и не вполне доволен собой, что оборачивается скоплением стремящейся к выходу ненависти. Это несчастные, которые ищут виновников своего несчастья и так заняты поисками, что не готовы или не способны бросить взгляд в зеркало на самих себя. Им нужен другой человек или группа, им нужен сосед, которого можно объявить источником всех бед.

Ныне в Германии вновь заявляют о себе расизм и ксенофобия. Регулярно, почти еженедельно, сообщается об актах насилия и даже о покушениях на жизнь людей, которые якобы не принадлежат к нашей стране и нашему народу, которых считают и называют чужаками. Политики и политические партии выражают озабоченность по этому поводу. В обществе и средствах массовой информации наметилось согласие насчет того, как без особого ущерба для себя объяснить это фатальное возрождение фашистских тенденций, с которыми, казалось бы, давно покончено.

Верно, что на востоке Германии совершается ужасающе много тяжких преступлений, что комплекс неполноценности и второсортности, возникающий здесь из-за массовой безработицы, чувства деклассированности и униженности, из-за потери жизненных ориентиров, питает правый экстремизм. Молодежь убедилась здесь на собственном трудно поддающемся осмыслению и тягостном опыте в том, в чем мы не можем ее ни разубедить, ни переубедить. Вдруг, говорят они, с нами стали считаться, нас воспринимают всерьез. К нам впервые начали относиться без снисходительности или унизительного сострадания. Скорее даже со страхом и ужасом, настолько сильно заставили они уважать себя после того, как нарушили покой всей страны, отечественных и даже зарубежных

1. Имеется в виду концепция "третьего пути", изложенная, в частности, в статье "Путь вперед для социал-демократов Европы. Предложение Г. Шрёдера и Т. Блэра" (см.: T. Blair und G. Schröder. Der Weg nach vorne für Europas Sozialdemokraten. Ein Vorschlag von Gerhard Schröder und Tony Blair) www.spd.de/ politik/ erneuerung/perspektiven/deutsch.doc.

2 Так называется основной труд Эрнста Блоха (Ernst Bloch. Das Prinzip Hoffnung, 1954–1959).

3. Иван Нагель – венгерский еврей, родившийся в Будапеште в 1931 г., который был вынужден сменить имя и скрывать свое происхождение; известный писатель, публицист, театральный критик.

СМИ. Теперь, наконец, мы встали с вами на одну доску, удовлетворенно сказал один из них.

Политики и деловые круги запаниковали: они нам отпугнут инвесторов. Боюсь, подобная паника будет встречена правыми экстремистами с торжеством. Зато что-то не встречалось мне в газетах тревог по поводу "отпугивания иммигрантов", а ведь именно они, первейшие жертвы насилия, должны были бы проникнуться страхом. Может, газетных статей о запуганных иммигрантах, искавших у нас убежища, нет потому, что подобные статьи вызвали бы в Германии не столько возмущение, сколько тайное одобрение?

Ксенофобские инциденты не ограничиваются территорией Восточной Германии; глупо, лицемерно и лживо пытаться придавать этой общенациональной проблеме узкорегиональный характер. Аналогичные сообщения поступают и из западногерманских районов. Более того, вся инфраструктура, логистика и сами политические партии соответствующего толка обретаются в "старых землях" ФРГ. Просто неонацисты раньше политиков сообразили, какой потенциал ненависти и презрения к самим себе, порожденный унижениями и оскорблениями чувства человеческого достоинства, накапливается на Востоке. Здесь их лозунги действуют быстрее и оказываются эффективнее, чем на экономически стабильном Западе. Неонацисты поняли, что посеянные ими семена дают особенно буйные всходы среди "цветущих ландшафтов"[1] психологических травм и комплексов. Если на Западе, ретушируя реальность, предпочитают не замечать актов насилия, отмахиваются от них как от одиночных явлений, если правый экстремизм объявляется проблемой лишь Восточной Германии, не имеющей отношения к Федеративной республике, причем проблемой главным образом в том смысле, что она вызывает негативную реакцию международной общественности, — то нет и готовности открыто признать наличие проблемы, чтобы разобраться с ней: вместо этого проблему скрывают, задвигают ее в темный угол, где до нее вроде бы никому нет дела. Так под покровом подобного самообмана в Германии и произрастает нечто, способное отпугнуть не только одних инвесторов.

Прежде чем мнимый виновник всех несчастий будет обнаружен и подвергнут остракизму, необходимо, чтобы у самих обвинителей накопились чувства униженности и оскорбленного человеческого достоинства, которые оборачиваются ненавистью и презрением к самим себе, что в конечном счете ведет к расизму и ксенофобии.

Почему в немецких землях, где практически уже не осталось евреев, возникает антисемитизм? Отчего возникает ксенофобия в тех местах, где почти нет иностранцев? Каким образом смутное недовольство, некое брожение умов превращается в осознанное, отчетливое чувство неприязни, сконцентрированное на определенной социальной группе? Говорят, будто родители и среда нередко оказывают дурное влияние. Пусть так, кружок завсегдатаев в любой немецкой пивной и впрямь вряд ли можно считать средоточием толерантности и просвещенности. Возможно, одну из причин и в самом деле следует искать здесь, поскольку именно здесь "настаивался" весь двадцатый век, в том числе и фашистская идеология, — как это происходит еще и теперь под покровом нашей демократии. Иногда из этого взрывоопасного "настоя" прорываются на поверхность пузыри в виде отдельных слов и фраз, которые свидетельствуют о том, как тонок ледок, по которому мы отваживаемся ходить. Достаточно просмотреть протоколы заседаний бундестага и земельных парламентов за последние десятилетия, чтобы увидеть начатки тех тенденций, которые вызывают ныне нашу тревогу. Именно в этих высоких собраниях народных представителей впервые прозвучали некоторые высказывания, которые позднее укоренились в нашей повседневной речи и общественном сознании: "социальные паразиты", "злоупотребление правом на убежище". Именно здесь зарождались лозунги вроде "Германия — не место для им-

1. Цитата из произнесенной 21.6.1990 г. в бундестаге речи Гельмута Коля, обещавшего восточным немцам после присоединения к ФРГ "цветущие ландшафты".

мигрантов"[1] или "Дети вместо индусов!"[2]. Так в протоколах высоких народных собраний и в документах государственной власти обнаруживаются семена тех посевов, которые в нынешней Германии дали столь буйные всходы. "Последуйте за своими лозунгами до конца, до того момента, когда они воплотятся в жизнь", — говорил Георг Бюхнер[3].

Те же самые люди, которые выдвигали подобные лозунги, теперь демонстрируют испуганную озабоченность и требуют запрета правоэкстремистских партий. Бывает, что крестьянина пугают всходы им же посаженных семян, но это лишь значит, что он — плохой крестьянин, ничего не смыслящий в сельском хозяйстве, так что лучше бы ему оставить это занятие.

Не знаю, удастся ли решить такого рода общественные проблемы путем запрета правоэкстремистских партий. Возможно, нынешние политики хотят запретить эти партии лишь затем, чтобы завоевать голоса тех избирателей, к политическому воспитанию которых они тоже в какой-то мере были причастны.

"Последуйте за своими лозунгами до конца, до того момента, когда они воплотятся в жизнь".

1. Из выступления нынешнего баварского премьер-министра Эдмунда Штойбера (в ту пору министра внутренних дел) на съезде ХСС в ноябре 1992 г.
2. Предвыборный лозунг, выдвинутый главным кандидатом от ХДС Юргеном Рютгерсом в ходе избирательной кампании в ландтаг земли Северный Рейн-Вестфалия весной 2000 г. („Kinder statt Inder"). Имелось в виду, что следует финансировать подготовку собственных молодых специалистов, а не приглашать программистов из Индии.
3 Г. Бюхнер. Смерть Дантона. Пьесы. М., 1972.

Дурс Грюнбайн

Цитата

Перевод С. Ромашко

Каждому писателю знаком момент, когда его единоличное существование в один прекрасный день оказывалось для него одиночным заключением, вырваться из которого он мог только прыжком очертя голову — в цитату. Едва ли кто помнит, когда это случилось впервые. В памяти сохранился только сам момент, когда авторское своенравие кокетливо медлило, прежде чем решиться открыть свое сочинение, надиктованный собственной волей текст чужому влиянию, нетерпеливо ожидающему допуска в обличье цитаты. К чувству освобождения, которое при этом возникало, тут же примешивалось твердое ощущение величайшей угрозы — подозрение, что можно потерять при этом себя, боязнь семантической капитуляции. Предостерегающий голос нашептывал: щелка, которую ты сейчас приоткрываешь, уже никогда не защелкнется. С того момента, как к тебе проникла цитата, ты уже сам себе не господин. Другой голос, другое мышление, сильно отличающееся от твоего, будет отныне отбрасывать на тебя тень, которая представит все прежде написанное, все отныне сказанное тобой в ином свете. Цитаты — всем видимые цезуры в монологе. Они отмечают, как след от пореза, нанесенного самому себе, вторжение в святая святых — в замкнутый мир самовыражения субъекта. Стоит им только появиться — и читатель будет уже воспринимать тебя лишь в обществе подсказывающего суфлера, видеть тебя как страдающего раздвоением личности типа в небезопасной компании. *Страх влияния* — к такой формуле свело проблему литературоведение, прошедшее школу психоанализа. То, что в естественных и гуманитарных науках — вещь само собой разумеющаяся, не стоящая упоминания, в сфере искусства считается позором. Кто прибегает к цитате, подставляется. В бесконечной языковой игре он занимает позицию любящей, готовой отдаться врывающемуся в нее любовнику. Это верно и в том случае, когда цитату приводят в подтверждение своей правоты, если она нужна разве что для самоутверждения или всего лишь для того, чтобы продемонстрировать готовность соблюдать общепринятые правила общения. Все равно никак не избавиться от впечатления "одолженного" авторитета. Сильный характер если и процитирует, то уж скорее слова неизвестного. Он обогащается, неприметно черпая из сферы приватного. Все когда-либо опубликованное для него табу.

Парадокс любой цитаты заключается в том, что она отмечает пробел в собственном пространстве выражения, заполняя этот пробел и обживаясь в нем контрастом с остальным текстом. При всем многообразии приемов цитирования, при всем различии мотивов — неизбежным остается разрыв в сознании того, кто цитирует. Читатель никогда не забудет, как автор на этом месте смиренно унижался. Что бы его ни толкнуло на это: нужда в аргументах, простая добросовестность или даже родство душ, бывающее у поэтов, а может быть, логическая последовательность — в любом случае в памяти останется сам факт смиренного подчинения.

Но что же такое цитата? Словарь определяет ее так: дословно воспроизводимый текст. Следует добавить: четко отграниченный от остального. То есть речь идет о замкнутом инородном теле, подобном комару, листку папоротника, застывшим в янтаре. В народной речи цитатам соответствуют крылатые слова, поговорки и меткие высказывания знаменитых

© Suhrkamp Verlag Frankfurt am Main, 2003
© С. Ромашко. Перевод, 2004

людей. Для ученого цитаты – его хлеб насущный. Он больше других хранит изначальный смысл латинского citatio, слóва, ведущего свое начало из области судопроизводства: там оно было специальным термином, обозначавшим вызов в суд. Ученые, все равно какой дисциплины, подобно судьям Древнего Рима, до сих пор привыкли вызывать слова повесткой, как это было в свое время со свидетелями и обвиняемыми. Их предшественниками были прежде всего пророки – библейские авторы. К ним, а также к их позднейшим толкователям, отцам церкви и теологам, восходит попытка создать метатекст целиком из цитат, канон, на который человечество могло бы опираться как на традицию. В любой культуре то, что сопровождается величественной жреческой позой и именуется откровением, представляет собой золотой запас всех цитат, который должен покрывать все имеющее хождение как семантическая валюта. То есть религии оказываются при таком взгляде цитатными сокровищницами. В священные книги заносится то, что на протяжении поколений было отчеканено устной и письменной речью всех, кто когда-либо оказывался канонизированным. Как правило, родная речь и религиозная традиция настолько переплетены друг с другом, что большинство цитат стало неразличимым. Можно сказать, что их заново протаскивают тайком в каждое сознание по отдельности. Они слетают у говорящего с языка прежде, чем он успеет о них подумать. Он не может обойтись без них так же, как не может выскользнуть из своей кожи.

Но действительно ли цитата – только свидетельство о насилии, о чужевластии над бессознательным говорящего? Неверно думать, будто цитата не более чем свидетельство бедности того, кто к ней прибегает, но в то же время недиалектичным будет и взгляд, при котором в цитате видится лишь иное по отношению к автору, ведь в ней в не меньшей мере отражены его родственные чувства, его способность к эмпатии. Свободный дух никогда не поддастся на шантаж. Напротив, он подкрепляет свой суверенитет, призывая цитатой других свободных духом – равных себе. Как говорится, он приводит их слова – то есть приглашает их на встречу, на слушания, протокол которых он в данный момент ведет. Цитирование, пока он сохраняет позицию режиссера, делает его не беднее, а лишь богаче, совершенно в духе протокоммунистического кредо Карла Маркса, видевшего богатство человека в многообразии его отношений с другими людьми. В этом смысле цитата оказывается знаком того, насколько отдельный человек в пределах своего мира выразительных возможностей готов к дискуссии. Список ссылок в книге – это показатель способности автора к диалогу. Цитата открывает шлюз для встречи с другими. Она символизирует меновую торговлю, лежащую в основе всех ходов мысли. Свобода мыслима лишь как результат движения от Я к Ты. Ее физическим аспектом является дистанция между двумя телами – уважение к позиции другого. Зато ее метафизический аспект заключается в сближении двух душ, для которых расстояние между ними становится напряженным полем – общей средой. Поскольку любое логическое правило носит обоюдоострый характер и всякая истина вырастает из противоположностей, в философии, так же как в искусстве и поэзии, нужна сфера циркуляции идей, без которой мышление остановится. В бесконечном поле мысли автаркия не только ложь, видная каждому, но и иллюзия, разоблачающая саму себя. Нигде этот предназначенный для встреч шлюз, место, где личности вступают в диалог, не обнаруживается с такой ясностью, как в цитате.

Чем лучше подтвердить все сказанное, как не цитатой? Так пусть же явится свидетель Осип Мандельштам. Это ему принадлежит наблюдение, что эрудиция далеко не тождественна упоминательной клавиатуре, которая и составляет самую сущность образования. В "Разговоре о Данте", эссе, которое представляет собой не что иное как диалог, протокол неотвязного кружения вокруг удаленного во времени партнера по длящейся всю жизнь беседе, говорится: "Цитата не есть выписка. Цитата есть цикада". Она звенит и звенит...

Июнь 2002

Эмине Эздамар
О *чем плачет* Ули

Перевод Л. Есаковой

В 1977-м я обитала в обоих Берлинах: работала в восточноберлинском театре "Фольксбюне" вместе с режиссерами Бенно Бессоном и Маттиасом Лангхоффом, жила в Восточном Берлине и время от времени ездила навещать друзей в Западный Берлин. Садилась на станции "Фридрихсштрассе" и ехала до "Веддинг-Гезундбруннен". Выйдя на улицу, каждый раз удивлялась: "Надо же, и здесь идет дождь, как у нас в Восточном Берлине", "Надо же, и здесь идет снег". Разговаривая по телефону с друзьями из Западного Берлина, всегда спрашивала: "Клаус, как там у вас в Веддинге погода, тоже солнце?"

Когда пала Стена, и я, как и многие другие жители ГДР, отправилась на Кудамм, в автобусе со мной рядом ехала одна женщина из Восточного Берлина. Она выглянула в окно, бросила восторженный взгляд на небо над Западным Берлином и радостно воскликнула: "А солнце-то, солнце здесь какое!"

Я любила Берлин в эти первые дни после падения Стены: в поездах — а мне часто приходилось ездить на поезде — западные немцы теперь, не стесняясь, громко разговаривали друг с другом. В самых безобидных ситуациях неожиданно рождались реплики, достойные театральных подмостков. Раз мужчина в вагоне-ресторане крикнул официанту: "Кофе, пожалуйста, я, между прочим, женоненавистник, как и Оскар Уайльд".

Вся Германия вдруг превратилась в огромный театр. И хотя мы еще не знали, какую пьесу играем, каждому непременно хотелось зарезервировать в ней для себя какую-нибудь роль. На Кудамм то и дело на глаза попадались жители Восточной Германии, чья одежда никак не вязалась с обликом Западного Берлина: их костюмы на фоне шикарных западных декораций смотрелись жалкими обносками. Восточные немцы выглядели здесь как герои пьесы Максима Горького, которые перепутали театр и случайно вышли на сцену совсем в другой пьесе и в другой обстановке.

На Кудамм я нечаянно подслушала разговор двух французов. Один говорил другому: "Откуда взялось столько клошаров на улице?"

Ритм жизни города затормозился, символы капитализма "Zoo" и "KDW" вышли на первый план. У входа в универмаг "Вертхайм" запах был как в отхожем месте. Жители Восточной Германии слишком резко перешли на непривычные для их желудка продукты: гамбургеры, дёнеры, кока-колу. В Турции есть поговорка: "У соседа и куры размером с гуся, и жена до сих пор девственница". Я стояла на остановке, подошли четверо мужчин из Восточного Берлина, один из них тихо шепнул остальным: "Смотрите, какие здесь красотки".

На автобусной остановке стояли два "трабанта", припаркованные под знаком "Стоянка запрещена". Одна женщина сказала другой: "Это ж надо, уже свои "трабанты" паркуют на остановках. А знаешь, почему? Им кажется, это и есть настоящая свобода". Потом еще процитировала Маркса. Короче, все ясно — не западные немцы.

По Кудамм в районе "KDW" невозможно было теперь проехать на машине. Улицу буквально наводнили толпы восточных берлинцев. Урны, которые раньше обыскивали западноберлинские нищие, теперь были переполнены шкурками от бананов. Один из местных кудаммовских бродяг с наружностью интеллектуала, проходя мимо урны и заметив в ней гору банановых шкурок, изобразил

© 2001 Verlag Kiepenheuer & Witsch, Köln
© Л. Есакова. Перевод, 2004

великое презрение, разыграв классическую сцену немого кино: бросил одну из шкурок себе под ноги и сделал вид, что поскользнулся на ней, как Чарли Чаплин.

Я зашла в турецкое кафе. Там все места были заняты восточными немцами, которые пришли попробовать турецкий кебаб; полный зал, почти как в "Макдоналдсе", один-единственный свободный стул. Я подошла и спросила: "Здесь свободно?" – "Да-да, пожалуйста, пожалуйста", – угодливо ответила женщина, суетливо привставая на каждом "пожалуйста". Она даже хотела уступить мне свое место, будто все стулья в зале были моей собственностью.

Потом я села в автобус и поехала по Кудамм. На мне было меховое пальто. Тучная восточная немка села рядом и придавила мне край шубы. Заметив это, она тотчас вскочила: "Прошу прощения, я села на вашу норку!" – "Это не норка", – ответила я. "Слава богу, а я уж перепугалась", – облегченно вздохнула женщина.

Какой-то нищий зашел в автобус с зажженной сигаретой. Взглянув на него, водитель сказал: "Гражданам ГДР проезд бесплатно". – "Да за кого вы меня принимаете?!" – заорал тот на весь автобус и демонстративно купил билет.

Я вернулась домой в Далем. На вилле по соседству жили богатые душевнобольные со своими сиделками. Один из них громко плакал на балконе. Я спросила сестру: "Что с Ули? Почему он плачет?" – "Ах, Зевги, бедняга вбил себе в голову, что их скоро выгонят, потому что сюда переедет сам Хонеккер".

Я жила на первом этаже. Комнату отделяла от сада огромная, во всю стену, стеклянная дверь. Садовник, которого соседи за глаза прозвали "старым наци", подошел ко мне и с заговорщицким видом возбужденно зашептал:

– Запирайте-ка получше двери, скоро все они сюда заявятся. Тогда будет хана.

И для большей убедительности красноречиво чиркнул рукой, словно ножом, себе по горлу, как будто меня теперь ждала именно эта участь.

День в году

В 1960 году газета "Известия" опубликовала обращение ко всем писателям мира, в котором им предлагалось написать хронику одного дня — 27 сентября 1960 года. Изначально идея "моментального снимка" принадлежала Максиму Горькому и была им высказана еще в 1935 году. Среди тех, кто откликнулся на призыв "Известий", была Криста Вольф. Год спустя в ее дневнике появилась следующая запись, потом еще одна — и так на протяжении сорока лет. В минувшем году эта необычная летопись, получившая название "Один день в году. 1960-2000", вышла в издательстве "Лухтерханд". Книга привлекла к себе внимание критики, и обсуждение ее продолжается до сих пор.

Что же такого необычного происходило в жизни писательницы в эти дни? Торт с горящими свечками, последний разговор со смертельно больным Максом Фришем, закат эры Коля, страхи за внуков — Криста Вольф подробно описывает события, крупные и мелкие, политические и личные, сопровождая хронику комментариями. 27 сентября, канун дня рождения ее младшей дочери, становится для нее во многом символичным. Она точно пытается воспротивиться ходу "неумолимого времени" и вместе с тем ответить на главные вопросы: каковы слагаемые жизни, что в ней значимо, а что второстепенно?

По содержанию дневниковые записи довольно разнообразны: это размышления о себе, о своих родных, о судьбе Восточной, а затем и объединенной Германии и, разумеется, раздумья о писательском ремесле. Без излишней патетики, Криста Вольф рассказывает о начале и закате своей писательской карьеры в ГДР. Однако ее дневник — это не столько автобиография, сколько свидетельство эпохи, записки очевидца и одновременно попытка осмыслить пережитое.

Книга иллюстрирована коллажами берлинского художника Мартина Хофмана, а также фотографиями из семейного архива Кристы Вольф и газетными снимками.

Гюнтер Грасс — скульптор

В Гёттингене прошла выставка, на которой впервые демонстрировалось более сотни скульптур одного из самых крупных современных немецких писателей Гюнтера Грасса.

Грасс в юности получил художественное образование, изучал графику и лепку. Он никогда не забывал свое "артистическое прошлое" и позднее проиллюстрировал сборники своих стихов и роман "Мое столетие". Графические работы нобелевского лауреата по литературе не раз выставлялись, в том числе и за границей, однако его скульптуры известны значительно меньше.

Экспозиция, разместившаяся в церкви Святого Павла (Паулинкирхе), занимает пространство около 600 квадратных метров. Помимо бронзовых и терракотовых скульптур, на выставке можно увидеть фотографии, литейные формы, инструменты, эскизы — по замыслу организаторов, они призваны рассказывать о различных этапах ваяния.

Г. Грасс и его работы

Зритель словно попадает в мастерскую художника. Но эта мастерская — одновременно и кабинет писателя-романиста. Перед посетителями предстают персонажи романов Грасса — порождения его причудливой писательской фантазии: крысихи, палтусы, женщины-"певицы" со звериными головами, напоминающие знаменитых "первобытных Венер". Открывает выставку более чем двухметровая скульптура "Палтус в руке", которая, по замыслу автора, символизирует жизненный опыт и мудрость.

"Для меня всегда было естественно сосуществование литературы, скульптуры и живописи, — говорит Грасс. — Многие скульптуры создавались одновременно с романами, таким образом связывая воедино различные ипостаси моей творческой личности".

Какое слово самое прекрасное?

Конкурс под таким названием недавно провел Международный институт имени Гёте. От участников требовалось назвать слово, которое им ласкает слух, и кратко обосновать, почему они отдали ему предпочтение. На инициативу откликнулись более 20 тысяч любителей немецкого языка из разных стран: журналисты, артисты, преподаватели, школьники. Были среди конкурсантов и несколько знаменитостей. Так, немецкий режиссер Вольфанг Петерсон, постановщик популярной кинокартины "Троя", остановил свой выбор на "Schweinshaxen" (свиные ножки), а литературовед Юрген Беккер счел самым красивым союз "и", поскольку "за ним всегда что-то следует". Но основная масса вариантов не отличалась оригинальностью — чаще других назывались слова "любовь", "отечество" и "счастье".

Итоги полугодичного конкурса должно подвести жюри, в которое вошли писатели Кристиан Крахт и Уве Тимм, певец Герберт Гронемайер, кинорежиссер Йозеф Фильсмайер и тренер по футболу Фолькер Финке. Победителей ожидают ценные призы: они смогут отправиться в путешествие на остров Маврикий, провести выходные в Берлине, а также пройти четырехнедельную языковую стажировку в Институте Гёте в Германии.

Мгновение любви

Новый роман Мартина Вальзера "Мгновение любви", вышедший в издательстве "Ровольт" в июле этого года, стал одним из самых заметных событий в литературной жизни Германии.

Книга создана на основе записных книжек, которые писатель вел на протяжении последних двадцати лет. Главный ее герой — бывший биржевой маклер и профессор-самоучка Готлиб Цюрн (alter ego автора) — уже знаком немецкому читателю по романам "Охота" и "Лебединый дом". "Мгновение любви" — это классическая любовная история, написанная в характерной для писателя иронической манере. Сюжет ее вкратце таков. К престарелому преподавателю философии, живущему в одиночестве на Боденском озере, приезжает Беата, молодая аспирантка из Америки. Повод для визита — профессорские изыскания, посвященные известному французскому философу XVIII века Жюльену Ламетри. Встреча с Беатой и внезапно вспыхнувшая любовь заставляет Цюрна пересмотреть всю свою жизнь. По приглашению аспирантки, он летит в Америку, чтобы прочесть доклад на конференции — и терпит сокрушительный провал...

В своем романе Вальзер, как всегда искусно, перемешал трагическое и комичное, драму и бурлеск. Впрочем, интерес к новинке обусловлен не только и не столько ее художественными достоинствами (за автором давно уже упрочилась репутация классика немецкой литературы, произведения которого изучают в школах). Дело еще и в том, что для части публики имя писателя не в последнюю очередь связано с нашумевшей книгой "Смерть критика" (2002) — сатирой на современную немецкую литературную жизнь, — в главном герое которой легко узнаваем известнейший в Германии критик и телеведущий Марсель Райх-Раницкий. Роман повлек за собой обвинения в антисемитизме и разрыв с издательством "Зуркамп", где Вальзер публиковался с 1955 года, выпустив более ста тридцати своих книг. Ярлык антисемита приклеился к Вальзеру намертво, впрочем, тот и не думает выступать с публичными оправданиями. "Единственный способ защититься — продолжать писать", — говорит 77-летний автор. Он уже начал работать над новым романом "Девичья жизнь", который, как сообщает автор, увидит свет через два или три года.

Музей рок-н-ролла

В июле этого года в небольшом немецком городке Гронау, расположенном вблизи голландской границы, открылся первый в Европе музей рок- и поп-музыки. Средства на его создание в размере 10 миллионов евро выделило германское правительство. Несмотря на то, что Гронау не может похвастаться близостью к столице, организаторы проекта уверены, что музей сможет привлечь поклонников современной музыки со всего мира, став местом проведения разнообразных музыкальных мероприятий.

Экспозиция рассказывает об истории поп-культуры начиная с ее истоков, которые устроители выставки видят в салонной музыке 20-х годов. Среди экспонатов — коробка для гашиша Джона Ленона, губная гармошка Боба Дилана, военная форма Элвиса Пресли и другие личные вещи знаменитых музыкантов, а также более 400 фотографий, плакатов и музыкальных записей. Однако это не главное, считает Удо Линдерберг, один из старейших немецких певцов рок-н-ролла. Он надеется, что музей возьмет на себя функции культурного центра, оказывая поддержку молодым музыкантам и группам, исполняющим песни на немецком языке. Кроме того, современной молодежи, выросшей в основном на коммерческой музыке, будет полезно побольше узнать о поп-культуре и о ее бунтарском прошлом.

По материалам агентства "Дойче пресс-агентур", "Дойче велле", газеты "Вельт", сайта Института имени Гёте.

Что читают в Германии?

Любимые книги, которые были названы в ходе опроса общественного мнения, проведенного телеканалом ZDF летом 2004 г. (список включает 100 наименований)

Первая десятка:

Джон Р. Р. Толкиен *Властелин колец* [1-е место]; *Библия* [2]; Кен Фоллетт *Столпы земли* [3]; Патрик Зюскинд *Парфюмер* [4]; Антуан де Сент-Экзюпери *Маленький принц* [5]; Томас Манн *Будденброки* [6]; Ноа Гордон *Лекарь* [7]; Пауло Коэльо *Алхимик* [8]; Дж. К. Роулинг *Гарри Поттер и философский камень* [9]; Донна Кросс *Папесса Иоанна* [10].

Если говорить о распределении *остальных девяноста мест* в этом списке, то самую обширную группу составляет в нем, естественно, *немецкоязычная литература*, классическая и современная (причем некоторые авторы представлены сразу несколькими произведениями): Бернхард Шлинк *Чтец* [14]; Иоганн Вольфганг Гёте *Фауст* [15]; Теодор Фонтане *Эффи Брист* и *Штехлин* [20 и 43]; Томас Манн *Волшебная гора; Иосиф и его братья* [22 и 46]; Герман Гессе *Сиддхартха; Нарцис и Гольдмунд; Степной волк; Игра в бисер* [24, 29, 44, 67]; Зигфрид Ленц *Урок немецкого* [31]; Макс Фриш *Homo Faber* [33]; Марлен Хаусхофер *Стена* [40]; Эрвин Штритматтер *Лавка* [47]; Гюнтер Грасс

Жестяной барабан [48]; Эрих Мария Ремарк *На Западном фронте без перемен* [49]; Уве Йонсон *Дни года* [54]; *Дневник Анны Франк* [70]; Карл Май *Виннету* [79]; Стефан Цвейг *Шахматная новелла* [93].

Из переводных книг наибольшей популярностью пользуются *англо-американские*, тоже и классические, и современные: Джейн Остин *Гордость и предубеждение* [17]; Маргарет Митчелл *Унесенные ветром* [23]; Джон Ирвинг *Молитва за Оуэна Мини; Божье творение и то, что привнес в него дьявол; Отель "Нью-Гэмпшир"; Мир по Гарпу* [37, 41, 65 и 82]; Харпер Ли *Убить пересмешника* [45]; Джером Дэвид Сэлинджер *Над пропастью во ржи* [56]; Эмили Бронте *Грозовой перевал* [83]; Джордж Оруэлл *1984* [85]; Шарлотта Бронте *Джен Эйр* [99].

Все остальные "языковые регионы" представлены лишь отдельными именами.

Русская литература: Лев Толстой *Война и мир; Анна Каренина* [66 и 95]; Михаил Булгаков *Мастер и Маргарита* [92]; Федор Достоевский *Преступление и наказание* [96].

Испанская и латиноамериканская литература: Исабель Альенде *Дом духов; Паола* [13 и 87]; Габриэль Гарсия Маркес *Сто лет одиночества; Любовь во время чумы* [36 и 42]; Пауло Коэльо *Вероника* [90].

Французская литература: Эрик-Эмманюэль Шмитт *Мсье Ибрагим и цветки Корана* [78]; Александр Дюма *Граф Монте-Кристо* [97].

Итальянская литература: Умберто Эко *Имя розы* [18]; Сюзанна Тамаро *Иди, куда влечет тебя сердце* [61].

Чешская литература: Милан Кундера *Невыносимая легкость бытия* [35].

Что касается *детской литературы*, то наряду с такими мировыми бестселлерами, как романы о Гарри Поттере Джоанны К. Роулинг [места 21 и 52] или *Пеппи Длинный Чулок* Астрид Линдгрен [59], в Германии любимы и замечательные сказочные романы немецких писателей: *Бесконечная история* и *Момо* Михаэля Энде [26, 53], *Крабат* Отфрида Пройслера [58].

Авторы номера

Томас Бруссиг
Thomas Brussig
[р. 1965]. Прозаик и драматург. Лауреат Германской государственной премии за лучший киносценарий [1999] и премии имени Ханса Фаллады [2000].

Автор романа *Солнечная аллея* [*Am kürzeren Ende der Sonnenallee*, 1999; рус. перев. 2004], пьесы *Ностальгия* [*Heimsuchung*, 2000] и др.
Публикуемый роман печатается по изданию *Helden wie wir* [Frankfurt am Main: Fischer Taschenbuch Verlag, 2002].

Уве Тимм
Uwe Timm
[р. 1940]. Поэт, прозаик, эссеист, детский писатель. Лауреат многочисленных премий, в том числе Немецкой премии за детскую литературу [1990], Мюнхенской литературной премии [1990] и Большой литературной премии Баварской академии изящных искусств [2001].

Автор поэтического сборника *Противоречия* [*Wiedersprüche*, 1971], романов *Жаркое лето* [*Heißer Sommer*, 1974], *Дерево змей* [Der *Schlangenbaum*, 1986], *Охотник за головами* [*Kopfjäger*, 1991], *Ночь чудес* [*Johannisnacht*, 1996; рус. перев. 2004], *Красный* [*Rot*, 2001], детского романа *Беговая свинка Пятачок Руди* [*Rennschwein Rudy Rüssel*, 1989] и повести *Открытие жареной колбасы* [*Die Entdeckung der Currywurst*, 1993].
Публикуемая книга печатается по изданию *Am Beispiel meines Bruders* [Köln: Kiepenheuer & Witsch, 2003].

Фолькер Браун
Volker Braun
[р. 1939]. Поэт, драматург, прозаик.

Автор поэтических сборников *Провокации для меня* [*Provokationen für mich*, 1965], *Тренировка прямой походки* [*Training des aufrechten Gangs*, 1979], *Материя для жизни* [*Der Stoff zum Leben*, 1990], романа *Хинце-Кунце-роман* [*Hinze-Kunze-Roman*, 1985], книг *Безосновательное утверждение* [*Bodenloser Satz*, 1990], *Четверо инструментальщиков* [*Die vier Werkzeugmacher*, 1996], пьес *Самосвалы* [*Die Kipper*, 1972], *Ифигения на свободе* [*Iphigenie in Freiheit*, 1992] и др.
Переводы выполнены по сборникам *Потешный сад. Пруссия* [*Lustgarten. Preussen.* Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1996] и *Tumulus* [Frankfurt am Main: Suhrkamp, 2001] и по рукописям.

Дурс Грюнбайн
Durs Grünbein
[р. 1962]. Поэт, переводчик, эссеист. Член Немецкой академии языка и литературы в Дармштадте. Лауреат многочисленных литературных премий, в том числе имени Петера Хухеля [1995], имени Георга Бюхнера [1995], Зальцбургского фестиваля [2000], имени Фридриха Ницше [2004].

Автор поэтических сборников *Серая зона утром* [*Grauzone morgens*, 1988], *Лекция об основании черепа* [*Schädelbasislektion*, 1991], *Изгибы и ловушки* [*Falten und Fallen*, 1994], *Галилей измеряет Дантов ад* [*Galilei vermißt Dantes Hölle und bleibt an den Maßen hängen*, 1996; рус. перев. 1998] и др.
Публикуемые стихотворения взяты из сборников *Подражая сатирам* [*Nach den Satiren.* Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1999], *Проясненная ночь* [*Erklärte Nacht.* Frankfurt am Main: Suhrkamp, 2002] и из неопубликованного.
Публикуемое эссе *Z wie Zitat* взято из сборника *Зачем жить безписьменно?* [Warum schriftlos leben. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 2003].

Харальд Гриль
Harald Grill
[р. 1951]. Прозаик и поэт. Член немецкого ПЕН-клуба. Лауреат нескольких на-

Автор сборников рассказов *Воздух хороший, даже когда смердит* [*Gute Luft – auch wenn's stinkt*, 1983] и *Ханс Счастливчик* [*Hans im Glück*, 1996], повести *Свадьба в темноте* [*Hochzeit im Dunkeln*, 1995], поэтических сборников *Просто жить* [*Einfach leben*, 1996], *баварские стихи*

циональных литературных премий, в том числе имени Фридриха Баура Баварской академии искусств [1992] и имени Марии-Луизы Фляйсер [2003].

[*bairische gedichte*, 2003] и др.
Публикуемые стихотворения взяты из сборника *Только павшим ангелам хватает терпения* [*Nur gestürzte Engel haben Geduld*. Hauzenberg: Edition Pongratz, 1998].

Михаэль Крюгер
Michael Krüger
[р. 1943]. Прозаик, поэт, критик и переводчик. Член нескольких академий, в том числе Немецкой академии языка и литературы в Дармштадте и Европейской академии поэзии в Мерше [Люксембург]. Лауреат многих национальных и международных литературных премий, в том числе премии Медичи за лучшее иностранное произведение [1996], Мюнхенской почетной премии за культурные заслуги [2000] и Большой литературной премии Баварской академии изящных искусств [2004]. Главный редактор издательства Ханзер. Издает литературный журнал *Акценты*.

Автор сборника рассказов *Почему я? Три истории, от которых волосы встают дыбом* [*Wieso ich? Drei haarsträubende Geschichten*, 1984], романов *Человек в башне* [*Der Mann in Turm*, 1991], *Виолончелистка* [*Die Cellospielerin*, 2000], стихотворных сборников *Письмо домой* [*Brief nach Hause*, 1993], *Ночью, под деревьями* [*Nachts, unter Bäumen*, 1996] и др.
Публикуемые стихотворения взяты из сборника *Прогноз погоды* [*Wettervorhersage*. Salzburg: Residenz, 1998], публикуемый рассказ *Meine sechs Kinder* — из сборника *Лучшие немецкие рассказы. 2001* [*Beste deutsche Erzähler. 2001*. Stuttgart München: Deutsche Verlags-Anstalt, 2001].

Гунтрам Веспер
Guntram Vesper
[р. 1941]. Поэт, прозаик, эссеист. Лауреат нескольких литературных премий, в том числе премии имени Курта Магнуса [1970].

Автор поэтических сборников *Расписание поездов* [*Fahrplan*, 1964], *Иллюзия невезения* [*Die Illusion des Unglücks*, 1980], *Фробург* [*Frohburg*, 1985], романа *К северу от любви и к югу от ненависти* [*Nördlich der Liebe und südlich des Hasses*, 1979] и др.
Перевод стихов выполнен по сборникам *Фробург. Новые стихотворения* [*Frohburg. Neue Gedichte*. München: Demand Verlag, 2000] и *Острова в море суши и новые стихотворения* [*Die Inseln im Landmeer und Neue Gedichte*. Frankfurt am Main: S. Fisher, 1999].

Харальд Хартунг
Harald Hartung
[р. 1932]. Поэт, эсеист, прозаик, литературовед. Член Немецкой академии языка и литературы. Лауреат многих литературных премий, в том числе международной премии имени Руффино Антико Фатторе [1999], премии *Актуальная культура* [2001], премии Франкфуртской антологии [2002].

Автор стихотворных сборников *Заяц и Гегель* [*Hase und Hegel*, 1970], *Свидетели* [*Augenzeugen*, 1978], *Сон в Немецком музее* [*Traum im Deutschen Museum*, 1986], литературоведческих эссе *Экспериментальная литература и конкретная поэзия* [*Experimentelle Literatur und konkrete Poesie*, 1975], *Маски и голоса* [*Masken und Stimmen*, 1996] и др.
Публикуемые стихотворения взяты из сборника *Мечтать медленнее* [*Langsamer träumen*. München: Carl Hanser, 2002].

Марсель Байер
Marcel Beyer
[р. 1965]. Прозаик, поэт, переводчик, литературный и музыкальный критик. Лауреат нескольких премий, в том числе имени Уве Йонсона [1997], имени Жан-Поля [2000] и имени Генриха Бёлля [2001].

Автор романов *Человеческая плоть* [*Menschenfleisch*, 1991], *Летучие собаки* [*Flughunde*, 1995; рус. перев. 2004], *Шпионы* [Spione, 2000], нескольких стихотворных сборников, книги *Nonfiction* [2003; рус. перев. 2004].
Публикуемые стихотворения взяты из сборника *География* [*Erdkunde*. Köln: DuMont, 2002].

Томас Клинг
Thomas Kling
[р. 1957]. Поэт, прозаик, эссеист. Член Немецкой академии языка и литературы в Дармштадте. Лауреат нескольких литературных премий, в том числе Союза немецких критиков [2000] и имени Эрнста Яндля [2001].

Автор нескольких поэтических сборников: *испытание сердцеукрепляющих средств* [*erprobung herzstärkender mittel*, 1986], *Катулл: волосы Береники* [*Catull: das Haar der Berenice*, 1997], *Зондирование* [*Sondagen*, 2002], сборника эссе *Итинерарий* [*Itinerar*, 1997] и др.
Публикуемые стихотворения взяты из сборника *Дальнее действие* [*Fernhandel*. Köln: DuMont, 1999].

Невфель Кумарт
Nevfel Cumart
[р. 1964]. Немецкий писатель турецкого происхождения, прозаик, поэт, переводчик с турецкого, эссеист. Лауреат нескольких литературных премий.

Автор ряда поэтических сборников, в том числе *На сказочных крышах* [*Auf den Märchendächern*, 1999], *Во сне я сажаю семена* [*Ich pflanze Saatgut in Träume*, 2001], книги *Руми и исламская мистика* [*Rumi und die islamische Mystik*, 2002] и др.
Публикуемые стихотворения взяты из сборников *Звезды пьяны и хотят спать* [*Schlaftrunken die Sterne*, Dusseldorf: Grupello Verlag, 1997], *Волны времени* [*Wellen der Zeit*. Dusseldorf: Grupello Verlag, 1998] и *По дороге к дому* [*Unterwegs zu Hause*. Dusseldorf: Grupello Verlag, 2003].

Лутц Зайлер
Lutz Seiler
[р. 1963]. Поэт и эссеист, лауреат нескольких премий, в том числе премии имени Анны Зегерс [2002] и Берлинской литературной премии [2004].

Автор нескольких поэтических сборников, в том числе книги стихов *сорок километров ночи [vierzig kilometer nacht*, 2003].
Публикуемое стихотворение взято из сборника *непруха & соломка* [*pech & blende*. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 2000].

Роберт Гернхардт
Robert Gernhardt
[р. 1937]. Немецкий писатель эстонского происхождения, поэт, прозаик, художник, карикатурист, критик. Лауреат многих литературных премий, в том числе Кассельской премии за гротескный юмор [1991], премии имени Йоахима Рингельнатца [2003], премии имени Генриха Гейне [2004].
Один из основателей сатирического журнала *Титаник*.

Автор стихотворных сборников *Яркие стихи* [*Lichte Gedichte*, 1999], *В счастье и в других местах* [*Im Glück und Anderswo*, 2001], *Море Роберта Гернхардта* [*Meer von Robert Gernhardt*, 2002], романа *Опрокидывающаяся фигура* [*Kippfigur*, 1986] и др.
Публикуемые стихотворения взяты из сборника *Стихотворения 1954–1997* [*Gedichte 1954–1997*. Zürich: Haffmans Verlag, 2002].

Катрин Шмидт
Kathrin Schmidt
Поэт и прозаик. Лауреат нескольких литературных премий, в том числе за поэтическое творчество города Меран [1994], австрийской премии земли Каринтия [1998], Союза немецких критиков [2001], имени Аннетт Дросте-Хюльсхоф [2003].

Автор нескольких стихотворных сборников и романов *Экспедиция Гуннара Леннефсена* [*Die Gunnar-Lennefsen-Expedition*, 1998] и *Белладонны идут в атаку* [*Go In der Belladonnen*, 2002].
Публикуемые стихотворения взяты из сборника *Речной пейзаж с ангелами* [*Flußbild mit Engel*. München: Lyrikedition, 2000].

Ханс Магнус Энценсбергер
Hans Magnus Enzensberger
[р. 1929]. Немецкий поэт, публицист, переводчик, издатель. Лауреат премии имени Бюхнера.

Автор сборников стихов *Защита волков* [*Verteidigung der Wölfe*, 1957], *Язык страны* [*Landessprache*, 1960], *Шрифт слепых* [*Blindenschrift*, 1964], *Мавзолей. 37 баллад из истории прогресса* [*Mausoleum. Siebenunddreissig Balladen aus der Geschichte des Fortschritts*, 1975], книги очерков *Ах, Европа!* [*Ach, Europa!* 1987]. В *ИЛ* напечатаны стихи Х. М. Энценсбергера [1960, № 10; 2003, № 9], книги *Взгляд на гражданскую войну* [1995, № 6] и *Великое переселение. Тридцать три фрагмента с одним примечанием о некоторых особенностях охоты на людей* [1994, № 9], эссе *Роскошь – прежде и теперь, или Кое-что об излишествах* [1997, № 9], пьеса *Племянник Вольтера* [1998, № 7].
Публикуемые стихотворения взяты из книг *Музыка будущего* [*Zukunftsmusik*. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1991] и *История облаков* [*Die Geschichte der Wolken*. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 2003].

Винфрид Георг Зебальд
Winfried Georg Sebald
[1944–2001]. Немецкий прозаик, литературовед и эссеист, с 1970 г. жил в Великобритании. Лауреат многочисленных немецких литературных премий, посмертно награжден Бременской литературной премией [2002].

Автор прозаических книг *Чувство головокружения.* [*Schwindel. Gefühle*, 1990] и *Кольца Сатурна* [*Die Ringe des Saturn*, 1995], романа *Аустерлиц* [*Austerlitz*, 2001; рус. перев. 2004], сборников эссе *Неуютная родина. Очерки австрийской литературы* [*Unheimliche Heimat. Essays zur österreichischen Literatur*, 1991], *Воздушная война и литература* [*Luftkrieg und Literatur*, 1999] и др.
Публикуемый рассказ *Paul Bereiter* взят из книги *Изгнанники. Четыре долгих рассказа* [*Die Ausgewanderten; Vier lange Erzählungen*. Frankfurt am Main: Eichborn, 1995].

Маттиас Альтенбург
Matthias Altenburg
[р. 1958]. Прозаик, критик, эссеист. Лауреат Марбургской литературной премии [1998].

Автор романов *Любовь людоедов* [*Die Liebe der Menschenfresser*, 1992], *Пейзаж с волками* [*Landschkraft mit Wölfen*, 1997], *Все будет хорошо – летняя комедия* [*Alles wird gut – eine Sommerkomödie*, 1997], повести *Мертвецы из Ларока* [*Die Toten von Laroque*, 1994], сборника рассказов *Так или иначе все есть секс* [*Irgendwie alles Sex*, 2002] и др.
Рассказ *Kleiner Taumel* взят из сборника *Лучшие немецкие рассказы. 2001* [*Beste deutsche Erzähler. 2001*. Stuttgart München: Deutsche Verlags-Anstalt, 2001].

Клаус Бёлдль
Klaus Böldl
[р. 1964]. Поэт, прозаик и переводчик средневековой исландской литературы. Лауреат многочисленных литературных премий, в том числе пре-

Автор романов *Этюд об образовании кристаллов* [*Studie in Kristallbildung*, 1995] и *Далекие острова* [*Die fernen Inseln*, 2003], повести *К югу от Абиско* [*Südlich von Abisko*, 2000] и др.
Публикуемый рассказ *Augenlicht* взят из антологии *И мимо проплывает пара удачных фраз...* [*Da schwimmen manchmal ein paar gute Sätze vorbei...* Frankfurt am Main: S. Fischer, 2001].

мии *Scripta* за короткий рассказ [1994], Баварской литературной премии [2001], премии имени Германа Гессе [2003].

Лиана Диркс
Liane Dirks
Журналист, прозаик, автор радиопьес. Член немецкого ПЕН-клуба. Лауреат многочисленных литературных премий, в том числе *ЛитераТур Норд* [2003].

Автор романов *Приятный страх* [*Die liebe Angst*, 1986], *Четыре способа похоронить моего отца* [*Vier Arten meinen Vater zu beerdigen*, 2002] и др.
Публикуемый рассказ *Wie Willy schwand...* взят из сборника *Лучшие немецкие рассказы. 2003* [*Beste deutsche Erzähler. 2003*. Stuttgart München: Deutsche Verlags-Anstalt, 2003].

Дорис Дёрри
Doris Dörrie
Прозаик, сценарист, кинорежиссер.

Автор романа *Что будем делать?* [*Was machen wir jetzt?* 1999], сборников рассказов *Любовь, страдания и все эти проклятые дела* [*Liebe, Schmerz und das ganze verdammte Zeug*, 1989], *Что вам от меня угодно?* [*Was wollen Sie von mir?* 1990], *Навсегда и навеки* [*Für immer und ewig*, 1991], *Мужчина моей мечты* [*Der Mann meiner Träume*, 1992], *Love in Germany* [1992], *Самсара* [*Samsara*, 1996]. Режиссер фильмов *Мужчины* [*Männer*, 1985], *Рай* [*Paradies*, 1986], *С днем рождения, турок!* [*Happy Birthday, Türke!* 1991], *Никто меня не любит* [*Keiner liebt mich*, 1994] и др. В *ИЛ* публиковались ее рассказы из сборника *Я красивая?* [*Bin ich schön?* 1997, № 11].
Публикуемый рассказ *Ende der Saison* взят из сборника *Лучшие немецкие рассказы. 2001* [*Beste deutsche Erzähler. 2001*. Stuttgart München: Deutsche Verlags-Anstalt, 2001].

Катарина Хакер
Katharina Hacker
Прозаик, переводчик с иврита.

Автор книги *Тель-Авив. Рассказ о городе* [*Tel Aviv. Eine Stadterzählung*, 1997], сборника рассказов *Морфей, или Остроносая туфелька* [*Morpheus oder der Schnabelschuh*, 1998], романов *Учитель плавания* [*Der Bademeister*, 2000] и *Нечто вроде любви* [*Eine Art Liebe*, 2003].
Публикуемый рассказ *Karolus* взят из сборника *Лучшие немецкие рассказы. 2001* [*Beste deutsche Erzähler. 2001*. Stuttgart München: Deutsche Verlags-Anstalt, 2001].

Вольфганг Хильбиг
Wolfgang Hilbig
[р. 1941]. Поэт и прозаик. Член Баварской академии изящных искусств, лауреат многочисленных национальных и международных премий, в том числе имени Ингеборг Бахман [1989], Берлинской литературной премии [1992] и имени Теодора Фонтане [1997].

Автор нескольких поэтических сборников, книги стихотворений и короткой прозы *Между райскими кущами* [*Zwischen den Paradiesen*, 1992], романов *Перевод* [*Eine Übertragung*, 1989], *Я* [*Ich*, 1993], *Временное пристанище* [*Das Provisorium*, 2001; рус. перев. 2004].
Публикуемый рассказ *Der Geruch der Bücher* взят из сборника *Рассказы* [*Erzählungen*. Frankfurt am Main: S. Fischer, 2002].

Фелицитас Хоппе
Felicitas Hoppe
Журналист, прозаик, драматург. Лауреат нескольких литературных пре-

Автор романа *Мой Пигафетта* [*Pigafetta*, 1999; рус. перев. 2004], сборника рассказов *Пикник парикмахеров* [*Picknick der Friseure*, 1996], книги очерков *Путешествие на Яву* [*Die Reise nach Java*, 2003] и др.

мий, в том числе премии *Аспекты* [1996], австрийской премии имени Эрнста Вильнера [1996] и Нижнесаксонской литературной премии [1999].

Публикуемый рассказ *Der linke Schuh* взят из сборника *Лучшие немецкие рассказы. 2000* [*Beste deutsche Erzähler. 2000.* Stuttgart München: Deutsche Verlags-Anstalt, 2000].

Штеффен Копецкий
Steffen Kopetzky
[р. 1971]. Прозаик, драматург, автор оперных либретто, журналист. Лауреат нескольких национальных литературных премий, в том числе имени Эльзы Ласкер-Шюлер [1999] и имени Ингеборг Бахман [1997].

Автор романов *Несобственное путешествие. Краткая энциклопедия европейских проблем конца XX столетия* [*Eine Uneigentliche Reise. Handenzyklopädie der Grundprobleme Europas am Ende des 20. Jahrhunderts*, 1997], *Вторжение и безумие* [*Einbruch und Wahn*, 1998], *Большое путешествие* [*Grand Tour*, 2002], а также пьесы *Достоверный отчет о бессоннице* [*Zuverlässiger Bericht über die Schlaflosigkeit*, 1999] и др.
Публикуемый рассказ *Die Signatur des Griechen* взят из сборника *Лучшие немецкие рассказы. 2001* [*Beste deutsche Erzähler. 2001.* Stuttgart München: Deutsche Verlags-Anstalt, 2001].

Штефани Менцингер
Stefanie Menzinger
[р. 1965]. Прозаик, лауреат нескольких литературных премий, в том числе австрийской премии имени Эрнста Вильнера [1994] и премии имени Анны Зегерс [1999].

Автор романа *Странствия внутри арестанта* [*Wanderungen im Inneren des Häftlings*, 1996], сборника рассказов *Купание змей* [*Schlangenbaden*, 1994] и др.
Публикуемый рассказ *Westkontakt* взят из сборника *Лучшие немецкие рассказы. 2000* [*Beste deutsche Erzähler. 2000.* Stuttgart München: Deutsche Verlags-Anstalt, 2000].

Моника Марон
Monika Maron
Прозаик и журналист. Лауреат нескольких литературных премий, в том числе премии имени Клейста [1992], швейцарской Золотурнской премии [1994] и премии имени Гёльдерлина [2003].

Автор романов *Перебежчица* [*Die Überläuferin*, 1986], *Animal triste* [1996; рус. перев. 2004], *Письма Павла* [*Pawels Briefe*, 1999], сборника рассказов *Недоразумение* [*Das Mißverständnis*, 1982}, сборника эссе *В меру моего понимания* [*Nach Maßgabe meiner Begreifungskraft*, 1993] и др.
Публикуемый рассказ *Eigentlich sind wir nett* взят из сборника *Место рождения – Берлин* [*Geburtsort Berlin.* Frankfurt am Main: S. Fischer, 2003].

Терезия Мора
Theresia Mora
Немецкая писательница венгерского происхождения, переводчик с венгерского, киносценарист и драматург. Лауреат нескольких литературных премий, в том числе имени Ингеборг Бахман [1999] и имени Адальберта фон Шамиссо [2000].

Автор сборника рассказов *Странная материя* [*Seltsame Materie*, 1999], пьесы *Что-то в таком роде* [*Sowas in der Art*, 2003] и др.
Публикуемый рассказ *Portugal oder Die Liebe unter Pfadfindern* взят из сборника *Лучшие немецкие рассказы. 2003* [*Beste deutsche Erzähler. 2003.* Stuttgart München: Deutsche Verlags-Anstalt, 2003].

Александр Озанг
Alexander Osang
[р. 1962]. Прозаик и журналист. Лауреат премий имени Теодора Вольфа [1995] и имени Эгона Эрвина Киша [1993, 1999, 2001].

Автор романа *Известия* [*Die Nachrichten*, 2000] и др.
Публикуемый рассказ *Die Puppe* взят из сборника *Праздник Лункеберга* [*Lunkebergs Fest.* Frankfurt am Main: S. Fischer, 2003].

Буркхард Шпиннен
Burkhard Spinnen
[р. 1956]. Прозаик. Член немецкого ПЕН-клуба. Лауреат премии *Аспекты* [1991] и фонда Конрада Аденауэра [1999] и др.

Автор романа *Долгая суббота* [*Langer Samstag*, 1995], сборника короткой прозы *Утешение и сдержанность* [*Trost und Reserve*, 1996], семейной саги *Бельгийские великаны* [*Belgische Riesen*, 2000] и др.
Публикуемый рассказ *Damenwahl* взят из сборника *Лучшие немецкие рассказы. 2001* [*Beste deutsche Erzähler. 2001*. Stuttgart München: Deutsche Verlags-Anstalt, 2001].

Ханс-Ульрих Трайхель
Hans-Ulrich Treichel
[р. 1952]. Прозаик, литературовед. Лауреат нескольких премий, в том числе имени Маргарет Шрадер [2003] и имени Аннетт фон Дросте-Хюльсхоф [2003].

Автор сборника очерков *О письменности и прочем. Эссе о литературе* [*Über die Schrift hinaus. Essays zur Literatur*, 2000], повести *Пропавший* [*Der Verlorene*, 1998], романов *Тристанаккорд* [*Tristanakkord*, 2000] и *Земная любовь* [*Der irdische Amor*, 2002].
Рассказ *Über das Geschlechtsleben der Wilden* взят из сборника *Лучшие немецкие рассказы* 2001 [*Beste deutsche Erzähler*. 2001. Stuttgart München: Deutsche Verlags-Anstalt, 2001].

Майке Ветцель
Maike Wetzel
[р. 1974]. Прозаик и киносценарист. Лауреат премии имени Беттины фон Арним [1997].

Автор сборников рассказов *Бракосочетание* [*Hochzeiten*, 2000] и *Долгие дни* [*Lange Tage*, 2003].
Публикуемый рассказ *Zeugen* взят из сборника *Долгие дни* [Frankfurt am Main: S. Fischer, 2003].

Юли Цее
Juli Zeh
[р. 1974]. Прозаик и эссеист. Лауреат нескольких литературных премий, в том числе Немецкой книжной премии [2002] и премии имени Гёльдерлина [2003].

Автор романов *Орлы и ангелы* [*Adler und Engel*, 2003] и *Инстинкт игры* [*Spieltrieb*, 2004], книги очерков *Тишина – тоже шум. Путешествие по Боснии* [*Die Stille ist ein Geräusch. Eine Fahrt durch Bosnien*, 2002].
Публикуемый рассказ *Die geschenkte Stunde* взят из сборника *Лучшие немецкие рассказы. 2002* [*Beste deutsche Erzähler. 2002*. Stuttgart München: Deutsche Verlags-Anstalt, 2002].

Петер Хэртлинг
Peter Härtling
[р. 1933]. Поэт, прозаик, драматург, эссеист, журналист. Член немецкого ПЕН-клуба, член Берлинской академии искусств, Немецкой академии языка и литературы в Дармштадте, с 1998 г. – президент общества Гёльдерлина. Лауреат многочисленных национальных и международных премий, в том числе имени Лиона Фейхтвангера [1992] и Немецкой книжной премии [2003].

Автор поэтических сборников *Стихотворения и песни* [*Poeme und Songs*, 1953] и *Страна, которую я выдумал* [*Das Land das ich erdachte*, 1993], романов *Семейный праздник* [*Das Familienfest*, 1969], *Женщина* [*Eine Frau*, 1974], *Гёльдерлин* [*Hölderlin*, 1978], *Шуберт* [*Schubert*, 1992] и др.
Публикуемый отрывок из книги печатается по изданию *Учиться жить.* [*Leben lernen*. Köln: Verlag Kiepenheuer & Witsch, 2003].

Кристоф Хайн
Christoph Hein
[р. 1944]. Немецкий драматург, прозаик, эссеист. Член Академии языка и ли-

Автор сборника рассказов *Приглашение на утренний королевский прием* [*Einladung zum Lever Bourgeois*, 1980], книги *Кромвель и другие пьесы* [*Cromwell und andere Stücke*, 1981], сказки *Дикая лошадка под изразцовой печкой* [*Das Wildpferd unterm Kachelofen*, 1983], сборника пьес и эссе

тературы в Дармштадте. Президент объединения германских ПЕН-клубов. Лауреат многочисленных премий, в том числе премии имени Генриха Манна [1982], премии Союза западногерманских критиков [1983], швейцарской Золотурнской премии [2000] и Австрийской государственной премии за европейскую литературу [2002].

Правдивая история А-Кью [*Die wahre Geschichte des Ah Q*, 1984], романов *Конец Хорна* [*Horns Ende*, 1985], *С самого начала* [*Von allem Anfang an*, 1997]. В *ИЛ* напечатаны переводы его повести *Чужой друг* [*Der fremde Freund*, 1987, № 1] и романа *Вилленброк* [*Willenbrock*; 2001, № 7]. Публикуемое эссе *Zwei Sätze über Wanderschaft und Exil* взято из сборника *Место. Столетие* [*Der Ort. Das Jahrhundert.* Frankfurt am Main: Suhrkamp, 2003].

Эмине Севги Эздамар
Emine Sevgi Özdamar

Немецкая писательница турецкого происхождения, актриса и драматург. Лауреат нескольких премий, в том числе имени Ингеборг Бахман [1991] и имени Клейста [2004].

Автор романов *Жизнь – это караван-сарай* [*Das Leben ist eine Karawanserei*, 1991], *Мост через бухту Золотой Рог* [*Die Brüke vom Goldenen Horn*, 1998; рус. перев. 2004], *Странные звезды смотрят на землю* [*Seltsame Sterne starren zur Erde*, 2003], сборника рассказов *Материнский язык* [*Mutterzunge*, 1998] и др.
Публикуемое эссе *Ulis Weinen* взято из сборника *Двор в зеркале* [*Der Hof im Spiegel.* Köln: Kiepenheuer & Witsch, 2001].

Переводчики

Игорь Владимирович Ланин
[р. 1960]. Переводчик с немецкого и нидерландского языков.

Переводил роман *Взаперти* Э. Елинек, новеллы Й. Дэна, В. Рёйслинка, К. Верлейна. В *ИЛ* в его переводе напечатана повесть С. Нотебоома *Следующая история* [1996, № 12] и др.

Михаил Львович Рудницкий
[р. 1945]. Литературный критик и переводчик с немецкого, кандидат филологических наук. Лауреат премии *Инолит* [1996] и премии имени Жуковского [2002].

Автор книги *Перед лицом правды* [1987]. В его переводах издавались романы и повести *Короткое письмо к долгому прощанию* П. Хандке, *Искра жизни* Э. М. Ремарка, *И больше нечего желать* А. Мушга и др. В *ИЛ* напечатаны его переводы *Под конвоем заботы* Г. Бёлля [1988, № 11, 12], *Другой процесс* Э. Канетти [1993, № 7], *Медея. Голоса* К. Вольф [1996, № 1], *Собачьи годы* Г. Грасса [1996, № 5—7], *Земля обетованная* Э. М. Ремарка [2000, № 3], *Завет* Г. Бёлля [2001, № 1], *Вилленброк* К. Хайна [2001, № 7, 8], *Письма Ф. Кафки Фелиции Бауэр* [2003, № 2] и др.

Владислава Валерьевна Агафонова
Переводчик с немецкого.

В ее переводах опубликованы стихи и короткая проза К. Любомирского [*ИЛ*, 1995, № 8] и рассказ И. Ракузы.

Елизавета Всеволодовна Соколова
Переводчик с немецкого, кандидат филологических наук.

В *ИЛ* напечатана статья *С Востока на Запад и обратно* [2003, № 9], а также переводы стихов австрийского поэта К. Любомирского [1995, № 8], немецких поэтесс У. Хан [1994, № 2 и 1997, № 7] и И. Тильш [1996, № 8], швейцарских поэтесс Э. Буркарт [1998, № 9] и И. Ракузы [2002, № 9], австрийской поэтессы Ф. Майрёкер [2003, № 2], эссе Д. Грюнбайна *Галилей измеряет Дантов ад* [1998, № 1], рассказы Ю. Герман [2000, № 11].

Вячеслав Глебович Куприянов
[р. 1939]. Поэт, переводчик с немецкого, член российского ПЕН-клуба, лауреат Европейской литературной премии [Югославия].

Автор книг стихотворений *От первого лица* [1981], *Жизнь идет* [1982], *Домашнее задание* [1986], *Эхо* [1988], *Дайте договорить* [2002], *Лучшие времена* [2003]. В его переводе выходили стихи Гёльдерлина, Новалиса, Р. М. Рильке, Б. Брехта, Э. Яндля.

Марина Юрьевна Коренева
Литературовед, лингвист, переводчик, кандидат филологических наук. Научный сотрудник Института русской литературы. Награждена Австрийской государственной премией за переводческую деятельность.

Автор статей по истории русско-немецких культурных связей. В ее переводе вышли *Веселая наука* Ф. Ницше, *Записки Мальте Лауридса Бригге* Р. М. Рильке, *Гертруд* Г. Гессе, а также произведения Хильдегард ван Бинген, Я. Ленца, Э. Т. А. Гофмана, Г. Келлера, А. Шницлера, Г. Гофмансталя, Г. Гауптмана, А. Малер, Г. Броха, Ф. Кафки, П. Хандке, М. Энде, М. Ринке, М. Фляйсер и др.

Татьяна Александровна Баскакова
Переводчик с немецкого, французского и итальянского языков.

В ее переводе изданы книги А. Роке *Брейгель, или Мастерская сновидений*, И. Фрэн *Клеопатра, или Неподражаемая*, О. Ролена *Пейзажи детства*, Р. Сафрански *Хайдеггер. Германский мастер и его время*, романы К. Крахта *Faserland* и *1979*, А. Шмидта *Каменное сердце*. В *ИЛ* в ее переводе печатались рассказы А. Шмидта [1999, № 7] и И. фон Кизерицки [2002, № 5], повесть Б. Бернхарда *Племянник Витгенштейна* [2003, № 2], роман Ф. Йегги *Пролетарка* [2003, № 3], фрагменты книги Х. Х. Янна *Деревянный корабль* [2003, № 9].

Изар Исаакович Городинский
[р. 1924]. Переводчик с немецкого.

Переводил произведения И. Новотного, Г. Гессе, сказки немецких писателей и др. В *ИЛ* публикуется впервые.

Борис Николаевич Хлебников
[р. 1943]. Поэт-переводчик.

В его переводе публиковались немецкие народные песни и баллады, песни Ж. Брассенса [Франция], стихи У. Дж. Смита и Р. Фроста [США]. В *ИЛ* напечатаны стихи Х. Вадера [1985, № 6], Э. Фрида [1987, № 10], Г. Грасса [1983, № 10; 1988, № 4], повесть *Чужой друг* Кристофа Хайна [1987, № 1], романы *Книга царя Давида* [1990, № 4, 5] и *Агасфер* Стефана Гейма [1994, № 9], новелла *Траектория краба* Г. Грасса [2002, № 10].

Мария Владимировна Зоркая
Литературный критик, переводчик, доцент Литературного института им. А. М. Горького.

Автор многочисленных публикаций о немецкоязычной литературе XX века, в том числе статей о творчестве Э. Барлаха, Г. Бёлля, Г. Вальрафа, К.Вольф, Ф. Вольфа, Г. Гауптмана, Г. Казака, Э. Э. Киша, Э. М. Ремарка, Р. В. Фасбиндера и др. В *ИЛ* в ее переводе публиковались эссе Э. М. Чорана и О. Пёггелера о Целане [1996, № 12], очерк Г. Шолема *Вальтер Беньямин и его ангел* [1997, № 12] и др.

Юлия Владимировна Шварцман
Филолог-германист, переводчик.

В *ИЛ* публикуется впервые.

Ирина Лазаревна Щербакова
Филолог, историк, журналист, переводчик с немецкого. Лауреат журналистской премии немецких католиков за лучшую радиопередачу года [1994].

Автор книг [в соавторстве с Сюзанной Шолль] *Moskauer Küchengespräche* [*Московские кухонные разговоры*, 1997] и *Nur ein Wunder konnte uns retten. Leben und Überleben unter Stalins Terror* [*Нас могло спасти только чудо. Жизнь и выживание при сталинском терроре*, 2000].
В ее переводах издавались произведения К. Тухольского, Ф. Кафки, К. Вольф и др.

Людмила Викторовна Есакова
Преподаватель, переводчик с немецкого. С 2002 г. заведует Немецким театральным информационным центром при Академии театрального искусства.

В ее переводе опубликованы рассказы А. Шницлера, Х. Лёчера, Г. Майринка и др. В *ИЛ* печатается впервые.

Галина Евгеньевна Окулова
Переводчик с немецкого и английского языков.

В ее переводе издавались рассказы Й. фон Эйхендорфа и Ф. Рюкерта [сборник *Хоровая музыка немецкой романтики*, 1999], рассказ В. Кирстен *Качели* [сборник *Дни немецкой культуры в Москве. 1999*, 2000]. В *ИЛ* в ее переводе публиковался рассказ В. Хильдесхаймера *Конец света* [2003, № 9].

Сергей Александрович Ромашко
[р. 1952]. Переводчик с немецкого, кандидат филологических наук.

В его переводах выходили книги В. Беньямина *Московский дневник*, В. Кёппена *Записки Якоба Литнера*, Г. Гессе *Книга россказней*, а также философские работы Э. Кассирера, Х. Г. Гадамера и др.

Екатерина Владимировна Ботова
Филолог-германист, преподаватель, переводчик с немецкого.

Переводила стихи К. Моргенштерна, Д. Лилиенкрона, Р. М. Рильке, И. Рингельнаца и др., а также рассказы Г. Майринка, М. Ветцель, книги для детей. В *ИЛ* печатается впервые.

Роман Семенович Эйвадис
[р. 1956]. Преподаватель, переводчик с немецкого.

В его переводе опубликованы *Искра жизни* Э. М. Ремарка, *Сиддхартха, Индийская судьба, Петер Каменцинд, Нарцисс и Гольдмунд* Г. Гессе, произведения Г. Паузеванг, Г. фон Лефорт и др.

Нина Николаевна Федорова
Переводчик с немецкого, норвежского, нидерландского, английского и польского языков, лауреат Австрийской государственной премии за переводческую деятельность [1994].

В ее переводе печатались произведения К. Вольф, Г. Гессе, Ф. Дюрренматта, А. Зегерс, К. Рансмайра, П. Низона, Й. Рота, А. Штифтера, рассказы М. Л. Кашниц и З. Ленца, драмы Р. Музиля и др.

RINET
Internet Service Provider

ИНТЕРНЕТ
ПО ВЫСОКОСКОРОСТНЫМ ВЫДЕЛЕННЫМ ЛИНИЯМ
в Центральном округе Москвы

объединенная волоконно-оптическая районная сеть RiNet в ЦАО:

- **оптимальные условия подключения,**
- **бесплатный доступ к внутрисетевым ресурсам**

В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ ← В ЦЕНТРЕ ГОРОДА → В ЦЕНТРЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

круглосуточно:
(095) 232-1730 238-3922 916-7009.

адрес:
МОСКВА, 1-Й ХВОСТОВ пер., д. 11А.

подробности:
WWW.RINET.RU

В оформлении обложки
использован фрагмент картины
немецкого художника и поэта
Рауля Хаусманна
[1886–1971]
Татлин дома [1920].

Художественное
оформление и макет
Андрей Бондаренко,
Дмитрий Черногаев.

Старший корректор
Анна Михлина.

Компьютерный набор
Евгения Ушакова,
Надежда Родина.
Компьютерная верстка
Вячеслав Домогацких.

Главный бухгалтер
Татьяна Чистякова.
Коммерческий директор
Мария Макарова.

119017, Москва,
Пятницкая ул., 41.
тел. 953-51-47; факс 953-50-61;
http://www.inostranka.ru
e-mail inolitrinet.ru

В INTERNET электронный
дайджест журнала
находится по адресу:
http://magazines.russ.ru/inostran

В Москве журнал
можно приобрести в редакции.

По вопросам оптовых закупок
обращаться в отдел
распространения и рекламы:
тел. 8–926–528–51–48,
факс (095) 953–50–61,
e-mail: journalinostranka.ru

Журнал выходит
один раз в месяц.

Оригинал-макет номера
подготовлен в редакции.

Регистрационное свидетельство
№ 066632 выдано 23.08.1999 г.
ГК РФ по печати

Подписано в печать 20.07.2004
Формат 70x108 1/16.
Печать офсетная.
Бумага газетная.
Усл. печ. л. 26,78.
Усл. кр.-отт. 31,0.
Уч.-изд. л. 26,64.
Заказ № 2907.
Тираж 8000 экз.
Отпечатано с готовых
диапозитивов
ОАО "Типография "Новости",
105005, Москва,
ул. Фр. Энгельса, 46.

[12] 2004

РОМАН БЕРИЛ БЕЙНБРИДЖ “СОГЛАСНО КУИНИ” / ПОЛЬСКИЙ ПИСАТЕЛЬ ВИТОЛЬД ГОМБРОВИЧ В РУБРИКЕ “ПОРТРЕТ В ЗЕРКАЛАХ” / СТИХИ ЯНА ЛЕХОНЯ И ГУН ОВОГТ ГУН-ААЖАВЫН АЮРЗАНЫ / РОМАН ИСПАНСКОГО ПИСАТЕЛЯ ЭНРИКЕ ВИЛА-МАТАСА “ТАКАЯ ВОТ СТРАННАЯ ЖИЗНЬ” / “ВИЗАНТИЙСКАЯ УТОПИЯ” АЛЕКСАНДРА ГЕНИСА В РУБРИКЕ “ПИСЬМА ИЗ-ЗА РУБЕЖА”

ИНДЕКС 70394

шаги
schritte

швейцария
австрия
германия

современная
литература

ISSN 0130-6545 "ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА", 2004, №11, 1-288